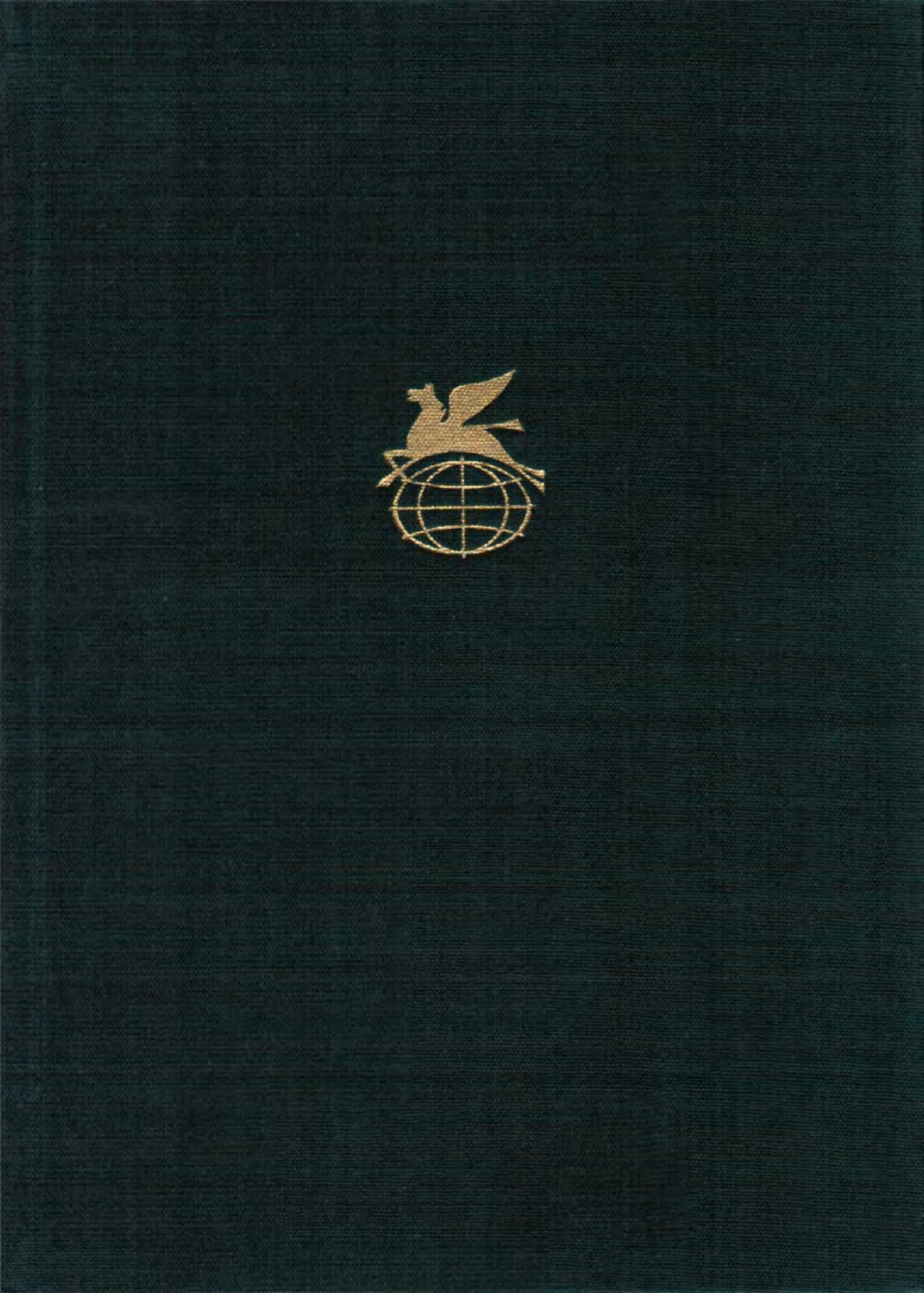
ЕВРОПЕЙСКИЕ
ПОЭТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ



Библиотека всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЭТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1974

Вступительная статья

Р. Самарина

И

Е 24

Составление

Е. Солоновича, А. Романенко, Л. Гинзбурга,
Р. Самарина, В. Левика, О. Россиянова,
Б. Стахеева, Е. Витковского, Инны Тыняновой

Е $\frac{70404\text{-}303}{028\,(01)\text{-}74}$ подписное

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Есть ли основания для того, чтобы выделять необозримую область поэзии изо всего литературного наследия Возрождения? Да, есть: именно в поэзии великий переворот в истории человечества, называемый Возрождением, или Ренессансом, обрел особенно раннее и особенно полное выражение. Новый человек, который начал создавать новую историю, именно через поэзию с наибольшей силой сказал о себе и своем времени, нашел в ней язык для своих чувств. Не случайно у колыбели новых литератур, на переломе от средневековья к Возрождению, стоят прежде всего поэты: Данте и Петрарка в Италии, Вийон во Франции, Чосер в Англии, Гарсиласо де ла Вега и Боскан в Испании, Брант и Мурнер в литературе немецких земель, Борнемисса в Венгрии. Во всех этих случаях речь идет не просто о подъеме интереса к поэтическому искусству, а о большом общем движении, развивающемся в каждой стране по-своему, но имеющем и свою внутреннюю взаимосвязь, и свои общие закономерности.

Говоря об эпохе Возрождения как о великом историческом перевороте, Ф. Энгельс в предисловии к «Диалектике природы» подчеркивал, что в ходе этого переворота в Европе сложились нации, родились национальные литературы, выковался новый тип человека. Эта эпоха «нуждалась в титанах» — и «породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености» [1]. Необычайную многогранность дарований, стремление творчески познать мир во всех его проявлениях — в науке, искусстве, политике — Энгельс считал типической чертой людей Возрождения: «Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером... Альбрехт Дюрер был живописцем, гра-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346.

вером, скульптором, архитектором... Лютер вычистил авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал «Марсельезой» XVI века» [1].

Добавим, что трудно найти крупного деятеля культуры эпохи Возрождения, который бы не писал стихов. Талантливыми поэтами были Рафаэль, Микеланджело и Леонардо да Винчи; стихи писали Джордано Бруно, Томас Мор, Ульрих фон Гуттен, Эразм Роттердамский. Искусству писать стихи обучались у Ронсара принцы Франции. Стихи сочиняли римские папы и итальянские князья. Даже экстравагантная авантюристка Мария Стюарт обронила изящные стихотворные строки, прощаясь с Францией, где протекала ее веселая юность. Лирическими поэтами были выдающиеся прозаики и драматурги. Очевидно, великий переворот имел свой ритм, четко улавливаемый талантливыми людьми и бившийся в их пульсах. В видимом хаосе исторических событий, обрушившихся на Европу,— в войнах, восстаниях, великих походах за тридевять земель, в новых и новых открытиях — звучала та «музыка сфер», тот голос истории, который всегда внятен в революционные эпохи людям, способным его услыхать. Эти новые ритмы жизни с огромной силой зазвучали в поэзии, рождавшейся на новых европейских языках, которые во многих случаях обретали свои законы именно в связи с деятельностью поэтов.

Важным и общим моментом для всей европейской поэзии эпохи Возрождения было то, что она оторвалась от певческого искусства, а вскоре и от музыкального аккомпанемента, без которого была немыслима народная лирика средневековья, а также искусство рыцарских поэтов — трубадуров и миннезингеров. Ценою усилий смелых реформаторов поэзия стала областью строго индивидуального творчества, в котором новая личность, рожденная в бурях Возрождения, раскрывала свои отношения с другими людьми, с обществом, с природой. Сборники итальянских поэтов XIV—XV веков еще называются по-старому: «Песенники» — «Канцоньере», но стихи уже печатаются для произнесения вслух либо чтения про себя, ради все увеличивавшегося племени любителей поэзии, забывавших весь мир над книгою стихов, подобно юным героям «Божественной Комедии» Паоло и Франческе.

Однако поэзия нового времени не могла до конца порвать связь с песней, особенно народной. Больше того, именно в эпоху раннего Возрождения по всем странам Европы прокатывается могучая волна народной поэзии, преимущественно песенной. Можно сказать, что расцвет лирической поэзии в эту пору начался именно с поэзии народных масс — крестьянских и городских, повсеместно в Европе чувствовавших, как нарастают их силы, их воздействие на жизнь общества. Эпоха Возрождения стала эпохой великих народных движений, подрывавших устои средневековья, возвещавших при-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 346—347.

шествие нового времени. В середине XIV века феодальная Франция была потрясена крестьянским восстанием — Жакерией. Восстание было жестоко подавлено, но память о нем не умерла и воскресла в народном движении второй половины XVI века, в котором сказалось стремление французских крестьян положить конец религиозным войнам; с их волей пришлось считаться и гугенотам и католикам не только потому, что обе религиозные партии сплошь да рядом объединялись в подавлении крестьянских восстаний, но и в поисках решения вопроса о будущем Франции.

Так суровый и убежденный гугенот Агриппа д'Обинье, поднимаясь над своей религиозной и сословной ограниченностью, в «Трагических поэмах» смотрит на народ как на некую силу, перед которой он, французский шевалье, в ответе за судьбы страны.

В середине XIV века крестьянская война, известная под названием восстания Уота Тайлера, потрясла феодальную Англию. Это восстание обнаружило тесную связь с народными антифеодальными движениями той борьбы за реформу католической церкви, которую возглавил мятежный епископ Виклиф.

Глубинные связи народного бунта и критики феодальной идеологии раскрываются в «Видении Петра Пахаря», поэме 70-х годов XIV века, приписываемой безвестному неудачнику Уильяму Ленгленду и переполненной отголосками устного народного творчества. Носителем нравственной истины здесь выведен труженик, пахарь. В XIV веке, очевидно, сложился и основной сюжетный костяк баллад о бунтаре и народном заступнике Робине Гуде, ставших любимым народным чтением, как только в Англии заработали печатные станки.

Пятнадцатое столетие было отмечено гуситскими войнами в Богемии и Моравии, вызвавшими близкие по характеру движения в сопредельных странах Центральной и Западной Европы. Гуситские войны создали целую литературу, и в ее памятниках есть идеи наивного экономического равенства, защитниками которого выступали «левые» группировки гуситов. В том же XV веке народ оказался силой, опираясь на которую французские короли изгнали наконец из своей страны английских захватчиков, а короли Кастилии и Арагона завершили «реконкисту» — отвоевание исконной испанской земли, захваченной за несколько столетий до этого арабами (маврами). События конца Столетней войны, завершенной с помощью народных ополчений, нашли выражение в легендах о пастушке из Домреми — Жанне д'Арк, спасшей Орлеан и как бы от имени народа короновавшей Карла VII в Реймсе. События реконкисты отражены в большом цикле испано-арабских романсов, не только запечатлевших этот героический период истории Испании, но и оплодотворивших испанскую литературу ближайших веков. В конце XV века началось движение городских народных масс Италии, возглавленное Савонаролой.

Но надвинулся грозный XVI век, в начале которого развернулась Великая крестьянская война в Германии, которую Ф. Энгельс назвал первой

буржуазной революцией в Европе (1525 г.). Крестьянская война была подавлена с жестокостью, беспримерной даже для немецких псов-рыцарей, но она дала буйные всходы прежде всего в близлежащих Нидерландах, где освободительная война против владычества испанцев была завершена созданием в 1688 году независимых Нидерландских статов — государства местной буржуазии, победившей только в силу героической поддержки крестьянских и городских трудовых масс. Эти две революции дали мощную вспышку народной поэзии. В Германии появились анонимные народные песни о борьбе крестьян против рыцарей, пламенная проза прокламаций Томаса Мюнцера. Эпопея Нидерландской революции породила большую поэтическую традицию, в которой особое место принадлежит песням повстанцев — гёзов (буквально «нищих»). В рядах гёзов сражалось немало отважных сыновей среднего и мелкого дворянства и еще больше молодых купцов, владевших шпагой не хуже, чем аршином или весами.

С неустанно обогащавшимся опытом народной поэзии связано в эпоху Возрождения развитие двух основных форм баллады, выросшей из танцевального народного жанра: сложная форма, построенная на повторяющейся рифме и завершающаяся обязательным рефреном-«посылкой» — в странах романских языков, и другая, четырехстрочная баллада с более свободной рифмой — в странах германских языков, особенно в Англии и Скандинавии. Своеобразным заповедником баллады, где она существует до сих пор как живой поэтический жанр, стали многочисленные архипелаги Северной Атлантики с их смешанным населением преимущественно датского происхождения. Датская баллада времен Возрождения, образцы которой включены в данный том, стала классическим жанром народной поэзии Северной Европы. К ней близка шотландская и ирландская баллада, в которых живы элементы фольклора кельтских племен, располагавших поразительно оригинальным и разнообразным устным поэтическим творчеством.

Начиная с середины XV века книгопечатные станки выбрасывают множество изданий, рассчитанных на широкие круги читателей, образцы народной поэзии — песни, романсы, загадки, а также «народные книги» (среди них — книга о Тиле Уленшпигеле и книга о докторе Фаусте). Их перерабатывают и используют писатели-гуманисты, даже весьма далекие от движения народных масс, но чувствующие тягу к народным источникам. Полистаем пьесы Шекспира, его современников и предшественников — сколько народных баллад мы найдем в самом сердце их замыслов; в песне Дездемоны об ивушке-иве, в песне Офелии о Валентиновом дне, в атмосфере Арденнского леса («Много шума из ничего»), где скитается Жак, столь напоминающей о другом лесе — Шервудском, притоне стрелка Робина Гуда и его веселой зеленой братии. А ведь, прежде чем попасть в чернильницы сочинителей, эти мотивы ходили по площадям английских городов, по сельским ярмаркам и придорожным харчевням, исполнялись бродячими певцами, пугали набожных пуритан. Из сходных материалов строилась грандиозная книга Рабле,

впитавшая в себя французский народный юмор, обогащенный глубокими идеями и острой сатирой ученого-гуманиста; близкие мотивы звучали в поэзии Клемана Маро, когда он перелагал на мелодии любимых парижским народом уличных песенок строгие псалмы Давида. Этот мир образов в его испанском осмыслении теснился перед умственным взором Сервантеса, когда он создавал историю Дон-Кихота. Образы итальянского театра масок (комедии dell'arte), даже измененные различного рода обработками, тоже несут в своей насмешливой типологии открытия, сделанные народным гением. Народная поэзия эпохи Возрождения была одним из могучих источников обновления поэзии в целом. Но только одним из них.

У поэта той эпохи был и еще один источник вдохновения: классическая древность. Страстная любовь к знаниям гнала поэта в далекие путешествия в анатомические театры, в кузницы и в лаборатории — но также и в библиотеки. До XV века образованный европеец знал кое-какие произведения латинской литературы, уцелевшие от античного Рима, в свою очередь много усвоившего у культуры Древней Греции. Но сама греческая культура стала широко известна позднее, особенно после XV века, когда в борьбе с турками рухнула Византия, последняя опора средневековой греческой цивилизации на Ближнем Востоке. Тысячи беженцев-греков, хлынувших из земель, завоеванных турками, в христианские страны Европы, несли с собой знание родного языка и искусства, многие стали переводчиками при европейских дворах, учителями греческого языка в европейских университетах, советниками при больших типографских домах, издававших античных классиков в оригинале и переводах.

Античный мир — от Афин до Спарты — предстал перед умственным взором европейца не только как некая канувшая в прошлое реальность, на опыте которой можно выверять свою собственную судьбу, но и как утопический идеал, золотой век гармонического общества и человека, чей образ вставал перед поэтами молодой Европы со страниц древних авторов, оживал в древних скульптурах и рисунках.

Античность стала как бы вторым миром, в котором жили поэты Возрождения. Они редко догадывались о том, что культура античности была построена на поту и крови рабов; народ античности они представляли себе как аналогию народу своего времени и так его изображали. Пример тому — взбунтовавшаяся чернь в трагедиях Шекспира, «античные» крестьяне и ремесленники на полотнах художников Ренессанса или пастухи и пастушки в их стихах и поэмах.

В мире античной словесности поэт эпохи Ренессанса нашел для себя гигантскую лабораторию опытов, которые ему теперь захотелось проделать самому, неисчерпаемо богатое наследие образов и чувств, которые он понимал по-своему. Искусство художественного перевода в эпоху Ренессанса сделалось почти обязательной стороной деятельности любого поэта, писавшего на каком-либо живом языке, а «подражание древним авторам» в той или иной мере стало общей чертой поэтов эпохи Возрождения. Нимфы, сатиры и весь антич-

ный Олимп переселились в дубравы и рощи Западной и Южной Европы. Их можно найти и в Гастинских лесах Ронсара, и в Шервудском лесу Шекспира, и в лавровых рощах Испании, не говоря уже о сладостных пейзажах Италии, где они как бы вновь обрели свой домашний приют. Нептун и Нереиды благословляли каравеллы испанских конкистадоров, носившие имена католических святых, каждый итальянский кондотьер оказывался то ли Ахиллом, то ли Гектором и порою чувствовал себя им. Поэтические опыты вроде триметров англичанина Эдмунда Спенсера, подражавших просодии и строфике античных поэтов, стали признаками новой поэзии в любой стране Европы, затронутой теплом и светом Ренессанса.

Постепенно в потоке литературного развития той эпохи наметились два течения: одно в борьбе за становление новой национальной литературы ориентировалось на античные образцы, предпочитало их опыт народной традиции, учило молодежь писать «по Горацию» или «по Аристотелю». Иной раз в своем стремлении быть поближе к античным образцам эти «ученые» поэты даже отбрасывали рифму, которая была бесспорным завоеванием европейской средневековой поэзии. Представители другого направления — среди них Шекспир и Лопе де Вега,— высоко ценя античную литературу и нередко добывая из ее сокровищниц сюжеты и образы для своих произведений, все же отстаивали за писателем не только право, но и обязанность прежде всего изучать и воспроизводить в поэзии живую жизнь. Об этом разговаривает с актерами Гамлет, применительно к сценическому мастерству, о том же твердит Лопе де Вега в трактате «О новом искусстве писать комедии». Именно Лопе прямо высказывает мысль о необходимости считаться с народной традицией в искусстве. Но и Шекспир в своих сонетах, рассказывая о некоем собрате по перу, который оспаривал его поэтическую славу, противопоставляет его «ученой», «изукрашенной» манере свой собственный «простой» и «скромный» стиль. Оба течения в целом составляли единый поток гуманистической поэзии, и хотя в нем были внутренние противоречия, обусловленные в различных странах разными общественными причинами, поэты-гуманисты противостояли тем писателям своего времени, которые пытались защищать старый феодальный мир, устарелые эстетические нормы и старые поэтические приемы.

Борьба между силами антифеодального движения и силами реакции, развернувшаяся в различных формах во всех странах Европы, складывалась на первых порах далеко не всюду в пользу прогрессивных исторических сил. К концу XVI столетия в Италии, Испании и особенно в Германии временно верх взяла реакция. Это усложнило положение гуманистов по всей Европе. К тому же новое общество все больше обнаруживало угрозу порабощения человека, не успевшего сбросить узы феодального угнетения, иным тираном — золотом. В такой ситуации разразился тяжелый кризис гуманистических идей. Многие талантливые поэты и писатели разочаровались в идеалах гуманизма, отступили, отошли от идей Возрождения. Среди них были глубоко

противоречивые художники, которые с большой силой запечатлели в прекрасных стихах свои мучения и поиски истины, свои заблуждения и прозрения. Таких противоречивых поэтов нельзя относить в лагерь реакции; их творчество, при всей его сложности, в конечном итоге составило важную ступень в истории культуры их стран.

Зачинательницей новой поэзии, давшей на долгие годы образцы для других стран Европы, была Италия. Кружок итальянских поэтов, сплотившийся в конце XIII века и вошедший в историю мировой литературы под названием «поэтов сладостного нового стиля», был первым возрожденческим вольным союзом поэтов-друзей, связанных широким кругом общих интересов. Из него вышел молодой Данте — автор книги сонетов и канцон «Новая Жизнь». Наполненные высоким мистическим бредом и аллегориями, стихи о любви, которые бормотал юноша из Флоренции, гуляя по окрестностям родного города с томиком Вергилия в кармане, были порою еще настолько неясны самому автору, что он сочинил для «Новой Жизни» прозаический комментарий. Молодой поэт еще не уверен в изобретаемом им поэтическом языке, он поверяет его прозой столь же «сладостной», как и его стих. Но как сложна и богата духовная жизнь автора этих стихов о девочке Биче Портинари, которую он обессмертил в образе Беатриче! Первое дыхание всей будущей прелести европейской любовной поэзии проносится в этом цикле стихов, как дуновение ветра в картине «Весна» Сандро Боттичелли — гениального иллюстратора Данте.

Несмотря на все связи со средневековой литературной традицией, Данте — как бы явление поэтического взрыва. Лирическая стихия господствует и в суровой эпопее «Божественной Комедии», наполняя поэму о загробном мире огнем и слезами, всем кипением жизни той бурной эпохи, всеми оттенками чувств.

Вслед за Данте выступает другой великий флорентиец, продолжавший дело создания единого итальянского национального языка и литературы,— поэт-философ и ученый, политик и путешественник Франческо Петрарка, воплощение острейших коллизий духовного мира человека раннего Возрождения. Мучительные вопросы и не до конца убедительные ответы встают со страниц философских трактатов Петрарки, особенно его «О презрении к миру»; выбрав в собеседники одного из авторитетнейших «отцов» христианской церкви — Блаженного Августина, поэт признается, что не может разобраться в противоречиях, раздирающих его собственную душу: что такое поэзия — грех или священное призвание? Что такое его любовь к прекрасной Лауре — мука или счастье? Почему он вечно оказывается в плену противоречивых чувств, от которых «горит в холодный день и под ярким солнцем леденеет»? После «Стихов на жизнь и смерть мадонны Лауры» форма сонета стала как бы знаменем новой поэзии, а страстность и сила поэтического выражения этих стихов, в особенности же изощренный их стиль — «петраркизм», надолго подчинили своему обаянию литературу многих стран Европы.

Замечательна пламенная политическая лирика Петрарки — самовыражение итальянского патриота и республиканца, сторонника Кола ди Риенци — «трибуна» XIV века, который пытался ценой своей жизни вернуть былую славу Риму. Славе Рима посвящена и латинская поэма Петрарки «Африка», тончайшее подражание «Энеиде» Вергилия, напоминавшая современникам поэта о подвигах Сципиона Африканского. Горделивая политическая утопия, мечта о восстановлении великой Римской республики, переплеталась здесь с политическим расчетом: на месте древнего Карфагена был опять коварный и могущественный враг — арабы, чьи суда шныряли у итальянских берегов и всерьез тревожили соотечественников Петрарки как возможный фланг грядущего турецкого наступления, которого в Италии с трепетом ждали в течение двух веков.

Рядом вырисовывается фигура младшего современника Петрарки: это автор «Декамерона», Джованни Боккаччо, создатель многих прекрасных поэтических произведений, в которых четко прослеживается путь от поздней рыцарской поэзии, процветавшей при дворе неаполитанского короля Роберта Анжуйского, где прошла юность Боккаччо, до очаровательной пейзажной живописи его пастушеских идиллий «Амето» и «Фьезоланские нимфы».

Пятнадцатый век принес много нового в итальянскую поэзию. К этому времени патрицианские фамилии стали постепенно захватывать власть в городах, которые из купеческих государств-коммун преображались в герцогства и княжества. Сыновья флорентийских богачей, например знаменитого банкирского дома Медичи, щеголяли гуманистической образованностью, покровительствовали искусствам и сами были не чужды им. Поэты-гуманисты создавали латинские стихи в расчете на образованных читателей. Под пером таких талантов, как Анджело Полициано, возродился на потребу городской знати культ галантных рыцарей и прекрасных дам. Город-коммуна, оборонявший свои права от тяжелой хватки дома Медичи, ответил на возникновение новой аристократической культуры бурным развитием народной сатирической и бытовой песни; над романтическим увлечением феодальным прошлым глумился Пульчи в героикомической поэме «Большой Моргант». Однако и во Флоренции и, в особенности, в Ферраре —столице-крепости герцогов д'Эсте, возродилась в обновленном варианте любовно-приключенческая рыцарская поэма. Граф Маттео Боярдо, а позднее, уже в XVI веке, феррарский поэт Лудовико Ариосто в изящных октавах повествуют о неслыханных подвигах и приключениях рыцаря Роланда (Орландо), который превратился из сурового героя средневекового эпоса в обезумевшего от ревности пылкого любовника. Обращаясь к фантазии разных веков и народов, Ариосто создал произведение, в котором многое предвещает «Дон-Кихота». Сквозь его шутливые строфы прорывается горькая ирония, печальная насмешка над порядками и нравами герцогской Феррары.

Зловещие тени реакции довольно быстро ползли по вечерним пасторальным пейзажам Италии, украшенным древними и новыми руинами, напоми-

навшими о том, что из-за отсутствия национального единства пришлось уступать любому чужеземцу: и немецким ландскнехтам Карла V, и «веселому королю» Франциску I Французскому, и угрюмым испанским губернаторам, и прежде всего монахам, завладевшим страной, настигавшим мятежных гуманистов даже за ее пределами,— как было с Джордано Бруно. И надо ли удивляться, что так трагически сложилась судьба Торквато Тассо, мучительно старавшегося в героической поэме «Освобожденный Иерусалим» создать современный эпос с «христианским героем»,— подлинным рыцарем, и воспевшего подвиги крестоносцев в тщетной надежде объединить патриотические порывы своих современников перед лицом угрозы турецкого нашествия. Мастер эпоса и стихотворной трагедии, Тассо отдал дань и лирике. Он создал классические образцы итальянского сонета позднего Ренессанса, где петраркистская усложненность не мешает выражению глубоких чувств человека переходной поры, уже снова сомневающегося в своем праве судить о вселенной и судьбах людских.

Грандиозные видения гигантских битв, волшебных садов, образы доблестных рыцарей и коварных или воинственных красавиц из поэмы Тассо будут еще долго, вплоть до XIX века, будоражить поэтическую мысль Европы. Но его творчество уже не могло иметь того значения для всей новой поэзии, какое имело наследие Данте и Петрарки с их бесстрашным новаторством и смелой жизненностью. В Италии начался закат Возрождения.

Совершенно иначе развернулась история поэзии в Германии. В старых городах, расположенных на торговых путях, пересекавших немецкие земли посуху и по великим рекам с запада на юго-восток, веками копились не только богатства и знание ремесел, но и культурные навыки, в которых городские гильдии состязались друг с другом.

Среди них была и давняя городская певческая культура мейстерзанг, вскормившая не одно поколение поэтов. Мейстерзанг — певческое и поэтическое искусство мастеровых людей Германии — достиг своего апогея в XVI веке в творчестве славного нюрнбергского сапожника Ганса Сакса. Этот поэт отличался удивительной плодовитостью: он оставил множество стихотворений, поэм и особенно стихотворных текстов для городского самодеятельного театра — фастнахтшпилей («масленичных действ»), которые, как панорама немецкой жизни, равны по значению «Декамерону» Боккаччо и «Кентерберийским рассказам» Чосера, хотя и не составляют обдуманного целого. В «шванках» Ганса Сакса (как они назывались по их сходству с жанром средневековой немецкой поэзии) много архаичного, но в них звучит и ощущение нового времени, виден его «фальстафовский фон» — забирающие силу мужики, грешники-монахи, неунывающие ландскнехты, которым сам черт не брат, ловкачи-мастеровые. Большое раздумье о своей эпохе проходит через цикл шванков, связанных с сюжетом об Адаме и Еве. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» — такая загадка задается

в «Сказании о Петре Пахаре», и она отозвалась в шутке одного из могильщиков в «Гамлете», называющего Адама «самым первым дворянином рода людского», так как «он копал», а копать нельзя без лопаты, а лопата — «это оружие», а оружие — первая примета дворянина, в отличие от простолюдина, которому запрещалось его носить. Горестно размышляет Ганс Сакс о судьбах «Адамовых детей» — ведь все они рождены в равной доле, пошли от одних родителей, а как развела и перессорила их жизнь! Сапожный мастер, прославивший свой город на всю германоязычную Европу, был одним из носителей мощного народного подъема, наивысшим воплощением которого стала Крестьянская война 1525 года, хотя сам Ганс Сакс не понял ее смысла и не откликнулся на нее по-настоящему. Не смог сделать этого и гениальный расстрига Мартин Лютер, вооруживший немецкий народ на брань с его угнетателями своими пламенными переводами библейских псалмов, которые зазвучали в его интерпретации как революционные песни — недаром Ф. Энгельс назвал один из этих переводов «Марсельезой» XVI века». Лютер предал восставших крестьян, напуганный их слишком решительными действиями. Но при всех трагических обстоятельствах, омрачивших его деятельность в 20-х годах XVI века, его труд в области немецкой поэзии не менее примечателен, чем в области прозы.

В литературе немецкого Возрождения все тянется к грозному 1525 году, вызревает к этому моменту: многочисленные сатиры на дураков, воплощающих в себе старую феодальную Германию и ее пороки, стихи ученых мужей, вроде Цельтиса или Ульриха фон Гуттена, многие гравюры и рисунки Альбрехта Дюрера, и среди них изображения немецких крестьян, суровых коренастых людей, мятежно препоясанных грозным оружием,— и все надламывается после этого года. С Гайером, Рименшнайдером и Мюнцером, с тысячами вожаков «Бедного Конрада» и его городских филиалов погиб цвет Германии XVI века. Погиб или ушел в соседние страны, унося идеи, оружие, волю к борьбе. Еще теплилась сатирическая поэзия, охотно опиравшаяся на иноземные образцы, еще писал неутомимый Ганс Сакс, еще разил папскую реакцию и ее верных иезуитов Фишарт, соловьями разливались уцелевшие поэты-рыцари, хранившие при мелких резиденциях наследие миннезанга. Но с тем великим немецким национальным искусством, которое зачиналось на заре XVI века и зрело под воздействием революционной ситуации, было покончено надолго.

Удивительным многообразием и яркостью отличалась поэзия французского Возрождения.

На переломе от средних веков к Ренессансу во Франции вырисовывается своеобразная фигура Франсуа Вийона, наследника лучших традиций средневековых бродячих поэтов — вагантов. Но Вийон отказался от латинского языка; как поэт он развивался в русле французской поэтической речи, которую разработал и обогатил. Его баллады, полные горечи и смеха, вводящие

нас в мир парижского дна, отворяющие двери кабаков и притонов, и сейчас чаруют сочетанием терпкого вкуса жизни и высокого лирического пафоса, с которым поэт равно готов боготворить и мадонну, и полюбившуюся ему толстуху Марго.

Вместе с тем, подобно утонченному Петрарке, Вийон жаловался на трагические противоречия, раздирающие его сердце и ум, на душащий его «смех сквозь слезы», на то, что он способен «умереть от жажды у ручья». Глубоко человечная, драматическая лирика «школяра» Вийона, вобравшая нечто от страдания втоптанных в грязь простых людей его времени, полна потенциального бунтарства, и вполне закономерны предположения некоторых французских филологов, которые пытаются установить близость Вийона к тайным плебейским движениям во Франции второй половины XV века.

Литературная традиция, заложенная Вийоном, сродни Рабле, который недаром вводит Вийона в ряд эпизодов своего романа и еще чаще пользуется, не оговаривая этого, выражениями поэта. Сказалась эта традиция и в поэзии Клемана Маро, одного из любимцев Пушкина.

Редко у кого жизнеутверждающий дух ренессансного искусства выражен с такой силой, как у Маро. Женская прелесть, дружное застолье, свежий снег и весеннее тепло, шутка и смешная выходка становятся предметом очаровательных мастерских стихотворений этого ученого поэта, с одинаковой легкостью слагавшего стихи на родном французском и греческом языках. Есть в его творчестве и глубокие философские раздумья, и открытый протест против засилия попов, против клерикальной реакции, грозящей его любимому миру буйной плоти и свободной мысли. Клеман Маро поплатился за это тюрьмой, вынужденным бегством из Франции и смертью на негостеприимной чужбине, но остался верен себе до конца.

Его творчество в известной степени противостояло лионской школе поэтов, где свил себе прочное гнездо «петраркизм» — итальянское влияние, которое с галльской настойчивостью оспаривал Клеман Маро. Но и у лионских поэтов — у Луизы Лабе, Мориса Сэва — сквозь условную античную образность и чеканную форму сонета прорывается живой голос француза XVI века, трепетная человечность.

В середине века, когда во французской прозе уже взошло светило Рабле, в 1549 году, шевалье Жоакен Дю Белле в сотрудничестве со своим другом Пьером Ронсаром напечатал «Защиту и прославление французского языка» — манифест национальной поэзии Франции. Дю Белле и Ронсар звали к борьбе за создание нового языка — единого литературного языка для молодой и полной сил нации, в то время еще разделенной диалектальными перегородками. Возглавленная ими «Плеяда», как назвали они кружок семи друзей-поэтов (в память о созвездии александрийских поэтов, когда-то объединившихся во имя любви к стихотворству), стала первой поэтической национальной школой Западной Европы в полном смысле этого слова. Стремясь очистить язык литературы от средневековых пережитков, поэты

«Плеяды» вместе с тем отшатнулись от буйной стихии грубой красочной народной речи, из которой неустанно черпал Рабле. Их идеал меры и ясности уже предвещал эстетические принципы классицизма XVII века, надолго определившего национальную форму французского искусства.

Оба вождя «Плеяды» были глубоко своеобразными мастерами стиха. Дю Белле поднял на новую ступень искусство сонета, преодолев петраркистскую «герметичность» и многословие. В цикле «Римские древности» он размышляет о трагическом уделе великих империй, глядя на руины «вечного города»: Дю Белле был в составе французской дипломатической миссии в папском Риме, внушившем ему отвращение и презрение. В цикле «Разочарования» поэт изложил свою философию жизни, мужественную и горькую, напоминающую философию созданных через полвека сонетов Шекспира. Блистательным мастерством отмечена обращенная ко внешнему миру поэзия Ронсара, с равным увлечением воспевавшего и королевские праздники (он был близок ко двору Валуа), и французские дубравы и луга, где ему мерещатся фавны и нимфы; особенно хороша его любовная лирика, в которую он внес искусство поэтического портрета, и лукавую нежность, грубоватую фривольность истого француза XVI века. Но Ронсар, влюбленный в живую плоть, в родную природу, был поэтом и других чувств — его произведения проникнуты гордостью за Францию, за ее славное прошлое, за ее талантливый и трудолюбивый народ. Ронсар и Дю Белле заложили вместе с Маро — как далеки они от него ни были — фундамент новой французской поэзии.

Во второй половине XVI века для французской литературы настали трудные времена. Канули в прошлое те дни, когда король Франциск I иной раз брал под защиту вольнодумцев от посягательств церкви, а сестра его, королева и поэтесса Маргарита Наваррская, покровительствовала Рабле, Деперье и Клеману Маро. Теперь гуманистам грозила опасность и со стороны идеологов католицизма — верного стража и охранителя монархии, и со стороны родовитых дворян-гугенотов, не желавших подчиняться королю. Над Францией занялось пламя гражданской войны и не гасло почти сорок лет.

Французская литература, по существу, раскололась: часть ее служила католицизму в различных его оттенках, часть примыкала к гугенотскому движению. На все это с бесконечной грустью, но и с насмешкой взирал философ-моралист Мишель Монтень, не поддерживавший открыто ни одну из враждующих партий и в своих «Опытах» (1588) именно эту позицию рекомендовавший всем мудрецам. Ибо, наблюдая жестокости и нелепости жизни своего времени, подобно другим гуманистам кризисной эпохи, он усомнился в могуществе человеческого разума.

К числу значительных поэтов-гугенотов относится прежде всего Агриппа д'Обинье. Ученик Ронсара, впоследствии порвавший с ним, д'Обинье зарекомендовал себя как талантливый лирический поэт циклом любовных сонетов, в котором чувства молодого влюбленного причудливо переплетены

со сложными переживаниями близкого соратника короля Генриха Наваррского, активного участника войн, терзающих Францию и омрачающих его юное сознание. Но не этим прославился д'Обинье: в самый разгар своей многотрудной жизни, измученный походами и политическими страстями, он начал поэму о современной ему Франции, гибнущей в пожаре гражданской войны,— величественную стихотворную эпопею в семи частях, названную им «Трагическая поэма».

Несмотря на черты религиозного фанатизма, ограничивающие и сужающие замысел гугенота д'Обинье, его поэма дает глубоко впечатляющую картину бедствий, пожирающих Францию. Она являет собою блистательный образец пламенной гражданской лирики, наравне с которой во французской литературе можно поставить только гражданскую поэзию Виктора Гюго.

Другой замечательный поэт гугенотов, тоже сподвижник Генриха Наваррского — Гийом Дю Бартас, погибший от раны, которую он получил в сражении с католиками. В молодые годы его звали «гасконским жаворонком» — такой жизнерадостной и звонкой была его поэзия. Но в историю литературы он прочно вошел поэмой «Неделя». Есть дыхание фаустовского гения в этом произведении, повествующем о сотворении мира: основной пафос поэмы не в прославлении божьего промысла, созидающего мир, а в любовании бесконечно разнообразными формами жизни и природы, наблюдаемыми поэтом. При всем яростном гугенотстве Дю Бартаса мы не можем не видеть в «Неделе» множества отголосков эпохи великих географических и биологических открытий, в которую он жил.

В другом лагере тоже были даровитые поэты: изящный Депорт, создавший свой живописный стиль внимательного и скептического царедворца, сопровождавшего принца Генриха Валуа даже в далекую «морозную» Польшу; рассудительный и точный Жан Пассера.

Но побеждало наследие «Плеяды». Отшумел Ренессанс, и французская поэзия втекала в русло нового стиля — классицизма.

В XV веке волна Возрождения захватила Нидерланды. Страна прошла через трудную полосу национально-освободительного и революционного движения, принявшего форму религиозной войны, в ходе которой фактически разделилась на валлонские (католические) и фламандские (протестантские) провинции. При этом многие валлонцы оказались на стороне испанских оккупантов и поддерживали их власть. Еще сложнее были социальные противоречия в богатых нидерландских городах, где сталкивались сильный, рвущийся ко власти патрициат и многочисленные плебейские круги. В итоге творчество нидерландских писателей XVI века в значительной мере развивалось под знаком религиозной тематики. Сильной и оригинальной стороной новой поэзии была вольнолюбивая анонимная лирика патриотов-повстанцев — гёзов.

Во второй половине XVI века, в обстановке побеждавшей буржуазной революции, начался подъем светской поэзии, во многом ориентированной на итальянские и французские образцы. Опыт Петрарки и «Плеяды» был перенесен в поэзию Нидерландов Яном ван дер Нотом, который ввел в нее классические жанры и сонет, а затем разработаны в национальном голландском духе Питером К. Хофтом, чья жизнеутверждающая многокрасочная поэзия выглядит как параллель к голландской живописи XVI — XVII веков. Коренная нидерландская тематика нашла себе широкое выражение у Гербранда Бредеро, в чьей поэзии появляются колоритные народные образы. Но «золотой век» нидерландской поэзии приходится уже на XVII столетие, и в центре его находится творчество поэта и драматурга Йоста ван ден Вондела, художника общеевропейского масштаба, оказавшего заметное воздействие на английскую и немецкую поэзию своего времени.

Позднее, чем в других странах Западной Европы, расцвела английская поэзия Возрождения. Здесь существовала могучая национальная поэтическая традиция. Древние англосаксонские фольклорные корни сплелись затем с нормандскими порослями, пересаженными из Франции, и это дало такие прекрасные плоды, как творчество Джеффри Чосера, стоящего на рубеже средних веков и Возрождения. Недаром Горький назвал Чосера «отцом реализма»: сочная живопись портретов современников в его стихотворных «Кентерберрийских рассказах» и еще больше их общая концепция, столь явное столкновение старой феодальной Англии и новой Англии купцов и авантюристов,— свидетельствуют о принадлежности Чосера к литературе Возрождения.

Сложной была полоса XV века, наполненного внутренними схватками, в которых определялась эта новая Англия, теперь уже отливавшаяся в изложину абсолютной монархии Тюдоров. Но когда с мятежами лордов и епископов было покончено и железная десница короля Генриха VIII легла на кормило страны, определились и новые противоречия английской жизни. Англия отложилась от Рима, старую знать прижали как могли, новая знать угодничала перед королем, подкупаемая потоком земельных пожалований, сделанных за счет «огораживаемых» крестьянских угодий, по дорогам Англии полились толпы бродяг — крестьян, согнанных с насиженных мест, и Томас Мор нашел емкую фразу для описания происшедшего: «Овцы съели людей». За сострадание к народу Мор был лишен канцлерского звания, ввергнут в опалу, оклеветан и обезглавлен, но успел издать свою книгу «Утопия» (1515), адресованную Эразму Роттердамскому. Наметилось мощное крыло английской гуманистической мысли, то, которое поднимет в конце века Шекспира.

Томас Мор, великий мыслитель, утопист, перед умственным взором которого вставало видение счастливого будущего человечества, был также выдающимся стихотворцем-латинистом, особенно как автор эпиграмм. Но

в развитии английской поэзии на родном языке в начале XVI века особенно плодотворной была деятельность Джона Скелтона. Ученик Эразма (который отметил поэта во время своего пребывания в Англии), Скелтон сочинял и на латыни; но своеобразие его таланта проявилось прежде всего в английских стихах. Скелтон писал в народной традиции, используя незамысловатый, но меткий и красочный народный стих в своей сатирической поэзии и пьесках (перекликающихся с французскими фарсами и немецкими фастнахтшпилями). Среди них особую популярность у современников снискала насмешливая «Книга о Колине Клауте», в центре которой — реалистический образ английского мужика, веселого и предприимчивого малого, иногда прикидывающегося простачком. Этот образ был подхвачен затем Эдмундом Спенсером. В лирике Скелтона отчетливо слышатся интонации народной песни, используется народная лексика и образность. В целом в творчестве Скелтона ярко сказалась англосаксонская, глубоко национальная поэтическая традиция.

Но было и другое: придворные кавалеры Уайетт и Сарри, оба воины и поэты, к 30-м годам XVI века снова возвысили английскую литературу, деградировавшую после Чосера, и создали светскую поэзию в духе и на уровне Петрарки и Клемана Маро. Сарри к тому же оставил мастерской перевод двух песен из «Энеиды» Вергилия. Однако настоящее преобразование английской поэзии — и содержания ее, и метрики — было осуществлено Эдмундом Спенсером, органически соединившим в себе обогащенную национальную традицию и достижения континентальной европейской поэзии. Спенсер воспевал идеального человека, сочетающего рыцарскую доблесть с ренессансной жизнерадостностью и богатством чувств, в его поэзии влюбленность в красоту земного мира и стремление к земному счастью сочетаются с моральной проповедью, в которой уже чувствуется влияние пуритан. В аллегорической поэме «Царица фей» Спенсер воспел королеву Елизавету и ее двор, соединив поэтику итальянской ренессансной поэмы с национальным, британским средневековым сюжетом и насытив повествование отголосками английских рыцарских романов. В двенадцати эклогах «Пастушеского календаря» он создал широкую картину английской жизни, затронув многие вопросы своего времени — о крестьянской доле, о лихоимстве духовенства, о преимуществах сельского жития перед шумным и греховным городским и о чистоте душ, присущей истым детям природы. Правда, за пастухами и пастушками Спенсера легко угадывались образованные придворные в крестьянских одеждах. Поэт изобразил самого себя в маске Колина Клаута — народного персонажа, действующего во многих его произведениях. И в этом есть глубокий и трагический смысл: Эдмунд Спенсер, знавший о бедствиях, обрушившихся на английскую деревню при Тюдорах, ценитель народного юмора и народной поэзии, все-таки не сумел выйти за пределы условного изображения английской действительности, которая предстает в его эклогах как антикизированный мир поселян и пастухов.

Во второй половине XVI века в Англии сложился кружок просвещен-

ных дворян-гуманистов, наподобие французской «Плеяды», горделиво именовавшей себя «Ареопагом». Многие из участников кружка довольно враждебно относились к правлению Елизаветы. К ним был близок мореход и поэт Уолтер Рэли, резко порвавший с итальянской традицией в английской лирике; Рэли создал свою собственную поэтическую манеру, свою интонацию — задушевную, искреннюю, непосредственную. Отношения у Рэли и королевского правительства были явно натянутыми: при Елизавете он томился в тюрьме по пустяковому обвинению, которое было лишь предлогом. При ее наследнике короле Иакове I, выпустившем Рэли из тюрьмы, поэт был казнен в результате особенно гнусной провокации, в ходе которой погиб его единственный сын.

Опале подвергся и другой участник «Ареопага» — Филип Сидни, автор любовного романа, состоящего из цикла сонетов — «Астрофил и Стелла», а также романа «Аркадия», полного горьких раздумий о судьбах Европы. Ему принадлежит и «Защита поэзии», созданная не без влияния француза Дю Белле. От кого защищал поэзию Филип Сидни, снискавший себе смерть в одном из эпизодов Нидерландской революции? От нападок английской знати, презиравшей звание поэта и видевшей в нем нечто вроде шута. Поучая английских провинциалов уважению к званию поэта и к самой поэзии, Сидни вспоминает о великих эпических традициях, живущих в английском народе, требует — в противовес вкусам своего века — изучения не только античного, но и родного поэтического наследия. Так Сидни подходит к теме одного из сонетов Шекспира, в котором поэт горько сетует на то, что презираемая профессия актера ставит его в невыносимое положение перед любимой.

Зрелое английское Возрождение выдвинуло плодовитого поэта Майкла Дрейтона, который с успехом выступал почти во всех жанрах елизаветинской эпохи. В поэме, носящей ученое название «Полиальбион», он создал славословие Англии в форме своеобразной поэтической географии, показал пробуждение страны в ходе меняющего ее облик ренессансного переворота. Патриотический пафос, пронизывающий эту поэму, окрашивает и стихотворение «Азенкур», где поется слава английскому оружию. Любовная лирика Дрейтона выделяется своей искренней нотой на фоне классически условного выражения чувств у многих его современников. Среди них наиболее убежденным сторонником новых классицистических тенденций в английской литературе на рубеже XVI и XVII веков сделался Бен Джонсон, знаток античной культуры, крупнейший драматург и поэт конца английского Возрождения.

Особыми путями шло развитие Возрождения в странах Юго-Восточной Европы.

В Далмации, издавна втянутой в орбиту античной культуры, крупным центром гуманизма оказалась в XVI веке Рагуза-Дубровник, могучий приморский город-коммуна, напоминавший, по структуре и образу жизни, купеческие города-коммуны Италии и тесно связанный с Венецией. Важное

стратегическое положение Дубровника на путях Средиземноморья сделало его участником широкого культурного обмена со многими странами Запада и Востока, взаимодействовавшими в этом регионе. В Дубровнике сложилась пестрая напряженная жизнь, дававшая богатый материал для поэзии. Эта поэзия развивалась на латинском и хорватском языках, причем классическая традиция органически сливалась с традицией самобытной местной литературы, тесно связанной с песенным народным творчеством. Труды нескольких поэтических направлений, соревновавшихся в Далмации, подготовили почву для появления целого ряда крупных поэтов-гуманистов, известных в свое время далеко за пределами Далмации, таких, как Марулич Држич.

На латинской основе развивалась ренессансная поэзия и в Польше XVI века, где в условиях выборной шляхетской монархии образовалось несколько местных центров культурной жизни, выращивавших свои поэтические школы. Но была и национальная гуманистическая традиция, завещанная таким гением, как Коперник. Эта национальная традиция нашла выражение в творчестве Яна Кохановского, не просто поднявшего польскую поэзию XVI века до общеевропейского уровня, но и создавшего в своих «Фрашках» глубоко оригинальную картину жизни Польши своего времени. Эти наброски, сделанные легким пером Кохановского, дополнил Шимон Шимонович в идиллии «Жницы», внеся в польскую поэзию ту народную тематику, которая повсеместно вторгается в европейское искусство эпохи Возрождения.

В литературе Венгрии, которая как раз в XVI веке переживает трагедию турецкого завоевания, ростки Возрождения были заглушены и вытоптаны. Но еще в начале столетия крестьянское восстание под знаменем Дьердя Дожа всколыхнуло страну и засвидетельствовало наличие в ней живых и активных сил. Это они помогли отстоять от вражеских полчищ те немногие венгерские земли, которые избежали турецкого ига и стали прибежищем национальной культуры. Воспитанная в школе латиноязычной литературы, молодая венгерская письменность влилась в общий поток европейского Возрождения прежде всего латинскими произведениями выдающегося гуманиста Борнемиссы. Но политические бури, через которые прошел венгерский народ в XVI веке, способствовали формированию поэзии на народном языке. И в значительной мере в ее традициях писал поэт-рыцарь Балинт Баллаши, гуманист на коне, погибший при защите от турок замка Эстергом. В его любовной поэзии и песенной лирике переплетаются приемы и мотивы ренессансной поэзии итальянцев и французов с образами и ритмами венгерских и славянских народных песен.

Филип Сидни в «Защите поэзии» рассказывает, как, исполняя поручение английской королевы, он побывал в замках венгерских феодалов и слушал во время пира местные героические песни. Не слыхал ли английский поэт и песен Балинта Баллаши, полных трагизма и национального своеобразия? В поэтической тоске и гайдуцкой удали этих песен уже порою чувствуется тот лирический синтез, который через века расцветет в поэзии Петефи.

Самый поздний вклад в европейскую поэзию Возрождения принадлежит поэтам Пиренейского полуострова; решительный поворот к новому мировоззрению и новой культуре произошел здесь только на рубеже XV и XVI веков, чему были свои причины. Прежде всего — затянувшаяся реконкиста, которая потребовала напряжения всех сил разъединенных и нередко враждовавших между собой братских народностей, населявших полуостров. Историческое развитие Испании протекало своеобразно. Королевская власть не имела прочной опоры в испанских городах, и хотя она поочередно сломила непокорную аристократию и городские коммуны, настоящего государственного и национального объединения не произошло: испанские короли владычествовали, опираясь лишь на силу оружия и церковную инквизицию. Открытие в конце XV века Америки и захват огромных ее областей с золотыми и серебряными рудниками на короткий срок привели к неслыханному обогащению Испании, а затем к падению золота в цене и катастрофическому обнищанию страны, где погоня за легкой наживой вытеснила заботу о развитии ремесла и землепашества. Испанская держава стала терять и свое политическое могущество, в конце XVI века от нее отпали Нидерланды, в 1588 году была разгромлена «Непобедимая армада» — испанский флот, посланный на завоевание Англии. Воцарилась реакция. Толпы нищих и бродяг потянулись по выжженным солнцем полям и дорогам страны, которая, сделавшись царством авантюристов и мародеров, во многом оставалась феодальной страной.

И, однако, в Испании расцвела блистательная ренессансная культура. Уже литература позднего средневековья была здесь богата и разнообразна. Арагонские, кастильские, андалусские традиции сливались в нечто новое, вбиравшее в себя и влияния Галисии с ее школой трубадуров, и Каталонии, и особенно Португалии, которая уже в XV веке начала бороться за новые морские пути и в целом обгоняла Испанию в области культурного развития. Тесные культурные связи с Испанией были усилены полувековым (1580—1640 гг.) подчинением Португалии испанской короне. Очень важным для литератур Иберийского полуострова было их многовековое соседство с литературами арабского мира. Через это соседство испанские поэты получили немало мотивов и образов, особенно заметных в романсах XV — XVI веков. С другой стороны, Испания в ту пору была тесно связана с Сицилийским королевством, с Венецией, держала гарнизоны и флоты во многих городах и гаванях Италии. В период своего формирования испанская ренессансная поэзия пережила сильнейшее и длительное влияние итальянской. (То же относится и к литературе Португалии.)

Первый шаг к новшествам, возвещенным итальянской и французской поэзией, сделал испанский поэт Хуан Боскан Альмогавер, выступивший сначала как переводчик Петрарки. Именно Петрарку выбрал Боскан образцом для реформы испанской поэзии.

На некоторое время школа Боскана оказалась ведущей. Но ей решительно возражали сторонники «старокастильской» школы, противопоставив-

ние итальянской ориентации национальную традицию, опиравшиеся на опыт старшего поколения поэтов раннего испанского Возрождения, и прежде всего на Хорхе Манрике. Завязалась ожесточенная борьба направлений в лирике, завершившаяся победой талантливого поэта-рыцаря Гарсиласо де ла Вега, в творчестве которого возобладали общеевропейские поэтические принципы Ренессанса, углубленные и обогащенные за счет обращения к испанской действительности. От Гарсиласо де ла Вега берет начало та линия испанской поэзии Возрождения, которая достигла высокого совершенства, вобрав в себя и традиции старых национальных поэтов, и эмоциональное богатство народного романса, и опыт античного стихосложения наряду с античной образностью. При этом гуманистическое мировоззрение причудливо сплетается в испанской поэзии с элементами средневековой рыцарской идеологии. В силу исторических условий, сделавших Испанию в XVI веке опорой феодально-католической реакции, особое развитие получила религиозная лирика, отнюдь, однако, не замыкавшаяся в узком кругу собственно клерикальных мотивов. Один из наиболее одаренных поэтов этого направления — Луис де Леон, который за вольный перевод библейской «Песни песней» был обвинен в еретичестве и брошен в тюрьму. Глубокая страстность и драматизм поэзии Луиса де Леона, отразившей духовный кризис, которым мучились многие испанские гуманисты XVI века, делают его стихи характерным и значительным памятником эпохи.

Всеобщее признание заслужил в конце XVI века поэт Эррера, автор большого количества пышных стихотворений в духе предклассицизма, над которыми возвышается его ода в честь победы над турками при Лепанто (1570 г.), уже предвосхищающая высокую патетику героической трагедии «Нумансия», написанной позднее Сервантесом.

Испанская лирика выдвинула ряд больших поэтов, выразивших чувство пробуждения формирующейся (но так и не сформировавшейся в полной мере) нации, мысли и чувства нового ренессансного человека — активного участника политической и светской жизни, страстного, просвещенного, жадного до жизни и чуткого к красоте. Это прежде всего Сервантес и Лопе де Вега, которых, при всех различиях, сближает простота и глубоко национальное своеобразие стихотворной манеры. Им противостоят «культеранисты» — лелеявшие прежде всего изощренную поэтическую форму, мастера витиеватого и темного изложения, за условностями которого скрывалось одиночество, чувство призрачности, охватывавшее многих испанцев, живших в те годы, когда за блестящим фасадом испанской монархии все откровеннее проглядывала жалкая и трагическая нищета.

Один из величайших литературных памятников XVI века — поэма «Араукана», созданная испанцем Алонсо де Эрсилья. К моменту выхода в свет этой поэмы уже много было написано о трагедии, разыгравшейся в Южной Америке, где испанские завоеватели пядь за пядью захватывали земли, веками принадлежавшие местным индейским народам, истребляя или порабощая их, разрушали великолепные памятники их культуры и насаждали свои

бесчеловечные порядки, закладывая основу колониальной империи. Уже написана была грубоватая солдатская книга Берналя Диаса, сподвижника Кортеса, лично участвовавшего в разгроме древнего ацтекского царства и полудюжины других, более мелких индейских государств; уже существовала книга Лас-Касаса, честного патера, пытавшегося защитить индейцев от зверства завоевателей и организовать подобие медленного приобщения их к «благам» европейской цивилизации. Эрсилья запечатлел трагедию колонизации Южной Америки в поэтическом произведении, подобных которому мировая литература не знала вплоть до поэм Пабло Неруды. Эрсилья был младшим офицером в испанской экспедиции, направленной против союза племен чилийских индейцев — Арауко, и сделался очевидцем варварских действий поработителей. Сюжет его поэмы основан на историческом факте; в ней рисуется восстание араукан, которые не только дали отпор испанцам, но и навязали им затяжную, тяжелую войну. Ища ответа на вопрос о причинах длительных неудач испанского отряда, гуманист и ученый Эрсилья приходит к выводу, что индейцы защищали свою свободу и что их борьба была справедливой. Поэт отдает должное личной храбрости своих соотечественников, братьев по религии и по оружию, но он полон восхищения мужеством, мудростью и человечностью индейцев, которые становятся истинными героями его поэмы (потому она и названа «Араукана»). Пусть в поэме есть элементы условности и стилизации, пусть чилийские индейцы нередко выглядят в ней как древние греки, как троянцы, рассуждающие о спасении родного города; поразительно, что европеец, сын кровавой и жестокой эпохи первоначального капиталистического накопления, отдал дань уважения и сочувствия индейским народам, погибавшим в неравной борьбе с колонизаторами.

К лучшим образцам испанской ренессансной лирики близки сонеты великого португальского поэта Луиса Камоэнса, отмеченные высоким мастерством и страстным трагическим мироощущением. По новому для иберийской поэзии сложному психологизму и глубине мысли сонеты Камоэнса напоминают сонеты Шекспира.

В поэме «Лузиады» — литературном памятнике мирового значения — Камоэнс создал истинный эпос Ренессанса. Это произведение задумано как национальная героическая поэма в духе «Одиссеи» или «Энеиды», которая прославила бы португальцев — потомков легендарного Луза, лузитан (как называли их римляне). «Лузиада» повествует о морском походе одного из «великих капитанов» той эпохи, Васко да Гамы, проложившего путь в Ост-Индию вокруг южных берегов Африки, и о первом проникновении португальцев в эту страну. Небывало яркие описания чужой природы, то ласкового, то беспощадного моря со смерчами и бурями, сказочного Каликута и тропических островов, восточного базара, экзотических одежд и обычаев туземцев Камоэнс почерпнул из своих личных впечатлений: опальный придворный, потом каторжник, наемный солдат, он долго служил в португаль-

ских войсках, оперировавших за океаном, и делил ратные труды и опасности с простыми людьми своей страны. И хотя сюжет поэмы окружен мифологической рамкой и олимпийские боги участвуют в действии, как у Гомера, помогая или чиня препятствия Васко да Гаме и его храбрым спутникам (Венера — союзница славного португальца, а Вакх — его противник), страницы ее дышат жизненностью. Неразрывная связь с реальной действительностью, с народом, стоящим у парусов, весел и пушек и встречающим шквалы и копья своей грудью, сообщили поэме Камоэнса достоверность поэтического документа, бессмертие пережитого, чего не было ни у Ариосто, ни у Тассо, при всем блеске их поэтического гения. «Лузиада» — подлинное порождение эпохи великих географических открытий; в мировой литературе нет памятников, которые с такой силой зафиксировали бы ее дух.

Итак, от Данте до Бена Джонсона и Лопе де Вега, от зари XIV до середины XVII века — вот пределы, в которые укладывается развитие культуры Возрождения и его поэзия.

Все последующие времена черпали из сокровищницы этой поэзии. К своим провозвестникам — поэтам XVI века восходит французский классицизм; Джон Мильтон — крупнейший английский поэт XVII столетия — опирался на многоязычное наследие ренессансной поэзии; немецкая литература XVII века, вырабатывая стойкость и мужество перед лицом испытаний Тридцатилетней войны, нашла поддержку в поэтическом наследии предыдущего столетия, а в конце XVIII века Гете и Шиллер обратились к эпохе Возрождения, создавая бунтарские титанические образы Карла Моора и Фауста. Когда Вольтер в середине XVIII века предпринял попытку оживления героического эпоса в поэме «Генриада», он в предисловии назвал Ариосто и Тассо, Камоэнса и Эрсилью как своих предшественников в этом жанре наряду с Гомером и Вергилием. Еще больше обязана шутливой эпической поэме итальянского Возрождения Вольтерова «Орлеанская девственница».

Романтики в любой литературе Западной Европы были продолжателями и учениками мастеров эпохи Возрождения. Ее полнокровное, человечное искусство служило образцом для многочисленных прогрессивных поэтов XX века. Художник социалистического реализма, Иоганнес Р. Бехер нашел нужным в свои исследования о современной литературе включить «Малое учение о сонете» — этюд, содержащий внимательный анализ шести языковых аспектов сонета: французского, немецкого, английского, итальянского, португальского и испанского.

Данте, Шекспир, Лопе де Вега, Сервантес, изданные на многих языках народов СССР, стали не просто нашими современниками, но и нашими соратниками. Как и картины художников Возрождения, драматургия, песни и стихи ренессансных поэтов вошли в культурный обиход советского человека.

Один из титанов Возрождения — Джордано Бруно — назвал свою книгу: «Диалог о героическом энтузиазме». Такое название очень точно определяет духовную атмосферу Возрождения, запечатленную в поэзии XIV — XVI веков. Эта поэзия раскрыла красоту человека, богатство его внутренней жизни и неисчислимое разнообразие его ощущений, показала великолепие земного мира, провозгласила право человека на земное счастье. Литература Возрождения подняла призвание поэта до высокой миссии служения человечеству.

Колумб открыл путь к новому континенту. Континент чувств и мыслей, найденный поэтами Возрождения, был не меньшим открытием.

Р. САМАРИН

ИТАЛИЯ

* * *

Вовек не искупить своей вины
Моим глазам: настолько низко пали
Они, что Гаризендой пленены,
Откуда взор охватывает дали,

Не видели прекраснейшей жены,
Прошедшей рядом (чтоб они пропали!),
И я считаю — оба знать должны,
Что сами путь погибельный избрали.

А подвело мои глаза чутье,
Которое настолько притупилось,
Что не сказало им, куда глядеть.

И принято решение мое:
Коль скоро не сменю я гнев на милость,
Я их убью, чтоб не глупили впредь.

* * *

О бог любви, ты видишь, эта дама
Твою отвергла силу в злое время,
А каждая тебе покорна дама.
Но власть свою моя познала дама,
В моем лице увидя отблеск света
Твоих глубин; жестокой стала дама.
Людское сердце утеряла дама.

В ней сердце хищника, дыханье хлада.
Средь зимнего мне показалось хлада
И в летний жар, что предо мною — дама.
Не женщина она — прекрасный камень,
Изваянный рукой умелой камень.

Я верен, постоянен, словно камень.
Прекрасная меня пленила дама.
Ты ударял о камень жесткий камень;
Удары я сокрыл,— безмолвен камень.
Я досаждал тебе давно, но время
На сердце давит тяжелей, чем камень.
И в этом мире неизвестен камень,
Пленяющий таким обильем света,
Великой славой солнечного света,
Который победил бы Пьетру-камень,
Чтоб не притягивала в царство хлада,
Туда, где гибну я в объятьях хлада.

Владыка, знаешь ли, что силой хлада
Вода в кристальный превратилась камень;
Под ветром северным в сиянье хлада,
Где самый воздух в элементы хлада
Преображен, водою стала дама
Кристальною по изволенье хлада.
И от лица ее во власти хлада
Застынет кровь моя в любое время.
Я чувствую, как убывает время,
И жизнь стесняется в пределах хлада.
От гибельного, рокового света
Померк мой взор, почти лишенный света.

В ней торжество ликующего света,
Но сердце дамы под покровом хлада.
В ее очах безлюбых сила света,
Вся прелесть и краса земного света.
Я вижу Пьетру в драгоценном камне,
Я вижу только Пьетру в славе света.
Никто очей пресладостного света
Не затемнит, столь несравненна дама.
О, если б снизошла к страданьям дама
Средь темной ночи иль дневного света!
О, пусть укажет для служенья время,—
Лишь для любви пусть длится жизни время.

И пусть Любовь, что предварила время,
И чувственное ощущенье света,
И звезд движенье, сократит мне время
Страдания. Проникнуть в сердце время
Настало, чтоб изгнать дыханье хлада.
Покой неведом мне, пусть длится время,
Меня уничтожающее время.
Коль будет так, увидит Пьетра-камень,
Как скроет жизнь мою надгробный камень,
Но Страшного суда настанет время,
Восстав, увижу — есть ли в мире дама
Столь беспощадная, как эта дама.

В моем, канцона, скрыта сердце дама.
Пусть для меня она застывший камень,
Я пламенем предел наполнил хлада,
Где каждый подчинен законам хлада,
И новый облик создаю для света,
Быстротекущее отвергну время.

* * *

Недолго мне слезами разразиться
Теперь, когда на сердце — новый гнет,
Но ты, о справедливости оплот,
Всевышний, не позволь слезам пролиться:

Пускай твоя суровая десница
Убийцу справедливости найдет,
Которому потворствует деспóт,
Что, ядом палача вспоив, стремится

Залить смертельным зельем белый свет;
Молчит, объятый страхом, люд смиренный,
Но ты, любви огонь, небесный свет,

Вели восстать безвинно убиенной,
Подъемли правду, без которой нет
И быть не может мира во вселенной.

* * *

В собранье песен, верных юной страсти,
Щемящий отзвук вздохов не угас
С тех пор, как я ошибся в первый раз,
Не ведая своей грядущей части.

У тщетных грез и тщетных дум во власти,
Неровно песнь моя звучит подчас,
За что прошу не о прощенье вас,
Влюбленные, а только об участье.

Ведь то, что надо мной смеялся всяк,
Не значило, что судьи слишком строги:
Я вижу ныне сам, что был смешон.

И за былую жажду тщетных благ
Казню теперь себя, поняв в итоге,
Что радости мирские — краткий сон.

* * *

О вашей красоте в стихах молчу,
И уповать не смею на прощенье,
И, полагаясь на воображенье,
Упущенное наверстать хочу.

Но это мне, увы, не по плечу,
Тут не поможет все мое уменье,
И знает, что бессильно, вдохновенье,
И я его напрасно горячу.

Не раз преисполнялся я отваги,
Но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?

Не раз перо я подносил к бумаге,
Но и рука, и разум мой сдавались
На первом слове. И опять сдались.

* * *

Мгновенья счастья на подъем ленивы,
Когда зовет их алчный зов тоски;
Но, чтоб уйти, мелькнув,— как тигр, легки.
Я сны ловить устал. Надежды лживы.

Скорей снега согреются, разливы
Морей иссохнут, невод рыбаки
В горах закинут,— там, где две реки,
Евфрат и Тигр, влачат свои извивы

Из одного истока, Феб зайдет,—
Чем я покой найду иль от врагини,
С которой ковы на меня кует

Амур, мой бог, дождуся благостыни.
И мед скупой — устам, огонь полыни
Изведавшим,— не сладок, поздний мед!

* * *

О благородный дух, наставник плоти,
В которой пребыванье обрела
Земная жизнь достойного синьора,
Ты обладатель славного жезла,
Бича заблудших, и тебе, в расчете
Увидеть Рим спасенным от позора,—
Тебе реку, грядущего опора,
Когда в других добра померкнул свет
И не тревожит совесть укоризна.
Чего ты ждешь, скажи, на что отчизна

Надеется, своих не чуя бед?
Ужели силы нет,
Чтоб разбудить лентяйку? Что есть духу
За волосы бы я встряхнул старуху!

Едва ли зов, тем паче одинокий,
Ее поднимет, спящую таким
Тяжелым сном, что трудно добудиться.
Но не случайно днесь рукам твоим,
Способным этот сон прервать глубокий,
Былая наша вверена столица.
Не медли же: да вцепится десница
В растрепанные косы сей жены,
В грязи простертой, и заставит вежды
Открыть ее. К тебе мои надежды
Сегодня, римский вождь, обращены:
Коль Марсовы сыны
Исконной вновь должны плениться славой,
То это будет под твоей державой.

Остатки древних стен, благоговенье
Внушающие либо страх, когда
Былого вспоминаются картины,
Гробницы, где сокрыты навсегда
Останки тех, кого не ждет забвенье,
Какой бы срок ни минул с их кончины,
И прошлых добродетелей руины
С надеждой ныне на тебя глядят.
О верный долгу Брут, о Сципионы,
Узнав, что в Риме новые законы,
Вы станете блаженнее стократ.
И думаю, что, рад
Нежданным новостям, Фабриций скажет:
«Мой славный Рим еще себя покажет».

На небесах, за дольний мир в тревоге,
Святые души, оболочку тел
В земле оставя, заклинают ныне
Тебя раздорам положить предел,
Из-за которых людям нет дороги
В дома святых, и бывшие святыни
Безлюдные стоят в земной пустыне,
Разбойничий напоминая грот:
Меж алтарей и статуй оголенных

Во храмах, для молений возведенных,
Растет жестоким заговорам счет.
Все днесь наоборот,
И нет чтобы Творца восславить боем,
Колокола зовут идти разбоем.

Рыдающие женщины и дети,
Народ — от молодых до стариков,
Которым стало в этом мире дико,
Монахи, бел иль черен их покров,
Кричат тебе: «Лишь ты один на свете
Помочь нам в силах. Заступись, владыко!»
Несчастный люд от мала до велика
Увечья обнажает пред тобой,
Что Ганнибала бы и то смягчили.
Пожары дом господень охватили,
Но если погасить очаг-другой
Решительной рукой,
Бесчестные погаснут притязанья,
И бог твои благословит деянья.

Орлы и змеи, волки и медведи
Подчас колонне мраморной вредят
И тем самим себе вредят немало.
По их вине слезами застлан взгляд
Их матери, которая воззвала
К тебе, в твоей уверена победе.
Тысячелетие, как в ней не стало
Великих душ и пламенных сердец,
Прославивших ее в былое время.
О новое надменнейшее племя,
Позорящее матери венец!
Ты муж, и ты отец:
Увы, не до нее отцу святому,
Что предпочел чужой родному дому.

Как правило, высокие стремленья
Находят злого недруга в судьбе,
Привыкшей палки ставить нам в колеса,
Но ныне, благосклонная к тебе,
Она достойна моего прощенья,
Хоть на меня всегда смотрела косо.
Никто себе не задавал вопроса,
Зачем она не любит открывать

При жизни людям путь к бессмертной славе.
Я верю,— благороднейшей державе
Ты встать поможешь на ноги опять,
И смогут все сказать:
«Другие ей во цвете лет служили,
Он старую не уступил могиле».

На Капитолии, канцона, встретишь
Ты рыцаря, что повсеместно чтим
За преданность свою великой цели.
Ты молвишь: «Некто, знающий доселе
Тебя, синьор, лишь по делам твоим,
Просил сказать, что Рим
Тебя сквозь слезы умоляет ныне
Со всех семи холмов о благостыне».

* * *

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны,—
Дум золотых о ней, единой, сплав!

* * *

Кто плаванье избрал призваньем жизни
И по волнам, коварно скрывшим рифы,
Пустился в путь на крошечной скорлупке,
Того и чудо не спасет от смерти,

И лучше бы ему вернуться в гавань,
Пока его рукам послушен парус.

Дыханью сладостному этот парус
Доверил я в начале новой жизни,
Надеясь лучшую увидеть гавань.
И что же? Он понес меня на рифы,
И все-таки причина страшной смерти
Не где-то кроется, а здесь, в скорлупке.

Надолго запертый в слепой скорлупке,
Я плыл, не поднимая глаз на парус,
Что увлекал меня до срока к смерти.
Однако тот, кто нас ведет по жизни,
Предупредил меня про эти рифы,
Дав — издали хотя бы — узреть гавань.

Огни, что ночью призывают в гавань,
Путь указуют судну и скорлупке
Туда, где штормы не страшны и рифы.
Так я, подняв глаза на вздутый парус,
Увидел небо — царство вечной жизни —
И в первый раз не испугался смерти.

Нет, я не тороплюсь навстречу смерти,
Я засветло хочу увидеть гавань,
Но, чтоб доплыть, боюсь — не хватит жизни;
К тому же трудно плыть в такой скорлупке,
Когда дыханием наполнен парус —
Тем самым, что несет меня на рифы.

Когда бы смертью не грозили рифы,
Я не искал бы утешенья в смерти,
А повернул бы непокорный парус
И бросил якорь — сам бы выбрал гавань.
Но я горю под стать сухой скорлупке,
Не в силах изменить привычной жизни.

Ты, без кого ни смерти нет, ни жизни!
Скорлупке утлой угрожают рифы,—
Направь же в гавань изможденный парус.

* * *

О высший дар, бесценная свобода,
Я потерял тебя и лишь тогда,
Прозрев, увидел, что любовь — беда,
Что мне страдать все больше год от года.

Для взгляда после твоего ухода —
Ничто рассудка трезвого узда:
Глазам земная красота чужда,
Как чуждо все, что создала природа.

И слушать о других, и речь вести —
Не может быть невыносимей муки,
Одно лишь имя у меня в чести.

К любой другой заказаны пути
Для ног моих, и не могли бы руки
В стихах другую так превознести.

* * *

Узнав из ваших полных скорби строк
О том, как чтили вы меня, беднягу,
Я положил перед собой бумагу,
Спеша заверить вас, что, если б мог,

Давно бы умер я, но дайте срок —
И я безропотно в могилу лягу,
Притом что к смерти отношусь, как к благу,
И видел в двух шагах ее чертог,

Но повернул обратно, озадачен
Тем, что при входе не сумел прочесть,
Какой же день, какой мне час назначен.

Премного вам признателен за честь,
Но выбор ваш, поверьте, неудачен:
Достойнее гораздо люди есть.

* * *

Италия моя, твоих страданий
Слова не пресекут:
Отчаянье, увы, плохой целитель,
Но я надеюсь, не молчанья ждут
На Тибре, и в Тоскане,
И здесь, на По, где днесь моя обитель.
Прошу тебя, Спаситель,
На землю взор участливый склони
И над священной смилуйся страною,
Охваченной резнею
Без всяких оснований для резни.
В сердцах искорени
Жестокое начало
И вечной истине отверзни их,
Позволив, чтоб звучала
Она из недостойных уст моих.

Помилуйте, случайные владельцы
Измученных земель,
Что делают в краю волшебном своры
Вооруженных варваров? Ужель
Должны решать пришельцы
В кровопролитных битвах ваши споры?
Вы ищете опоры
В продажном сердце, но велик ли прок
В любви, подогреваемой деньгами:
Чем больше рать за вами,
Тем больше оснований для тревог.
О бешеный поток,
В какой стране пустынной
Родился ты, чтоб наши нивы смять?
Когда всему причиной
Мы сами, кто тебя направит вспять?

Чтоб нам тевтоны угрожать не смели,
Природа возвела
Спасительные Альпы, но слепая
Корысть со временем свое взяла,
И на здоровом теле
Гноеточит лишай, не заживая.
Сегодня волчья стая

В одном загоне с овцами живет.
И кто страдает? Тот, кто безобидней,
И это тем постыдней,
Что нечисть эту породил народ,
Которому живот
Вспорол бесстрашный Марий,
Не ведавший усталости, пока
От крови подлых тварей
Соленою не сделалась река.

Не стану здесь перечислять победы,
Которые не раз
Над ними Цезарь праздновал когда-то.
Кого благодарить, когда не вас,
За нынешние беды,
За то, что неуемной жаждой злата
Отечество разъято
И пришлый меч гуляет по стране?
По чьей вине и по какому праву
Чините вы расправу
Над бедным, наживаясь на войне,
И кличете извне
Людей, готовых кровью
Расходы ваши оправдать сполна?
Не из любви к злословью
Глаголю я,— мне истина важна.

На хитрого баварца положиться
И после всех измен
Не раскусить предателя в наймите!
Едва опасность, он сдается в плен,
И ваша кровь струится
Обильней в каждом из кровопролитий.
С раздумий день начните
И сами убедитесь, до чего
Губительное вы несете бремя.
Латинян славных племя,
Гони пришельцев всех до одного,
Оспорив торжество
Отсталого народа.
Коль скоро он сильнее нас умом,
То вовсе не природа,
Но мы, и только мы, повинны в том.

Где я родился, где я вырос, если
Не в этой стороне?
Не в этом ли гнезде меня вскормили?
Какой предел на свете ближе мне,
Чем этот край? Не здесь ли
Почиют старики мои в могиле?
Дай бог, чтоб исходили
Из этой мысли вы! Смотрите, как
Несчастный люд под вашей властью страждет;
Он состраданья жаждет
От неба и от вас. Подайте знак —
И тут же свет на мрак
Оружие поднимет,
И кратким будет бой на этот раз,
Затем что не отнимет
Никто исконной доблести у нас.

Владыки, не надейтесь на отсрочку,—
У смерти свой расчет,
И время не остановить в полете:
Вы нынче здесь, но знайте наперед,
Что душам в одиночку
Держать ответ на страшном повороте.
Пока вы здесь бредете,
Сумейте зло в себе преодолеть,
Благому ветру паруса подставив
И помыслы направив
Не на бесчинства, а на то, чтоб впредь
В деяниях греметь
Ума иль рук. Иначе
На этом свете вам не обрести
Блаженства, и тем паче
На небо вам заказаны пути.

Послание мое,
Стой на своем, не повышая тона,
Поскольку к людям ты обращено,
Которые давно
От правды отвернулись оскорбленно.
Зато тебя, канцона,
Приветят дружно те,
Что о добре пекутся, к чести мира.
Так будь на высоте,
Иди, взывая: «Мира! Мира! Мира!»

* * *

Что ж, в том же духе продолжай, покуда
Всевышний не спалил тебя дотла
За все твои постыдные дела,
Грабитель обездоленного люда!

Чревоугодник, раб вина и блуда,
Ты мир опутал щупальцами зла,
Здесь Похоть пышное гнездо свила,
И многое еще пошло отсюда.

В твоих покоях дьявол, обнаглев,
Гуляет, зеркалами повторенный,
В объятья стариков бросая дев.

Богач никчемный, в бедности вскормленный,
Дождешься — на тебя обрушит гнев
Господь, услышав запах твой зловонный.

* * *

Источник скорби, бешенства обитель,
Храм ереси, в недавнем прошлом — Рим,
Ты Вавилоном сделался вторым,
Где обречен слезам несчастный житель.

Тюрьма, горнило лжи, добра губитель,
Кромешный ад, где изнывать живым,
Неужто преступлениям твоим
Предела не положит вседержитель?

Рожденный не для этих святотатств,
Ты оскорбляешь свой высокий чин,
Уподобляясь грязной потаскухе.

Во что ты веришь? В торжество богатств?
В прелюбодейства? Вряд ли Константин
Вернется. Не в аду радеть о духе.

* * *

Земля и небо замерли во сне,
И зверь затих, и отдыхает птица,
И звездная свершает колесница
Объезд ночных владений в вышине,

А я — в слезах, в раздумиях, в огне,
От мук моих бессильный отрешиться,
Единственный, кому сейчас не спится,
Но образ милый — утешенье мне.

Так повелось, что, утоляя жажду,
Из одного источника живого
Нектар с отравой вперемешку пью,

И чтобы впредь страдать, как ныне стражду,
Сто раз убитый в день, рождаюсь снова,
Не видя той, что боль уймет мою.

* * *

Нет больше величайшей из колонн,
Нет лавра. За утратою — утрата.
От стран Восхода и до стран Заката
Я не найду того, чего лишен.

Ты нанесла мне, Смерть, двойной урон,
И скорбью день и ночь душа объята:
Любовь и дружество дороже злата,
Камней Востока, скипетров, корон.

Когда ж была на это воля Рока,
Что делать? Он поставил на своем.
О жизнь, ты только с виду не жестока!

Красавица с приветливым лицом,
Легко отъемлешь ты в мгновенье ока
То, что годами копится с трудом.

* * *

Поют ли жалобно лесные птицы,
Листва ли шепчет в летнем ветерке,
Струи ли с нежным рокотом в реке,
Лаская брег, гурлят, как голубицы,—

Где б я ни сел, чтоб новые страницы
Вписать в дневник любви,— моей тоске
Родные вздохи вторят вдалеке,
И тень мелькнет живой моей царицы.

Слова я слышу... «Полно дух крушить
Безвременно печалию,— шепнула.—
Пора от слез ланиты осушить!

Бессмертье в небе грудь моя вдохнула.
Его ль меня хотел бы ты лишить?
Чтоб там прозреть, я здесь глаза сомкнула».

* * *

Свой пламенник, прекрасней и ясней
Окрестных звезд, в ней небо даровало
На краткий срок земле; но ревновало
Ее вернуть на родину огней.

Проснись, прозри! С невозвратимых дней
Волшебное спадает покрывало.
Тому, что́ грудь мятежно волновало,
Сказала «нет» она. Ты спорил с ней.

Благодари! То нежным умиленьем,
То строгостью она любовь звала
Божественней расцвесть над вожделеньем.

Святых искусств достойные дела
Глаголом гимн творит, краса — явленьем:
Я сплел ей лавр, она меня спасла!

* * *

Я припадал к ее стопам в стихах,
Сердечным жаром наполняя звуки,
И сам с собою пребывал в разлуке:
Сам — на земле, а думы — в облаках.

Я пел о золотых ее кудрях,
Я воспевал ее глаза и руки,
Блаженством райским почитая муки,
И вот теперь она — холодный прах.

А я, без маяка, в скорлупке сирой
Сквозь шторм, который для меня не внове,
Плыву по жизни, правя наугад.

Да оборвется здесь на полуслове
Любовный стих! Певец устал, и лира
Настроена на самый скорбный лад.

* * *

Той, для которой Соргу перед Арно
Я предпочел и вольную нужду
Служенью за внушительную мзду,
На свете больше нет: судьба коварна.

Не будет мне потомство благодарно,—
Напрасно за мазком мазок кладу:
Краса любимой, на мою беду,
Не так, как в жизни, в песнях лучезарна.

Одни наброски — сколько ни пиши,
Но черт отдельных для портрета мало,
Как были бы они ни хороши.

Душевной красотой она пленяла,
Но лишь доходит дело до души —
Умения писать как не бывало.

* * *

Промчались дни мои быстрее лани,
И если счастье улыбалось им,
Оно мгновенно превращалось в дым.
О, сладостная боль воспоминаний!

О, мир превратный! Знать бы мне заране,
Что слеп, кто верит чаяньям слепым!
Она лежит под сводом гробовым,
И между ней и прахом стерлись грани.

Но высшая краса вознесена
На небеса, и этой неземною
Красой, как прежде, жизнь моя полна,

И трепетная дума сединою
Мое чело венчает: где она?
Какой предстанет завтра предо мною?

* * *

Быть может, сладкой радостью когда-то
Была любовь, хоть не скажу когда;
Теперь, увы! она — моя беда,
Теперь я знаю, чем она чревата.

Подлунной гордость, та, чье имя свято,
Кто ныне там, где свет царит всегда,
Мне краткий мир дарила иногда,
Но это — в прошлом. Вот она, расплата!

Смерть унесла мои отрады прочь,
И даже дума о душе на воле
Бессильна горю моему помочь.

Я плакал, но и пел. Не знает боле
Мой стих разнообразья: день и ночь
В глазах и на устах — лишь знаки боли.

* * *

Прошу, Амур, на помощь мне приди,—
Написано о милой слишком мало:
Перо в руке натруженной устало
И вдохновенья пыл ослаб в груди.

До совершенства строки доведи,
Чтоб цели ни одна не миновала,
Затем что равных на земле не знала
Мадонна, чудо — смертных посреди.

И говорит Амур: «Отвечу прямо,
Тебе поможет лишь любовь твоя,—
Поверь, что помощь не нужна другая.

Такой души от первых дней Адама
Не видел мир, и если плачу я,
То и тебе скажу — пиши, рыдая».

АФРИКА

Отрывок

*

Так, хоть и ранен он был и добра не сулила примета,
С якоря снялся Магон и, Генуи берег покинув,
Морю вверил себя, чтоб домой напрямик воротиться,
Если то суждено. Постепенно становится выше
Гор кедроносных гряда,— нет лучше лесов, чем на этом
Взморье, где редкие пальмы вдали зеленеют по склонам.
Дальше — гавань Дельфин, защищенная солнечной рощей
Мыса, что гребнем своим отметает разгульную силу
Австров и вечно хранит спокойствие вод неподвижных.
Там же, с другой строны, залив извивается Сестри.
Дальше, на Красную гору и кряжи Корнелии глядя,
Тянутся дружно холмы виноградников, Бахусу милых,
Щедро залиты солнцем— сладчайшим славятся соком
Здешние лозы везде, отступить перед ними не стыдно
Ни фалернским винам, ни даже хваленым мероийским.
То ли бесплодны тогда, то ли просто неведомы были

Эти земли поэтам, но песен о них не слагали,
Я их сегодня обязан воспеть. Вот, на́ берег глядя,
Видят остров пловцы и Венерой любимую гавань,
Прямо напротив которой гора возвышается Эрик,
Что в италийском краю сицилийское носит названье.
Эти холмы, я слыхал, Минерва сама возлюбила,
Ради местных олив родные покинув Афины.
Вот и Во́рона выступ врезается в воду, и волны
С гулом и плеском кругом о камни на мелях дробятся.
Знают о том моряки, что здесь, среди отмели черной,
Вздыблен отвесный утес, а рядом с этим утесом
Ярко белеет скала под ударами жгучими Феба.
Вот уже различимы в укромной извилине бухты
Устье стремительной Макры и Лу́ны высокой чертоги.
Вот и медленный Арн, усмиряющий волны морские,
Город стоит на его берегах, прекрасная Пиза.
Взоры пловцов и персты ее отмечают. А дальше
Берег Этрурии виден и крошечный остров Горгона,
Славная Эльба видна и Капрая, где только крутые
Скалы повсюду. И вот позади остался и слева
Джильо, что мрамором белым богат,— напротив и рядом
Две горы, чьи названья от двух происходят металлов,
Ибо их нарекли Серебряный холм и Свинцовый.
Здесь Геркулесов залив, у горки отлогой, и гавань,
Что Теламон основал, и хоть бедный водою, но бурным
Омутом страшный поток, жестокий с пловцами Омброне.
Справа подветренный берег остался Корсики, густо
Лесом поросшей. И вот Сардиния взгорий тлетворных
Цепь открывает вдали с одной стороны, а напротив
Рим златоглавый и Тибра на взморье клокочущем устье.
Этих достигнув краев, среди моря, юный пуниец
Близость смерти суровой почуял: все жарче и жарче
Страшная рана горит, и боль спирает дыханье.
Глядя последнему часу в лицо, карфагенянин начал
Речь свою: «Вот он каков, конец удачи высокой!
Как мы в радостях слепы! Безумцы те, что ликуют,
Гордые, стоя над бездной! Несметным подвержена смутам
Их судьба, и любой, кто к высотам возносится, кончит
Тем, что рухнет. Вершина великих почестей зыбка,
Лживы надежды людей, обманчивым блеском покрыта
Слава пустая, и жизнь, что в труде непрестанном проходит,
Ненадежна, увы, надежен лишь вечно нежданный
День, в который умрем! Увы, с нелегкой судьбою
Люди родятся на свет! Все твари живые спокойны;

Нет лишь людям покоя. Весь век пребывая в тревоге,
К смерти спешит человек. О смерть, величайшее благо,
Только ты и способна ошибки открыть и развеять
Жизни вздорные сны. Несчастный, вижу теперь я,
Сколько сил положил впустую, как много ненужных
Взял трудов на себя. Человек, умереть обреченный,
К звездам стремится взлететь, но дел человеческих цену
Смерть заставляет познать. Зачем на Лаций могучий
Шел я с огнем и мечом? Зачем посягал на порядок,
В мире царивший, зачем города повергал я в смятенье?
Что мне в блестящих дворцах, в их мраморных стенах высоких,
Мною воздвигнутых, если злосчастный мне жребий достался
Смерть под открытым небом принять. О брат дорогой мой,
Что ты задумал свершить, не зная жестокости рока,
Доли не зная моей?» Умолк он. И с ветром унесся
Дух отлетевший его в такие высоты, откуда
Рим и родной Карфаген одинаково взору открыты.
Счастье его, что до срока ушел: ни разгрома не видел
Полного в самом конце, ни позора, что славному войску
Выпал, ни общего с братом и родиной попранной горя.

ФЬЕЗОЛАНСКИЕ НИМФЫ

Отрывок

Со множеством прельщений и молений
Пред Мензолой тут Африко поник,—
Раз во сто больше наших исчислений;
Так жадно целовал уста и лик,
Что много раз, и все самозабвенней,
Пронзительный ему ответил крик.
Ей подбородок, шею, грудь лобзая,
Он мнил — фиалка дышит полевая.

Какая башня твердо возвышалась
Тут на земле, чтобы, потрясена
Напорами такими, не шаталась
И, гордая, не пала бы она?
Кто б, сердцем женщина, тверда осталась,
Его броней стальной защищена,
Лобзаньям и прельщеньям недоступна,
Что сдвинули б и горы совокупно?

Но сердце Мензолы стальным ли было,
Колеблясь и борясь из крайних сил?
Амура восторжествовала сила,
Он взял ее, связал — и победил.
Сначала нежный вкус в ней оскорбила
Обида некая; но милый — мил;
Потом помнилось, что влилось в мученье
Желанье нежное и наслажденье.

И так была душой проста девица,
Что не ждала иного ничего
Возможного: ей негде просветиться,
Как человеческое естество
Рождается и человек творится,—
Слыхала вскользь — не более того;
Не знала, что двоих соединенье
Таит живого третьего рожденье.

Целуя, молвила: «Мой друг бесценный,
Какой-то властной нежною судьбой
Влекусь тебе предаться непременно
И не искать защиты никакой
Против тебя. Сдаюсь тебе — и пленной
Нет сил уж никаких перед тобой
Противиться Амуру: истиранил
Меня тобой — глубоко в сердце ранил.

И я исполню все твои желанья,
Все, что захочешь, сделаешь со мной;
Утратила я силы для восстанья
Перед Амуром и твоей мольбой;
Но лишь молю — яви же состраданье,—
Потом иди скорей к себе домой:
Боюсь, что все же буду здесь открыта
Подругами моими — и убита».

Дух Африко тут радость охватила
При виде, как в душе приятно ей;
Ее целуя, сколько силы было,
Он меру знал в одной душе своей.
Природа их на хитрость убедила —
Одежды снять как можно поскорей.
Казалось, у двоих одно лишь тело;
Природа им обоим так велела.

Друг друга целовали, и кусали
Уста в уста, и крепко обнялись.
«Душа моя!» — друг дружке лепетали.
Воды! Воды! Пожар! Остановись!
Мололи жернова — не уставали,
И оба распростерлись, улеглись.
«Остановись! Увы, увы, увы!
Дай умереть! На помощь, боги, вы!»

Вода поспела, пламя погасили,
Замолкли жернова,— пора пришла.
С Юпитером так боги пособили,
Что Мензола от мужа зачала
Младенца — мальчика; что в полной силе
И доблести он рос — вершить дела;
Все в свой черед — так о повествованье
Мы доброе дадим воспоминанье.

Так целый день почти что миновался,
Край только солнца, видный, пламенел,
Когда усладой каждый надышался,
Все совершив, обрел, чего хотел;
Тут Африко уйти уж собирался,
Как сам решил, но все душой болел;
И, Мензолу руками обнимая,
Он говорил, влюбленный лик лобзая:

«Будь проклята, о ночь, с своею тьмою,
Завистница восторга нас двоих!
Ведь я так рано принужден тобою
Покинуть благородную! Каких
Я ждал блаженств — и их лишен судьбою!»
И много длительных речей иных
В страдании глубоком изливалось:
Разлука горше смерти показалась.

Стояла Мензола, мила, стыдлива,
Потупившись, как будто бы грешна,
Хотя уж не была она так живо,
Как в первый раз, тоской удручена.
Разнеженная, хоть чужда порыва,
Была уже счастливее она.
Обмана все-таки ей страшно было
Невольно — и она заговорила:

«Что можешь сделать ты — еще не знаю;
Не уходить — предлог теперь какой?
Любовь моя, тебя я умоляю,—
Ты утолен со всею полнотой —
Ты должен удалиться, полагаю,
Не медля ни минуты здесь со мной.
Ведь только если ты уйдешь, любимый,
Я здесь могу остаться невредимой.

И лишь листок, я слышу, шевельнется,
Мне чудятся шаги подруг моих.
Так пусть тебе в разлуке не взгрустнется:
Ведь от напастей я спасусь лихих.
Хоть пред разлукой больно сердце бьется,
Готова я, и страх во мне затих,
А ночь близка, а нам идти далеко
Обоим, чтобы дома быть до срока.

Но, юноша, скажи свое мне имя,
И пусть оно останется со мной:
Мне груз любви тяготами своими
С ним будет легче, нежели одной».
«Моя душа,— ответил он,— какими
Жить силами смогу, простясь с тобой?»
И назвал ей себя — и целовались
Они без счета, нежно миловались.

Влюбленные, готовые расстаться,
Уже прощались столько, столько раз
И не могли никак нацеловаться,—
Глав тысячу б я вел о том рассказ.
Но это всем знакомо, может статься,
Кто наслаждался так хотя бы раз,
Кто знает, сколько несказанной муки
В усладе, что обречена разлуке.

Несчетных поцелуев не умели
Они унять. Пойдут, скрепив сердца,
Но шаг — и вновь назад, к желанной цели —
Лобзать румянец милого лица.
«Моя душа! Прощай! Зачем? Ужели?» —
Друг другу лепетали без конца,
Вздыхая, и расстаться не решались,
Сходились вновь, и шли, и возвращались.

Но, видя, что уж невозможно дале
Отсрочить расставание никак,
В объятья руки жадные сплетали,
Друг друга, страстные, сжимая так,
Что их бы силою не разорвали:
Любовь не отступала ни на шаг.
И долго так стояло изваянье —
Любовники влюбленные в слиянье.

* * *

На лодке госпожа моя каталась,
И не было вокруг быстрей челна,
И пела песню новую она,
Как только песня прежняя кончалась.

И лодка то у берега качалась,
То с берега была едва видна,
И среди стольких жен в тот день одна
Рожденною на небесах казалась.

Я видел — словно к чуду наших дней,
Исполненные чувством восхищенья,
Тянулись люди к ней со всех сторон.

И пробуждалися в душе моей
Все чувства, и не знало насыщенья
Блаженство петь о том, как я влюблен.

* * *

На мураву присев у родника,
Три ангельских созданья обсуждали
Возлюбленных,— от истины едва ли
Была моя догадка далека.

Струясь из-под зеленого венка,
Густые кудри златом отливали,
И цвет на цвет взаимно набегали,
Послушные дыханью ветерка.

Потом я слышал, как одна спросила:
«А что, как наши милые сейчас
Сюда пришли бы? Что бы с нами было?

Мы скрылись бы от их нескромных глаз?»
В ответ подруги: «Никакая сила
Спасаться бегством не заставит нас».

* * *

Мне имя Данте, Данте Алигьери,
Я новая Минерва, чей язык
Родимым красноречием велик,
Ее ума достойным в полной мере.

Я в преисподней был и в третьей сфере,
Куда воображением проник —
С намереньем последнею из книг
Развлечь потомков и наставить в вере.

Флоренция, моя родная мать,
Мне мачехою сделалась постылой,
Дав сына своего оклеветать.

Изгнанника Равенна приютила,
Ей — тело, духу — Божья благодать,
И зависть пред согласьем отступила.

* * *

Ты помнишь клятвы, полные огня,
Что слух еще недавно мне ласкали?
Когда ты день не видела меня,
Твои глаза везде меня искали,
И если не было нигде меня,
Сердечко разрывалось от печали.
А нынче смотришь — и не узнаешь,
Раба не ставя бывшего ни в грош.

* * *

Когда б на ветках языки росли,
И дерево, как люди, говорило,
И перья прорастали из земли,
А в синем море пенились чернила,—
Поведать и они бы не могли,
Как ты прекрасна: слов бы не хватило.
Перед твоим рождением на свет
Святые собрались держать совет.

* * *

Поэзия и Бритва. Кто кого?
Одна ворчит: — С тобой не сладишь дела.
Ты отвлекаешь моего Буркьелло,
И он не сочиняет ничего.

Другая из стакана своего
Выпархивает на трибуну смело:
— Прости меня, но ты мне надоела.
Вообразила делом баловство!

Не будь меня, и помазка, и мыла,—
Хоть и от нас не больно прок велик,—
Ты голодом его бы уморила.

— Позволь заметить, коли спор возник,
Что ты о пылком сердце позабыла,
А мой Буркьелло сердцем не старик.

Тут я: — Кончайте крик.
Для той из вас я всех дороже в мире,
Кто мне стаканчик поднесет в трактире.

* * *

Не бойся, коль подагра завелась,—
Тебя избавлю я от этой пытки:
Возьми пораньше утром желчь улитки,
Сними с одежды мартовскую грязь,

Свари морскую губку, запасясь
В придачу светом — три-четыре нитки —
И тенью, слей из котелка избытки,
Смешай все вместе — и готова мазь.

О свойствах не забудь недостающих
И приготовь еще один состав,
Чтоб не осталось вовсе болей злющих:

Сверчковый жир возьми, сверчка поймав,
И голоса в пустыне вопиющих,
И мелкий порошок гражданских прав;

А если ты из пьющих,
Стакан святой...— чуть не сказал «воды» —
Тебя вконец избавит от беды.

ПОЦЕЛУИ БАТИЛЛЫ

Ты, смеясь, поцелуя не дала мне,
Плача — крепко меня поцеловала.
Ты мила и уступчива в печали,
Ты в веселье сурова и строптива.
Плач твой мне обещает наслажденье,
Смех страданья несет. Беда влюбленным!
Все вам страшно, и все сулит надежду.

* * *

Сон, приходи: тебя манят ласково Луция глазки;
Сон, приходи, прилетай, ласковый сон, приходи!
Маленький Луций поет так сладко: «Сон мой желанный,
Сон, приходи, прилетай, ласковый сон, приходи!»
В спаленку, ласковый сон, тебя кличет маленький Луций:
«Милый мой, сладкий мой сон, ласковый сон-угомон!»
Маленький Луций тебя к колыбельке кличет: «Скорее,
Сон, к колыбельке лети, сон, приходи, приходи!»
Хочется Луцию спать, и кличет Луций: «Скорее,
Сон, приходи, приходи, ночи дружок, приходи!»
Пристально Луций глядит, тебя к подушечке кличет:
«Сон, приходи, прилетай, сон, поскорей приходи!»
Хочет в объятья к тебе малыш и кивает призывно;
Знак подает: «Приходи! Где же ты, сон? Приходи!»
Добрый, пришел ты, о сон, покоя отец благодатный,
Сон, облегчающий нам бремя трудов и тревог.

* * *

Спи, мой сынок, усни, мой дружок, мой сладкий, мой мальчик,
Глазки, мой нежный, закрой, личико, нежный мой, спрячь.
Сон говорит: «Почему не сомкнешь, не закроешь ты глазки?
Глянь, как усталая спит Луска в ногах у тебя!»
Умница, глазки закрыл, сомкнул мой Луций ресницы,
Личико сонный покой тихим румянцем залил.
Легкий повей ветерок! Прилети, приласкай мне сыночка!
Чу, не листва ли шумит? Легкий летит ветерок!
Спи, мой сынок, усни, мой дружок, мой сладкий, мой мальчик,
Ветер овеет тебя, мама согреет тебя.

О САДАХ ГЕСПЕРИД

Отрывок

Время пришло выбирать деревца, и в садах по порядку
Высадить их, и подрезать рукой, и шумную влагу
К ним подвести, и снимать душистые с ветки лимоны,
Солнце покуда печет и трепещут тени под ветром.
Рвешь ты плоды, и жена с тобою делит работу:
Их в корзины кладет, на веревках висящие, или,
Радуясь самым большим, себе их в подол собирает.
Помню, была и со мною жена; цветы собирал я —
Нежный Венеры дар, окропленный росой идалийской.
Мужа крепко обняв, на траву она мягкую села,—
Сладким забавам тогда мы звонкой вторили песней.
Радость вкушаешь теперь без меня, без меня под густою
Бродишь листвой и плетешь из свежих роз плетеницы.
Все позабыв, о себе лишь одной ты теперь помышляешь,
В мирной долине теней тишиной наслаждаясь отрадной.
Мальчик, фиалки рассыпь! Привет вам, блаженные тени!
Вновь Ариадна со мной, на руках моих сладостным грузом!
Счастье усопшей тебе! Испытать грабителей злобных
Власть тебе не пришлось, похороны сына увидеть,
Неисцелимую зреть старика одинокого рану
И в оскверненном дому поруганных отчих пенатов.
Нет, ты со мной, утешенье мое, жена моя! Мужа
Вновь обними, не томи, обними и утешь, и со мною
Рви, как бывало, цветы с лимонных деревьев знакомых.

НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Отрывок

Резвые нимфы, кому родники священные милы,
Своды пещер, где струится вода, и тихие реки
Сладкую влагу несут, подносят щедрые чаши
С самым отрадным питьем для измученных долгою жаждой.
Ноги и грудь обнажив, лазурные носятся нимфы,
Взад и вперед по просторам озер, по заводям светлым,
То наполняют они кувшины плещущей влагой,
То выливают ее — и с громким рокотом мчится
Между камней опенённых ручей, и затем, многоводный,
Он рассекает поля молчаливым плавным теченьем.
Тут уж ведут по траве хоровод усталые нимфы
Между деревьев, что их осеняют изменчивой тенью,
Иль ветерки услаждают они согласным напевом,
Или резвятся в реке, под ее стеклянной струею
Руки одна за другой прихотливым вздымая движеньем,
След круговой впечатляя в песок стопою проворной.
Вынырнет вдруг одна и покажет гладкую руку,
Нежный ли бок промелькнет иль округлая мягкая голень;
Прыгнет в самую глубь другая — и вот под водою
Видны иль мрамор бедра, иль спины серебро, или груди,
Ради которых с небес бессмертные сходят украдкой.
Вновь выплывает она — и блещут золотом кудри,
Очи чернеют, уста на лице белоснежном алеют.
Тут уж, конечно, пастух, что в речных камышах затаился, —
Сельский какой-нибудь бог из бесстыдного рода сатиров, —
Чувствует, как огонь разгорается жгучий под сердцем;
Водит туда и сюда он глазами, протяжно вздыхает,
Голову меж камышей просунув и прячась от взглядов,
Жадно глядит; то в холод, то в жар сатира бросает,
Борются робость и дерзость в душе; обезумев от страсти,
В воду кидается он — и шумный всплеск раздается.
Тотчас нимф хоровод скрывается в тайных пещерах,
И достается ему лишь пустая радость касанья.

* * *

Здесь Кармозина лежит. На могиле — факел потухший,
Рядом — сломанный лук, срезанных пряди волос.
Лук тут сломал Купидон, тут срезали кудри Хариты,
Тут Эрицина сама свой угасила огонь.

Лавры, и розы, и мирт могильный холм украшают:
Девять дев Пиерид их орошали слезой.
В мире влюбленных уж нет, не богиня больше Венера:
Дева угасла — и вмиг пламень любовный угас.
Что ты творишь, несчастный певец? Покинь многолюдье,
Скройся в безлюдных лесах, в дебрях меж диких зверей,
Лиру разбей, бессмертных презри и, день ненавидя,
Ночь полюби и во сне черном отрады ищи.

* * *

Знаменье в имени том, которое девушке милой
Дали мать и отец: Розой назвали тебя,
И словно розы цветок, которого нет кратковечней,
Быстро твоя красота краткий свой век отжила.
Десять всего декабрей, красавица, ты увидала:
Роза весной рождена — розу декабрь погубил.
Лето щадило тебя — похитила зимняя стужа,
Люто убила зима жизнь, что не в пору цвела.
Скрывшись под своды холма, средь зимы ты не блещешь цветами
И не страшишься во тьме, Роза, мороза угроз.

БОЛЬШОЙ МОРГАНТ

Отрывки

*

«Другой еды запросишь поневоле:
Мы к доброму столу привыкли, дядя!
Не видишь, ростом он каков, тем боле?
Червя не заморишь, с крупинкой сладя».
Хозяин им: «Дать желудей вам, что ли?
Чего я вам добуду на ночь глядя?»
И начал изъясняться горделиво,
Так что Моргант сидел нетерпеливо.

Он колокольным языком ударил
Его разок-другой. Тот в крик,— не шутка!
Маргутт же молвил: «Надо, чтоб обшарил
Я сам весь этот дом,— одна минутка...
Ты б нам, хозяин, буйвола зажарил,
Во двор, я вижу, входит он. А ну-тка,
Раздуй очаг; едва моргнем, ты слушай.
Ну, угощай нас буйволовьей тушей».

Тот в страхе вздул огонь, боясь ответа.
Маргутт схватил одну из перекладин.
Хозяин заворчал. Маргутт на это:
«А вижу я, ты до побоев жаден.
Что ж класть в огонь для этого предмета?
Не ручку ж от лопаты? То-то складен!
Позволь уж мне распорядиться пиром».
На этом буйвол был изжарен с миром.

Не думайте, что зверя свежевали:
Он брюхо лишь вспорол у туши дюжей.
Как будто в доме все его уж знали,—
Приказывал, кричал, серчал к тому же.
Вот доску длинную нашел он в зале
И приспособил вмиг ее снаружи,
Стол мясом загрузил, вином и хлебом:
Моргант мог уместиться лишь под небом.

Был буйвол съеден весь на этом пире,
Вин выпита немалая толика,
Исчез весь хлеб — четверика четыре,
Маргутт позвал хозяина: «Скажи-ка,
Подумал ты о фруктах и о сыре?
Ведь это скушать — дело не велико.
Все волоки, что спрятано по дырам!»
Послушайте ж, как было дело с сыром.

Хозяин отыскал круг сыра где-то,
Примерно форму шестифунтовую;
Да яблок вынес, благо было лето,
Корзиночку, и то полупустую.
Маргутт, как только оглядел все это,
Сказал: «Видали бестию такую?
Язык взять колокольный вновь придется,
Коль иначе обеда не найдется.

Пить по глоточкам при его ли росте?
Пока я возвращусь, ты без обману
Кати нам бочки, раз пришли мы в гости,—
Чтобы вина достало великану,
Иль он тебе пересчитает кости!
Я, как мышонок, всюду шарить стану,
И если что найду про нашу долю,
Увидишь, принесу ль припасов вволю!»

Тут начал рыскать по дому повсюду
Маргутт: все сундуки в дому калечит,
Бьет и ломает утварь всю, посуду,—
Что ни разыщет, то и изувечит;
Последнюю кастрюлю валит в груду;
И сыр и фрукты — всё наружу мечет.
Морганту приволок мешок громадный.
Все исчезает снова в глотке жадной.

Хозяин, слуги — все дрожат до пота,
Хоть и усердствуют служить прилично.
Хозяин тут подумал: неохота
Молодчиков таких кормить вторично.
Заплатят нам, когда дойдет до счета,
Своим пестом,— бери деньгой наличной.
А съели столько, что за месяц времени
Не проглотить и целому бы племени.

Моргант, когда наелись, и помногу,
Хозяину сказал: «Пойди проспаться!
А завтра, как обычно, в путь-дорогу
Отправимся,— так надо сосчитаться.
Не обочтем тебя, оставь тревогу,
Сумеем все довольными остаться».
Хозяин же возьми да и ответь им,
Что эту ночь сочтет — тысячелетьем.

*

Взбухает море, волны то и дело
Сшибаются над палубой,— не так ли
В бой сходятся бойцы! — уж закипела
На досках пена, паруса размякли,
А дряхлый кузов буря так раздела,
Что из пазов уж видны клочья пакли.
Меж тем Моргант, усевшись возле носа,
Выкачивает с помощью насоса.

Бегут, спешат, пока не раскололось
Суденышко в столь бурном урагане.
И с качкою и с ветром так боролось,
Что ноги не держали; христиане
Взывать к святому Эрмо стали в голос,
Чтоб он послал затишье в океане,
Но не кивнул им ни святой, ни дьявол,—
А мачты ствол уже в пучине плавал.

— Макон! — кричит Широкко.— Помоги нам! —
Он мачту приспособил запасную
И дал опять надуться парусинам,
К ней подвязав квадратину льняную.

Вдруг новый шквал промчался по пучинам
И руль сорвал и кинул в хлябь морскую.
Несчастный рулевой свой пост покинул:
И охнуть не успел, как в море сгинул.

Квадратину льняную оборвало,
Все вихрь поразметал в своем напоре.
И от бизани тоже толку мало,
Хоть спущена была. А тут, на горе,
С кормы нежданно хлынули два вала,
И палубу опять покрыло море,
И кормчий сам давал свистки напрасно,—
Бывает так всегда, когда опасно.

Ужасен был простора вид кипучий,
Громады волн вставали вдруг горою,
Не разберешь, то воды или тучи.
Подкидывало судно над волною
Так, что и нос терялся в пенной круче,
Так встряхивало судно, что порою
Вот-вот казалось — скрепы разомкнутся;
И скрип и стон, смешавшись, раздаются,—

Так стонет плоть больная, жить не рада.
Ревет все пуще море. Вот дельфины,
Как на лугу пасущееся стадо,
Из бурных волн показывают спины...
Моргант все черпал, хоть не до упада,—
Что ветр и гром для дюжего детины!
Не сдастся морю — видывал он виды! —
И от небес не ожидал обиды.

Тут на колени встал Роланд. Рыдали
Ринальдо с Оливьером, в страхе оба.
Обеты Вельо с Ричардетто дали
Дойти босыми до господня гроба,
Коль пощадит их буря,— да едва ли!
Уж им могилы виделась утроба.
И впрямь в пучине сгинуть не пришлось бы!
Тогда к чему моленья все и просьбы?

Широкко слышит: «Пресвятая дева!» —
И примечает сложенные руки.
И рвется брань мерзейшая из зева:
— Христомоляне!.. Знаю я их штуки.

Поверь мне, грек, не избежать нам гнева
Небесного, пока здесь эти суки.
Макон послал нам бедствие такое,
Чтоб вразумить невежество людское.

Не спрашивай, как при таком бесчестье
В ноздре Ринальдо разом засвербило.
— Стой! — закричал он,— бестия из бестий!
Узнаем, чья возьмет: Христова сила
Иль Магометка с Аполлошкой вместе?
Тебя немало по волнам носило,
Так и ныряй по доброй воле, либо
Спихну тебя — и угощайся, рыба!

Широкко говорит: — Я здесь по праву
Хозяин.— А Моргант — Ринальдо: — Что же
Над ветром ты не учинишь расправу?
Сам дурня сброшу, коль тебе негоже.—
Ринальдо тут же дурню дал на славу
В лоб два щелчка, чтоб тот не лез из кожи,—
И с головой его покрыло море.
Смирились волны и утихли вскоре.

Тут моряки раскрыли рот широко,
В лицо Ринальдо и взглянуть робея.
И, словно бы послушавшись урока,
Поторопилось море стать добрее.
Моргант же вмиг пристроился у фока
И руки распростер, как будто реи.
Он словно столб торчал под небесами,
С тугими управляясь парусами.

Грек поспешает к носу, видя это,
И смех все пуще разбирает грека:
Ни одного нет нужного предмета,
Взамен всего он видит — человека.
— Вот чудеса! Изъездил я полсвета,
Подобного ж не видывал от века.—
Роланд смеется: — Этому созданью
Легко быть разом фоком и бизанью!

Где сам Моргант, там отложи тревогу.
Он с парусом так ловко управлялся
(К тому же ветер подавал подмогу),
Так направленья верно он держался,

Хоть отдыхал порою понемногу,
Что наконец и берег показался,
И в порт они приплыли безопасный
С попутным ветром, при погоде ясной.

Но знают все: завистлив Рок и жаден.
Пока Моргант за всех один трудился,
Нежданно кит, одна из тех громадин,
Что губят корабли, в волнах явился,
Свирепый, подплывал — будь он неладен! —
И на хребет поднять уж судно тщился,—
И затонула б хилая посуда,
Когда б Моргант не обезвредил чуда.

— Кита ничто отсюда не прогонит,
В него мы понапрасну ядра мечем,—
Вступился грек,— что ж делать, судно тонет,
Своей беде уже помочь нам нечем.—
Вдруг судно кит как двинет, как наклонит!
Не справиться тут силам человечьим,
И с гибелью уж не было бы сладу,
Когда б Моргант не оседлал громаду.

Теперь, когда Моргант почти до порта
Доправил всех дорогой не окольной,
— Сам не умру,— сказал,— какого черта!
Да и корабль спасу, я — сердобольный! —
Тем временем Ринальдо из-за борта
Ему язык просунул колокольный.
И стал Моргант башку дубасить зверя,
И раскроил, как циркулем отмеря.

* * *

На лавры притязая, стар и млад
Пустопорожние рифмуют строчки
И на Парнасских склонах рвут цветочки,
Сорвав на Геликоне весь салат.

Орфей, негодованием объят,
Разнес злодейку-лиру на кусочки,
И в горе мать: «Что с нами будет, дочки?
Они семейство наше разорят.

Проклятых птиц не подпускайте к саду,
Что на бесплатный претендуют стол
За карканье скрипучее в награду».

Облюбовав потяжелее кол,
Орфей устроил на певцов засаду,
И я в ногах спасение нашел.

Едва я в дом вошел,
Я сел орлом, подставил зад сонетам
И, право, не раскаиваюсь в этом.

* * *

— Ну что, какие новости, сосед?
— Последняя — из жизни Ватикана:
У папы сын. Еще не слышал? Странно.
— А что сказал апостольский Совет?

— Что прецедентам много сотен лет
И это, мол, не оскорбленье сана.
— При наших бедах лишь кричать: осанна!
Прекрасное лекарство. Разве нет?

— Невероятно: пастырь делит ложе!..
— Однако у Петра была жена
И дочка.— От него? — А от кого же?

— Ай да святые! Вот тебе и на!
Ну что же, не зевай, наместник божий,
Коль не переменились времена!

Спасибо, старина,
Скажи Петру святому за науку,
Идя за ним, но только не на муку.

А впрочем, мог бы руку
Я, если хочешь, дать на отсечение,
Что наступает светопреставление.

ВЛЮБЛЕННЫЙ РОЛАНД

Отрывки

Роланд и Агрикан вступили снова
В жестокий бой по воле нежной страсти.
Не видел мир побоища такого!
Бойцы друг друга резали на части.
Зрит Агрикан, что рать его готова
Рассеяться, уж нет над нею власти.
Роланд же перед ним стоит так близко,
Что избегать единоборства низко.

И сразу мысль в мозгу его созрела:
Завлечь Роланда в лес и, где их двое
Останется, убить его и смело
Вернуться в тот же час на поле боя.
«Тех трусов разгромить — пустое дело
И одному!» Еще не знал героя
Сам Галафрон, и все в поганой рати
Прыщом его считали,— да некстати.

И замысел исполнен. Агрикана
Конь во весь дух уносит по равнине...
Роланд не понял хитрости: обмана
Подозревать не мог он в паладине.
За беглецом он устремился рьяно,—
И вот они в лесу. Посередине
Всегда тенистой луговины злачной
По мураве струится ключ прозрачный.

Здесь Агрикан и спешился, желая
Сам отдохнуть и сил коню прибавить.
Сел на траву, но, шлема не снимая,
Меч при себе и щит решил оставить.
Тут и Роланд, минуты не теряя,
К тому ключу успел коня доправить
И, видя Агрикана, крикнул зычно:
— Ну и храбрец! Как убегал отлично!

Терпеть позор ужели рыцарь станет,
Сопернику ужель покажет спину?
Бежать от смерти? — Труса смерть обманет.
Кто честно жил, как дар прими кончину.
Отважного она не больно ранит,
Легко придет он к вечному притину,
А кто за жалкий век свой кровью платит,
Тот с жизнью заодно и честь утратит.

Царь на коня вскочил без промедленья
И так ответил, повода не тронув,
Учтивой речью, полной умиленья:
— Не видывал подобных я баронов!
За вежество и храбрость ты спасенья
Достоин. Нет среди людей законов
Превыше чести: ты в разгаре боя
Нам показал бесстрашие героя.

Тебе я жизнь оставлю. Но покорно
Прошу мне не мешать. Дозволь признаться:
Я, чтоб тебя спасти, бежал притворно,
Иначе я не мог за дело взяться.
Но если драться будем мы повторно,
Ты здесь не должен с жизнью распрощаться.
О солнце и луна! Удостоверьте,
Что вовсе не ищу твоей я смерти.

Ответствовал Роланд добросердечно,
Уже невольной жалостью смущенный:
— Ты рыцарствуешь,— молвил,— безупречно.
Сразимся... Но страшусь, что некрещеный
Ты здесь умрешь и попадешь навечно
В сон окаянных, мукам обреченный.
Хочу, чтоб спас и душу ты и тело.
Крестись — и уходи на волю смело.

Тот отвечал, в Роланда взор вперяя:
— Коль ты, храбрец, христианин, тем паче
Ты сам Роланд,— на все услады рая
Не променяю нынешней удачи.
Но говорю, тебя предупреждая:
О вере спор не затевай,— иначе
Пустое словопренье мы устроим;
Пусть каждый веру защищает боем.

И смолкли. Царь извлек свою Траншеру
И на Роланда бешено стремится.
Теперь меж ними бой идет за веру,—
Пред их отвагой солнца луч затмится!
Секут и рубят, распалясь не в меру,
Грудь с грудью, как искусство учит биться;
С полудня и до полночи глубокой
Меж храбрецами длится бой жестокий.

Меж тем уж солнце скрылось за горою,
И вызвездило небо; ночь спадала.
Тут граф сказал: — Нельзя ночной порою
Бой продолжать.— Не думая нимало,
Так Агрикан ответил: — Нам с тобою
Здесь на траве прилечь бы не мешало.
А завтра утром, с первыми лучами,
Мы можем вновь заговорить мечами.

Решили вмиг. Ослабив узденицы
Своим коням, их в роще привязали
И на траву легли, испив водицы,
Как будто бы вражды и не знавали.
Роланд разлегся ближе, у криницы,
А Агрикан устроился подале,
Но в той же самой роще, под одною
Огромною развесистой сосною.

Шел разговор меж ними величавый
О том, что их достойно обсужденья.
И, глядя в небосвод, сиявший славой,
Промолвил граф: — Предивное творенье!
Все создано Единого державой,
И дня восход, и ночи нисхожденье,
Сребро луны и звезд несчетных злато —
Всем род людской бог наградил богато.

Ответил Агрикан: — Я разумею,
Что хочешь ты беседовать о вере.
Но никаких я знаний не имею,
Сызмальства убегал от школьной двери.
А после череп проломил злодею
Учителю,— но возместить потерю
Уже не мог, меня, как грех случился,
Боялись все, и я уж не учился.

Я с детства не знавал иных занятий,
Как зверя бить, владеть мечом умело.
Над буквами корпеть с какой же стати?
Читать и думать — рыцарское ль дело.
По-моему, должны мы и в дитяти
Лишь ловкость упражнять и силу тела.
Наука — для ученых и священства.
Важней в другом достигнуть совершенства.

— Да, рыцаря первейшее призванье —
Оружие; мы думаем согласно.
Но человека украшает знанье:
Поляна без цветов не так прекрасна.
Тот — вол, кремень, бездушное созданье,
Кто о Творце не мыслит ежечасно.
Но без науки мыслить мы не можем
О высшей мощи, о величье божьем.

А Агрикан ответил:— Неприлично
При очевидном перевесе биться:
Тебе открылся я и самолично
В учености твоей мог убедиться.
Ты говори,— мне и молчать привычно,
Иль спи, коль есть охота, сколько спится.
Так начинай, но только по условью,
Пленяй меня лишь кровью и любовью.

Прошу тебя, как человека чести,
Скажи,— я жду правдивого ответа:
Ты ль тот Роланд, которого без лести
Высоко чтут во всех пределах света?
Как ты пришел? Зачем ты в этом месте?
Влюблен ли так же, как в былые лета?
Ведь рыцарь без любовного порыва
Лишь с виду жив, но сердце в нем не живо.

Ответил граф: — Я тот Роланд, которым
Убит Альмонт с Трояном,— было дело.
Весь мир презреть я вынужден Амором,—
Он вел меня до чуждого предела.
Раз занялись мы длинным разговором,
Признаюсь, что душой моей всецело
Владеет ныне дочка Галафрона,
Живущего в Альбракке без урона.

С ее отцом воюешь, хочешь кровью
Залить поля и замутить криницы.
А я сюда был приведен любовью.
Единственно во славу той девицы,
По верности, по чести и условью
Я много раз касался узденицы;
Чтоб путь завоевать к прекрасной даме,
Я бьюсь,— иными не пленен мечтами.

Лишь Агрикан из речи убедился,
Что то — Роланд, в Анджелику влюбленный,
В лице превыше меры изменился,—
Но скрыл волненье, ночью защищенный.
Душой, умом и сердцем распалился,
Стонал и плакал, как умалишенный,—
Удары сердца так в груди стучали,
Что чуть не умер он в своей печали.

Потом сказал Роланду: — Сам с собою
Поразмышляй,— едва лишь солнце глянет,
Мы выйдем в поле и приступим к бою,
И кто-нибудь из нас уже не встанет.
Так обращаюсь с просьбою одною:
Чтоб раньше, нежли этот суд настанет,
Желанную души своей царицу
Ты бы отверг и отдал мне девицу.

Не потерплю я, жизнь доколе длится,
Чтобы другой любил тот лик прелестный.
На утре дня один из нас лишится
Души своей и дамы в битве честной.
И кроме ручейка, что здесь струится,
О том узнает только лес окрестный,
Что ты отверг ее в таком-то месте,
В такой-то срок,— не долог он, по чести.

Роланд ответил: — Не сдержать обета
Мне не случалось, если обещаю.
Но если я пообещаю это,
Хоть клятвенно,— не выполню, я знаю.
Глаза свои скорей лишу я света,
Сам собственное тело искромсаю,—
Без сердца и души мне легче влечься,
Чем от любви к Анджелике отречься.

Царь Агрикан, пылавший свыше мочи,
Не потерпел такого возраженья,
И хоть была лишь середина ночи,
Сел на Баярда и в вооруженье,
Уверенно и гордо вскинул очи.
И, вызывая графа на сраженье,
Воскликнул: — Рыцарь, о желанной даме
Теперь забудь иль ратоборствуй с нами.

Уже и граф схватил арчак рукою,
Лишь прянул царь, врага сразить взыскуя;
Быть преданным языческой душою
Боялся он и, на коне гарцуя,
Отважной речью отвечал такою:
Ее никак отвергнуть не могу я,—
И если б мог, все ж не отверг бы милой,
А ты ее получишь — за могилой.

Как в море вихрь вдруг зашумит жестоко,—
Два рыцаря напали друг на друга,
На травяном лугу, в ночи глубокой.
Пришпорили коней, зажали туго;
Врага при свете лунном ищет око,
Безжалостны удары архалуга,
Затем что каждый — доблестный боец...
Но замолкаю: песни здесь конец.

*

Прошу господ и рыцарей влюбленных,
А также дам прекрасных и прелестных
Послушать вновь о подвигах, свершенных
Велением любви, вообще известных,
О рыцарях, высоко оцененных,
О их делах и поединках честных,—
Сказ о Роланде и об Агрикане
И благородстве их любовной брани.

Из предыдущей песни вы узнали,
Как рыцари в их ярости жестокой
Из-за любезной дамы в бой вступали,
Хоть ночь была и мрак царил глубокий,
Доверившись своей надежной стали,
Изготовлялись к схватке одинокой,
Надвинув шлемы, опустив забрала,—
Как будто в полдень солнце им сияло.

В бой Агрикан как бешеный стремился,
Роланд же фехтовал со знаньем дела.
Уж пять часов их поединок длился,
Уже заря на небе забелела.
Тут страшный бой меж ними разразился.
Горд Агрикан, досада в нем кипела,
Что не сдается враг его удалый,—
И он удар наносит небывалый.

Все раскроил булат неотразимый:
Как мягкий хлеб, разрезал щит упругий.
Но цел Роланд, таинственно хранимый,—
Лишь задыхался граф, зажатый туго;
Хоть сам он жив остался, невредимый,
Раскромсаны и панцирь, и кольчуга.
Тут пал удар такой ужасной силы.
Что кости обнажил ему и жилы.

Не дрогнул граф,— Роланд не знает страха!
Опять разит врага, но вдвое рьяно,
Вот разрубил он царский щит с размаха
И в бок ударом валит Агрикана.
Царь весь в крови — кольчуга и рубаха,
Обагрена у конских ног поляна.
Щит рассеченный отлетел куда-то.
Граф три ребра сломал у супостата.

Как оглашает вдруг лесные чащи
Лев раненый своим рыканьем ярым,
Так Агрикан, неистовством горящий,
Ответный выпад устремил недаром:
Врагу на темя пал булат разящий,—
Граф под страшнейшим не бывал ударом!
Лежит без чувств — ничто не уврачует! —
И, есть ли голова иль нет, не чует.

Звенит в ушах, совсем померкло зренье,
Но конь ретивый, верный господину,
Затрепетал и вскачь, без управленья,
Понес его уже за луговину.
И, если б дольше длилось оглушенье,
Грозила бы погибель паладину.
Но он воспрял, когда уж приближался
Последний миг: в седле он удержался.

И, устыженный собственным позором,
Сказал Роланд, уныньем удрученный:
— Как покажусь перед прекрасным взором
Анджелики, перед ее влюбленной
Улыбкой, из сражения, в котором
Я посрамился, ею поощренный?
Кто слишком медлит в рыцарском служенье,
Утратить может и вознагражденье,

Уже два дня себя позором крою,
С одним не слажу, жалкий я воитель!
Вот он опять стоит передо мною,
Мой супостат и чести похититель.
Коль час еще конца не будет бою,
Свой меч я брошу и уйду в обитель,
Монахом стану. Будь я окаянным,
Коль опояшусь впредь оружьем бранным.

Но речь его едва ли кто расслышит:
Стучит зубами, путает, как спьяна,
Сам словно горн, и ртом и носом пышет,—
И вихрем поскакал на Агрикана.
Он весь — огонь, весь ненавистью дышит,
Двумя руками сжата Дуриндана.
И вот наотмашь, только начал схватку,
Врагу рассек он правую лопатку.

В грудь меч проник, не знавший сожаленья,—
Разбиты панцирь и броня стальная,—
Хоть и была изрядного плетенья,—
Подвздошной кости чуть не достигая.
Мир не видал такого пораженья!
Но Агрикан вскочил и, нападая,
Погнал коня, да поздно: Агрикана
С конем в траву повергла Дуриндана.

В паху застрял, внезапно омертвелом,
Меч, стан его могучий рассекая.
Погасли очи, лик стал вовсе белым,—
Так человек бледнеет, умирая.
Его душа уж расставалась с телом,
Но он позвал Роланда и, вздыхая,
Проговорил чуть внятно: — Рыцарь честный,
Мой бог — твой бог, умерший смертью крестной...

* * *

Я видел, как из моря вдалеке
Светило поднималось, озаряя
Морской простор от края и до края
И золотом сверкая на песке.

Я видел, как на утреннем цветке
Роса играла — россыпь золотая,
И роза, словно изнутри пылая,
Рождалась на колючем стебельке.

И видел я, с весенним встав рассветом,
Как склон травою первою порос
И как вокруг листва зазеленела.

И видел я красавицу с букетом
Едва успевших распуститься роз,
И все в то утро перед ней бледнело.

* * *

Я вас прошу — со мною пойте, птицы,
Как с вами петь Амур меня зовет,
Влюбленные певицы;
И ты, журчанье вод,
Наполни стих музы́кой сладкогласной.

О милой сердце бедное поет,
Но столь она прекрасна,
Что трепет превозмочь
И в полный голос петь оно не властно.

Что с вами, птицы? Вы летите прочь.
Вернитесь. Неужели
Такая в сердце ночь,
Что вы блаженства в нем не разглядели?

Вы всё же улетели,
И я кричу вослед:
Как ветерку присуще дуновенье,
На свете счастья нет,
Которое с моим бы шло в сравненье.

* * *

С отарой белорунною в долину
Пастушка держит путь — и ей с холма
Видны, с дымком над крышами, дома
В тени, уже заполнившей низину.

Усталый ратай разгибает спину,
Пока над пашней не сгустилась тьма,
Волов освобождает от ярма
И к дому гонит сонную скотину.

И только мне, тревожных дум в плену,
Не ведать сна, судьбе дивясь превратной,
И вздохами сопровождать луну.

Как сладостна и как ты благодатна,
Любви печаль: я снова не усну,
И на душе — и больно и приятно.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Помни, кто во цвете лет,—
Юн не будешь бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Это Вакх и Ариадна.
Все спеша от жизни взять,
Ненаглядный с ненаглядной
Обращают время вспять.
Да и свита, им под стать,
Веселится бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Этих юных козлоногих
К нимфам тянет, и они,
По лесам охотясь, многих
Заманили в западни.
Как им весело, взгляни —
Пляшут, скачут бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Этим стройным нимфам любо
Попадаться в сети к ним:
Только тот, чье сердце грубо,
От любовных стрел храним.
Нимфы к милым льнут своим,
Песня льется бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Тушей на осла навьючен,
Следом движется Силен,
Столь же стар и столь же тучен,
Сколь от выпивки блажен.
Глупо жаждать перемен,
Если счастлив бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Наконец Мидас влечется,—
Превращает в злато он
Все, к чему ни прикоснется.
Но на скуку обречен,
Кто вменил себе в закон
Наживаться бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Ждать до завтра — заблужденье,
Не лишай себя отрад:
Днесь изведать наслажденье
Торопись и стар и млад.
Пусть, лаская слух и взгляд,
Праздник длится бесконечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

Славьте Вакха и Амура!
Прочь заботы, скорбь долой!
Пусть никто не смотрит хмуро,
Всяк пляши, играй и пой!
Будь что будет,— пред судьбой
Мы беспомощны извечно.
Нравится — живи беспечно:
В день грядущий веры нет.

* * *

Уймитесь, не упорствуйте жестоко,
Мечты и вздохи вечные о ней,
Чтоб тихий сон не миновал очей
Где слез не просыхает поволока.

Труды и мысли дня уже далеко
Равно и от людей и от зверей;
Уже упряжке белых лошадей
Предшествует неясный свет востока.

Подпишем перемирие, пока
Не встало солнце: верь, Амур, что сниться
Ее лицо и голос будут мне

И белая в моей руке рука.
Не будь завистлив, дай мне насладиться
Неслыханным блаженством хоть во сне.

* * *

Пусть почести влекут неугомонных,
Палаты, храмы, толпы у ворот,
Сокровища, что тысячи забот
И тысячи ночей несут бессонных.

Волшебные цветы лугов зеленых,
В прохладной мураве журчанье вод
И птичка, что любовь свою зовет,
Влияют благотворней на влюбленных.

Лесные дебри и громады гор,
Пещеры, недоступные для света,
Пугливая дриада, быстрый зверь...

Лишь там передо мной прекрасный взор,
Которым — пусть в мечтах — не то, так это
Мне наглядеться не дает теперь.

НЕНЧА ИЗ БАРБЕРИНО

Я посвящаю песню милой даме,
Прекраснее которой не найдешь.
Пылающему сердцу временами
На месте оставаться невтерпеж.

Она стрельнет горящими глазами —
И кончено: свободы не вернешь.
Я в город ездил, езжу по округе,
Но равных не встречал моей подруге.

Я в Эмполи и в Прато был не раз,
И в Борго, и в Мангоне, и в Гальяно,
В Сан-Пьеро торговал и здесь у нас,
На самой верхотуре — в Декомано.
Один базар меня одним потряс,
Другой другим, но должен без обмана
Сказать: нигде торговли лучше нет,
Чем в Барберино, где живет мой свет.

Я благородней Ненчи ненаглядной
Девиц не видел, не встречал скромней;
Ни у кого такой головки ладной
И светлой нет, как у любви моей.
По-праздничному на душе отрадно,
Когда глазами я встречаюсь с ней.
А дивный носик моего кумира —
Ни дать ни взять работа ювелира.

Кораллам губки алые под стать,
За ними два ряда зубов белеют —
И в том и в этом штук по двадцать пять,
И снег ланиты посрамить сумеют —
Не надо и к белилам прибегать,
И круглый год на щечках розы рдеют,
Всегда, что называется, в цвету.
Как не влюбиться в эту красоту?

Ее глазам мужчины знают цену.
Еще бы! Ненча, бросив взгляд-другой,
Прошьет не то что сердце, но и стену,
Тогда как сердце — камень у самой.
Поклонники за нею, рады плену,
Таскаются хвостом, и, сам не свой,
От зависти я помираю черной,
Что нет меня среди толпы покорной.

Я целый день махать мотыгой мог,
А нынче — дудки: как ни лезь из кожи,
Дай бог, чтоб сил хватило на часок.
Я высох, как подстилка из рогожи:

За стол сажусь — не лезет в рот кусок.
Любовь меня измучила, и все же,
Сказать по чести, я и впредь готов
Мириться с крепостью ее узлов.

Я сравниваю Ненчу с городскими —
Она не хуже тысяч городских
С хорошими манерами своими,
С уменьем изъясняться вроде них.
Глаза что уголь, волосы над ними —
Под цвет снопа и книзу из прямых
Становятся волнистыми-волнистыми,
Оканчиваясь кольцами пушистыми.

Когда она, как козочка легка,
Танцует, сразу видно — мастерица;
То вдруг рукой коснется башмачка,
То мельницею вновь пойдет кружиться;
Потом поклон и новых два прыжка,
Чтоб снова грациозно поклониться,
Да так, что флорентийкам испокон
Не снился грациознее поклон.

Ей не годится ни одна в подметки;
Она румяна в меру и бела,
И ямка ей к лицу на подбородке,
Да и умом любовь моя взяла,
Совсем необязательным красотке.
Такой природа Ненчу создала,
Видать, затем, чтоб людям стало ясно,
Что и природа может быть пристрастна.

Кого в супруги Ненча изберет,
Захочет свадьбы сразу, без отсрочки;
Кто к этому цветку найдет подход,
Родился не иначе как в сорочке;
Счастливцем из счастливцев будет тот,
Кто сможет убедиться среди ночки,
Что на его руке — ее щека,
Как сало и упруга и мягка.

Когда б ты знала, Ненча дорогая,
Как мается несчастный однолюб,
От нестерпимой муки изнывая,
Как будто рвут ему за зубом зуб,—

Когда б ты знала, ты б, не размышляя,
Вдохнула снова жизнь в ходячий труп,
Счастливым сделав твоего Валлеру,
Что скоро в счастье потеряет веру.

Но я боюсь, уж ты не обессудь,
Что ты своей жестокостью довольна.
Я с удовольствием рассек бы грудь,
Когда б не знал, что это очень больно,
И сердце протянул тебе — взглянуть,
Что сделала ты с ним, пускай невольно:
Вонзи в него, я разрешаю, нож —
И ты, услышав «Ненча», все поймешь.

Когда я перехватываю взгляды,
Которые к тебе устремлены,
Я скрыть не в состоянии досады,
И что со мной — видать со стороны.
Любовь-злодейка не дает пощады,
И день и ночь к тебе обращены
Мои мольбы, признанья, вздохи, стоны,
Но уши Ненчи им внимать не склонны.

Сегодня я до самого утра
Не спал: тянулось время еле-еле,
И все скотину гнать не шла пора,
А раньше ты не выйдешь. Я с постели
Вскочил — и час, а может, полтора
За дверью протоптался. Неужели
Не смилуется надо мной луна?
Но вот погасла наконец она.

Ты из овчарни вышла со скотиной
И верным псом. Я был настолько рад,
Что мигом позабыл о ночи длинной
И слезы счастья застелили взгляд.
Вооружившись тут же хворостиной,
Я впереди себя погнал телят.
Я не спешил, я ждал тебя, понятно,
Но оглянулся — ты идешь обратно.

Я на траве разлегся у пруда
И понял, что напрасно жду, не скоро —
Наверно, через полчаса, когда
Твои ягнята мимо без надзора

Прошли. Ну где же ты? Иди сюда.
Неужто испугалась разговора?
Одно составим стадо мы из двух:
Как хорошо — пастушка и пастух!

Я во Флоренции под воскресенье,
Даст бог, неплохо плетево продам.
Проси любой подарок без стесненья,
Поскольку я напрашиваюсь сам.
Что выбрать? Разреши мои сомненья,
А то когда еще я буду там.
Булавки? Пудру? Может быть, белила?
Все будет, что бы ты ни попросила.

А может, лучше нитку красных бус,
Как у красавиц городских на шее?
Скажи, чтобы на твой мне выбрать вкус,—
Брать покороче или подлиннее?
И если даже я не сбуду груз,
Я без подарка не вернусь. Скорее
Я выточу из собственных костей
Костяшки бус для радости моей.

Но где ты? Почему не отвечаешь?
Не спрашивал бы, если знать бы мог,
Какой подарок ты предпочитаешь.
Застежки? Ленту? Или поясок?
А может, ты о кошельке мечтаешь?
Недолго присмотреть и кошелек.
А может быть, купить моей голубке
Воздушных кружев для отделки юбки?

Уже мои телята у ворот,
И головы пересчитать бы надо —
Сойдется или не сойдется счет.
А вдруг отбился кто-нибудь от стада?
Боюсь, мне это даром не пройдет.
Меня зовут. Прощай, моя отрада,
Я по дороге песню допою:
Давно пора бежать, а я стою.

* * *

Баттисте Фера

Лето к нам возвращается
В третий раз и за ним — лета благая мать —
Вновь Церера грядет в венке
Из священных даров тучных обильных нив,
С той поры, когда я погиб,
От моей госпожи милой отторгнутый,
Той, что взглядом одним меня
Вмиг могла бы спасти хоть из стигийских вод.
Сколько б я ни бродил средь рощ,
Средь урочищ лесных, где лишь зверям открыт
Путь к пещерным убежищам,—
Не уйти мне никак от самого себя.
Что бы взгляду ни встретилось,
Вижу гордость чела — кудри златистые,
И лицо, и глаза,— вовек
Мне не скрыться от них и не стерпеть их взор.
На дубы ли взгляну — и вновь
Вижу пурпур ланит, белую вижу грудь,
Слышу в шелесте лиственном
Имя милой моей, и отзываются
Реки голосом той, кого
Чуждый край от меня в дальней дали укрыл.
Мнил я прежде, что вымышлен
Мстящих дев Эвменид факел мучительный
В устрашенье преступникам,—
Ныне все, что войдет в глубь угнетенных чувств,
Даже самое легкое,
Душу вон из груди мне исторгает вмиг.

* * *

Иль не видишь ты: из фиалок вешних
Пестрые висят на дверях гирлянды?
Юноши листвой увенчали кудри,
        Девушки с ними.

Прославляют дети календы мая,
Песней старики прославляют праздник,
Весел стар и млад, и повсюду пышет
        Буйная радость.

Вольно по плечам распустивши кудри,
Блещет Купидон золотистой паллой,
Грозен полным стрел за спиной колчаном,
        Грозен и луком.

К юношам слетев на проворных крыльях,
Бог сплетает их в хоровод желанный,
Козннями сердца обрекает в пищу
        Пламени злому.

В девичьей толпе то одну ласкает,
Золото волос или щеки гладит,
То глаза другой красотой веселой
        Вдруг зажигает.

Так довольно, Ралл, в безутешной скорби
Слезы проливать по отчизне павшей!
Игры нас зовут и велят услады
        Сбросить заботу.

Для чего все дни быстротечной жизни
Тратим мы в тоске? И того довольно
С нас, что, среди бед веселясь, мы видим
        Синее небо.

Так подай кувшин нам с вином трехлетним,
Мальчик Гил! Пускай отойдут печали!
Гению и мне пусть неомраченный
        День этот светит.

ГИМН ВЕЧНОСТИ

Голос даруй мне сама, адамантовый плектр подари мне,
Дабы тебя я воспел; помоги дерзанью, царица
Неизмеримых времен, ты, что светлые своды эфира
Держишь, ты, что царишь, священная, в безднах священных,
Счастлива только собой и сильна нерушимым покоем.
Жаждет тебя золотистых кудрей не срезавшая Юность,
Доблесть, мятежных врагов поправшая медной стопою,
Эта — дабы служить за столом на пирах у бессмертных,
Юным врученный нектар разливая алой рукою,
Та — обширную власть защищать и бестрепетной грудью
Оборонять рубежи, что навек установлены твердо,
И угрозы врагов отражать от царства владыки.
А за тобою вослед — за тобой, но отставши намного —
Вместе идут всеродящая мать Природа и старец,
Грозный кривым серпом, и чреда равномерная кратких
Ор, и все тот же всегда, приходящий и вновь уходящий
Год, по своим же следам поспешающий шагом проворным.
Ты же, бессмертных богов окруженная плотной толпою,
Царственных ткани одежд серебром изукрасив и златом,
В небе заняв нерушимый престол, восседаешь высоко,
Миру законы даешь, разделяешь дольнее с горним,
Неколебимым его укрепляешь навеки покоем,
Чуждым тяжких трудов и тревоги чуждым соделав.
Мудрая, в царства свои ты старости путь преграждаешь,
Бег прекращаешь веков, их связав адамантовой цепью;
Круговращенье времен и былое с грядущим совместно
Ты, воедино собрав, в неизменном блюдешь настоящем,
Множество дней, как один, объемля взглядом единым.
Ты — и целое, ты же — и часть; без конца, без начала,
Вся ты начало, и вся ты конец; меж твоими частями
Нет различья: из них тебе соразмерна любая.
Славься, великая мать Олимпа высот лучезарных,
Мощная между богов, но к мольбам благосклонная жарким;
Взглядом хотя бы одним нас призри и, коль наши моленья
Праведны, если и мы рождены от небесного корня,
К нам низойди и нас водвори в небесной отчизне.

СТАНСЫ НА ТУРНИР

Отрывок

Уже Зефир от зимнего покрова
Очистил склоны и вершины гор,
И ласточка под сень гнезда родного
Уже вернулась, и зеленый бор
Поутру пеньем оглашался снова,
И умножало эхо птичий хор,
И мудрая пчела, едва светало,
За сладкою добычей вылетала.

Отважный Юлий с первым светом дня,
Когда сова спешит вернуться в нору,
Велел взнуздать горячего коня
И поскакал с избранниками к бору,
Что спал вдали, охотников маня.
Псари искусно сдерживали свору;
Еще молчали звонкие рога,
И зверь не знал о близости врага.

Но вот уже ватагой удалою
Обхвачен лес — и тварям не до сна.
Проходы сетью забраны густою,
Легавых дразнит запахов волна:
Дай волю им — они помчат стрелою.
Все громче шум: сменилась тишина
Визгливым лаем, ржаньем, свистом, стуком,
И звук рогов нестройным вторит звукам.

С подобным шумом Зевс на землю шлет
Огонь сквозь тучи, скрывшие светило;
С подобным грохотом лавина вод
Обрушивается с порогов Нила;
Так, яростно взревев, кровавый счет
Труба Мегеры тевкрам предъявила.
Иные твари мечутся в кустах,
Иных поджать хвосты принудил страх.

Охотники — кто сети наблюдает,
Кто в узком месте стал, где нет сетей;
Иной уже собак со свор спускает,
Иной решил, что не спешить — мудрей;
Кто поле на коне пересекает,
Кто с пикою, кто с луком ждет зверей,
Кто, осторожность проявив и сметку,
На дереве высоком сел на ветку.

Проснувшись, вепрь свирепые клыки
В овраге точит для смертельной схватки;
Олени мчатся полем взапуски;
Лиса забыла хитрые повадки,
И, от собак спасаясь, русаки
Бегут куда попало без оглядки.
Коварный волк, петляя меж древес,
Защиты ищет, углубляясь в лес.

Но много ль смысла в этой перемене?
Легавым ноздри чуткие даны;
Борзых трепещут быстрые олени,
Сетей и меделянок — кабаны.
Коня направив под густые сени
(Его коню и шпоры не нужны),
Летит по лесу Юлий вездесущий,
Погибель зверю дикому несущий.

Кентавры так охотятся в лесах
Пелийских, не однажды глаз проверя
И на медведях, и на грозных львах,
И чем бесстрашней зверь, тем больший зверя
Охватывает перед ними страх,
И тварь бежит, в спасенье тщетно веря:
Сквозь бор кентавры мчатся напролом,
Валя деревья на пути своем.

О, как великолепен Юлий, мчащий
Сквозь лес непроходимый напрямик,
Чтоб зверь, сокрытый непроглядной чащей,
Не ведал передышки ни на миг.
Власы в пыли. Прекрасен взор горящий.
Увенчан ветвью вдохновенный лик.
Амур недаром выбрал час охоты,
Чтоб с юношей свести предерзким счеты.

И вот он создал лань под стать живой
Из воздуха искусными руками,
Сверкающую снежной белизной,
С высоким лбом, с ветвистыми рогами.
Заворожен красавицей лесной,
Едва она перед его очами
Возникла, Юлий бросился за ней,
Оставив для нее других зверей.

Его стрела за тварью быстроногой
Не угналась — и всадник меч схватил
И, словно лес широкой был дорогой,
Быстрей, чем прежде, скакуна пустил,
Не сомневаясь, что еще немного —
И загнанная лань падет без сил.
Он в мыслях меч уже в нее вонзает,
Однако жертва снова ускользает.

Чем дольше он за призраком спешит,
К нему прикован вожделенным взглядом,
Тем больше неудачею убит,
Когда казалось, что удача рядом.
В стигийских водах так Тантал стоит,
Нависшим над рекой любуясь садом,
Но пить захочет — нет как нет воды,
Захочет подкрепиться — где плоды?

Уже давно, боясь отстать от лани,
Не слышит Юлий голосов вокруг.
Он чувствует, что конь уже на грани
Бессилия. Но поредели вдруг
Деревья, место уступив поляне:
Охотник въехал на цветущий луг,
И там — под легкой тканью покрывала —
Увидел нимфу; тварь тотчас пропала.

Пропала тварь, но что ему она
Теперь, когда, пленен другим виденьем,
Он останавливает скакуна,
Поводья резким натянув движеньем.
Он очарован. Грудь его полна
Досель ему неведомым волненьем:
Таких очей прекрасных до сих пор
И стана стройного не видел взор.

Должно быть, так взбешенная тигрица,
Когда охотник из норы тигрят
Унес, за ним гирканской чащей мчится,
Не зная на своем пути преград,
И вдруг несчастной тень ее помнится
Дрожащей тенью унесенных чад,
И остановится она над нею,
Тем самым бегство облегчив злодею.

В глазах прекрасной нимфы Купидон,
Алкая мести, прятался недаром;
Ему на жертву Юлий обречен,
Когда стрелу, сверкающую жаром,
На тетиву кладет злорадно он,
Чтоб Юлия сразить одним ударом.
И до того, как воздух рассекла,
Пронзила сердце юное стрела.

Неузнаваем Юлий. Что с ним стало!
Какой нежданно в нем разлился пыл!
Как сердце юное затрепетало!
Холодный пот на теле проступил.
Когда б он знал, что это лишь начало!
Глаза глазами не имея сил
Покинуть, он не ведает, несчастный,
Кого скрывает взгляд ее прекрасный.

Не ведает, что бог любови там,
Грозя его покою, затаился.
Он связан по рукам и по ногам,
Не ведая, что с волею простился.
Окончена охота: Юлий сам
В сетях прелестной нимфы очутился,
И, видя в ней подобье божества,
Восторженные ищет он слова.

Она бела и в белое одета;
Убор на ней цветами и травой
Расписан; кудри золотого цвета
Чело венчают робкою волной.
Улыбка леса — добрая примета:
Никто, ничто ей не грозит бедой.
В ней кротость величавая царицы,
Но гром затихнет, вскинь она ресницы.

Спокойным очи светятся огнем,
Где факелы свои Амур скрывает,
И все покоем полнится кругом,
К чему она глаза ни обращает.
Лицо небесным дышит торжеством,
И дуновенье каждое смолкает
При звуке неземном ее речей,
И птицы словно подпевают ей.

Возьми она сейчас кифару в руки —
И станет новой Талией она,
Возьми копье — Минервой, а при луке
Диане бы она была равна.
Ей не навяжет Гнев своей науки,
И Спесь бежит ее, посрамлена.
Изящество с нее очей не сводит,
И Красота в пример ее приводит.

С красавицею неразлучна Честь,
Которой сердце каждого пленится;
Воистину у Благородства есть
Все основанья спутницей гордиться,
Чьей красотою любоваться — честь,
Какой ничтожным душам не добиться.
Амур неволе обрекает всех,
Кто слышит речь ее и звонкий смех.

На радостной траве она сидела,
Плетя венок из всех земных цветов,
Которые найти вокруг сумела,
Которыми пестрел ее покров.
Но вот на Юлия она воздела
Глаза, не сразу ужас поборов,
И, встав, цветы на лоне удержала
Тем, что рукою их к себе прижала.

Еще немного — и она уйдет,
Ступая по траве неторопливо,
И юношу страшит ее уход,
И, чувствуя, что станет сиротливо
В его душе, вкусившей сладкий гнет,
Он жаждет удержать лесное диво
И, трепеща всем телом и горя,
Взывает к уходящей, говоря:

«Моим глазам представшая нежданно,
Будь нимфа ты или богиня будь
(Коль ты богиня, ты моя Диана,
Коль смертная, не бойся обмануть
Мои предположенья), как мне странно,
Что мог я заслужить хоть чем-нибудь
Блаженство лицезреть такое чудо!
Откуда это счастье мне? Откуда?»

Оборотясь к нему, она в ответ
Улыбкой лик прекрасный озарила,
И мог бы горы этот райский свет
Раздвинуть и остановить светило.
И голос был таким теплом согрет,
Когда она жемчужины открыла
Среди фиалок, что в любовный плен
Мог заключить бы и самих сирен:

«Над Арно грежу о морской лазури я;
Ни алтарей, ни жертв не стою я.
Мне домом ваша сделалась Этрурия,
Где ноша факел свадебный моя,
Тогда как мой родимый дом — Лигурия,
Пустынный брег, суровые края,
Где яростный Нептун рычит под скалами,
Вотще грозя им страшными обвалами.

Покой и тень сюда меня влекут,
Безлюдное мне любо место это —
Моих раздумий сладостный приют,
Моих прогулок одиноких мета.
Тут мурава, цветы, прохлада тут,
Здесь счастлива бывает Симонетта,
Одна в тени над свежею струей
И в окруженье юных нимф порой.

В досужий день, когда себя трудами
Обременять не подобает нам,
Меня увидеть можно в божьем храме —
На этот раз в числе нарядных дам.
Пленен моими нежными красами,
Ты их природы не постигнешь сам.
Не мучайся, душа непосвященная:
Из одного с Венерой вышла лона я.

Однако под уклон уже скользят
Колеса солнца, тени удлиняя,
Уже звенит мелодия цикад,
Уже крестьяне, поле покидая,
Бредут в село, а женщины спешат
Собрать на стол, кормильцев ожидая.
Не огорчайся, я должна идти,
А ты к своим коня поворотн».

И небеса над нею просветлели
При новом свете благостных очес,
Когда она пошла на самом деле
Через поляну под шатер древес.
И птицы хором жалобным запели,
И застонал объятый скорбью лес,
А мурава под легкою стопою
Пунцовой стала, белой, голубою.

Что делать? Юлий за своей звездой
Последовать готов, но не решается.
Кровь из горячей стала ледяной,
И лютый холод к сердцу подбирается.
И ей, что отняла его покой,
Он смотрит вслед и втайне восхищается
Небесной поступью, которой в лад
Шуршит, колеблясь, ангельский наряд.

Амур воздал несчастному сторицей.
Как бьется сердце! Юлий оглушен,
И, как поля в росе перед денницей,
В слезах печали предается он.
Еще недавно был он вольной птицей.
Не может быть! Ужели он влюблен?
Амур последовать за нею манит,
Но Робость прочь неумолимо тянет.

О Юлий, где язвительная страсть,
С какой, удары нанося умело,
Над любящими ты глумился всласть?
Ты больше не охотишься? В чем дело?
Ты над желаньями своими власть
Утратил — сердцем дама завладела.
Амур врасплох несчастного застал:
Смотри, каким ты был, каким ты стал.

Ты был охотой поглощен, доколе
Ты сам не оказался в западне,
Ты был свободен — и лишился воли,
Прекрасной сердце уступив жене.
Ты обречен Амуром новой доле,
Еще не осознав того вполне:
Какие мы ему ни ставь препоны,
Судьбе диктует он свои законы.

СКАЗАНИЕ ОБ ОРФЕЕ

Отрывок

Пастух

(возвещает Орфею о смерти Евридики)

Жестокой вестью встречу я Орфея,
Что нимфа та прекрасная скончалась.
Она бежала прочь от Аристея,
И в миг, когда к потоку приближалась,
В пяту впилась ей жалом, не жалея,
Змея, которая в цветах скрывалась.
И сильно так и остро было жало,
Что сразу жизнь и бег ее прервало.

Орфей

(сокрушается о смерти Евридики)

О, безутешная, заплачем, лира!
Иную песнь теперь нам петь приспело.
Кружитесь, небеса, вкруг оси мира,
Услышав нас, замолкни, Филомела!
О, небо! О, земля! Ужели сиро
В тоске влачить измученное тело?
Краса моя, о жизнь, о Евридика,
Как жить мне, твоего не видя лика?
К воротам Тартара моя дорога:

Узнать, туда проникло ль сожаленье?
Судьбу смягчат ли у его порога
И слезные стихи, и струн моленья?
Быть может, смерть преклонит слух не строго.
Ведь пеньем я уже сдвигал каменья.
Олень и тигр, внимая мне, сближались.
И шли леса, и реки обращались.

Орфей
(с пением подходит к Аиду)

Увы! Увы! О, пожалейте в горе
Любовника, юдолей адских тени!
Вождя единого я зрел в Аморе,
И он меня домчал до сих селений.
О Цербер, укроти свой гнев! Ты вскоре
Мои услышишь жалобы и пени,
И не один, услышав, надо мною
Заплачешь ты,— но с адскою толпою.

О Фурии, напрасно вы рычали,
Напрасно змеи корчились лихие.
Когда б вы знали все мои печали,
Вы разделили б жалобы глухие.
Несчастного задержите ль вначале,
Кому враги и небо и стихии?
Иду просить я милости у смерти.
Откройте двери. Страннику поверьте.

Плутон
(полный удивленья, говорит так)

Откуда звук столь сладостного звона?
Кто ад смутил кифарой изощренной?
Вот: колесо недвижно Иксиона,
Сизиф сидит, на камень свой склоненный,
И к Танталу не льнут струи затона,
Белиды стали с урною бездонной,
Внимателен и Цербер трехголовый,
И Фурии смягчили гнев суровый.

Минос к Плутону

Тот, кто идет, противен воле Рока:
Не место здесь телам, не знавшим тленья.
Быть может, умысел тая глубоко,
Твоей он власти ищет низверженья.
Все, кто сюда, Плутон, входил до срока,

Как этот, — в темные твои владенья,
Встречали здесь возмездье роковое.
Будь осторожен: он замыслил злое.

Орфей
(коленопреклоненный, говорит)

О всемогущий тех краев властитель,
Что лишены навек земного света,
Куда спускается вселенной житель
И все, что солнцем на земле согрето,—
Сказать тоски причину разрешите ль?
Вослед Амору шла дорога эта.
Не цепью Цербера вязать железной,—
Я только шел вослед своей любезной.

Змея, рожденная между цветами,
Меня и милой и души лишила.
Я дни влачу, подавленный скорбями,
Сразить тоску моя не может сила.
Но коль любви прославленной меж вами
Воспоминанье время не затмило,
Коль прежний жар еще в душе храните,—
Мне Евридику милую верните!

Пред вами вещи разнствуют в немногом,
И в ваш предел все смертные стекутся,
Всё, что луна своим обходит рогом,
Предметы все во мрак ваш повлекутся.
Кто доле ходит по земным дорогам,
Кто менее,— но все сюда сойдутся,
В предел последний жизни быстротечной,—
И нами впредь владычествуйте вечно.

Так, будет нимфа пусть моя меж вами,
Когда ей смерть сама пошлет природа.
Иль сочный грозд под нежными листами
Обрежет серп жестокий садовода?
О, кто поля усеет семенами
И ждать не станет позднего их всхода?
С души моей тоски сложите бремя.
О, возвращенье будет лишь на время!

Во имя вод, которыми покрылось
Стигийское болото Ахеронта,
И хаоса, откуда все родилось,
И бурности звенящей Флегетонта,

И яблока, которым ты пленилась,
Как нашего лишилась горизонта!
Коль мне откажешь ты, к земной отчизне
Не возвращусь я, здесь лишусь я жизни.

Прозерпина
(Плутону говорит так)

О сладостный супруг мой, я не знала,
Что жалость проникает к сей равнине.
Но вот наш двор она завоевала,
Мое лишь ею сердце полно ныне.
Со страждущими вместе застонала
И Смерть сама о горестной кончине.
Изменят пусть суровые законы
Любовь, и песнь, и праведные стоны.

Плутон
(отвечает Орфею и говорит так)

Тебе верну ее, но по условью
Вослед тебе выходит пусть из Ада.
А ты до выхода, горя любовью,
Не обращай на Евридику взгляда.
Итак, Орфей, предайся хладнокровью,
Чтоб не исчезла вновь твоя награда,—
Все ж счастлив я, что сладостная лира
Смягчила скиптр отверженного мира.

* * *

Во времена былые мореход
Из-за сирен не доплывал до суши.
Ипполита не хуже их поет,
Влюбленные воспламеняя души.
Когда, завороженный с первых нот,
Я внемлю ей, печаль моя все глуше:
Я песней ранен, песней исцелен,
От песни пал и песней воскрешен.

* * *

Раз, утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Фиалок, лилий много на полянах
Цвело, да и других цветов немало,

Лазурных, бледных, снежных и багряных.
Я, руку протянув, срывать их стала.
Для золотых волос убор сплетала —
Прядь вольную сдержать венком желая.
Раз, утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Уже успела много их нарвать я,
Но увидала разных роз собранье
И побежала к ним — наполнить платье.
Так сладко было их благоуханье,
Что в сердце вкралось новое желанье,
Страсть нежная и радость неземная.
Раз, утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Разобрала их все поодиночке,—
Не скажешь словом, как прекрасны были:
Те вылупились только что из почки,
Те блекли, те цветы едва раскрыли.
Амор сказал: срывай их в полной силе,
Пока еще не сникли, увядая.
Раз, утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Едва лишь роза лепестки раскроет,
Пока она прекрасна и приятна,
Ее ввивать нам в плетеницы стоит —
Не то краса исчезнет безвозвратно.
Так, девушки: доколе ароматна,
Прекрасную срывайте розу мая.
Раз, утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.

* * *

Нежных фиалок цветы, возлюбленной милый подарок,
Вы несказанной любви сладкий таите залог!
Где, о, где вы взошли? Каким небесным нектаром
Благоуханные вам кудри Зефир окропил?
Иль на священных лугах вас растила златая Венера?
Иль в Идалийских лесах пестовал вас Купидон?
Верю: кифары свои украшают такими цветами
Музы в краю, где Пермесс воды струит среди роз,
Ими пряди волос амвросических Оры венчают,
Юная Грация в них прячет упругую грудь,

Их плетеницею свив, чело убирает Аврора,
С вешнего неба лия розовый утренний свет,
Блещут в садах Гесперид фиалок таких самоцветы,
Ими же травы пестрят в рощах, где ветры царят,
Или в лугах, где сонм ликует праведных теней,
Иль на полях, где растит Флора весенний покров.
Счастливы вы! Ведь та же рука, которой похищен
Был я сам у себя, вас, о фиалки, рвала,
Тонкие вас подносили персты к прекрасному лику,
Где притаился Амур, мечущий стрелы в меня.
Может быть, лик госпожи, преисполненный гордой красою,
Щедро вам уделил прелести долю своей.
Глянь: фиалка одна пленяет бледностью млечной,
Глянь: алеет багрец на лепестках у другой.
От госпожи этот цвет: таким же нежным багрянцем
Красит ей сладостный стыд млечную щек белизну.
Как далеко аромат дыханье уст разливает!
Тонкий тот аромат венчики ваши хранят.
Счастливы вы! Для меня вы теперь и жизнь и отрада,
Ветер попутный душе, тихая пристань ее,
К вам хоть дозволено мне припадать с поцелуем желанным,
К вам, о фиалки, не раз жадной рукой прикоснусь.
Досыта вас напою слезами печали,— они же
Льются живою рекой, щеки и грудь оросив.
Пейте же слезы мои, которыми томное пламя
Злобный питает Амур, их исторгая из глаз.
Вечно живите, цветы, пусть вас никогда не погубит
Летом — солнце и зной, едкая стужа — зимой.
Вечно живите, цветы, любви утешенье несчастной,
Ибо несете душе вы благодатный покой.
Будете вы неизменно со мной, любимы дотоле,
Бедного будет доколь мучить краса госпожи,
Будет снедаема грудь доколе огнем Купидона
И неразлучны со мной слезы пребудут и скорбь.

* * *

Ты прислал мне вина — но вина своего мне хватает.
Ежели мне угодить хочешь, то жажду пришли!

* * *

Над изумрудною волной,
В стране прекрасной и счастливой,
Где травы были свежи и нежны,—
Стоял пастух в тени лесной;
В его венке листы оливы
С иной листвою были сплетены;
И пел он в третий день весны,
Встречая светлый блеск денницы;
Столь звонок был его напев,
Что в кронах множества дерев
Влюбленным эхом отзывались птицы,—
К светилу очи обратив,
Он пел на сладостный мотив:

«Скорее двери отвори,
Пастух небес благословенный,—
Дай маю раньше времени блеснуть;
Пускай чудесный блеск зари
Красой сияет несравненной;
Серебролукий, благосклонен будь —
Держи как можно выше путь;
Пускай сестра твоя родная
Поспит подоле, чем всегда,—
Но с нею за звездой звезда
Взойдет на небеса, красой блистая,—
Так ты в далекие года
На выпас выгонял стада.

О ель, о светлая ольха,
О кипарис в речной долине,
О скалы, о десятки ручейков,
Внемлите рифмам пастуха —

Пусть агнец маленький отныне
Вовек не устрашается волков,
И будет дольний мир таков:
Пускай богаче с каждым годом
Цветет иссохший вертоград,
Даруя сладкий виноград,
И древние дубы точатся медом, —
И пусть по руслу ручейка
Бегут потоки молока.

В цветы оденется земля;
Покинув дикие пределы,
Лесные звери одолеют страх,
Доверчиво придут в поля;
Пускай Эроты бросят стрелы
И весело играют на лугах
И на зеленых берегах;
Неугомонны, неустанны,
Пусть нимфы нежные поют;
Пускай танцуют там и тут
Смеющиеся фавны и Сильваны;
И пусть лазурный небосвод
Ни бури, ни дождя не шлет.

Безмерно чистая душа
На свет явилась в наше время
И оболочку дивную нашла;
Она как солнце хороша,
Но мне несет страданий бремя,
Мне не желает ни добра, ни зла,
Но мой покой навек взяла,—
Я, на заре поднявшись рано,
В лесах изрезал каждый бук,
И нынче все стволы вокруг
Мне шепчут «Амаранта!» непрестанно,—
Она не хочет мне помочь,
И я рыдаю день и ночь.

Покуда средь лесов и гор
Лесные звери обитают,
Покуда сосны столь же высоки
И ясень ветви распростер,
Покуда ручейки впадают,
Журча, в приветливую гладь реки,

И в сменах счастья и тоски
На свете хорошо влюбленным,—
Благословенно имя той,
Что не встречается со мной,
Меня тираня нравом непреклонным,—
И тем, что в мире есть она,
Вся жизнь моя озарена.

О, попроси, канцона, чтоб сегодня
Она приветлива была,
И радостна, и весела».

К ИКАРИЙСКОМУ МОРЮ

Здесь пал Икар. Здесь каждая волна
Следы крылатого хранит поныне.
Здесь путь его закончился в пучине,
И поколеньям зависть суждена.

Да, эта смерть вполне искуплена,
Паденье привело его к вершине.
Блажен, кто так погиб, о чьей кончине
Песнь пропоют в любые времена.

Таится радость в неизбывном горе:
Он, словно голубь, взмыл за облака
И принял гибель в голубом просторе,—

Но именем его уже века
Необозримое грохочет море.
А чья могила столь же велика?

К ДЖОВАННИ ДИ САНГРО

Если бы злая Любовь мне на родине жить разрешила
    Иль умереть на руках матери, если бы те
Песни, что ныне едва небольшую составили книжку,
    Мог бы я продолжать в том же, где начал, краю,—
Верно, тогда бы презрел я Парок неумолимых,
    Черное веретено, пряжи печальную нить,

Не схоронила б меня Либитина в безвестной могиле
И не исчезло б мое имя в остывшей золе.
Ныне лесов и озер мне отраду придется покинуть,
В хоре Пермесских дев не прозвучит мой напев,
То, что муза моя мне внушила в юные годы,
Больше уж я не отдам на исправляющий суд.
Так же срезает серп колосья нежные в поле,
Так бесперых птенцов хищник уносит из гнезд.
Боги! Ужели Синцéр растает в воздухе легком
И не избегнуть ему участи общей — костра?
Ты же, возлюбленный Сангр, коли так велит Немезида
И не дано никому волю ее одолеть,
Доски разбитой ладьи собери,— все, что вынесут волны,
После того как пойду я, сокрушенный, ко дну,
Маны окликни мои, что блуждать по берегу будут,
И на могильном холме эти стихи начертай:
«Здесь я, Акций, лежу. Надежда почила со мною,
Но и по смерти моей не умирает Любовь».

ЭПИГРАММЫ

ЭХО ГОВОРИТ

Я увидала, зажглась и, оплакав отвергнутой участь,
Стала лишь голосом я, отзвуком, ветром, ничем.

К СВОЕЙ ДУШЕ

Ты пылала; огонь дотла несчастную выжег,
Остов иссушенный твой легкой распался золой.
Плакала ты; изошли глаза росой неизбывной,
И напитали твои слезы Себета струи́.
Так почему же опять и пылать и плакать ты хочешь?
Быть осторожной учись, гибели горькой страшись!
Смерти вновь не ищи, не ищи себе новых мучений,
Радуйся, что за кормой скрылись утесы Сирен.

ПЕСНЯ ТОРГОВЦЕВ КЕДРОВЫМИ ШИШКАМИ

Всем шишкам шишки! Шишки просто чудо!
Орешки так и сыплются оттуда.

Поверьте, дамы, шишка — редкий плод;
Ее ни град, ни ливень не проймет.
Любой орешек положите в рот,
И масло брызнет, словно из сосуда.

Едва успев на дерево залезть,
Бросаем шишки вниз — по пять, по шесть,
А если кто еще захочет съесть,
Чуть потерпи — и станет больше груда.

Иная просит муженька: «Вон ту!»
И ловит шишку прямо на лету,
А пригласишь ее на высоту,
Надует губки — что, мол, за причуда.

Есть вещи, может быть, и поважней,
Но ты на шишки денег не жалей,
К себе покупку прижимай сильней;
Утащут шишку, то-то будет худо.

В одной орехов больше, чем в другой,
Хозяйки, подходите за любой,
Товар не залежится ходовой.
Коль денег нет, берите так покуда.

В терпенье нашем — торжества залог:
Дабы орешек выскользнуть не мог,
Нацеливай получше молоток—
И ядрами наполнится посуда.

Любовный пробуждая аппетит,
Товар на вкус не хуже, чем на вид,
И перед ним никто не устоит:
Нежнее не найти на свете блюда.

К ДЖУЛИАНО ДИ ЛОРЕНЦО МЕДИЧИ

Я Вашему Великолепью шлю
Немного дичи — скромный дар, не скрою,—
Чтоб о себе, обиженном судьбою,
Напомнить вам. Увы, за что терплю?

Коленопреклоненно вас молю:
Тому, кто брызжет на меня слюною,
Заткните глотку этою едою,
Чтоб злую клевету свести к нулю.

Возможно, мне заметит Джулиано,
Увидев дар, что я не прав и тут,
Что тощий дрозд — не пища для гурмана.

Но ведь Макиавелли тоже худ,—
Скажу в ответ,— однако, как ни странно,
Наветчики меня со смаком жрут.

Прошу не счесть за труд
Ощупать птиц, и вы поймете сразу,
Что лучше доверять рукам, чем глазу.

* * *

Бегите, реки, вспять к своим истокам,
Волне вздыматься, ветер, не давай,
Гора, приютом стань для рыбьих стай,
Дубрава, в море поднимись глубоком.

Пускай влюбленных лица и намеком
Сердечных дум не выдают, пускай
Холодным станет самый жаркий край
И солнце запад спутает с востоком.

Пусть все не так, как было, будет впредь,
С тех пор как смерть в единый миг сумела
Пленившую меня распутать сеть.

О, где ты, сладость моего удела!
Кто мог такой удар предусмотреть,
И что слова!—не в них, а в чувствах дело.

* * *

Зачем тебе, безжалостный стрелок,
Преследовать сходящего в могилу?
Напрасно уповаешь ты на силу
И лавров новых видишь в ней залог.
Стрелу оставил впрок

Для сердца ты, где места нет живого,
И раненого хочешь ранить снова,
Забыв, что он привыкнуть к боли мог.
Смотри — конец моим приходит мукам.
Кому, Амур, ты угрожаешь луком?

* * *

Я пел когда-то; сладостно ль звучали
Стихи мои — судить любви моей.
Вернуть не властен праздник прежних дней,
В слезах ищу я выхода печали.

Иные страсть разумно обуздали,
А я об этом и мечтать не смей,
По-прежнему бессильный перед ней.
Блаженны, у кого она в опале!

Любя, не оставлял надежды я
Пример счастливый завещать потомкам,—
Увы, пребудут втуне упованья.

Так пусть теперь в стихе моем негромком
Услышат все на свете крик страданья,
Включая вас, противница моя.

* * *

Ты застилаешь очи пеленою,
Желанья будишь, зажигаешь кровь,
Ты делаешь настойчивой любовь,
И мукам нашим ты подчас виною.

Зачем, уже развенчанная мною,
Во мне, надежда, ты родишься вновь?
Приманок новых сердцу не готовь;
Я твоего внимания не стою.

Счастливым счастье новое пророчь,
Что если плачут — то от сладкой боли,
А мне давно ничем нельзя помочь.

Я так измучен, что мадонны волей
С последним неудачником не прочь
Из зависти я поменяться долей.

САТИРА ТРЕТЬЯ

МЕССЕРУ АННИБАЛЕ МАЛАГУЧО

Разлить ты просишь, Аннибале, свет
На то, нашел ли твой кузен удачу
У герцога Альфонсо или нет.

Ты скажешь мне, коль правды я не спрячу,
Что на спине опять небось мозоль,
Что я похож на немощную клячу.

Однако правду выслушать изволь:
Равно любое бремя ненавижу,
И не по мне скотины вьючной роль.

Толкуй про язвы на спине, про грыжу,
Считай меня хоть клячей, хоть ослом,
Кривить душою смысла я не вижу.

Когда, родившись, я, не будь глупцом,
Решился бы на некую забаву,
Проделав то же, что Сатурн, с отцом,

Чтоб все принадлежало мне по праву,
А не десятку братьев и сестер,
Составивших голодную ораву,

Безумия лягушек до сих пор
Не знал бы я и перед властелином
Без шапки не стоял, потупя взор.

Единственным, увы! я не был сыном
И мало мог на что претендовать —
И вынужден мириться с господином,

Но лучше пропитанье добывать
У герцога, чем с нищенской сумою
Пороги бедной черни обивать.

Иные поменялись бы со мною
Уделом: как ни говори — почет...
Судьбу раба почетной мнить судьбою!

Пускай, кто хочет, при дворе живет,
А я его немедленно покину,
Едва ко мне Меркурий снизойдет.

Когда одно седло на всю скотину,
Кому оно не причиняет зла,
Кому, наоборот, увечит спину.

Так соловей, в отличье от щегла,
Не может долго пребывать в неволе,
Где ласточка б и дня не прожила.

Пусть служит, кто стремится к рабской доле,
Хоть герцогу, хоть папе, хоть царю,
Тогда как я не вижу в этом соли.

Я репу дома у себя сварю
И, уписав с подливкой без остатка,
Не хуже брюхо ублаготворю,

Чем кабаном чужим иль куропаткой.
Не надо мне парчовых одеял,
Когда и под обычным спится сладко.

Я с места бы охотней не вставал,
Чем долгим списком дальних стран хвалиться,
Где я по долгу службы побывал.

Да, каждому свое, как говорится:
Иному — сан, иному меч милей,
Иному — дом, иному — заграница.

Я уважаю интерес людей
К Испании, к английскому туману,
Но сам хочу в округе жить своей.

Ломбардию, Романью и Тоскану
Я видел — хватит этого вполне,
И лучшего нигде искать не стану,

А захочу — покажет землю мне
Без лишних трат премудрость Птолемея,
Хоть мир цари, хоть нет конца войне;

Я мысленно — нехитрая затея —
Любое из морей переплыву,
От ужаса в грозу не леденея.

Недаром в новой службе во главу
Угла я ставил с самого начала,
Что дома главным образом живу.

И служба на мои занятья мало
Влияет: уезжаю только я,
А сердце — здесь, и так всегда бывало.

Известна мне догадливость твоя:
Мол, рассмешил, мол, тут причиной дама,
А вовсе не любимые края.

Тебе на это я отвечу прямо:
Умолкни, ибо правда мне мила
И ложь не стану защищать упрямо.

Какая бы причина ни была,
Мне здесь прекрасно, но другим соваться
Я не советую в мои дела.

Иные мнят, что стоило податься
Мне в Рим — и я снискал бы благодать
И мог бы на судьбу не обижаться,

Тем паче папу другом называть
Задолго до счастливого избранья
Имел я честь. И в дни, когда мечтать

Не мог о возвращенье из изгнанья
Ни он, ни брат его, как он беглец,
Чье при дворе фельтрийском пребыванье

Украсили «Придворного» творец
И Бембо, верный культу Аполлона;
И в дни, когда вернулось наконец

Семейство Медичи в родное лоно
Флоренции, и, распростясь с Дворцом,
Бежало знамя от руки закона;

Вплоть до того, как в Риме стал он Львом
Благодаря разборчивым прелатам,
Я видел друга искреннего в нем.

Он повторял не раз, уже легатом,—
Мол, как на брата на меня смотри,
Ведь я тебя давно считаю братом.

Поэтому с иным поговори —
Я шапку черную прошляпил в Риме,
Подбитую зеленым изнутри.

Поспорю с утвержденьями такими
Примером, ты ж не сетуй: что трудней —
Читать стихи иль изъясняться ими?

Во время оно засуха на всей
Земле случилась: снова Феб, казалось,
Доверил Фаэтону лошадей.

Колодцы пересохли, не осталось
Воды в потоках, бурных испокон,
И по мостам ходить смешным считалось.

В ту пору пастырь жил, обременен
Отарами,— теперь смотрел с тоскою
На прежнее свое богатство он.

Пещеры помня с ключевой водою,
Напрасно он заглядывал туда.
И к Небу обратился он с мольбою,

И свыше озарение тогда
Про некий дол беднягу посетило,
Где воду он отыщет без труда.

С женой, с детьми, со всем, что их кормило,
Пастух — туда, и не успел копнуть,
Как влага под лопатой проступила.

Лишь небольшой сосуд, чтоб зачерпнуть,
Был у него, но он нашел решенье:
«Я первым пью, никто не обессудь.

За мной жене и детям послабленье
По праву будет. Слава богу, тут
Желанной влаги хватит всем. Терпенье.

За ними — те, кто наибольший труд,
Подобно мне, вложил в рытье колодца.
Так друг за другом все у нас попьют.

А после всех скотина пусть напьется,
Однако так же, как для вас, черед
Установить и для нее придется».

В таком порядке очередь идет,
Но, видя впереди толпу густую,
Всяк про свои заслуги нагло врет.

И тут газель, что помнила былую
Хозяйскую любовь, кричит, стеня
От жажды и обиды: «Протестую!

Я пастуху, конечно, не родня
И на труды его смотрела вчуже,
И проку мало было от меня,

Но неужели я настолько хуже
Других! И неужели наконец
Не мог и для меня найти он лужи!»

Способен удивляться лишь глупец
Тому, что Нери, Лотти, Баччи, Ванни
Меня не предпочел святой отец.

Итак, вперед, достойны первой дани,
Пьют близкие, за ними — те, кому
Престолом он обязан в Ватикане.

Потом уж те идут по одному,
Кто помогал, повергнув Содерино,
Вернуться во Флоренцию ему.

Один твердит: «Я с Пьетро в Казентино
Готовил на республику поход».
«Я в долг ему давал»,— кричит Брандино.

Еще один: «Я брата целый год
Кормил, и только с помощью моею
Он снова на коне. Иль то не в счет?»

Покуда все напьются, не имею
Желанья ни малейшего гадать,
Успею сам попить иль не успею.

Спокойнее доказанным считать,
Что своего избранника сначала
Должна Фортуна в Лете искупать.

Пожалуй, так она и поступала,
Но в данном случае, скорей всего,
Привычке старой следовать не стала.

Поверь словам кузена своего:
К его святой стопе припав губами,
Нашел я в полной памяти его.

Ко мне склонившись, он двумя руками
Пожал мне руку и обеих щек
Коснулся благосклонными устами.

Он с буллою любезно мне помог,
Но я недаром с Биббиеной дружен,
Что увеличил вдвое мой должок.

Средь ночи, в дождь, надеждами нагружен,
Заляпан грязью с головы до пят,
К «Барану» потащился я на ужин.

Допустим, папа, дар беря назад,
Не причиняет никому урона —
Мол, семена взойдут, и я богат;

Допустим, столько символов законной
Он даст мне власти, сколько с потолка
На папских мессах не видал Иона;

Допустим, щедрая его рука
В карман мне злато сыплет, не жалея,
И в рот и в чрево — аж трещат бока...

Но неужели в этом панацея?
Ужель возможно методом таким
Унять во мне алкающего змея?

Будь я стяжанья жаждой одержим,
Дорогой бы направился прямою
В Китай, на Нил, в Марокко, но не в Рим.

Затем, чтоб стать над слугами слугою
Иль чуть пониже сан иметь, когда
Все больше жажда властвует тобою,—

Какая мне карабкаться нужда
По лестнице крутой? Она едва ли
Заслуживает столького труда.

Когда-то люди на земле не знали
Теперешней коварности людской,—
Таков был мир давным-давно, в начале.

В ту пору жил под некою горой,
Граничившей вершиной с небесами,
Народ — не знаю в точности какой;

И видя то безрогой, то с рогами,
То полной, то ущербною луну,
Что круг вершит естественный над нами,

И веря, что взойдя на крутизну,
Скорей поймешь, чем глядя из долины,
Зачем луне менять величину,

Едой мешки наполнив и корзины,
И стар и млад приблизиться решил
К луне, сперва добравшись до вершины.

Но долгий в гору путь напрасен был,
И люди, убедившись в том на деле,
Наверх поднявшись, падали без сил,

А те, что снизу, поотстав, глядели,
Пускались следом чуть ли ни бегом,
Решив, что их сородичи у цели.

Гора была Фортуны колесом,
Где сверху, как досель считает кто-то,
Спокойным наслаждаются житьем.

Завись удел счастливый от почета
Или богатства, о другом мечтать
И мне б, конечно, не было расчета.

Но те же папы и другая знать,
Земные боги, не живут беспечно,
И трудно их счастливыми назвать.

Будь я богат, как турок, бесконечно,
Подобно папе будь в большой чести,
Подняться выше я мечтал бы вечно,

И должен был бы козни я плести,
О том лишь предаваясь упованьям,
Как больше, чем имею, обрести.

Но если ты владеешь достояньем
Достаточным, чтобы безбедно жить,
Сумей презренным дать отпор желаньям.

Коль в доме есть, чем голод утолить,
И есть очаг и кров, чтобы от хлада
И зноя летнего тебя укрыть;

Когда тебе пешком идти не надо,
Меняя город, и в душе твоей
Со счастьем нет и признака разлада,

Хоть половину головы обрей,
Хоть всю,— что толку! Больше, чем вмещает
В себе сосуд, в него попробуй влей.

Да и о чести помнить подобает,
Не забывая ни на миг о том,
Что честь нередко в спесь перерастает.

Кто честью не поступится ни в чем,
Того и враг не опорочит злейший,
Что только прослывет клеветником.

Будь ты преосвященство иль светлейший,
Тебя я честным не сочту, пока
В твоей душе не разберусь, милейший.

Что радости тебе носить шелка
И видеть всех от мала до велика
Без шапок, если вслед исподтишка

Несется шепот: «Вот он, погляди-ка,
Продавший галлу Зевсовы врата,
Что поручил ему его владыка»?

Наряды раскупают неспроста:
Тем самым люди показать стремятся,
Что им одетый бедно не чета,

Однако лучше скромно одеваться
И честным быть, чем в платье из парчи,
Запятнанном бесчестьем, красоваться.

Должно быть, Бомба скажет: «Помолчи,
Была б к наживе краткая дорога —
Хоть грабь людей в лесу, хоть банк мечи.

Всегда богатству было чести много,
И мне плевать, когда меня хулят,—
Хулят и отрицают даже бога».

Минутку, Бомба: для меня стократ
Хулители Христа страшнее сброда,
Которым он безжалостно распят.

Хула тебе — хула иного рода:
Не выбрался бы ты из нищеты,
Когда бы не крапленая колода.

Не затыкай же честным людям рты!
Немногие на свете знают плечи
Парчи и шелка столько и тафты.

О тайне гнусных дел твоих и речи
Не может быть, и дабы каждый мог
Увидеть их, зажги поярче свечи.

И тот, кто мудр, и тот, кто недалек,
Понять желают, как свои палаты
Построил ты за столь короткий срок,

Что и снаружи и внутри богаты;
Но должен быть бесстрашным правдолюб,
Тогда как смелым не был никогда ты.

Не видеть, главное, хулящих губ,
А шепот за спиною стерпит Борна,
Что он родного брата душегуб.

Изгнание перенеся покорно,
Благословляет нынче он судьбу,
А поношенья, мол,— от злости черной.

Другой себя к позорному столбу
Поставил сам, решив, что не хватало
Лишь митры на его безмозглом лбу.

В злокознии он преуспел немало,
И титул уважаемый его
Смердил настолько с самого начала,

Что не представить хуже ничего.

НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД

Отрывки

*

Конь Мадрикарда мчался напролом
Сквозь заросли, и сколько сарацина
Роланд ни ищет в сумраке лесном,
Того и след простыл. Кругом пустынно.

Два дня не расстается граф с седлом,
И вот пред ним волшебная картина:
Блестит ручей под сенью древних крон,
И сочный луг цветами испещрен.

В полдневный зной бесчувственное стадо
Сюда прохлада и вода влекут.
Поляна эта — путнику награда:
Где отдохнуть ему, когда не тут?
Но чем расстроен витязь? О, досада
Нежданная! О, горестный приют!
Боюсь, что слов в природе слишком мало,
Чтоб описать подробности привала.

Он видит, что едва ль не каждый ствол
Вокруг изрезан вензелем, в котором
Он не узнать бы руку предпочел
Красавицы китайской. Он с укором
Глядит на письмена. Рассказ привел
Туда Роланда, где она с Медором
Нередко в те уединялась дни,
Что провели у пастыря они.

На сто ладов Медор и Анджелика
Сплелись, куда глаза ни повернуть,
И что ни вензель — новая улика
И новый гвоздь, Амуром вбитый в грудь.
Несчастный рыцарь бродит взглядом дико,
Вотще себя надеясь обмануть,
Что просто совпаденье знаки эти:
Ну разве мало Анджелик на свете?

А почерк? «Но, по здравому суду,
Быть может,— молвит он,— она хотела
Схитрить и, выводя «Медор», в виду
Меня под этим именем имела.
А я, глупец!..» Так, на свою беду,
Безумец утешает неумело
Себя, и правда, вопреки всему,
Еще неправдой кажется ему.

Но чем он больше жаждет отрешиться
От подозрений, тем они сильней.
Так, если в сети угождает птица
Или на ветку, где размазан клей,

Чем больше машет крыльями певица
И лапками сучит, тем хуже ей.
Покорный неизбежному закону,
Роланд влачится дальше вниз по склону.

Разросся плющ и дикий виноград
У входа в грот, где от лучей палящих
Скрывались те, чьи имена глядят
С неровных стен пещеры на входящих.
Здесь больше вензелей во много крат,
Чем на стволах, следы ножа хранящих,
И там, где нож порой не преуспел,
То уголь надпись начертал, то мел.

Увы, Роланд последние сомненья
Внизу отбросит, строки увидав,
Дописанные словно в то мгновенье,
Как спешился у грота бедный граф.
Испытанные в гроте наслажденья
В стихах — должно быть, звучных — описав,
Медор на камне вывел их при входе.
Вот их значенье в нашем переводе:

«Зеленая трава, прозрачный ток,
Тенистый грот в прохладной толще склона —
Уединенья и любви чертог,
Где часто дочь нагую Галафрона
Ласкал Медор! Что может он в залог
Блаженства, кроме низкого поклона,
Оставить вам? Отныне что ни час
Мой долг священный — славословить вас

И повторять и рыцарю и даме
Влюбленным, из какой бы стороны
Они, с Фортуной за руку иль сами
Ни забрели сюда, что все должны
Желать, прощаясь с этими местами,
Благоприятных солнца и луны
Траве, ручью, пещере, а наядам —
Чтоб им не докучал пастух со стадом».

Язык арабский рыцарю знаком
Был, как родной, и, ведая немало
Наречий, в случае чего, на нем
Он говорил свободно, что, бывало,

Среди неверных, в лагере чужом,
Его от неприятностей спасало.
Но чем гордиться графу, если нет
Сегодня пользы в том, а только вред?

Все очевидней надпись роковая
Доходит до него. В глазах тоска.
Он верить хочет, вновь и вновь читая,
Что он не разумеет языка,
Но каждый раз как будто ледяная
Безжалостно сжимает грудь рука.
Все больше камню сам уподобляясь,
На камень смотрит он, не отрываясь.

Еще бы миг — и наземь тяжело
От нестерпимой витязь рухнул боли,
С какою ни одно на свете зло
Нельзя сравнить, поверьте мне, тем боле
Что я ее изведал. Граф чело
На грудь склоняет, на котором воли
И мужества уж не видна печать;
Нет слез — рыдать и голоса — стенать.

Вотще спешит несчастный, веря в чудо,
Исторгнуть скорбь, разлившуюся в нем;
Так, если горло полного сосуда
Намного у́же по сравненью с дном,
Не хлынет содержимое оттуда,
Коль резко мы сосуд перевернем,
Но лишь сочиться будет понемногу,
Себе же самому закрыв дорогу.

Едва придя в себя, он вновь готов
С собой, не веря в истину, лукавить:
Быть может, цель жестоких этих слов
Китайскую царевну обесславить,
Или стремился кто-то из врагов
Томиться графа ревностью заставить,
И в почерке зело искусно ей
Нарочно некий подражал злодей.

Надеждой этой зыбкой окрыленный,
Он сызнова садится на коня.
Порядок соблюдая заведенный,
Пора сестре сменить светило дня

На небе. Вскоре витязь утомленный,
Заметив кровли и пары огня
Над ними, направляется к жилищу —
Его надежд последних пепелищу.

Коня он оставляет под надзор
Смекалистому парню; остальные —
Кто принимает меч, кто пряжки шпор
Отстегивает, кто на боевые
Доспехи блеск наводит. Здесь Медор
В объятьях Анджелику сжал впервые.
Едва с дороги, рыцарь лечь спешит,
Без ужина по горло горем сыт.

Но, несмотря на все его старанья,
Ему не спится. Без конца в глазах
Терзающие сердце начертанья —
На окнах, на дверях и на стенах.
Спросить он хочет, но хранить молчанье
Несчастному повелевает страх,
Затем что легче тешиться обманом,
Пока сокрыта истина туманом.

Не знать Роланду более того,
Что знал Роланд, когда бы все молчали.
Однако пастырь, гостя своего
Желая от неведомой печали
Отвлечь, про то, как в доме у него
Медор и Анджелика побывали,
Ведет — наивная душа! — рассказ,
Которым прочих потчевал не раз.

Хозяин говорит, как он Медора
По просьбе Анджелики приютил,
Как с помощью ее леченья скоро
Тот выздоровел и набрался сил,
Как, наконец, не встретив в ней отпора,
Внезапно бог любви ее сразил —
И над собой она лишилась власти,
Сгорая от неугасимой страсти.

Он говорит, как, потеряв покой,
Дерзнула дочка самого большого
Из всех владык восточных стать женой —
Подумать только! — воина простого.

И путнику, рассказ окончив свой,
Без умысла показывает злого
Ее подарок — дорогой браслет.
Он не солгал. Сомнений больше нет.

Браслет, к тому же в доме очевидца,
Для графа — что секира палача.
Амур сумел на славу потрудиться,
Без промаха рубя стократ сплеча.
Ничем себя не выдать рыцарь тщится,
В душе проклятья пастырю шепча
И силясь не расплакаться от боли
И слезы удержать усильем воли.

Но вот уходят все. Отброшен стыд
И можно отпустить узду страданий:
Потоком слезы хлынули с ланит,
Он стонет, задыхаясь от рыданий,
И тело сверху донизу горит,
Как будто бы для вящих испытаний
Бог знает чем набит под ним тюфяк:
Ведь уголья и те бы жгли не так.

И вдруг догадка новая, о, боже!
Что ложе, на которое один
В изнеможенье он свалился,— то же,
Где принимал в объятья сарацин
Неблагодарную. Покинуть ложе
Спешит с таким же чувством паладин,
С каким, кто прикорнуть на травке хочет,
Змею завидя рядом, тут же вскочит.

Будь проклята злосчастная постель,
Болтливый пастырь и его лачуга!
Без промедленья на коня! Ужель
Терпеть всю ночь иль ждать, пока округа
Луною осветится? Прочь отсель!
Он меч берет и, оседлавши друга,
Въезжает в заросли — и уж теперь
Страданьям настежь раскрывает дверь.

Он плачет в голос, не переставая,
Он от селений держится вдали;
Ему ночлеги — чаща вековая,
Вставая с ложа, он встает с земли.

Понять он хочет, голову ломая,
Как столько места слезы в ней нашли
И сколько человек вздыхать способен,
И часто говорит: «Мой жребий злобен!

Я в заблужденье впал, вообразив,
Что из очей струятся слез потоки:
Они давно иссякли, не излив
Моей печали. То огонь жестокий,
Дорогу глаз от слез освободив,
На жизненные ополчился соки,
Чтоб мукам положить моим предел
И чтобы я притом не уцелел.

И эти знаки моего бессилья —
Не вздохи, что, похоже грудь тесня,
Подобного не знают изобилья:
Амур вокруг жестокого огня
То опускает, то вздымает крылья,
Чтоб не погасло сердце у меня.
Скорее бы сгореть ему, тем паче
Что ты, Амур, боюсь, решил иначе.

Я сам не тот, каким кажусь на взгляд,—
Роланда больше нет, его сгубила
Любимая, и днесь могильный хлад
Удел его, обманутого милой.
Я дух его, попавший в этот ад,
Я тень Роланда, взятого могилой,
Пример наглядный тем, кто вновь и вновь
Надежды возлагает на любовь.

Всю ночь, до солнца, через лес дремучий
Вслепую продирался он во мгле,
Пока опять его не вывел случай
К покрытой надписью в стихах скале.
На эти строки рыцарь смотрит тучей,
Все ощущенья — на его челе:
Гнев, ревность, ярость, жажда расплатиться;
И тянется к мечу его десница.

Он рубит письмена, и до небес
Взлетают камни облаками пыли.
И гроту горе и стволам древес,
Что графу тайну страшную открыли!

И вот уже тенистый грот исчез,
Чьи своды отдых пастухам дарили,
И чистых вод струящийся кристалл
От ярости безумца пострадал.

В ручей прозрачный рушатся с налета
Стволы, кусты, коряги, валуны.
Отныне это не ручей — болото:
За мутью не увидеть глубины.
Усталый граф не утирает пота,
Но силы наконец истощены,
И упадает витязь изможденный
На берег, кое-где еще зеленый.

Что сделал с ним неистовства порыв?
Он больше сил для гнева не находит,
Лежит недвижно, в небо взгляд вперив,
Где солнце трижды всходит и заходит.
Он, о еде и о питье забыв,
Рассудок свой терзаньями доводит
До помраченья полного. Но вот
Четвертый день за третьим настает.

Все части снаряженья без изъятья
Летят в кусты — нагрудник, и шелом,
И наручи... Всего перечислять я
Не стану: список оборву на том,
Прибавив, что пришла пора и платья —
И паладин остался нагишом
И впал в такое бешенство, что, право,
Любая ярость перед ним забава.

Другие ощущенья заглуша,
Им движет сила бешенства слепого,
И ни меча сейчас, ни бердыша
Ему не нужно для отмщенья злого.
Во многих бранях недругов круша,
В себе не знал он силача такого.
С корнями вырывает он сосну
Высокую — и ладно бы одну!

Дубы он повергает величавы
И вязы, точно фенхель с грядки, рвет,
И нет спасенья букам от расправы,
Ни ясеням, ни елям в свой черед.

Так если птицелов среди дубравы
Освобождает место для тенет,
Что для него тростник или крапива,
То дерева для графа: эко диво!

Пасущие в лесу свои стада
На страшный треск спешат к ручью селяне.
И что же видят, прибежав туда?
Однако мой рассказ достигнул грани,
Заранее намеченной, когда
О том, что им предстало на поляне,
Я ненадолго отложу рассказ,
Иначе скука одолеет вас.

*

Старайся крылья не испачкать клеем,
Кто угодил в любовный клей стопой.
По мненью мудрых (мы ж свое имеем),
Любовь всегда кончается бедой,
И пожинаем мы, что сами сеем,
Не на манер Роланда, так на свой.
Терять себя, терять из-за другого —
Не в том ли верх безумия людского!

Во что ни выливалось бы оно,
Одна и та же у него причина.
Из этой чащи выйти мудрено,
Туда ль, сюда бросайся — все едино.
Замечу в заключение одно,
Чтоб выглядела полною картина:
Кто продолжает и на склоне дней
Любить — и мук достоин и цепей.

Мне скажут: «Ты? И вдруг нравоученья
Подобные! Ты о себе забыл».
Признаться, я в минуту просветленья
Свой приговор любви произносил.
Что до меня, то жажду исцеленья,
Стремясь к свободе из последних сил,
Но слишком глубоко болезнь гнездится,
Чтоб можно было сразу исцелиться.

*

Сквозь полымем охваченный простор
До новой тверди кони их домчали
И понесли к Луне во весь опор
Пространством гладким, наподобье стали,
Лишенной даже неприметных пор.
Уступит по величине едва ли
Луна последнему средь прочих мест —
Земле, включая океан окрест.

Астольф застыл в глубоком изумленье:
Его Луны размеры потрясли,
Ничтожно малой в нашем представленье,
Когда мы смотрим на нее с Земли,
И то, что можно лишь при остром зренье
От моря сушу отличить вдали,
Которые, не обладая светом,
Едва видны при расстоянье этом.

Другие реки и долины рек
И не такие, как у нас, вершины,
Попав туда, откроет человек;
Там в деревнях чертоги-исполины,
Каких Астольф не видывал вовек,
Хоть странствуют немало паладины;
И нимфы круглый год, не то что тут,
В непроходимых чащах зверя бьют.

Тем временем Астольфу, как мы знаем,
Приглядываться некогда к Луне:
Спешит он, нетерпением снедаем,
Вослед вождю к долине, в глубине
Которой все, что мы внизу теряем
Не по своей и по своей вине,
Хранится, в том числе и те пропажи,
О коих мы не вспоминаем даже.

Не только о богатствах речь идет
И царствах, чей удел иных тревожит,
Но и о том, что Случай не дает
И что однажды отобрать не может.
Там в изобилье слава и почет,
Которые незримо Время гложет,
И грешных нас обеты, и мольбы,
И жалобы на произвол Судьбы.

Там слезы незадачливых влюбленных,
Проигранные в карты вечера,
Досуги при делах незавершенных,
На что у нас невежды мастера.
А сколько планов неосуществленных,
Пустых надежд! Подобного добра
Хоть отбавляй в диковинной долине.
Что потеряешь — там ищи отныне.

Знай паладин по сторонам смотри
Да слушай поясненья Иоанна.
Вот пузыри он видит, и внутри
Как будто кто-то ропщет беспрестанно.
Он узнает, спросив про пузыри,
Что перед ним державы, как ни странно,
Лидийцев, персов, греков и других —
Ну как их там — с былым величьем их.

Крючки он примечает золотые,
Которые не что иное есть,
Как подношенья — подкупы прямые,
Дабы в доверье к сильным мира влезть.
Про сети вопрошает он густые
И узнает в ответ, что это лесть.
А вот, подобны лопнувшим цикадам,
Владыкам оды, женам их и чадам.

Имеют форму золотых оков
Лишенные взаимности любови.
Вот когти беспощадные орлов —
Подручных власть, которых наготове
Владыки держат. Вот гора мехов,
Где столько дыма, сколько в добром слове,
Что от синьора слышит ганимед,
Покуда ганимед во цвете лет.

Несметных зрит Астольф сокровищ горы
Под сенью грозных некогда бойниц:
Нарушенные это договоры
И козни, не имевшие границ.
Вот перед ним мошенники и воры
В обличье змей с головками юниц,
Вот царедворцы, что уже не в силе,—
Разбитые бутылки и бутыли.

Он видит суп, что по земле течет,
И мудреца о нем пытает кстати.
«Наследство это,— отвечает тот,—
Живым напоминанье об утрате».
И вдруг цветы — зловонье в ноздри бьет
При сладостном когда-то аромате.
Цветочки эти (каюсь, божий раб) —
Дар Константина одному из пап.

Охапки сучьев с легким слоем клея —
Былая ваша, дамы, красота.
Все перечесть — напрасная затея,
Поскольку песня прозе не чета.
Добром, что мы транжирим, не жалея,
Забита до отказа местность та,
Где лишь безумства галл не обнаружит:
Безумию Земля твердыней служит.

И, сам с делами не спеша подчас
И дни бесплодно проводя порою,
На них пришлец не задержал бы глаз,
Когда б не вождь. И вдруг перед собою
Он видит то, что каждому из нас,
Как мы считаем, дал господь с лихвою:
О здравом смысле, о рассудке речь,
Который нам всего трудней сберечь.

Он оказался жидкостью летучей,
И посему хранится в склянках он
Различного размера: всякий случай,
Видать, отдельно взвешен и решен.
В одной из многих склянок ум могучий
Анжерского безумца заключен;
Она крупнее прочих, и к тому же
Роланда имя значится снаружи.

На каждой — надпись с именем того,
Чей здравый смысл закупорен в сосуде.
Порядочную долю своего
Нашел француз, в огромной роясь груде.
Но нет, не это потрясло его:
Он полагал — ему известны люди,
Что здравым смыслом именно сильны,
Так чем же склянки их тогда полны?

Лишаются рассудка — кто влюбившись,
Кто подчинив сокровищам мечты,
Кто глупостями магии прельстившись,
Кто возомнив, что звезды с высоты
Хватать нетрудно, кто вооружившись
Софистикой, а кто свои холсты
Малюя; надобно сказать при этом,
Что больше прочих не везет поэтам.

Астольф решился свой рассудок взять —
Конечно, с разрешения святого —
И склянку к носу, сняв с нее печать,
Поднес, и в нем хозяина былого
Не мог состав летучий не признать.
С тех пор, когда Турпину верить, снова
Премудрым долго оставался галл,
Покуда разум вновь не потерял.

Потом он склянку, что других полнее
И больше, взял, чтоб зравый смысл вернуть
Роланду. Оказалась тяжелее
Она, чем думал он. В обратный путь
Пора: он хочет графу поскорее
Несчастному помочь, но заглянуть
Апостол предлагает по дороге
В таинственный дворец. Его чертоги

Полны куделей шелка, шерсти, льна,
Которых часть для глаз приятна цветом,
Других окраска — чересчур мрачна.
Вот первый зал. Старуха в зале этом
Обводит нить вокруг веретена;
Так на Земле у нас крестьянки летом
Над коконами новыми сидят
И влажные останки потрошат.

Другая успевает еле-еле
За первою; обязанность другой —
Заранее красивые кудели
От некрасивых отделять. «Постой,
Я ничего не смыслю в этом деле»,—
Сказал Астольф, и отвечал святой:
«Узнай, что эти женщины седые,
Как должно Паркам, дни прядут людские.

Людскому веку по величине
Равна кудель, и Смерть с Природой, зная
О роковом для человека дне,
Блюдут его, отсрочек не давая.
Скажу тебе о лучшем волокне —
Оно идет на украшенье рая,
А худшее для грешников прядут,
Что лишь таких заслуживают пут».

ДЖОВАННИ, ТОМУ САМОМУ, ЧТО ИЗ ПИСТОЙИ

Я заработал зоб, трудясь, как вол,
И смахиваю зобом на породу
Ломбардских кошек, пьющих дрянь — не воду,
Но это лишь начало в списке зол.

Затылок место на хребте нашел,
И борода простерта к небосводу,
И волей кисти, брызжущей по ходу,
Лицо мое — как мозаичный пол.

Бока ввалились, будто с голодухи,
А задница — противовес спины:
Не видя ног, недолго оступиться.

От натяжения вот-вот на брюхе
Порвется кожа,— что до кривизны,
То лишь сирийский лук со мной сравнится.

Как тут не покривиться
И разуму, когда кругом изъян?
Не меток искривленный сарбакан.

Джованни, все обман:
Я не художник в этом гиблом месте.
Спаси меня, прошу тебя по чести.

* * *

Один пылаю в бесконечной мгле,
Когда лучи закатные померкнут,
И, скорбью — не в пример другим — повергнут,
В слезах ропщу, простертый на земле.

* * *

Порою шар, холодный наш приют,
Без Фебовых объятий остается,
И если чувствам свет не поддается,
В народе ночью этот свет зовут.

Но вспыхнет факел малый там иль тут —
И ночь в смертельном страхе прочь метнется,
Настолько призрачна, что в клочья рвется,
Едва огнивом в темноте взмахнут.

Земля бы никогда не породила
Ее одна: земля приемлет тень,
Но образуют тень лучи светила.

О ночи пишут все, кому не лень,
И большинство при этом позабыло,
Что даже в светлячке ей мнится день.

* * *

О ночь, не спорю — ты черным-черна,
Но ты зовешь к блаженству и покою,
И мудрый восхищается тобою,
А похвала глупца — исключена.

Твоей прохлады нежная волна
Дарует сон и, овладев душою,
Возносит над безрадостной землею
Туда, куда мечта устремлена.

О призрак смерти, что любым невзгодам,
Врагам сердец и душ, кладет предел,
Последнее спасение от муки,—

Ты сушишь слезы, и с твоим приходом
Мы от насущных отдыхаем дел
И ни забот не ведаем, ни скуки.

* * *

Для мастера не может быть решенья
Вне мрамора, где кроется оно,
Пока в скульптуру не воплощено
Рукой, послушной воле вдохновенья.

Так для меня надежды и сомненья —
Все, Госпожа, в тебе заключено,
И тут уже искусству не дано
Оборонить меня от пораженья.

Меня убьют не чары красоты,
Не холодность твоя сведет в могилу
И не судьбы превратной торжество,

Но то, что смерть и сострананье ты
Несешь в себе, тогда как мне под силу
Лишь смерть извлечь из сердца твоего.

* * *

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

* * *

Он зрел картины божьего суда,
Он побывал в чистилище и, зная,
Дорогу в рай, достиг при жизни рая,
Чтоб молвить правду, воротясь сюда.

Зачем, зачем горит его звезда
И над моим гнездом, не угасая,
Когда на свете нет такого края,
Где злее бы к нему была вражда?

О Данте речь. Его могучей лире
Неблагодарный не внимал народ:
Издревле слава недостойных — шире.

Когда б достиг я Дантовых высот,
И я бы счастью в этом злобном мире
Его печальный предпочел исход.

* * *

Не правда ли — примерам нет конца
Тому, как образ, в камне воплощенный,
Пленяет взор потомка восхищенный
И замыслом, и почерком резца?

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, природой побежденный,
Однако образ, им запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

И я портретом в камне или в цвете,
Которым, к счастью, годы не опасны,
Наш век могу продлить, любовь моя,—

Пускай за гранью будущих столетий
Увидят все, как были вы прекрасны,
Как рядом с вами был ничтожен я.

* * *

Я побежден. К концу подходит путь.
Ужель, Амур, себя, совсем седого
И после стольких ран едва живого,
Я вновь тебе позволю обмануть?

Ты пламень разжигал, чтоб вновь задуть,
Ты снова убивал меня и снова.
Не я стенаю: тень меня былого
Слезами скорби омывает грудь.

Я говорю с тобой о наболевшем,
Для страшных стрел твоих неуязвим.
Зачем же целить в пустоту из лука?

Что древоточцу в дереве истлевшем?
И не позор ли гнаться за таким,
Кому ходить — не то что бегать — мука?

ИЗ ПОЭМЫ «БАЛЬДУС»

Квази во всех городах эст один обычай антиквус:
Друг контра друга идут легионес мальчишек и бьются
Камнибус; а из-за них интер взрослых случаются свары.
Я не видебам еще, чтобы столько сшибал желудорум
С дуба мужик, лаборандо шестом иль увесистой палкой,
Ежели даре он хочет свиньям прожорливым корму,
Сколько видéре я мог камней, кум свисто летящих,
Квандо баталиам вдруг затеют мальчишки, эт застит
Светум дневной не туча камней, но истошные крики,
И Стефанус сильней эт сильней бушует темпестой.
Бальдус, как дикси уж я, в тех схватках частиссиме дрался;
Семпер анте других сорванцов ин битвам летит он,
Крутит суам пращам эт мечет круглые камни.
Солюс такую порой он подымет пылищу, что небо
Застит илла, а он, тесня врагов-инимикос,
Их, словно фульмен, разит и орет «давай!» во всю глотку,
Воплибус в души друзей возвращая доблесть-виртутем.
Часто ломали ему черепушкам, как омнибус храбрым
Военачальникам, но не могли принудить монстраре
Зад свой врагу: чуть завидит он кровь — плюс силы прибудет,
Так, если перец толочь подольше — магис он пахнет,
Выше деревья растут, если их подрезать дилигентер.
Лучше суб груда камней согласен с витой расстаться
Бальдус, чем наутек пуститься и праздновать трусо.
Только воротится в дом героус, кровью покрытый,
Максимус вмиг учиняет грабеж он в курятнике, ибо
Яйца потребны ему черепушкам лечить и утробам:
Раны он клеит белком, набивает брюхум желтками.
Мать ему в горе твердит (ведь пуглив амор материнский):

«Сын мой, ми нате, зачем синяки ты и ссадины копишь?
Богом тебя заклинаю, оставь, ноли тангере камни,
Битвы покинь: ведь и так на диаболум рожей похож ты».
Бальдус инквит в ответ: «Вы хотите, чтоб трусом прослыл я,
Шлюхи отродьем, ослом, мужиком кухонным, ублюдком?
Кредис, что я соглашусь повсеместную славам утратить?
Есть ли бесчестье хужей? И вам, о матэр, неужто
Дела и вовсе нет до гонорем нашего дома?
Воло похвастаться вам, но не тем, что такой молодчина
Я, а тем, что могу кум всемибус съесть потрохами
Тех, кто ублюдком меня назовет эт вас дицет шлюхой!
Разве родитель мой Берт — рогоносцис? За честь его центум
И даже двести раз готов я с витой расстаться!
Матэр, что толку реветь? Уступите, цедите сыну!
Цедите камни швырять, подстрекандо к сраженью, дозвольте,
Чтобы, возросши, носил я арма с доблестью вящей.
Сурсум тормашками все летят, кого ухвачу я
За волоса: не поможет им йам ни уменье, ни сила.
Звант меня паладином одни, гигантом другие,
Ибо мекум никто не сравнится ин битвис искусством.
Всех впереди, я от градис камней увернуться умею,
Санус я, здрав, невредим, молодец экс омнибус лучший,
Люди найдутся всегда, что, видендо, как я снаряжаюсь,
Все приготовят для нас, что потребно ин потасовкам,
Время ль сбираться на бой иль вести без фине сраженья
Те, что удачи несут и летиции много поболе,
Нежели козы, которых пасу, или вестрэ гусыни».
Так элоквентер он мать увещал, она же, внимандо,
Горькие слезы лила и дульце ему улыбалась.

ФРАНЧЕСКО БЕРНИ

НА БОЛЕЗНЬ ПАПЫ КЛИМЕНТА В 1529 ГОДУ

Поесть — у папы нет иного дела,
Поспать — у папы нет иной заботы;
Возможно дать такие лишь отчеты
Любому, кто о папе спросит, смело.

Хороший взгляд, хороший вид и тело,
Язык хорош и качество мокроты.
Нет, с жизнью он порвать не хочет счеты,—
Но рать врачей сжить папу захотела.

И в самом деле, честь их пострадает,
Коль он живым уйдет от их атаки,
Раз сказано: конец, он умирает.

И страшные выдумывают враки:
Что в два часа припадок с ним бывает, —
Сегодня нет, а завтра будет паки.

От них подохнут и собаки,
Не то что папа. В общем же похоже,
Что как-никак его прихлопнут все же.

КАПИТОЛО ПЕРВОЕ О ЧУМЕ

Маэстро Пьеро Вуффэ, повару

Смешно, маэстро Пьеро, удивляться
Тому, что в нашем споре в прошлый раз
В подробности не стал я углубляться,

Когда с тобой за ужином у нас
Возник вопрос — какое время года
Милей других. Ты все поймешь сейчас;

Решить с налету спор такого рода
Нельзя,— он вроде тех особых блюд,
Что требуют особого подхода.

Поэты преимущественно чтут
Цветенья пору, дружно извлекая
На свет овна, когда ее поют,

И муравою землю украшая,
И согревая ласкою лучей,
И всем любить и зачинать вменяя;

В стихах монахи из монастырей
Не по двое, не по трое на сходки
Спешат, но братией почти что всей;

Осел томится по своей красотке
И, увидав ее, ревмя ревет,—
Зачем поэтам новые находки!

Другие лето хвалят в свой черед,
Когда, почти без риска ошибиться,
Мы говорим, что сытый будет год;

Уже на ток стекается пшеница,
Плоды на ветках копят сладкий сок
И потемневший виноград лоснится,—

Нельзя сказать, что в этом малый прок;
Темнеет поздно, словно о постели
Зазорно вспоминать в привычный срок,

И долгим днем доволен, кто при деле,
А у кого ни мыслей нет, ни дел,
Жует весь день, чтобы не жить без цели,

Или за карты засветло засел:
В стаканах полных серебрятся льдинки,
Покуда воздух влагу не согрел.

Иные говорят, что вид начинки
Разрозненной не так ласкает взгляд,
Как теста вид с начинкой в серединке;

Пора, когда напитком виноград
Становится и просится из бочки,
От прежних отличается стократ,

Как от мазка — картина и от почки —
Созревший плод. Надеюсь, что поймет
Мой друг сии запутанные строчки.

Ботве они предпочитают плод;
Любуясь птичкой в небе накануне,
Мечтают птичку вынуть из тенет;

Печалятся об октябре в июне,
Май на сентябрь готовы променять,
И спорить с ними — значит спорить втуне.

Есть люди, для которых благодать —
Зима, поскольку нет зимой жарищи
И лежа можно время коротать;

Любая живность в эту пору чище,
Свиней не исключая: кто не глуп,
В морозы не боится жирной пищи;

В Ломбардии приходит время шуб,
И в шляпе с перьями — любой прохожий,
И вспыхнувший Георгий взору люб.

Зимою день короткий — ну и что же!
А ночь зачем? Не спи до трех часов,
До четырех утра и даже позже.

Печется в эту пору пирогов
С начинкой овощной гораздо боле,
Чем сыщется в Неаполе подков.

Любое время славить в нашей воле,
У каждого — приверженцы не зря,
Да что там говорить, не ясно, что ли!

Ты в этом убедишься сам, творя
Молитву и душистое жаркое
(Быку спасибо из календаря!).

Занятье не такое, так другое
В любое время года нам дано:
Кто сочиняет, как и ты, съестное,

Кто птицу бьет, кто делает вино;
Обычный день и праздник — все толково
В календаре твоем отражено.

Пожалуй, все для вывода готово,
Так вот пойми, дружище, что в году
Нет времени прекраснее чумного.

Не заподозри, будто я в бреду
Или треща под стать пичужке глупой
Невнятную несу белиберду.

Дабы тебе я не казался ступой
С водой, изволь дослушать до конца,
И все рукою, как Фома, пощупай.

И время Девы, и пора Стрельца
В сравнении с чумными временами
Не стоят выеденного яйца.

Не стану говорить обиняками,
Продолжу, ты ж терпение имей
Раскинуть, выслушав меня, мозгами.

Чума — поклон за это низкий ей! —
Сначала на злодеев наступает
(На Всех Святых так потрошат гусей)

И правильно, конечно, поступает:
Во всех церквах невиданный простор
И на ноги никто не наступает.

Спокойно в долг до самых ближних пор
У всех подряд бери напропалую,—
Едва ль побеспокоит кредитор,

А явится — на боль на головную
Пожалуйся, и страх возьмет свое,
И сумму он простит тебе любую.

Из дома выйдешь — царское житье:
Всяк уступить спешит тебе дорогу,
Тем паче если на тебе рванье.

Подвластен одному себе и богу,
Людишек непонятных посреди
Смеешься ты, внушая им тревогу.

Как хочешь, так себя ты и веди,
Чем хочешь, развлекай себя на славу,
Угодно — хоть на голове ходи.

И мясо можно выбирать по нраву,
И старую говядину не жрать,
Забыв, что прежде ел сию отраву.

И можно жить — и сил не надрывать.
Я верный раб чумы, что тут плохого!
Себя я не любитель утруждать.

Ни облачка на небе грозового,
И сладко заполнять досугом дни
От одного застолья до другого.

Коль скоро есть среди твоей родни
Какой-нибудь богатый старикашка,
Ему о завещанье намекни

И скромно жди, пока помрет бедняжка;
Плевать, что кто-то станет говорить,
Что против бога согрешил ты тяжко.

Природа знай показывает прыть!
Повсюду школы на замок закрыты,—
Все лучше, чем без устали зубрить.

Запреты бесконечные забыты,
Блаженнейшее время настает,—
Неволею мы все по горло сыты.

Как в масле сыр, катается народ:
На что глаза ни упадут людские,
Все каждый беспрепятственно берет.

К тому ж за столько времени впервые
О боге вспоминает человек,
И что ни город — на стенах святые.

Воистину, пора молочных рек,
Такое впечатленье, что природа
Свой золотой переживает век.

Как видишь, в споре главное — метода...
Однако тему исчерпали мы.
Подумай же: какое время года

Прекрасней всех? Ты прав — пора чумы.

* * *

Тревога, страха нашего мерило,
Который столь непросто отмести,
Ты лед несешь для охлажденья пыла,
Стремясь разлад в союз любви внести;

Ты горечью своею мне претила,
Оставь меня, забудь ко мне пути,
Вернись в Аид, где без того уныло,
И хоть навечно корни там пусти.

Не отдыхая днем, не спя ночами,
Там утоляй неутолимый глад
Немнимыми и мнимыми страстями.

Ступай. Зачем, разлив по венам яд,
Страшней, чем прежде, с новыми тенями
Ты, ревность, возвращаешься назад?

* * *

Красавец в клетке, пилигрим зеленый,
В заморский этот завезенный край,
Прислушивайся к звукам, постигай
Из уст мадонны наш язык мудреный.

Но берегись, уроком поглощенный,
Ее очей горящих, попугай,
Не то, как я, погибнешь невзначай,
Затем что жáра ни ручей студеный,

Ни ливень не погасят, ни зима,
Тогда как ей, холодной, все едино —
Сгоришь ли ты иль не сгоришь дотла.

Так набирайся поскорей ума,
Чтоб ей сказать: «Безжалостных, Квирина,
Не жаловала никогда хвала».

* * *

О Сон, дитя покойной, и туманной,
И влажной ночи, о забвенье зла
Для тех, кого природа обрекла
Тревоге и печали постоянной,—

Опомниться от боли несказанной
Дай наконец, что сердце извела,
Приди и, черные свои крыла
Расправя, неги дай вкусить желанной.

Где тишина? Ведь свет уже потух.
Где легкий рой пугливых сновидений?
Ты снова, Сон, к моим призывам глух.

Напрасно о твоей мечтаю сени.
Под головою камни, а не пух.
О, эти ночи, полные мучений!

* * *

О лес пустынный, друг моей печали,
Сейчас, когда пора недолгих дней
Стоит, и с воем ледяной Борей
Завесой снежной застилает дали,

И кудри древних крон седыми стали,
Не отличаясь от моих кудрей,
И на опушке снег лежит твоей,
Где взор цветы не так давно ласкали,

О мрачном этом и коротком дне,
К закату близком, размышляю я,
Который душу леденит и члены,

Но холодней твоей зима моя,
И беспощадней злобный Евр ко мне,
И дальше ночь моя от перемены.

* * *

О души мудрые и непростые,
Стремящиеся в гору, к вышней дали,—
Как если бы до вас не пролагали
Туда следов паломники иные,—

Для вас родятся лавры золотые;
Вы по морским пространствам разбросали
Передо мною паруса большие;
Вы имя сладостное в них вписали

Божественного моего Сеньора,—
Ведь сей сюжет минует ухищренья
И сам собой достигнет неба вскоре...

Лишь мой напев, исполненный смиренья,
О Господин, дойдет к тебе не скоро;
Он слишком тих, он глохнет в общем хоре.

* * *

Звезда моя сурова. Но, признаться,
Мой граф — суровей. От меня всечасно
Бежит он прочь. Когда ж другие тщатся
Меня пленить, мне это не опасно.

Проклятие — в меня влюбленным страстно!
Я пред надменным жажду преклоняться,
Смиренна — с не желающим смиряться.
Люблю того, кто смотрит безучастно.

В негодованье он меня приводит!
Другие — мир, довольство мне готовят,
Но лишь за ним душа моя стремится.

И все в любви навыворот выходит:
Бесчестье — чести гордо прекословит,
Смиренный — плачет, злобный — веселится.

* * *

Не диво ль? — Счастье было мне подвластно,
Когда меня то боль, то нега ждали,
То мрак, то свет передо мной вставали,
И было небо то черно, то ясно.

(Ведь луг любви, цветущий сладострастно,—
Что́ мог бы он узнать об идеале,
Когда бы в счастье не было печали
Любовным несуразицам согласно!)

А нынче здесь — раздолье травам сорным,
Шипам да сучьям мертвенно-проворным,
Где вьются гады, злы и ядовиты...

Пришло безверье, радость изменила,
Мечту о счастье — скорбь искоренила.
И все причины в этом сердце скрыты.

* * *

Тоскующая, плача о злосчастных
Грехах моих, о праздности сердечной,
О жизни суетной и быстротечной,
Прошедшей в ослепленьях сладострастных,

К Тебе, кто терпит небу непричастных,
Кто снег дыханьем растопляет вечный,
В пух обращает груз бесчеловечный
И в каждом теплит искру сфер прекрасных,—

Взываю: низойди, подай мне руку!
Из бездны выведи, откуда тщетно
Хочу подняться! — Ибо за кого же,

Как не за нас, ты принял крест и муку!
О сладостный, любимый беззаветно,—
Не дай погибнуть мне, великий боже!

ДЖОВАН БАТТИСТА СТРОЦЦИ

* * *

В слезах меня ласкала,
А смеясь — отвергала.
В горе — тепло дарила,
В радости — зло творила.
Радость — дитя страданья,
Скорбь — от веселья. Знайте,
Любящие! Питайте
Страхами упованья.

* * *

Звезда в лазури ясной
Не так светло в ночной тиши сияет,
Как тот цветок прекрасный,
Дар Флоры. А вокруг него пылает
Костер зеленых трав, смеется, льется
С волной и дуновеньем.
И, как дождем, дол напоен томленьем,
И Купидон клянется,
Что всех прелестней твой цветок медвяный
У ног его в лучах зари румяной.

* * *

Амур крыла мне дал. И вот, крылат,
Так воспарил я мыслью, прежде пленной,
Что мнится мне: рукою дерзновенной
Стучаться буду у небесных врат.

Но я дрожу, лишь оглянусь назад,
А он вослед пророчит мне, надменный,
Что упаду, что будет смерть мгновенной,—
Но что за дерзость славой наградят.

Икар, что прежде к небесам проник,
Когда смягчили воск лучи светила,
Дал имя морю в свой последний миг.

Но обо мне б молва провозгласила:
«Взалкавший звезд, он цели не достиг.
Не мужества, но жизни не хватило».

* * *

Глаза, как вас назвать?
Глаза? Пожалуй, бледно. Как иначе?
В словах высоких поискать удачи?
Сравню со звездами — солгу безбожно?
В них нет огня, и красота их ложна.

И с солнцем не сравню: огонь светила
Шальная ваша красота затмила —
Я говорю по праву очевидца.
К тому ж не вы, а солнце туч боится.
Где слов былая сила?
Виновны сами вы, что все сравненья
Ничуть мне не по нраву:
Для красоты — словесной нет оправы.

* * *

Спокойные до первой непогоды,
Вы превзошли себя на этот раз,
Напоминая боль мою сейчас,
Ревущие, не умолкая, воды.

Смолистые челны и хороводы
Веселых нимф сокрылися от вас,
Как от моих сокрыта ныне глаз
Виновница нечаянной невзгоды.

Увы, мой день унылый все длинней,
И значит — время счастья недалеко,
Но мне удел от всех отличный дан:

Ни трепетных ночей, ни светлых дней,
Будь солнце низко, будь оно высоко,
Не принесет жестокий мой тиран.

* * *

Побеждены недугом, на пороге
Отчаянья, бросают люди дом,
Спасения ища в краю чужом,
Когда пред ними нет иной дороги,—

Покинув так богатство и чертоги,
Где бог любви с особым мастерством
Пускает стрелы, я решил в глухом
Убежище забыть мои тревоги.

Но всюду — и в безлюдной стороне,
И стиснутый толпою,— постоянно,
Где б ни был я, Амур, как тень, при мне;

Скачу в седле — и моего тирана
Везу, плыву — и он со мной в челне,
Я плачу, он смеется, как ни странно.

* * *

Дворец, где жен высокородных лица
Сияли счастьем, царственный колосс,
Ты стольким радости любви принес,
Но эта перевернута страница.

Сегодня ты — жестокая темница,
Обитель страха, пыток и угроз,
Вместилище теней и вечных слез,
Где равносильно смерти очутиться.

Другие времена — и ты другой,
Нам одинаково не повезло,—
Недаром были мы с тобой похожи.

Надежды все утратив до одной,
Я, хоть и поздно, убедился тоже,
Что наслажденья — хрупкое стекло.

* * *

Седые Альпы — зыбкая преграда —
Остались позади, и ожил я:
Ты предо мной, Италия моя,
Для счастья больше ничего не надо.

Какой была мучительной отрада,
Чужим красотам противостоя,
Не забывать для них твои края,
Не ведают твои слепые чада.

Блажен, кто небольшой земли клочок
Имеет здесь, и кров над головою,
И пропитанье, и воды глоток!

Я не стремился некогда к покою
И плачу ныне, что, увы! не смог
Проститься раньше с юной суетою.

АМИНТА

Отрывок

Дафна. Ужель ты станешь, Сильвия,
И впредь себя в твои младые годы
Лишать волшебных радостей Венеры?
И слова «мама» так и не услышишь
И не увидишь, как играют дети
Вокруг тебя? Послушайся совета,
Оставь, оставь упрямство,
Одумайся, глупышка.

Сильвия. Другие пусть в любви отраду ищут,
Когда в любви найти ее возможно,
А я довольна жизнью; лук и стрелы —
Моя забава, бег за быстрым зверем
И наконец решительная схватка —
И он сражен. Покуда звери в зарослях
И стрелы не перевелись в колчане,
В забавах я не знаю недостатка.

Дафна. Воистину нелепые забавы,
И если ты довольна этой жизнью,
То потому, что ты другой не знаешь.
Так представлялись первобытным людям
Во времена младенчества вселенной
Питьем чудесным и чудесной пищей
Вода и желуди, теперь же это —
Питье и пропитание животных,
А люди хлеб и виноград узнали.
Быть может, если б ты хоть раз вкусила
И тысячную часть отрад сердечных,
Которых не узнать, любви не зная,

Ты б молвила, вздыхая:
«Напрасно тратит время,
Кто не живет любовью.
О, месяцы и годы,
Как много одиноких
Ночей и дней без друга
Я провела впустую,
Что посвятить обычаю могла бы,
Который большей сладостью известен!»
Оставь, оставь упрямство,
Одумайся, глупышка:
Спохватишься потом — да будет поздно.

Сильвия. Как только я произнесу, вздыхая,
Твои слова — красивые, не спорю,—
К своим истокам возвратятся реки,
Трусливый заяц за борзой припустит,
А овцы — за волками, и медведи
Полюбят море, а дельфины — горы.

Дафна. Я знаю, до чего упряма юность:
И я была такой, судьбой похожа
И ликом на тебя,— светловолосой,
Как ты, была и с алыми губами,
И на ланитах пухлых цвел румянец,
С такой же сочетаясь белизною.
Мне было в радость (радости у глупых
Свои) одно: натягивать тенета,
На ветки клей намазывать, о камень
Точить копье, отыскивать по следу
Зверей; когда же на себе случалось
Мне взгляд подчас почувствовать влюбленный,
Дикарка, я глаза склоняла долу,
Полна стыда и гнева; счастье мнилось
Несчастьем мне, и нравиться другому
Не нравилось, как будто это было
Моей виною и моим позором —
Внушать любовь и возбуждать желанья.
Но время шло. Чего любовник верный
Со временем от милой не добьется
Повиновеньем, вздохами, мольбами?
Да, я сдалась,— оружьем победитель
Избрал недаром слезы, и смиренье,
И скорбный вид, и просьбы о пощаде.

Открыла тень одной короткой ночи
Мне то, что долгий свет тысячедневный
Открыть не властен был бы и поныне.
Я прокляла тогда свою наивность
И слепоту и молвила, вздыхая:
«Вот лук мой, Кинтия,— с меня довольно
И стрел твоих, и твоего устава».
Хочу я верить, что и твой Аминта
В один прекрасный день преодолеет
Твое упрямство дикое и сердце
Железное твое смягчит. Быть может,
Он не пригож? Или тебя не любит?
Или другим не люб? Или, отвержен
Тобою, бросился другой в объятья?
Он Сильвии, быть может, не достоин?
Достоин: если ты — дитя Кидиппы
И внучка бога этой славной речки,
То он Сильвано сын, который сыном
Был божеству стада пасущих — Пану.
Когда ты смотришь в зеркало речное,
Тебе не уступает Амариллис
Ничуть в красе, но он пренебрегает
Приманками ее, предпочитая
Страдать из-за тебя. Ты, видно, хочешь
(Да не исполнится твое желанье!),
Чтоб он другой, отчаявшись, прельстился,
Которая его прельстить бы рада.
Какими бы глазами посмотрела
Ты на него тогда? На то, как счастлив
С другою он и над тобой смеется?

Сильвия. Пусть поступает со своей любовью
Аминта, как захочет. Чьим угодно
Пусть будет он — моим бы только не был:
Я не хочу, и он моим не будет,
А стань моим, его бы я не стала.

Дафна. Чем объяснить вражду?

Сильвия. Его любовью.

Дафна. Любовь добра, а дочь ее жестока?
Но от ягнят когда рождались кротких
Тигрицы? Или от вороны — лебедь?
Ты говоришь неправду.

Сильвия. Я любила
Его, покуда он желал того же,
Чего и я. Теперь другое дело.

Дафна. Ты зла себе желала. Он желает
Тебе добра, как и себе.

Сильвия. Довольно
Об этом, Дафна.

Дафна. Ну и воспитанье!
Нет и в помине уваженья к старшим.
Одно скажи: когда б другой влюбился
В тебя, с другим бы ты была другою?

Сильвия. Другою никому меня не сделать
Из оскорбителей, в которых видишь
Влюбленных ты, а я — врагов заклятых.

Дафна. Выходит, овны овцам
Враги? Какая глупость!
Быки враги коровам?
Выходит, голубице
Заклятый ворог голубь?
Выходит, ты расцветом
Вражды весну считаешь,
Блаженнейшую пору,
Которая с улыбкой
Зовет к любви и счастью
Природу и животных,
Мужей и жен? Ужели ты не видишь,
Как все живое нынче
Любовью дышит новой,
Любовью, полной трепетной отрады?
Не видишь? Полюбуйся
На голубя, что, сладостно воркуя,
Целуется с подругой.
А соловей? Послушай,
Как он поет на ветке:
«Люблю, люблю». Узнай, когда не знаешь,
Что змеи нынче поспешают к милым,
Простясь на время с ядом;
Тигрица с тигром рядом,
И гордый лев влюблен. Лишь ты, дикарка,

Чья дикость превосходит
Звериную, любви бежишь упорно.
Да что там твари — тигры, львы и змеи,
Когда растения и те умеют
Любить. Смотри, с какой самозабвенной
Доверчивостью обнимают лозы
Своих мужей любимых; сосны сохнут
По соснам, плачет ивушка по иве,
Бук любит бук, и ясень любит ясень,
А пиния по пинии вздыхает.
И этот дуб корявый
И неприступный с виду,—
Он тоже знает силу
Любовного огня; и ты могла бы
Его услышать вздохи, если б сердце
Твое любить умело. Или хуже
Ты хочешь быть растений,
Не зная наслаждений?
Оставь, оставь упрямство,
Одумайся, глупышка.

Сильвия. Поверь: как только вздохи
Услышу я растений,
Я погружусь в пучину наслаждений.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Отрывок

Тут Аладин из Золотых ворот
Выходит, ратным окруженный строем,
В надежде, если счастье снизойдет,
Успеть на помощь славным двум героям.
Султан с налету на француза жмет,
Тесня его, потом отходит с боем,
Ворота запирает за собой.
Но где Клоринда? Нет ее одной.

Как раз когда ворота затворяли,
Ее в толпе ударил Аримон.
Она — за ним, от города все дале,
Пылая местью. Паладин сражен.

А что Аргант? Заметить мог едва ли
Исчезновение Клоринды он:
Забрали ночь и ратников громада
У сердца — память, остроту — у взгляда.

Покончив с незадачливым бойцом
И успокоив кровью жажду мщенья,
Она пришла в себя: враги кругом,
И неоткуда больше ждать спасенья.
Однако, убедившись, что ни в ком
Она не вызывает подозренья,
Воительница храбрая нашлась,
Одним из паладинов притворясь.

Потом, как волк, который схорониться
В лесу спешит и заметает след,
Она хотела тайно отделиться
От христиан, пока порядка нет
В рядах врагов и не зажглась денница,
Но тут ее разоблачил Танкред:
Он Аримона видел смерть воочью
И за Клориндой ехал, скрытый ночью.

Танкред не даст убийце ускользнуть,
Уверен, что принудит мужа к бою.
Она к другим воротам держит путь,
Священной осененная горою,
Но склон не успевает обогнуть,
Оружья звон услыша за спиною,
И в ночь кричит: «Ты с чем спешишь, гонец?»
В ответ: «С мечом. Теперь тебе конец».

«Ты ищешь смерти,— дева молвит смело,—
И ты ее получишь от меня».
Затем что с пешим всаднику не дело
Сражаться, паладин сошел с коня.
Мечи скрестились, битва закипела,
Сверкают взоры, полные огня.
Враги сошлись, напоминая оба
Быков, которых ослепила злоба.

Достойны ярких солнечных лучей
И зрителя отвага их и сила.

О ночь, напрасно ты в груди своей
Сражающихся воинов сокрыла!
Позволь поведать для грядущих дней
Подробно обо всем, что дальше было.
Да увенчает вечной славой их,
Из мрака вырвав, мой правдивый стих.

Обоим опасенья незнакомы
И хитрости. Идет открытый бой.
Забыты в гневе ложные приемы,
Искусство отступило перед тьмой.
Оружие звенит, трещат шеломы,
И след нога не покидает свой;
Нога недвижна, только руки ходят,
И без ошибки цель мечи находят.

Оплошности, рождая жгучий стыд,
Подогревают ненависть слепую,
И каждый покарать врага спешит,
Минуту приближая роковую.
За кем удар, который все решит?
Противники стоят почти вплотную
И в ход уже пускают сгоряча
И шлем, и щит, и рукоять меча.

Трикраты дева паладином сжата
В объятиях и трижды узы рвет —
Железные объятья супостата,
Но не любовника. И вновь черед
Доходит до остывшего булата,
И новая струится кровь. Но вот
Они, измученные долгой схваткой,
Расходятся для передышки краткой.

Поодаль на мечи облокотясь,
Стоят они и смотрят друг на друга.
Уже денница в небе занялась,
И первым светом полнится округа,
И замечает паладин, гордясь,
Что больше вражья, чем его, кольчуга
Обагрена. Безумцы! Каждый раз
Чуть повезет — и все ликует в нас.

Какое ждет тебя, несчастный, горе,
Не знаешь ты. Тебя повергнет в дрожь
Триумф желанный, и (коль скоро в споре
Жестоком смерти сам не обретешь)
Ты в покаянье слез горючих море
За кровь, тобой пролитую, прольешь.
Но вот окрепла, отдохнув, десница.
Танкред к врагу дерзает обратиться:

«Молчанью наша честная борьба,
Увы, обречена, и я расстроен.
Зачем лишила зрителей Судьба
Наш подвиг ратный, что хвалы достоин?
Скажи, молю тебя (когда мольба
Уместна в битве), кто ты, храбрый воин.
Я вправе знать заранее, кому
Обязан смертью, если смерть приму».

Она в ответ: «Я тайны не открою,
Привычке для тебя не изменю.
Кто б ни был я,— один перед тобою
Из тех, что башню предали огню».
Танкред взбешен: «Меня торопит к бою
Услышанное. Я тебя казню,
Предерзкий варвар, за твое признанье
И в равной мере за твое молчанье».

И снова гневом полнятся сердца
Усталые. О, яростная схватка,
Где силы на исходе у бойца,
Что лишь в одном не знает недостатка —
В решимости сражаться до конца!
Кто победит, по-прежнему загадка.
Давно бы оба испустили дух,
Когда бы пламень гнева в них потух.

Эгейской наподобие стихии,
Которая, когда стихает Нот
Иль Аквилон, подолгу штормовые
Еще валы вздымает и ревет,—
В сраженье силы истощив былые,
Без коих быстрый меч уже не тот,
Враги, начальным движимые жаром,
Удар обрушивают за ударом.

Но близится к минуте роковой
Смертельный спор. Клоринда проиграла:
Несчастной в грудь он меч вонзает свой,
Чтоб кровью напоить стальное жало,—
И ткань покрова с ниткой золотой,
Что под кольчугой перси облекала,
Алеет, жаркий впитывая ток.
Конец. Земля уходит из-под ног.

Нет прибегать к оружью больше следу,
Клоринда упадает, вся в крови,
И с просьбой обращается к Танкреду,
Шепча слова последние свои.
В них чувство, одержавшее победу,
В них дух надежды, веры и любви;
Пускай была Клоринда мусульманкой,
Она уйдет из жизни христианкой.

«Тебя прощаю, друг... и ты прости,
Не телу, нет,— не знает страха тело.
За душу помолись и окрести
Меня. Ты совершишь благое дело».
Она мольбой, невнятною почти,
Растрогать сердце витязя сумела,
И, гнев забыв и тысячи угроз,
Он плакать хочет и не прячет слез.

Неподалеку брал ручей начало,
Пробив журчащей струйкой горный скат.
Наполнив шлем, Танкреду предстояло
Угодный богу совершить обряд.
Он, над врагом склонясь, его забрало
Приподнимает. О, виденье! Взгляд
Узнал ее, и задрожали руки.
Танкред молчит, сердечной полон муки.

Нет, он не умер, он остался жив,
Он — на свою беду — собой владеет,
Надеясь, что, водою окропив,
Сраженную мечом спасти сумеет.
Когда над ней, колена преклонив,
Слова обряда шепчет он, светлеет
Ее чело, и словно говорит
Она: «Душе на небо путь открыт».

Лицо покрыла бледность гробовая,
Сродни фиалкам посреди лилей,
И кажется, что небо, сострадая,
И солнце наклоняются над ней.
Но вот она к Танкреду, умирая,
Залогом мира длань взамен речей
Подъемлет и в неловкой этой позе,
Как будто бы уснув, почиет в бозе.

Танкред не сможет никогда понять,
Как мог собою он владеть дотоле.
Недолго силы сердцу растерять,
Державшиеся в нем усильем воли.
На чувствах, на челе его — печать
Смертельная от нестерпимой боли.
В нем все напоминает мертвеца:
Безмолвие, недвижность, цвет лица.

Его душа бы следом устремилась
За благородною ее душой,
Что в небеса на крыльях возносилась,
Когда б отряду франков за водой
Или еще зачем-то не случилось
Направиться сюда. Они с собой
Увозят в стан Клоринду и Танкреда,
Поверженного в прах своей победой.

По снаряженью вождь издалека
Узнал Танкреда и через мгновенье,
Приблизившись,— о, жребия рука! —
Увидел деву. Он в недоуменье.
Другой бы приказал наверняка
Волкам ее оставить на съеденье,
А он нести, хотя неверной мнит,
В шатер к Танкреду и ее велит.

Несущие считают, и напрасно,
Что паладина жизнь оборвалась.
И вдруг он застонал, и стало ясно,
Что не убит, а только ранен князь,
Тогда как неподвижно и безгласно
Второе тело. Вот, не торопясь,
В шатер просторный вносят их обоих,
Но с тем, чтоб в разных поместить покоях.

Хлопочут люди верные вокруг,
И не проходят втуне их старанья.
Уж рыцарь смутно слышит речи слуг
И рук целящих видит очертанья.
Однако то, что ожил он, не вдруг
Доходит до туманного сознанья.
Но наконец он свой походный дом
И слуг узнал и говорит с трудом:

«Я жив? Дышу? И созерцают очи
Спокойно этот ненавистный день,
Что преступление минувшей ночи
Явил, рассеяв роковую тень?
И ты, рука, ты не имеешь мочи,
Тебе, трусливой, шевельнуться лень,
Затем чтобы казнить меня, злодея,—
Тебе, сразившей стольких, не жалея?

Возьми оружье, дабы в грудь вонзить
И это сердце изрубить на части.
Ужели ты, привыкшая разить,
Не хочешь мне помочь в моем несчастье
Из жалости? Итак, я должен жить
Примером душу погубившей страсти,
Любви жестокой горестный пример,
Бесчестия достойный изувер.

Я должен жить, и где бы ни носило
Меня, страданий мне не превозмочь.
И день и ночь — мне будет все немило:
В моей ошибке виновата ночь,
А солнце мне на все глаза открыло;
И от себя я буду мчаться прочь,
Себя возненавидя бесконечно,
И сам к себе прикован буду вечно.

Но где останки милые лежат?
Кто мог предать несчастную могиле?
Едва ли то, что пощадил булат,
Прожорливые звери пощадили.
Какою благородной пищей глад
Безжалостные твари утолили!
Сначала я, и после хищный зверь!..
Где, милый прах, искать тебя теперь?

Я верю, что тебя найти сумею,—
Сам по себе не можешь ты пропасть.
Но если хищных тварей не успею
Опередить, пускай любимой часть
Меня постигнет. Пусть вослед за нею
Меня живьем поглотит та же пасть
И станет мне могилою утроба:
Отдельного я не желаю гроба».

Так молвит он и узнает в ответ,
Что здесь останки бренные. Ужели!
В потухшем взгляде вспыхивает свет,
Как будто тучи в небе поредели
При вспышке молнии. С трудом Танкред
Подъемлет члены вялые с постели
И, на увечный припадая бок,
Влачится к той, кого мечу обрек.

Когда ее увидел он на ложе,
Увидел рану страшную в груди
И бледный лик, на сумерки похожий,
Танкред едва не рухнул посреди
Походного жилья. Но для чего же
Тогда друзья стояли позади?
«О милые черты,— воскликнул витязь,—
Что, смерть украсив, смерти не боитесь!

О милая рука, что мира в знак
И дружества к убийце простиралась!
Какими видит вас недавний враг?
Холодный прах, тобою лишь осталось
Мне напоследок любоваться. Как?
Над ней моя десница надругалась,
А ты дерзаешь, беспощадный взор,
Убитую разглядывать в упор?

И горькими не полнишься слезами?
Так пусть же кровь пример покажет им,
Пускай прольется!» С этими словами
Несчастный, жаждой смерти одержим,
Повязки рвет дрожащими руками,
И током кровь из ран бежит густым,
И рыцарь чувств лишается от боли —
И только тем спасен помимо воли.

Его кладут в постель и не дают
Измученной душе покинуть тело.
О горе князя в несколько минут
Молва огромный лагерь облетела.
И вот уже Готфрид печальный тут,
Друзья в палатку входят то и дело.
Кто умоляет, кто бранит его,—
Не помогает князю ничего.

Мучительны для сердца наставленья
И ласковые доводы друзей.
Не так ли рана от прикосновенья
Смертельная болит еще сильней?
Но тут, как пастырь, облегчить мученья
Стремящийся больной овце своей,
Отшельник Петр берется за Танкреда,
Как бы его не прерывая бреда:

«Танкред, себя ты не узнаешь сам.
Ты оглушен, но кто тому виною!
Ты слеп, Танкред, но что твоим глазам
Прозреть мешает! Знай — своей бедою
Всецело ты обязан Небесам.
Ты их не видишь? Голос над собою
Не слышишь грозный, что тебе идти
И впредь велит по прежнему пути?

На путь, достойный рыцаря Христова,
Вернуться призывает он тебя,
На путь, которым (для пути другого)
Ты пренебрег, неверную любя.
За это справедливо и сурово
Уже наказан ты. Приди в себя:
В твоих руках твое спасенье ныне.
Ужели ты не примешь благостыни?

Не принимаешь? Небу супротив
Идти дерзаешь, о слепец беспечный?
Куда спешишь ты, обо всем забыв
На свете, кроме скорби бесконечной?
Не видишь ты — перед тобой обрыв?
Одумайся на грани бездны вечной!
Ты гибели двойной не избежишь,
Коль скоро скорбь свою не победишь».

Отшельник смолк, и страх перед могилой
В Танкреде жажду смерти заглушил;
Слова Петра явились тою силой,
Что придала больному сердцу сил,
Однако не настолько, чтоб о милой
Тотчас язык его стенать забыл,
Которая его печальной речи
Внимает, может статься, издалече.

До сумерек и до рассвета к ней
Вотще взывает рыцарь исступленный;
Так сиротливый плачет соловей,
Вернувшись в дом, злодеем разоренный,
И песней безутешною своей,
Скорбя о чадах, полнит лес зеленый.
Но наконец-то паладин, стеня,
Смежает очи с возвращеньем дня.

И вот, еще прекрасней, чем живая,
Она ему является во сне,
Небесная и вместе с тем земная,
И паладину молвит в тишине,
Заботливой рукою осушая
Ему глаза: «Ты плачешь обо мне?
Смотри, как я блаженна, как прекрасна.
Мой друг, ты убиваешься напрасно.

Такою мне, когда б не ты, не стать:
Ты у Клоринды отнял ненароком
Земную жизнь, зато меня предстать
Достойной сделал перед божьим оком,
Бессмертным небожителям под стать.
Я не забуду о тебе, далеком,
Здесь, где при Солнце вечном сможешь впредь
Ты красоту Клоринды лицезреть.

На Небо путь в порыве скорби бренной
Не закрывай себе в недобрый час.
Тебя люблю я, как душе блаженной
Любить возможно одного из вас».
И вспыхнул пламень — знак любви священной —
Во взоре Небом озаренных глаз,
И, принеся Танкреду утешенье,
В свое сиянье кануло виденье.

Танкреда к жизни возвращает сон,
И, пробудившись, он готов лечиться.
Похоронить останки просит он
Любезные. Пускай скромна гробница
И скульптора (таков войны закон)
Ее украсить не могла десница,
Но, сколько позволяли времена,
Надгробья форма камню придана.

Над головами факелы горели,
За гробом скорбный двигался поток.
Нагое древо рядом пригядели
И меч на нем повесили — залог
Военных почестей. Едва с постели
Назавтра паладин подняться смог,
Щемящего благоговенья полон,
Один к могиле дорогой пришел он.

Явясь туда, где дух его живой
По воле Неба взаперти томился,
Танкред, недвижный, хладный и немой,
В надгробье взором безутешным впился.
Но, наконец исторгнув: «Боже мой!»,
Горючими слезами он залился.
«О милый камень, под которым днесь —
Мой пыл священный, а рыданья — здесь!

Неправда, ты не смерти пребыванье,—
Приют останков, для меня живых.
Я чувствую горячее дыханье
Любви, которой пламень не затих.
Прошу тебя, прими мои лобзанья,
И вздохи, и потоки слез моих
И передай — мне это не под силу —
Обретшей в глубине твоей могилу.

К ее останкам обратившись, взор
Ее души, по-новому прекрасной,
Едва ль осудит нас за уговор —
Плод состраданья и любови страстной.
Клоринда смерть свою не мне в укор,
Надеюсь, но руке моей злосчастной
Вменяет: ей не безразличен тот,
Кто жил, любя, и кто, любя, умрет.

О смерти день желанный! Но намного
Желаннее счастливый день, когда,
Стоящий подле скорбного чертога,
Сойду на веки вечные туда.
Душе к душе откроется дорога,
И с прахом прах сольется навсегда.
Исполнится, о чем я грезил прежде,—
Какое счастье пребывать в надежде!»

* * *

В Любви, в Надежде мнился мне залог
Все более счастливого удела;
Весна прошла, надежда оскудела —
И невозможен новых сил приток.

И тайный пламень сердца не помог,
Все кончено, и не поправить дела:
В отчаянье, не знающем предела,
Мечтаю смерти преступить порог.

О Смерть, что приобщаешь нас покою,
Я дерево с опавшею листвой,
Которое не оросить слезою.

Приди же на призыв плачевный мой,
Приди — и сострадательной рукою
Глаза мои усталые закрой.

* * *

Порой мадонна жемчуг и рубины
Дарует мне в улыбке неземной
И, слух склоняя, внемлет ропот мой,—
И ей к лицу подобье скорбной мины.

Но, зная горя моего причины,
Она не знает жалости живой
К стихам печальным, сколько я ни пой,
К певцу, что счастья рисовал картины.

Безжалостен огонь прекрасных глаз,—
Жестокость состраданьем притворилась,
Чтоб страсть в душе наивной не прошла.

Не обольщайтесь, сердца зеркала:
Нам истина давным-давно открылась.
Но разве это отрезвило нас?

* * *

Когда ты бьешься над костром, пастух,
А он не хочет заниматься снова,
Запомни: чтобы он от ветра злого,
Как только что случилось, не потух,
Оставь кремень в покое и огниво,—
От лавра загорится он на диво.
Но должен я тебя предостеречь:
Себя недолго и отару сжечь.

* * *

Ее руки, едва от страха жив,
Коснулся я и тут же стал смущенно
Просить не прогонять меня с балкона
За мой обидный для нее порыв.

Мадонна нежно молвила на это:
«Меня вы оскорбили бесконечно,
Отдернуть руку поспешив тотчас.
По мне, вы поступили бессердечно».

О, сладостность нежданного ответа!
Когда обидчик верно понял вас,
Поверьте — в первый и последний раз

Он вам нанес обиду.
Однако кто не обижает, тот
Отмщенья на себя не навлечет.

* * *

На тебя ли я смотрю,
На мое смотрю светило:
Всех красавиц ты затмила,
Лишь тебя боготворю.

Засмеешься — звонкий смех,
Словно в небе луч весенний.
Для меня ты совершенней,
Для меня ты краше всех.

Молвишь слово — счастлив я,
Словно птиц апрельских трели
В зимних кронах зазвенели,
Амариллис, боль моя.

* * *

Ни дуновенья; волны
Смирили в море бег,
И тише Леты воды сонных рек,
И не услышать до зари в округе
Ни зверя, ни пичуги.
Один лишь я в ночи
О муках сердца в пустоту кричи.

* * *

Безмолвствуют леса,
И безмятежно море,
И не гуляют ветры на просторе.
Высокий свет луны
Горит во мгле, как символ тишины,
И негам не случайно
Мы предаемся тайно:
Да будут в час любви
Беззвучными лобзания мои.

* * *

Ровесник солнца, древний бог летучий,
Лежит на всем вокруг твоя печать,
Тебе дано губить и воскрешать,
Верша над миром свой полет могучий.

Со злополучьем и с обидой жгучей
Мое не в силах сердце совладать:
Лишь на тебя осталось уповать,—
Не уповать же без конца на случай.

Приди избавить сердце от тоски,
Забвеньем горькой помоги обиде,
Сановников изобличи во лжи,

И на поверхность правду извлеки
Из глубины, и в неприкрытом виде,
Во всей красе, другому покажи.

* * *

Во времена весны твоей могла
Ты с розою пунцовою сравниться,
Что грудь подставить ветерку стыдится
И робкой ласке первого тепла.

Но роза бренна — значит, ты была
Прекрасна, как небесная денница,
В лучах которой поле серебрится,
Алеют горы и редеет мгла.

Года тебе не нанесли урона,
И над тобой, одетою скромнее,
Не торжествует юная краса.

Цветок милей недавнего бутона,
И солнце в полдень жарче и светлее,
Чем поутру всходя на небеса.

ДАЛМАЦИЯ

МОЛИТВА ПРОТИВ ТУРОК

Отрывок

Всесильный боже мой, создатель и творец,
Гнев утиши ты свой, помилуй нас, отец.

Не отвращай свой лик от наших страшных мук,
Мы страждем каждый миг от басурманских рук.

Поля, и весь, и град ограбив, турок сжег.
Стенает стар и млад, всех в рабство он увлек.

Юнаков пала рать, иссечена мечом,
Кто не успел бежать — стенает под бичом.

Враг и детей рубил в объятьях матерей,
Безжалостно губил невинность дочерей,

Он знал корысть одну, он семьи разрывал:
Здесь продавал жену, а мужа там сбывал.

Низвергнув алтари, святыни поругал,
Твои монастыри с землею он сровнял,

Коней вводили в храм, проклятою ногой
Сынам твоим на срам топтали крест честной.

И шили дерзкие из риз и стихарей
Кафтаны мерзкие для шайки главарей.

И, чаши для даров перековав в ковши,
    Отделкой поясов кичилися паши.

В обители святой спасающихся дев
    Покрыл он срамотой, их чистоту презрев.

Он обрезал детей для войска янычар,
    И смерти был лютей постыдный тот удар.

Спешили разрушать и жечь дома господ,
    И, не успев бежать, в них погибал народ.

Он мучит христиан, всечасно гонит их,
    И чтить велит Коран оставшимся в живых.

Нас турок победил и крепнет, победив,
    Ни у кого нет сил бороться супротив.

И гибнет твой народ, и грозен каждый час,
    Всех лютый страх гнетет, а ты покинул нас.

Терзают нашу плоть, немил нам этот свет,
    К тебе же, о господь, у них почтенья нет.

И под ноги попрать решили твой закон,
    И силою сломать тех, кто не покорен.

Когда огонь зажжен среди лесов и гор,
    То камень обнажен, стоит без листьев бор.

Так не осталось здесь ничто без перемен,
    Горит и град и весь, людей уводят в плен.

Сражались грек, поляк, латинянин, хорват,
    И серб, и с ним босняк — но крепок супостат.

Иные, ослабев, уже не рвутся в бой,
    Мы узнаем твой гнев, отвергнуты тобой.

Зачем же созывать, коль нам прощенья нет,
    На битву верных рать, бессилен наш обет.

Чтоб не погиб народ, грехи нам отпусти
    И в этот страшный год помилуй и прости.

Сей агарянский меч сломи, о боже сил,
Чтоб всем костьми не лечь, чтоб всех не погубил.

От первых дней ты — спас, защита и покров,
Помилуй, боже, нас, услышь наш смертный зов.

За наш греховный путь такая нам судьба,
Но милосерден будь, вот страждущих мольба.

Пусть жала злых бичей, что свищут, нас губя,
Падут на палачей, не знающих тебя.

О, помоги своим, избавь нас от тягот,
За веру мы стоим, а нас неверный бьет...

ОДА РАГУЗЕ

Ты глаз дороже мне, Рагуза-родина!
Земли и моря, землю окружившего,
Дитя родное ты, родней колонии,
    Дважды Рима наследье.

О чем же лучшем мне молить, о лучшая?
Блаженная когорта небожителей
Да сохранит тебя на веки вечные,
    Вознося непрестанно!

Ты умереть, ты сгинуть не позволишь мне,
Начальнику той зачумленной крепости,
Где суша, море, воздух, все — зловоние
    От болотной заразы.

Благая, возвратишь к себе ты Элия,
Воскормленника слабого и хворого,
Чтоб он опять, как Вакх в бедре Юпитера,
    У тебя возрастал бы.

Бежав от сил подземных и от гибели,
С рассказами к тебе приду я, радуясь,
Как Геркулесу — фессалийка чистая,
    Тезеид — Эскулапу.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Коль ты, читатель, вдруг взял песни эти в руки,
    Будь весел твой досуг, не знай твой ум докуки.
А коль тебя они невольно чем-то ранят,
    Терновник отклони — твоею роза станет.
Твори и сам, твори, что можешь, что по силам.
    Ты волен: говори, что знаешь, с трезвым пылом.
Я об одном прошу — костей моих не трогай:
    И так едва дышу, истерзанный тревогой.

* * *

Кто рай спешит познать, взгляни на вилу эту:
    Подобной не сыскать, хоть век ищи по свету.
Как в сладостном раю, в ее лице блаженство.
    Взгляни — и жизнь свою славь это совершенство.
Пред этой красотой как удержать волненье?
    Как сохранить покой? Как скрыть в глазах смущенье?
Коль вила что-нибудь промолвит, голос дивный
    Наполнит сразу грудь отрадой неизбывной.

* * *

Зачем так упорно лицо ты скрываешь?
    Я раб твой покорный— ужели не знаешь?
Я назван поэтом молвой легкокрылой.
    Ужель ты об этом, цветок мой, забыла?

Позволь же поэту быть рядом всечасно.
    На дерзость не сетуй, цветок мой прекрасный.
Хвалу воздавая красе безупречной,
    Как солнце, тебя я прославлю навечно.

* * *

Не радость я пою, цветок благоуханный,—
    Я в песнях слезы лью, сражен сердечной раной.
Не проявляй к мольбам слепого безучастья.
    Зачем печалюсь там, где так возможно счастье?
В честь вилы молодой как петь мне гимны страстно,
    Когда мечтой одной живу — мечтой напрасной?
Желаньями горю, а сердце грусть сжимает,
    Как розу, что зарю последнюю встречает.

* * *

Случай, а не слухи: юношу тайком
    Завлекли к старухе звонким кошельком.
Мы на все согласны ради кошелька.
    Кошельки безгласны, но их власть крепка.

* * *

О время златое! Сколь ты быстротечно!
Неужто с тобою прощаюсь навечно?
Как быстрое лето, ты сникло, увяло,
В душе моей света так мало, так мало...

О время веселья! Сколь ты быстрокрыло!
Ты сладкое зелье мне щедро дарило,
Но все, что светилось безбрежностью счастья,
Теперь обратилось во мрак и в ненастье.

О ты, время рая! Где, где твоя сила?
Иль власть чья-то злая тебя погасила,
Иль просто с дороги свернуло ты круто,
Чтоб жить без тревоги другому кому-то?..

О радости время! Не жду с тобой встречи:
Гнетущее бремя легло мне на плечи —
Грустна моя участь, горьки мои муки,
И смех и певучесть со мною в разлуке.

О время цветенья! И как же случилось,
Что стал словно тень я, что все омрачилось,
Что взор мой впервые померк от печали,
Что песни былые в устах отзвучали?

О ты, время счастья! За что ж это горе,
Что должен попасть я в бурливое море,
Над тьмою глубокой держась так некрепко
В ладье одинокой, бессильной, как щепка?

О время слепое! Куда ж забрело ты,
Оставив со мною лишь боль да заботы?
Я сам, видно, сохну сухоткой твоею —
И слепну, и глохну, и скорбно немею...

ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ В СТОН

Ты уверял меня, и нежен и влюблен,
Что только на три дня, не дольше, едешь в Стон.
Уж отцвела земля и минула весна,
Уж скошены поля, а я в слезах одна.
Достойно ль милый мой со мною поступил!
Я проклята судьбой, мне белый свет не мил.
Скажи, доколе ждать, напрасно глядя вдаль,
И море вопрошать? Утешь мою печаль!
Напрасно я платком всем лодочкам машу,
Покинув отчий дом, на узкий мол спешу.
О лилия моя, приди, мой белый цвет,
Вьюсь, как в кругу змея,— тебя, как прежде, нет.
О камень Купидон пусть стрелы разобьет,
Я знаю, другу он вернуться не дает.
Чтоб в белый парус твой попутный ветер дул
И чтоб простор морской тебя назад вернул,
Я призову богов: «Эол, приди скорей,
Владыка парусов и пенитель морей,
Услышь, Нептун седой, не преграждай пути,
Верни его домой, разлуку сократи!»
Внимательно читай, мой милый, письмецо,
Увидеть снова дай любимое лицо.
Как не цвести цветку без солнечных лучей,
Так жить я не могу без красоты твоей.

ВЕНГРАМ

*

Все вы, паннонцы, пока самовластно, управы не зная,
Каждый из вас у себя правит и властно царит,
Междоусобную брань разжигает в своей же отчизне
И ослабляет ее силу былую и мощь.
В прах повержен Таврун, покорилась Славония турку,
Истр и Буда уже рабское иго несут.
Общими силами вы не хотите в согласье сражаться!
Был бы Данубий тогда с Будою неодолим.
Что мне сказать вам, враги своей же великой державы,
Вам, о паннонцы, никем непобедимые встарь?
Тратить не надобно слов. Примером Греция служит.
Ясно: хотите вы все разом себя погубить.

*

Что раздираете вы своей же Паннонии тело,
Родину вашу и свой уничтожая народ?
Не выбивайтесь из сил: вот он, турок-тиран, перед вами!
Сможет он вас без труда всех уничтожить один.

К ПОРТРЕТУ ФИЛИППА МЕЛАНХТОНА

Дюрер портрет написал Меланхтона с великим искусством,
Только не дышит, молчит и неподвижен портрет.
Весь же облик его исполнен жизненной силы:
Явственно выражен здесь мужа божественный ум.
Шея, глаза у него и все лицо его в целом
Истинной жизни полны в образе этом немом.
Что ж, коль дыхания нет и движений в картине безмолвной,
Славного не завершил в ней живописец труда.

ГАЛИОН

Флот дубровницкий прекрасный —
    Всех морей владыка властный,
Всех судов и всех флотилий,
    Где б они ни проходили.
Кто же в этом усомнится,
    Жизнью должен поплатиться,
Ведь святого Влаха знамя
    Гордо реет над судами.
Он над нами капитаном,
    Он известен дальним странам,
И блестит его корона,
    Как денница, с небосклона,
Возвестившая с восходом
    Утро новое народам.
Судно каждое сравнится
    С легкой златокрылой птицей,
Пролетающей проворно
    Над поверхностью озерной.
Старики и молодые —
    Все матросы удалые:
Волки с алчущими львами
    Управляют парусами.
Им противен турок жалкий,
    Как навоз, как грязь на свалке,
И когда врага встречают,
    Парусов не опускают,
Принимая смерть без стона,
    Рубятся ожесточенно,

Кровь из свежих ран струится —
    Лишь бы славы не лишиться!
И в любой стране далекой
    Запада или востока
Дубровчан достойных знают,
    Короли их уважают.
Нет нигде морей закрытых
    Для матросов знаменитых,
Бороздят любые воды
    Корабли сынов свободы,
Что прославлены без меры
    За защиту правой веры.
На чужбине ли, в отчизне —
    Всюду счастливы их жизни
В посрамленье чужестранцам,
    Паче всех — венецианцам.

ПОХВАЛА ДУБРОВНИКУ

Отрывок

Дубровник, цели я не знаю величавей,
Чем воспевать тебя в твоей великой славе.
Дубровник, край отцов, часть милого предела,
Возникший в тьме веков, в века смотрящий смело.
Я рад тебе слагать хвалу нелицемерно,
До неба возвышать тебя, слуга твой верный,
Мой голос тих пускай,— я для тебя дерзаю,
Похвал не отвергай, что в честь тебе слагаю;
Пусть слышен он едва, но он звучит не ложно.
Правдивые слова отвергнуть невозможно.
Дубровник — горный дуб с могучею вершиной.
Взобравшись на уступ, стоит он над долиной.
Корнями он проник туда, где под землею
Питает их родник живительной водою.
Он испокон веков стоит неколебимо,
От северных ветров и от жары хранимый.
Как грозный богатырь, наперекор стихии
Разбрасывает вширь он ветви вековые,
А все, что вкруг растет, в тени его великой
Скрываясь от невзгод,— все немощно и дико;
Земля здесь так крепка, а корни здесь так хилы,
Что даже родника достичь у них нет силы.
Дубровник, разум твой и к истине стремленье
Несут тебе покой, и честь, и уваженье.
Ты только им одним обязан тем, что ныне
Стоишь неколебим,— и нет прочней твердыни.
Прельстясь твоим добром, твоей свободной долей,
Стал тот твоим врагом, кто сам живет в неволе.

Кто лживостью живет, кто немощен глазами,
Тот одного лишь ждет — чтоб свет померк над нами.
И властелин иной, что полон спеси гордой,
Тебя б хотел порой смирить рукою твердой.
Дубровник, наблюдай вокруг, рассудку верный,
Себя оберегай от зла, храни от скверны.
Всевышний, с высоты окинь Дубровник разом:
Во всем увидишь ты спокойствие и разум.
Как под плащом клинок, враг прячет озлобленье
И выжидает срок, чтоб сделать нападенье.
Но правдою тверда державная основа,
О правде никогда нельзя сказать худого.
Дубровник, твердо стой, смотри в глаза напасти,
Удел извечный твой — творить для граждан счастье.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ И РЫБАЦКИЕ ПРИСКАЗКИ

Отрывок

Выйдя в полдень жаркий к берегу залива,
У рыбачьей барки повстречал я диво:
Чувствами богатых бедняков я встретил,
Пусть наряд в заплатах — был бы разум светел!
Нас всегда смущает вид простонародный,
Знайте — он скрывает разум благородный.
Нищета богата,— бог тому свидетель! —
В ней, как в недрах злато, скрыта добродетель.
Бедняков считаем мы ненужным сором,
Так что нищета им кажется позором,
Но, когда при встрече к беднякам снисходим,
Их простые речи мудрыми находим.
Кажется убогим их существованье,
Но даны немногим мудрость их и знанье.
Диоген когда-то был увенчан славой,
Жил он не богато — в бочке жил дырявой.
Персов победитель знал величью цену,
Но познал властитель зависть к Диогену.
И сказал тогда я рыбакам смиренным:
«Что же, обладая опытом бесценным,
Вы свой дар таите? Братья, вы не правы!
Если знать хотите, вы достойны славы.
Разум ваш чудесен, он во все вникает,
Сладость ваших песен в сердце проникает.
Мне бы плыть беспечно с вами по просторам
И внимать бы вечно вашим разговорам».
И тогда Паское отвечал с поклоном:
«Вы со всей душою — к людям неученым.

Наше вам спасибо, вы добры без меры
    К нам, крестьянам, ибо мы бедны и серы.
Не судите строго — знают даже дети:
    Тех, чья жизнь убога, больше всех на свете».
Прекратив беседу, я сказал крестьянам:
    «Приступить к обеду, кажется, пора нам».
Говорится слово — делается дело,
    Варево готово, быстро закипело.
И когда вкусили мы горячей снеди,
    Снова приступили к прерванной беседе.
Долго говорили про улов богатый
    И о том, как плыли мы в ладье дощатой.
Я сказал: «Свершилось все, как мы хотели:
    Море покорилось, волны отшумели.
Долго мы блуждали по морю седому,
    Но опять пристали к берегу родному».

ПЕСНЬ О ДИНАРЕ

Слушай речи эти, молодой и старый,
Как сейчас на свете властвуют динары.
Дьявол в преисподней так вершит делами,
Что динар сегодня — господин над нами.
Где динар — забыто сразу там о боге,
Правда там открыто брошена под ноги.
Ныне ум и мудрость не в цене, заметьте,
Потому что глупость царствует на свете.
Жалкая бездарность с хитростью бесчестной
Верность, благодарность гонят повсеместно.
Где к добру стремленье? Нет его в помине.
Дружба, уваженье — не найти их ныне.
С каждым новым утром — новые страданья,
Преданным и мудрым — разочарованье.
Ты слывешь ученым. Но коль ты в заплатах,
Будь хоть Соломоном,— нуль ты для богатых.
Муцием будь, Гаем, бей врагов победно,
Храбрый почитаем... если он не бедный.
Кто сейчас полезен, тех не вспоминают.
А кто бесполезен — лаврами венчают.
О любви мечтаешь ты к земной богине,
Но ты нищ и знаешь: не полюбят ныне.
Люди в отношенье к беднякам едины:
Бедным лишь презренье и не лица — спины.
И друзья не знают ныне дружбы чистой,—
Кто дружить желает дружбой бескорыстной?
И любовь и верность позабыты, видно:
Всюду лишь неверность и обман бесстыдный.
Суд забыли честный, мир забыли сладкий,
Ныне повсеместно видим беспорядки.

Богатей ничтожный ныне всем владеет,
Думает — все можно, коль мошну имеет.
Будь ты глуп отменно,— если ты с деньгами,
Мудрый ты, почтенный, господин меж нами.
В лавках беспощадно грабят и воруют
И того, кто жадный, щедрым именуют.
Этим — уваженье, судьи к ним не строги,
А тебе — презренье, умный, но убогий.
Голос бедных страстный отклика не знает,
Бедного всевластный только презирает.
А осел шумливый, золотом набитый,
Глупый и спесивый,— всеми чтим открыто.
Деньги порождают зло на этом свете,
Все сейчас страдают, кто попал в их сети.

ПРОТИВ ЗНАТИ РАГУЗЫ

Страна вершин суровых и бесплодных.
Живет здесь варвар, злобен и жесток,—
Толпа глупцов, толпа лжецов негодных,
Где каждый добрых помыслов далек.
Ты, злейший враг деяний благородных,
Недаром этот край тебя привлек,
В котором летом — пекло, ад — зимою,
Где все богаты бедностью одною.

Здесь влезли псы в нарядные одежды,
Здесь, щеголяя в дорогих мехах,
Зажгли в себе тщеславные надежды
Мужланы наяву — князья в мечтах,
Почтенный вор, ученые невежды
И храбрецы, чей так отважен страх.
Светлейшие, вы даже в масках лживых
Останетесь гуртом овец паршивых!

Вы знатными кичитесь именами,
Но кто труслив и лжив, не знатен тот.
Вы знатными себя назвали сами,
Но подлостью любой из вас живет.
Кто с низменными не сумел страстями
Проститься, тот ничтожеством умрет.
Бревну какая польза в славословье?
(И это проглотите на здоровье.)

Вот благородства вашего основа:
Всех угнетать и жить чужим трудом,
Сдирать три шкуры с должника любого,
Лишь в доме хорохориться своем,
Иметь надменность — ничего другого,
И каждого считать себе врагом,
И, с голодом воюя, жить без хлеба,
К врагам своим причислив даже небо.

Читаешь ты с трудом и текст печатный,
А сделался советником, дурак,
Тебе латынь с *volgare* [1] непонятны,
Но ты уверен, что учен и так,
Что доктор ты, юрист, астролог знатный,
Что геометрия тебе — пустяк.
Как Демосфен красноречив порою.
Ты хвастаешь своею пустотою.

Не возразит никто, тебе внимая,
И не из уважения к тебе,
А потому, что, нрав твой алчный зная,
Никто не пожелает зла себе.
Готов бедняк сквозь землю провалиться,
Коль встретится ему такая птица:
Отдав поклон, бежит простолюдин,
Тебя завидев, Лютер и Кальвин.

В твоей груди и месть и яд сокрыты,
Но ты отчета небу не даешь
За слезы вдов: мужья тобой убиты,
А в ком тебе нужда, так тот хорош;
Для достиженья самой грязной цели
Ты называешь честным подлеца
(Закон еретика Макиавелли),
А всех других тиранишь без конца.

Ты бровь дугою изгибаешь, словно
Законодатель славный из Афин,
Но ты своей не помнишь родословной,
Так я тебе открою, чей ты сын:
Был варваром отец твой, иноверцем
С клыками острыми, с жестоким сердцем.

---

[1] Здесь имеется в виду итальянский народный язык.

Как ты, он благородный был синьор,
Который крал всю жизнь и сдох, как вор.

Ты скажешь: «Я, трудиться не умея,
Открыл торговлю — польза для людей».
Наверно, у подобного злодея
Советником какой-то иудей.
Свершенные тобою преступленья
Суд божий вывесть могут из терпенья,
Тогда придется, хочешь или нет,
За все грехи тебе держать ответ.

Зато теперь в судебном заседанье,
Per fas et nefas[1] слушая дела,
Кричишь: «Я умный, я имею званье!..»
По мне, произошел ты от осла.
Прочтя подчас из умных книг цитатку,
Ты хочешь ею скрыть ума нехватку.
Учись! Иначе, на свою беду,
В котел кипящий попадешь в аду.

Спроси тебя — не сможешь дать ответа,
Владеешь ли ты ремеслом каким.
Знакомого случайно встретив где-то,
Браниться тотчас начинаешь с ним —
Таков, безбожник, твой обычай скверный.
И здесь любой закон — слуга твой верный,
Ты все пороки воплощаешь сам,
Собой ты оскверняешь даже храм.

О знатности своей подумай снова:
Вся жизнь твоя проходит в грабежах.
Избавься от тщеславия пустого,
Родившегося на чужих слезах,
Доверься добродетели, тупица,
Тогда твой темный разум прояснится,
Сверни скорей с преступного пути,
Учти — иначе душу не спасти.

Стыдись кричать: «Я заслужил признанье...
Сенатор я, блюду законов свод!»
Ты глуп настолько, что не в состоянье
Пересчитать свой собственный доход.

---

[1] Всеми правдами и неправдами *(лат.)*.

Ты сам не знаешь, в чем твое призванье,
И вот в чужой забрался огород,
Без роздыха твердя как заведенный:
«Я знатный, следовательно, ученый».

Зависит все от вашего хотенья,
Про всех у вас подарок припасен:
Богатым — милость, бедным — притесненья,
Для слабых — брань, для сильных — льстивый тон.
Любой из вас готов на преступленья,
Едва заслышит где монеты звон.
Но вновь к словам вернусь, вам неприятным:
Никто из вас вовек не станет знатным!

Крестьянином был Цицерон ученый,
Был знатен Катилины римский род,
Но Катилина умер осужденный,
А Цицерон снискал себе почет.
Пример берите с римлян, пустозвоны:
В ком светел ум, безмерно знатен тот.
А вы, расхваставшись, забыли сами,
Что ваша знатность выдумана вами.

* * *

Пусть блещут мгновенья улыбкой твоею!
Мои песнопенья бессильны пред нею:
едва ли сумею воспеть я, как надо,
атласную шею, твой стан, о отрада,
роскошность наряда, как луч, золотого,
распахнутость взгляда, пленительность слова —
ах, сердце мне снова ты жжешь, о царица,
оно ль не готово тебе покориться?
Пускай же темница надежды напрасной
в мечтах озарится звездой твоей ясной —
единственно властной навек надо мною,
алтарной, прекрасной, которой не стою;
ревнивой душою исплачусь, любя,
а душу открою, чтоб славить тебя.

ИСПЕЙ ЭТУ РАДОСТЬ

Увы, наша младость с годами увянет,
И с нею и радость в минувшее канет.
И сад твой цветущий, и май твой бесслезный,
И душу мне жгущий твой взор двоезвездный,
И лик — лик богини, как сорванный цвет,
Уж гибнут и ныне... И вот мой совет:
Весны нашей чудо прекрасно, но кратко,—
Так пей же, покуда оно еще сладко,
Вдохни это счастье, испей эту радость,
Любовью и страстью возвысь твою младость!
Как дождик весенний, пройдут эти дни —
Лишь боль сожалений оставят они.

НИКОЛЕ НАЛЕ

Строка, ты крылата, лети же к Николе,
Сожрал с ним когда-то немало я соли,
Лети же с приветом над славной Рагузой,
Любезной поэтам, взлелеянной музой.
Порой мы в такие уносимся дали,
Которых иные во сне не видали.
В далеких державах скитаюсь я ныне.
Дворцов величавых полно на чужбине.
Мне столько изведать пришлось в этих странах —
Всего не поведать и в книгах пространных.
Сегодня в стране я неведомой, новой,
Здесь рожи чернее икры осетровой;
Здесь силу и старый подчас сохраняет,
Посмотришь — кантары шутя поднимает;
Здесь молодец ражий за трапезу сядет —
С подобной поклажей и лошадь не сладит;
Когда не хватает для выпивки денег,
Свой скарб пропивает мгновенно мошенник;
За выпивкой пищи глотает он горы —
Обжора почище любого обжоры.
В тех землях святыми считают безумных,
Толпятся за ними на торжищах шумных,
Они здесь персоны всех выше на свете,
Здесь бьют им поклоны и старцы и дети.
Диковин немало в земле этой странной:
Врата из металла, а ключ — деревянный,
Здесь люди порою к учтивости глухи:
Облают свиньею и отпрыском шлюхи.
Тебя лиходеи побьют между делом,
Беги поскорее — останешься целым.

Без чести, без сердца живут образины,
Любой иноверца предаст за майдины.
Тебя супостаты обманут открыто,
Здесь деньги лишь святы, а совесть забыта.
Налешкович славный, все это не диво:
Ведь силою главной здесь стала нажива.
Здесь можно порою нажиться не худо,
С набитой мошною уехать отсюда.
Венеция стала сильна и богата —
Не здесь ли стяжала Венеция злато?
Она посещает давно эти страны
И вдаль посылает галер караваны,
И грузит их, Нико, она не холстами —
Торгует гвоздикой, корицей, шелками.
Мы, друг мой, робеем в торговле недаром —
Совсем не владеем купеческим даром:
Тростник поставляем и лен басурманам,
Барыш уступаем купцам чужестранным.
Когда бы мы были немного лукавей,
Мы их бы затмили в богатстве и славе,
И мы б торговали тогда не впустую...
А впрочем, мой Нале, о чем я толкую!
Тебя бы о жизни хотел расспросить я:
Какие в отчизне случились событья?
Слыхал я: от мору страна пострадала,
Погибло в ту пору сограждан немало.
Пускай наградит их наш бог-вседержитель
И примет забытых в господню обитель!
А коли с чумою ты справился черной,
С болезнью любою ты сладишь бесспорно.
Ты силой отмечен и ладно сколочен,
Как тис долговечен, и кряжист, и прочен.
Ведь четверть ягненка съедал ты, бывало,
В придачу цыпленка, жаркого немало,
С друзьями гуляя под сенью Парнаса,
Вином запивая горячее мясо.
Обижен судьбою, я горько заплачу,
Коль дружбу с тобою навеки утрачу.
Кто рифмой не хуже владеет, чем Матко,
И пишет к тому же так нежно и сладко?
Тревожусь о Матке: он в Стон перебрался —
В краю лихорадки живым бы остался!
Но тягостней муки, когда умираем,
Скорбя от разлуки с отеческим краем,

Плывешь на чужбину — и солнце не светит;
    А Матко кончину с улыбкою встретит,
Он мир не покинет, останется здесь он,
    Поскольку не сгинет краса его песен;
Поет для влюбленных он песни поныне,
    Как пел Арион их, плывя на дельфине.
Хоть дома бывают болезни жестоки,
    От них умирают и здесь, на востоке.
Мне страны такие еще не встречались,
    Где жизни людские два раза кончались;
Два раза кончаться захочет ли каждый —
    Со светом прощаться приятно ли дважды?
Нас гибель — о, боже! — одна ожидает,
    Кто раньше, кто позже сей мир покидает.
О Нико мой милый, ты знаешь прекрасно:
    Избегнуть могилы живое не властно.
Я жив, и при этом здоров я покуда;
    Здесь гибельно летом, а нынче нехудо:
Зимой расцветают поля и долины,
    Плоды созревают, бобы и маслины,
Пройди по базарам: капусты, салату
    Дадут, коль не даром,— за малую плату.
Ни глада, ни стужи здесь нет и в помине,
    А в поле к тому же привольно скотине,
Баранина всюду жирна неизменно,
    И льется в сосуды молочная пена,
В три гроша монету достань наудачу —
    Получишь наседку и яйца в придачу,
И мелочи тоже на рынке достаток:
    Динар — не дороже — голубок десяток.
Здесь сыра головки, там бочки сметаны,
    На пыльной циновке огромные жбаны,
Здесь столько съестного всегда продается,
    Лишь сала свиного купить не придется,
Огромнейшей рыбы цена — полдинара,
    Вовек не уйти бы с такого базара!
Хлебов здесь пятнадцать за грош покупаем,
    Два наших сравнятся с таким караваем.
Здесь сладостна даже вода из колодца —
    В Рагузе не слаже вино продается.
Всего не изложишь. Рассказ покороче
    И то ты не сможешь дослушать до ночи.
Не край здесь, а чудо, с ним рай не сравнится;
    Кто станет отсюда в могилу стремиться?

Я точку на этом поставлю, пожалуй,
Не медли с ответом, бродягу побалуй,
Матьело я тоже поклон посылаю.
(Он жив ли, о боже!) На этом кончаю.

Сей Александров град основан Македонцем,
Здесь, Нале, твой собрат живет под жарким солнцем,
Здесь в тысячу пятьсот пятьдесят третий год
С тех пор, когда господь явил Христа приход,
В день теплый января на солнечном востоке,
С тобою говоря, писал я эти строки.

ДИНКО РАНИНА

ДУБРОВНИКУ

В страну итальянцев когда б терпеливо
Искал ты посланцев разумных на диво,
Способных лукавить, в суждениях — зрелых,
Чтоб каждый прославить, увидев, хотел их,—
Тогда бы ты славы заслуживал вящей,
Мой град величавый, над морем стоящий,
Который красою и честью сравниться
Сумел бы с любою латинской столицей.
Но ежели кто-то, приверженный к злату,
Поедет с охотой — но только за плату,
Про общее дело совсем забывая,
Открыто и смело напомню тогда я:
Достоин несчастий, обижен судьбою
Тот город, где власти — с пустой головою.

* * *

Бери, человек, что захочешь, бери же!
Что делать! Свое нам дороже и ближе.
Ведь если бы взял свои горести каждый
И в общую кучу свалил их однажды,
Нам стало бы ясно, что мы оплошали,
Все горести наши с чужими смешали,
И каждый бы думал, забыв о покое:
Вернуть бы назад лишь свое — не чужое!

ТОМУ, КТО НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ, А ХУЛИТ ВСЕ ЧУЖОЕ

Мой ненавистник злой, ты, завистью взбешенный,
Написанное мной хулишь, неугомонный.
Пускай в стихах моих слова не сохранились,
Которыми других времен певцы гордились:
«О розочка моя, бесценное колечко,
О девочка моя, влюбленное сердечко,
Веночек золотой, о ясное светило,
Покинут я тобой, меня ты разлюбила».
Упрям ты и не нов, а наше поколенье
Находит для стихов иные украшенья.
Как сад теряет вдруг цветочное убранство,
Ничто, ничто вокруг не знает постоянства.
И слов удел таков: ведь старыми умами
Ценилось много слов, почти забытых нами,
Которые ж теперь поэт искусный ценит,
Потомство, мне поверь, отвергнет иль изменит.
Весь этот мир, судьбе неведомой подвластный,
Все до конца в себе меняет ежечасно.
Так вот, чтоб избежать хулы певцов нещадной,—
Собравшись их ругать, подумай-ка изрядно.

СЛАВЯНСКАЯ МУЗА

Отрывок

Как верное чадо, ты должен по праву
Родимого града поддерживать славу,

Отчизны былое ты помнить обязан,
Ты с этой землею, как с матерью, связан.

Нас мать породила, вскормила, и все же
Земли этой милой и мать не дороже,

Ведь женское бремя не длится столетье,
В известное время рождаются дети,

А лоно земное и после рожденья
Хранит все живое, все божьи творенья.

Адама когда-то земля породила
И вновь без возврата во чреве сокрыла.

Подумай же здраво, настрой свою лиру!
Прошла моя слава — верни ее миру!

Слагай свои песни, любовью пылая,—
В них дух мой воскреснет и слава былая.

Прославить дано мне отчизну родную.
Народу напомни, что я существую!

Хочу объясниться сегодня с тобою,
Не стану таиться, всю правду открою.

Я здешняя вила, славянская муза,
Но жизнь мне постыла и стала обузой.

В безвестности людям темней, чем в могиле,
Себя мы забудем, коль нас позабыли.

Я в нашей отчизне была знаменита,
А ныне при жизни я всеми забыта.

Ты помнишь поэта Марулича славу?
Латинянам это пришлось не по нраву.

Но годы промчались бесследно, и ныне
У нас помешались на школьной латыни.

Все музы стяжали бессмертные лавры:
Своих почитали и греки и мавры,

Поляки, тевтоны гордятся своими,
У нас же каноны заимствуют в Риме.

Язык свой ругая, сограждане наши
Твердят, что другая поэзия краше.

Но мы бы стяжали всемирную славу,
Когда б уважали язык свой по праву.

* * *

Сегодня тает снег, проснулся мир растений,
И снова человек встречает день весенний,
Я к вам иду, луга, спеша навстречу той,
Что сердцу дорога, что блещет красотой.
Пусть ищет кто другой почет, богатство, славу,
А мне удел такой, признаться, не по нраву.
Под кровлею ветвей уснуть я был бы рад.
Где свищет соловей, не требуя наград,
Любимую мою его прославят трели,
Чтоб, вторя соловью, и горы зазвенели.
Глупцы! Вам не дано простую суть понять,
Что золото одно не может счастья дать.
Коль совесть нечиста, не пожелаешь трона,
Уж лучше нищета, чем царская корона,
Чем ты бы ни владел,— хотя бы всей землей,—
Не сладок твой удел, когда исчез покой.

ГЕРМАНИЯ

ИЗРЕЧЕНИЯ

Спрячь недовольство, хмурость, злость,
Когда к тебе приходит гость.
Радушьем теплым встреть его,—
Себя уважишь самого.

Коль сбился твой сынок с пути,
Не медли: розгу в ход пусти,
Сумевши вовремя постичь,
Что бьет больнее божий бич!

По правде, сын мой, поступай.
От истины не отступай.
И, в честности неколебим,
Ты будешь счастлив и любим.

Перед тобою — даль и ширь.
Так — в путь!.. Но деньги не транжирь!
Останешься без кошелька,
Вот и намнут тебе бока.

Смотри, не очень заносись,
С умом к удаче относись:
Какой бы ни нашел ты клад,
Все может бог забрать назад.

Порою глянешь на иных:
Добро промотано в пивных.
Разумен будь! Не лезь в кабак!
Живи по средствам! Только так!..

Взвесь, разгляди себя, проверь:
Кем был ты, кто ты есть теперь,
Куда ты будешь занесен?..
И ты — безгрешен. Ты — спасен!..

К МАТЕРИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ — С МОЛЬБОЙ О СОГЛАСИИ СРЕДИ КНЯЗЕЙ ГЕРМАНИИ

Ты, о дочь небес, богоматерь-дева,
Мир вдохни в народ, распаленный злобой,
Чтоб немецкий край не сломило бремя
Мерзости нашей.

Чернь кипит, бурлит, разоряя слепо
Все, что не вконец разорили предки,
Стены городов укрепляет, пушки
К бою готовит.

Нам пойти б войной на свирепых турок,
С гордым Римом нам потягаться б в сече
Иль чужих князей потеснить бы к вящей
Славе германцев.

Нет, пуская кровь соплеменным братьям,
Руки мы свои оскверняем только,
Только лишь урон, дураки, себе же
Сами наносим.

Кто, гляжу я, шлем поспешил напялить,
Кто, гляжу, мечом замахнулся грозно,
Кто рычит, как зверь, потрясая палкой
Или секирой.

Тот, глядишь, из искр раздувая пламя,
Знай себе палит и, свинцом летучим
Воздух распоров, наполняет местность
Дымом и громом.

Угнан крупный скот, приуныли овцы,
Страшно им пастись. Лишь прядут ушами,
Как услышат гул, да дрожат, бедняги,
Мелкою дрожью.

Вот стоит в строю кольцевом пехота.
Сколько грозных лиц! Как сурова песня,
Что поют бойцы под глухой и дробный
Бой барабанов!

Пышет жаром конь, облаченный в латы,
Битву чуя, вдаль, белопенный, рвется,
Звонко ржет, взыграв, и копытом землю
Бьет в нетерпенье.

Всюду слышен стон матерей почтенных:
Слезы льют, клянут кровопийцу Марса.
Нынче этот гость северян изводит,
Завтра — богемцев.

Дева, ты внемли неустанным зовам,
Ты конец войне положи нелепой,
Мир нам дай, сплоти племена родные
Дружбой, любовью!

Рейнских лоз красу сбереги, опекой
Ты своей святой осчастливь предгорья
Альп, и славный Пфальц, и у волн дунайских
Пышные нивы!

Вот о чем тебя умиленно молим
В храмах, где горит благовонный ладан,
Где тебе хвалу воздаем и к небу
Гимны возносим.

К АПОЛЛОНУ, ТВОРЦУ ИСКУССТВА ПОЭЗИИ,— ЧТОБЫ ОН ПРИШЕЛ С ЛИРОЙ ОТ ИТАЛИЙЦЕВ К ГЕРМАНЦАМ

Ты, о Феб, творец звонкострунной лиры,
Пинд и Геликон возлюбивший древле,
К нам теперь явись, не отвергни нашей
Песни призывной!

Пусть придут с тобой баловницы музы,
Пусть поют, резвясь, под студеным небом.
Край наш посети, где неведом сладкий
Голос кифары!

Варвар, чьи отцы, космачи-мужланы,
Прожили свой век, о латинском лоске
Слыхом не слыхав, наделен да будет
Певческим даром,

Словно тот Орфей, что певал пеласгам,
Пеньем за собой увлекая следом
Хищное зверье, дерева с корнями,
Ланей проворных.

Ты, веселый гость, пожелал пустыню
Моря пересечь и, придя от греков,
Музам дал приют, утвердил науки
В землях латинян.

Так же, Феб, и к нам, как во время оно
В Лаций ты пришел, препожалуй ныне.
Грубый пусть язык, темнота людская
Сгинут бесследно!

О ДРЕВНОСТИ — ГРАЖДАНАМ ТРИРА

Какая слава громкая цезарей
В камнях умолкла города вашего,
О Трира жители, которых
Мозель поит ледяной водою!

Как будто снова Рима развалины
Воочью вижу, глядя на эти вот
Колонны, портики, ворота
Или бродя пустырем убогим,

Где только остов царской хоромины
Теперь маячит кровлей, поросшею
Чертополохом, или купол
Ветки кустов к облакам вздымает.

Как хлам ненужный, глыбами мрамора,
Лежат, о жалость, прямо на улицах
Кумиры, чье величье только
В литерах гордых застыло ныне.

Порой увидишь где-нибудь в садике
Плиту надгробья с надписью греческой
Иль вдруг найдешь, гуляя в поле,
Холм безымянный, обломки урны.

Чего не смелет мельница времени?
Столпов Геракла медных как не было,
И мы со скарбом нашим тоже
В прах превратимся под небом вечным.

О ПЛОХИХ И ХОРОШИХ ДРУЗЬЯХ

Тот, кто в беде бросает друга,
Когда тому живется туго,
Кто сердце не готов отдать
Тому, кто вынужден страдать,
Кто сам страдает безутешно,
Когда дела идут успешно
У друга первого его,—
Достоин только одного:
Неумолимого презренья!
Сторонник этой точки зренья,
Я не желаю предпочесть
Суровой искренности лесть.
Держаться надо бы подальше
От лицемерия и фальши,
Поскольку добрый друг не тот,
Кто перед нами спину гнет,
К уловкам прибегая лисьим!..
Но кто, в поступках независим,
Удачу иль беду твою
Воспримет также, как свою,
Кто за тебя горою встанет,
Не подведет и не обманет,
За то не требуя наград,—
Тот верный друг тебе и брат.
И этой верности сердечной
Ты сам ответишь дружбой вечной.

ЗАКЛЯТИЕ ДУРАКОВ

ВСТУПЛЕНИЕ

Я белый свет исколесил
И потерял немало сил.
Терпел одни лишения,
Позор и унижения.
Я глаз ночами не смыкал.
Корпел и потом истекал.
Я исхудал, устал и сник,
Прочел тома мудреных книг.
Сносил нужду и муки,
Штудировал науки.
И вот за все старания
Узнал я заклинания,
Как сжить на вечные века
Со света орден Дурака.
Дураков полным-полно.
Беда! В глазах от них темно.
И куда ни сделай шаг,
Тут дурак и там дурак.
Их развез по всей земле
На дурацком корабле
Брант Себастиан... Доколе
Дуракам гулять на воле?
Их теперь на свете тьма,
Тех, что бог лишил ума.
Как вокруг ни погляди:
Дураков — хоть пруд пруди.
И вам, быть может, невдомек,
Что Брант и сам себя нарек

Дураком. Но кто ж умен,
Если вправду дурень он?
Но, видно, Брант не просто так
Признал открыто: «Я дурак».
Повел почтенный Себастиан
Свой корабль, как капитан.
И взял с собой в морской поход
Безмозглых дурней хоровод.
Средь них себя узнает всяк,
Кто вправду олух и дурак.
И Брант, что к дурням был немил,
Их всех позором заклеймил.
В злобе корчится тупица:
«Лучше б в землю провалиться».
Он лишится состоянья,
Чтоб избегнуть осмеянья.
Чтобы на глазах у всех
Не попасть в компашку тех,
Кто с времен былых веков
Носит званье дураков.
Сказал недаром Соломон,
Что ими свет заполонен.
Земля, что олухов не знает,
Где дурень хлеб не пожинает,
Счастливей испокон веков,
Чем та, где много дураков.
От них не жизнь — кромешный ад.
От них томится стар и млад.
Они несут страдания,
Но эти заклинания,
Которым обучился я,
От них избавят все края.
И враз покинет наш народ
Ленивых трутней глупый сброд.
Скрылись дурни под личиной,
Словно волки под овчиной.
Полон ими высший свет,
И дурак попал в совет.
Убирайтесь восвояси,
Дураки в поповской рясе!
Мы пролили много слез
Из-за вас, что Брант привез.
Я как-то видел простака,
Что, пожалевши дурака,

Его пригрел в глухую ночь.
Дурак беднягу выгнал прочь.
Гласят предания отцов
О том, как полчища глупцов,
Что арманьяками звались,
На нашу землю ворвались.
Но был недолог разговор.
Мы дали им такой отпор!
И с них содрали шкуру.
Пусть не воюют сдуру!
Но дурни прибыли опять.
И как нам повернуть их вспять?
И как изжить в конце концов
Рать лиходеев и глупцов?

САТАНА-НАСТОЯТЕЛЬ

На свете есть одна страна,
Где службы служит сатана.
Он настоятель не простой.
Он прочь отринул крест святой.
И выкинул бесценные
Писания священные.
Пусть кто-то думает из вас,
Что небылица сей рассказ.
Но на земле, поверьте,
Есть пострашнее черти.
И каждый может в них узнать
Прелатов, княжескую знать.
Священник — тот мертвецки пьян.
Князь топчет пахоты крестьян.
Поляжет вся пшеница,
Коль князь с охоты мчится.
Они бесчинствуют и лгут.
Они вершат неправый суд.
Разбой, вино и битвы
Им слаще, чем молитвы.
И кто покуда не ослеп,
В монастырях узрит вертеп.
Пируют здесь прелаты,
Пороками богаты.
Где есть епископ иль аббат,

Царят бесчестье и разврат.
Что Библия, что Часослов?
Они разводят гончих псов.
И нищих подаянья
Идут на злодеянья.
Грошами бедняков полна,
Звенит церковная мошна.
Забыты паства и приход.
Но поднимается народ,
И лютые проклятья
Уже разносят братья.
Нечистой силы слугам
Воздастся по заслугам.
И будет им награда —
Позор и муки ада.

* * *

Твердыня наша — наш Господь.
Мы под покровом Божьим.
В напастях нас не побороть.
Все с Богом превозможем.
Наш злой супостат
Свирепствовать рад.
Лукавый силен.
И нет ему препон,
И нет ему подобных.

Давно бы нам пришел конец,
Когда бы не подмога.
Грядет Он, праведный боец,
Святой сподвижник Бога.
Гонимым принес
Победу Христос.
Наш Бог-Саваоф,
И больше нет богов.
За Ним всегда победа.

Пускай вселенная полна
Исчадиями ада,
Нас не проглотит Сатана,
Не нам бояться надо.
Осилим его!
Князь мира сего,
Наш враг осужден.
Всесильный, рухнет он
От одного словечка.

Осталось только бы при нас
Навеки Божье слово!
Не пожалеем в грозный час
Имения мирского.
Берите в полон
Детей наших, жен!
Лишите всего!
За нами — торжество!
И царство будет наше!

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Я к вам прямехонько с небес.
Узнал я чудо из чудес.
Услышьте, люди, весть мою!
Я говорю, и я пою.

Младенец девою рожден.
На благо вам родился Он.
Хорош Младенец до того,
Что всюду в мире торжество.

Он всем спасение принес,
Господь наш Иисус Христос.
Он пострадать за вас готов.
Очистит вас Он от грехов.

Блаженство даст Он вам в удел.
Отец небесный так велел:
И днесь и присно и вовек
Живи на небе, человек!

По всем приметам это Он:
Беднее не сыскать пелен.
В убогих этих яслях Тот,
Кто на Себе весь мир несет.

Отныне радость наша — в Нем.
За пастухами в дверь войдем!
Приносит счастье Он один,
Благословенный Божий сын.

Ах, сердце, верь моим глазам!
Кто это в бедных яслях там?
Младенец этот, милый нам,
Христос, Господь, Спаситель сам.

Привет, желанный гость, привет!
Не презирая наших бед,
Нисходишь к нашим Ты грехам.
За это чем Тебе воздам?

Господь, начало всех начал,
Творец вселенной, как Ты мал!
Осел и вол траву жуют.
У них в кормушке — Твой приют.

Однако даже целый свет,
Где самоцветам счету нет,
Весь мир, где столько звезд блестит,
Христа-младенца не вместит.

Ни бархата, ни багреца...
Охапка прелого сенца.
Но Ты, Небесный Царь, на нем
Во всем величии Своем.

Христа всем сердцем узнаю.
Явил Ты правду мне Свою.
Богатство, слава, блеск мирской —
Ничто, Господь, перед Тобой.

Войди в меня, Спаситель мой,
Как возвращаются домой.
В смиренном сердце — Твой покой!
Нет, не расстанусь я с Тобой.

Не ведать мне печали впредь!
Я буду прыгать, буду петь.
Я в ликовании святом
Слагаю сладостный псалом.

Пою о Боге всеблагом,
О Божьем сыне дорогом.
Все войско райское поет,
Нам возвещая Новый год.

* * *

Из глубины моих скорбей
К Тебе, Господь, взываю.
Слух преклони к мольбе моей.
Я в муках изнываю.
Когда за первородный грех
Ты будешь взыскивать со всех,
Кто на земле спасется?

В небесном царствии Твоем
Лишь благодать всевластна.
И даже праведным житьем
Кичимся мы напрасно.
Не с горделивой похвальбой,
А со смиренною мольбой
Обрящешь милость Божью.

На Господа надеюсь я,—
Не на свои заслуги.
Зовет Его душа моя
В земном своем недуге.
Не нужно мне других наград.
Мой самый драгоценный клад —
Святое слово Божье.

И пусть продлится долго ночь,
И снова на рассвете
Под силу с Богом превозмочь
Сомненья злые эти.
Иаковлев завет храни,
Который нам в былые дни
Дарован духом Божьим!

Пускай, блуждая наугад,
Мы нагрешили много,
Простится больше во сто крат
Тому, кто помнит Бога.
Бог — пастырь добрый, Бог спасет
Заблудший, грешный Свой народ
От всяческих напастей.

* * *

Сегодня правда спасена,
Сегодня ложь посрамлена.
Спасибо господу скажи
И слух свой не склоняй ко лжи.
Да, правда попрана была,
Но верх, гляди, опять взяла.
Хвали же тех, кто столько сил
На это дело положил,
Хотя служение добру
Иным совсем не по нутру.
Попы-прохвосты — за обман.
Так вот, я честных христиан
Прошу вранья не слушать впредь
И делу общему радеть.
Не бог ведь папа, если он,
Как все, скончаться обречен.
Ах, немцы, вот вам мой совет:
Назад — ни шагу! Поздно. Нет
Для вас обратного пути.
За то, что вас вперед идти
Я призывал, наград не жду,
И пусть я попаду в беду,
Лишившись помощи,— клянусь,
От правды я не отступлюсь!
Пусть предо мною лебезят,
Пусть мне анафемой грозят,
Пусть меч заносят надо мной —
На свете силы нет такой,
Чтобы сломить могла меня,

Хоть плачет мать моя, кляня
Тот день, когда решил начать
Я это дело. Полно, мать,
Оно пойдет! А если бог
Судил ему короткий срок,—
Что ж, тут обратных нет дорог.

НОВАЯ ПЕСНЬ ГОСПОДИНА УЛЬРИХА ФОН ГУТТЕНА

Я шел на это смело.
Я знал, на что иду.
И пусть я начал дело
Себе же на беду.
Не о себе,
А о судьбе
Страны своей радею,
Хотя твердят,
Что я лишь рад
Попам намылить шею.

Твердите что угодно —
Все вздор и болтовня.
Будь лжец я, всенародно
Хвалили бы меня.
А я не лгал,
Я не молчал
И вот в изгнанье ныне.
Ну что ж, вернусь,
Не заживусь,
Надеюсь, на чужбине.

Мне милости не надо:
За мною нет вины.
Ни жалость, ни пощада
Мне, право, не нужны.
Нет, пусть дадут
На честный суд
Мне выйти для ответа.
Припрет нужда —
Они тогда
Решатся и на это.

Такое уж бывало,
Что все менялось вдруг
И кто брал верх сначала,
Проигрывал на круг.
Пожар, глядишь,
От искры лишь
Иной раз и займется.
Паду ль в бою
Иль устою —
Но я решил бороться.

Сознанье мне поможет,
Что честен был мой путь,
Что враг меня не может
В корысти упрекнуть,
Что и врагу
Сказать могу:
Я вел себя достойно.
Я не юлил
И не хитрил,
Душа моя спокойна.

Но если правды слово
Для немцев звук пустой
И нация готова
Вредить себе самой —
Как ей помочь?
Тут выйти прочь
Мне из игры пристало.
Что ж, удалюсь,
Конца дождусь,
Коль заварил начало.

А что задать мне перца
Грозит придворный сброд —
Плевать! Спокойно сердце,
Хула врага не в счет.
Итак, за мной
Бросайтесь в бой,
Ландскнехт и рыцарь, вместе —
Чтоб Гуттен жил
И победил,
К своей и к вашей чести.

О КРЕСТЬЯНИНЕ И БОГЕ ГЕРКУЛЕСЕ

Мужик, не ведая тревоги,
Однажды ехал по дороге.
Все б хорошо, но вот с разбега
В канаву съехала телега.
Крестьянин просит у небес:
«О, помоги мне, Геркулес!
О, если б мне всесильный бог
Отсюда выбраться помог!»
Но голос с неба отвечал:
«Глупца такого не встречал.
Сидишь, покорно ждешь чудес.
Уж лучше б ты с телеги слез.
Телегу поднял, а потом
Кобылу отхлестал кнутом.
И, если сделал все, что мог,
То жди — теперь поможет бог».

О МОРЯКЕ И ВОРЕ

Однажды в путь я поспешил
С товаром в Ригу и решил
Поплыть туда на корабле.
Я мог бы ехать по земле,
Но этот путь (я твердо знал)
Меня бы скоро в грусть вогнал.
Толпился на корме народ.
Сновал меж нами всякий сброд.
Ведь поговаривают так,
Что будет рад любой моряк

С собою вора прихватить —
Он может много заплатить
(Но я об этом не тужил).
Вот наконец корабль отплыл.
Вдруг у Шотландских берегов
Поднялся шторм до облаков.
За валом возвышался вал.
И ветер парус разорвал.
Повсюду стоны, крики, вой.
И чернота над головой.
Волна людей сбивала с ног.
«О, помоги, всесильный бог! —
Моряк что силы закричал.—
Не ты ли жизнь нам даровал?
Друзья, молитесь! Час придет —
Нас бог от гибели спасет».
И лютый страх людей сковал.
Тут каждый на колени встал.
И все стали молиться богу,
Призывать его на подмогу.
Бушует шторм, за валом вал.
Моряк, как мог, всех утешал.
Так он по палубе ходил...
Его немало удивил
Вид одного мужчины —
Тот и не знал кручины.
Он в стороне от всех стоял
И тихо песню напевал.
«Ему не страшен шторм и тьма,
Должно быть, он сошел с ума.
Но я спросить его решусь:
«Скажи мне, что же ты за гусь,
Что смерти не боишься?
Иль смелостью кичишься?»
«В мои дела — не суй-ка нос.
Но есть ответ на твой вопрос.
Всю жизнь я краденым кормлюсь,
И умереть я не боюсь.
Коль твой корабль пойдет ко дну,
Я все равно не утону.
Пусть шторм, пусть ветер. Все одно!
Нет, мне другое суждено:
Моя погибель — плаха.
Так что ж дрожать от страха?»

ШЛАУРАФФИЯ

Шлаураффия — так названа
Необычайная страна,
Лежащая от нас к Востоку,
От рождества неподалеку.
Желающий туда попасть
Вовсю пускай разинет пасть,
Большую раздобудет ложку
И постепенно, понемножку,
Бесстрашно двигаясь вперед,
В горе пшена проест проход.
Не так вкусна гора пшена,
Зато Шлаураффия вкусна.
Дома там просто бесподобны —
Они поджаристы и сдобны,
А возле дома на порог
Кладут рассыпчатый пирог;
Окошки там из рафинада,
Булыжники из мармелада,
Плетень, сплетенный из колбас,
Щекочет нос, ласкает глаз.
Вино сухое из колодца
Бродяге прямо в глотку льется,
Как будто он — великий князь;
Мечтает жареный карась,
Вися в лесу на ветке ели,
Чтоб все его скорее съели;

На соснах там висят не шишки,
А соблазнительные пышки;
Там на столбах не фонари,
А сливочные сухари;
Не черепица там, не дранки
Лежат на крышах, а баранки;
Там среди города река
Струит потоки молока,
В которое валятся с неба
Душистые краюхи хлеба.

Там рыбки плавают в пруду,
Забравшись на сковороду,
Шипят и, жарясь без огня,
Пищат: «Рыбак, поймай меня!»
Там среди красочной натуры
Летают жареные куры,
А жареные каплуны
На вкус особенно нежны:
Лентяям в рот они влетают
И, неразжеванные, тают.
Петух, крича «Кукареку!»,
Там носится с ножом в боку
На случай, если кто захочет
Отрезать от него кусочек;
И у свиньи в спине ножи:
Отрежь — на место положи.
Как яблоки, висят на ветке
Крестьяне — взрослые и детки;
Созрев, спадают мужики
С деревьев прямо в башмаки.
Кобыла там, секрет достатка,
Несет яиц по три десятка;
Там фиги делает ишак;
Там вишни собирают так:
Сидят на корточках ребята,
В руках у каждого лопата.
Там есть волшебный родничок:
Помылся древний старичок,
Утерся ветхим полотенцем,
Глядишь — он, снова став младенцем,
Посасывает карамель.
Из лука там стреляют в цель;

Тому награда достается,
Который больше промахнется.
А в беге первым будет тот,
Который позже всех придет.
Пастух пасет там не баранов,
А вошек, блох и тараканов.
Там деньги зашибать — пустяк:
Кто дрыхнуть день и ночь мастак,
За сутки получает пфенниг.
Там тунеядец и мошенник
Богаче всех во много крат.
Там проиграться каждый рад:
Продутое вернут обратно,
Умножив сумму троекратно.
Там возвращающих долги
Всегда преследуют враги;
Того же, кто большого долга
Платить не хочет очень долго,
Там поощряет правый суд,
Для плута не жалея ссуд.
Там суд и ложь в законном браке,
Награды платят там за враки;
За ложь поменьше платят грош,
И плапперт — за большую ложь.
За рассудительное слово
Людей карают там сурово,
Кто работает, тому
Грозят, что заточат в тюрьму.
Кто честен и богобоязнен,
Не избежит позорной казни.
Кого же в этом крае чтут?
Того, кто лизоблюд и плут.
Кто признан первым их лентяем,
Тот государем избираем.
Кто дик, невежествен и зол,
Обороняет их престол
Своею заячьей отвагой.
А машущий колбасной шпагой
В сословье рыцарей введен.
А тот, кто жалок и смешон,
Кто жрет и пьет за спинкой трона,
Тот получает сан барона.
Кто туп, и глуп, и сукин сын —
Тот в этом крае дворянин.

Так вот, не забывайте, братцы:
Хлыщи, обжоры, тунеядцы,
Лентяи, плуты — все найдут
В стране Шлаураффии приют.
Ее в былые годы предки
Придумали, чтоб наши детки
Боялись в этот край попасть,—
Боялись врать, грубить и красть,
Быть лоботрясом и обжорой...
Шлаураффия — страна, в которой
В любое время место есть
Для тех, кто любит спать и есть.

Трудитесь! Мир не будет раем
Для тех, кто хочет жить лентяем.

КРЕСТЬЯНИН И СМЕРТЬ

Крестьянин бедный полон дум:
Ему понадобился кум.
Он было в путь, но к воротам
Подходит вдруг всевышний сам
И вопрошает: «Ты куда?»
«Да кум мне нужен, вот беда!»
«Возьми меня»,— господь в ответ,
Но мужичонка молвит: «Нет!
Ты делишь блага кое-как:
Один — богач, другой — бедняк!»
Идет навстречу Смерть: «А я
Не подойду ли в кумовья?
Коли меня захочешь взять,
То научу я врачевать,
И вскорости ты — богатей!»
«Коль так, нет кума мне милей!»
Вот и дитя окрещено.
Смерть куманьку твердит одно:
«Придешь к больному — так гляди,
За мною только и следи!
Коль в головах я у больного,
То ждать ему конца худого,
Но коли я в ногах стою,
Поборет он болезнь свою».

Раз заболел мужик богатый.
Пришел наш лекарь, кисловато
Взглянул, ответил на поклон,
А сам на кума — где же он?
Глядит — а он в ногах стоит.
Больному лекарь говорит:
«Дай мне двенадцать золотых,
И ты здоров».— «Не жаль мне их!»
Мужик поправился, и вот
О лекаре молва идет,
А тот знай лечит — всякий раз
Лишь с кума не спуская глаз:
Кум в головах — больной не встанет,
В ногах — опять здоровым станет!
Разбогател наш врач: за ним
Лишь посылают за одним.
Чрез десять лет — увы и ах! —
Смерть уж у кума в головах
Стоит и речь к нему ведет.
«Теперь настал и твой черед!»
Но лекарь просит погодить:
«Дай мне молитву сотворить!
Вот «Отче наш» прочту,— тогда
Уйду с тобою навсегда!»
Согласна Смерть: «Пусть будет так!»
Молиться принялся бедняк.
Но только первые слова
Он произнес едва-едва...
И этак молится... шесть лет:
Конца молитве нет как нет.
Смерть выбивается из сил:
«Ну, как? Молитву сотворил?..»
Смекнув, что тут обойдена,
Прибегла к хитрости она:
Прикинулась больной тотчас
И у порога улеглась,
Кричит: «Ах, лекарь! Я в огне!
Лишь «Отче наш» поможет мне!»
Прочел тут врач все до конца —
А Смерть скрутила молодца
И молвила: «Попался, брат!..»
Недаром люди говорят:
От смерти не уйти. Придет
И Ганса Сакса заберет.

О ВИТТЕНБЕРГСКОМ СОЛОВЬЕ, ЧЬЯ ПЕСНЬ СЛЫШНА ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕ

Проснитесь! Утро настает!
Я слышу: соловей поет
Среди листвы в лесу зеленом;
Несется трель по горным склонам,
Звенит в долинах, ночь гоня,
И возвещает царство дня.
Заря восходит золотая,
И солнце, тучи разгоняя,
На землю шлет свои лучи.
Луна, сиявшая в ночи,
Теперь бледнеет и тускнеет
И власти больше не имеет
Над стадом жалобным овец,
Которых страшный ждал конец.

*

Страдает от попов народ,
Не перечесть его невзгод:
Зимой и летом гнет он спину,
Чтоб отдавать им десятину.
Коль не заплатишь — проклянут,
Изгонят, свечи вслед швырнут,
Другим чтоб было не повадно;
Трудиться разве не досадно
Крестьянину по целым дням,
Чтобы поповским холуям
Сидеть в трактирах было можно,
Кутить и пьянствовать безбожно?
Есть у попов про всех товар —
Лишь покупай и млад и стар!
Известно — каждый поп и инок
Дом божий превращает в рынок:
Дают реликвии доход,
А главное — в церквах идет
Продажа индульгенций бойко.
Вот что и есть овечья дойка!
Толпа церковников жадна:
Привыкнув грабить издавна,
Живя бессовестным обманом,
Церковник ловко лжет мирянам:

За мощи выдав зуб быка,
Он им притронется слегка
К болящему — и дань сбирает.
Мирян церковник уверяет,
Что в братства надо им вступать
И чинш исправно отдавать.
Поистине — в алчбе неистов
Любой из братии папистов;
Они из края в край пешком
Бредут — всегда с большим мешком,
В котором индульгенций ворох,
С крестом, с хоругвями, и хор их
Звучит везде: «Спасенье тут!
Чистилища же избегут
И те на небо будут взяты,
Кто по природе тороваты.
Монета звякнет — ты спасен!»
Тот, кто нанес другим урон
И приобрел добро нечестно,
Благодаря им, как известно,
Выходит из воды сухим.
Всех обирает папский Рим
С настойчивостью и упорством.
Вот что зову я шкуродерством!
Епископов я до поры
Не поминал, а их дворы
С нотариусами, с писцами,
Глумящимися над истцами,
Что правосудья ищут там,
Отнюдь не безразличны нам.
Ведь здесь супругов разлучают,
Насильно браки заключают,
На бедняков наводят страх,
Честят, разносят в пух и прах:
Ах, еретик! Ах, еретичка!
В день постный смели съесть яичко!
Немедленно их отлучить!
Не жди того, чтоб облегчить
Здесь согласились наказанье:
Напрасно издавать стенанья,
О снисхождении моля.
Охотой потравлять поля
И прочие творить бесчинства,
Всемерно поощряя свинства

Своих наемников-солдат,
Что грабят всех людей подряд,
И вкупе с челядью разбойной
Вести бесчисленные войны,
Потоки крови проливать,
Людей нещадно убивать,
Сжигать их мирные жилища
И оставлять лишь пепелища
Там, где недавно жизнь цвела —
Вот вам епископов дела!
Не значит ли то — жрать овечек?
Ягненок у волков ответчик
За ненасытный голод их;
Но часто и волков самих
Мы под овечьим зрим обличьем;
Овец так поудобней стричь им.
Но жадность волка выдает,
И всяк его опознает.

*

Нет хищников жадней и злее.
Теперь на очереди — змеи,
Или, иначе говоря,
Монахи. Племя их не зря
Веками кровь из нас сосало:
За деньги, яйца, свечи, сало,
За уток, кур, сыры, масла
Творили добрые дела
У нас монашеские братства —
На том и нажили богатство!
Повадки их теперь ясны:
Пустые выдумки и сны,
Нелепейшие измышленья
Нам выдают за откровенья,
А так как освятил их Рим,
Выходит — надо верить им
И не скупиться на монету!
Что в баснях этих правды нету,
А есть один обман и ложь,
Не так-то сразу и поймешь!
Вот и заводят понемножку
Тебя на скользкую дорожку.
Чтоб от Христа ушел ты прочь
В безверье иль — что то же — в ночь.

ОБ ОДНОМ ОТЦЕ И ЕГО СЫНОВЬЯХ

Есть расположенный в лесах
Над Рейном город Андернах,
И жил в том городе купец,—
Он был удачливый отец,
Родивший много сыновей;
Однажды он семье своей —
Немногословен, мудр и строг —
Сравненьем преподал урок:
«Мои любимые сыны,
Пока вы будете дружны,
Пока меж вас не будет ссор,
Пока вы все, как до сих пор,
Стоите твердо друг за друга,—
Вам не придется слишком туго.
Но если в злополучный час
Позволите поссорить вас
И в стороны себя развесть,—
Тогда погибнет все — и честь,
И дом, который мною нажит,
Как эта притча вам покажет».
Вручил он веник сыновьям,
Сказав: «Сломайте пополам!»
Старался каждый, как умел,
Но веник был упруг и цел.
Никто сломать его не мог.
«Сынки, запомните урок:
Пока тесьма на нем крепка,
Ничья могучая рука
Вреда не причинит ему».

Но развязал старик тесьму
И всем по прутику раздал.
И каждый без труда сломал
Ему врученный тонкий прут.
Старик сказал: «Вот так и тут!
Тесьмою стянутые туго,
Стоят все прутья друг за друга.
Не ослабляйте же тесьму,
Живя в отеческом дому.
Вражду не допускайте в дом,
Построенный с таким трудом.
Вражда безжалостна, как зверь,
Она вас выгонит за дверь».

Мораль

Concordia res parvae crescunt,
discordia maximae dilabuntur (Salustius).
Согласье нам богатство копит,
А несогласье сразу топит.

ОБ ОСЛЕ, СТАВШЕМ ПАПОЙ

В Ионии есть город Кума,
Где в оны дни у толстосума
Большая мельница была,
При ней старик держал осла,
Который, не любя трудиться,
Сбежал из Кумы за границу;
Бредя пустыней, тот осел
На шкуру львиную набрел,
Нагромоздил ее на плечи
И принял облик человечий.

«Несчастный мельник, трепещи
И сам свои мешки тащи!
Нет, мельник! *Я* отныне мельник,
А ты — ворочайся, бездельник!
Тебя беру я в батраки;
А ну, тащи мои мешки!
Нет, досадил ты нам, скотинам,—
Я лучше буду дворянином.

Чем я не герцог? Чем не князь?
Таких не знал ты отродясь!
Ну что, перекосилась харя?
Я буду выше государя!
Эй, поглядите на меня!
Красив, могуч... Кто мне ровня?
У кайзера без промедленья
Я отберу его владенья,
Пускай вельмож терзает страх,
Пускай они падут во прах.
Сам кайзер пусть меня боится
И пусть целует мне копытца!
И днесь и присно мне, ослу,
Пускай возносит он хвалу!
Всех попирая львиной лапой,
Над кайзером я буду папой!»

Тут все умолкли, присмирев,
И стал осел — завзятый лев.
Он овладел святейшим троном
И подчинил своим законам
Священников; он, самодур,
Спускает с них по восемь шкур:
Попам он запрещает браки,
И вот прелаты, как собаки
(На передок-то каждый слаб),
Кидаются на бедных баб,
Бахвалясь перед всей округой;
А если со своей супругой
Застигнет муж духовника,
То мужу и намнут бока,—
Попы несчастного ославят
И каяться еще заставят.
Так власть святейшего осла
Несчастье людям принесла.

Кто нарушает пост великий?
Придется худо горемыке!
Яичек, масла хочешь? Нет,
На них теперь лежит запрет.
Сыр? Молоко? Забудь об этом,
Все это подлежит запретам.
Всё под ослом — стол и престол.
Владыка христиан — осел.

Все государи всей Европы —
Его покорные холопы,
Все бьют обманщику челом
И смирно ходят под ослом,
Который правит ими строго,
Как будто он — наместник бога.
Всем продает в раю места
Уполномоченный Христа...
Так над вселенной власть обрел
Владыка христиан, осел.

Не странно ли? В обличье львином
Осел стал грозным властелином.
Ты скажешь, это басня? Нет!
Прошло, мой друг, шесть сотен лет,
Как Иисус за правду нашу
Испил мучительную чашу,—
И вот, мечтавший отдохнуть,
Осел пошел в далекий путь
И, львиную напялив шкуру,
Другую приобрел фигуру.
Он одурачил целый свет
И девятьсот двенадцать лет
Тянулось это представленье.
Но как-то всем на удивленье
Разумный человек, едва
Взглянув на правящего льва,
Довольного своей наживой,
Вдруг догадался: он фальшивый!
Под гривою, которой лев
Потряхивал, рассвирепев,
Людские потрясая души,
Ослиные торчали уши;
Смекнув немедля, в чем тут суть,
Он тихо стал за них тянуть,
И все увидели в натуре
Осла-злодея в львиной шкуре.

Тут шкуру он с него совлек,
Осел же в огорченье слег.
Все стало ясно христианам,
И разнеслось по разным странам,
Стонавшим под фальшивым львом,
Что оказался лев — ослом.

Как только шкуру льва спалили,
Еще недавно бывший в силе
Святейший господин осел
Внезапно оказался гол;
Расстался с оболочкой тленной
Могущественный царь вселенной.

Того ж, который мудро нас
От гнусного тирана спас,
Который, мужественный воин,
Великих почестей достоин
(Хоть он и скромен выше мер),
Который нам явил пример,
Как свергнуть Гога и Магога,
Как верить в истинного бога,
Как уничтожить ложь и блуд —
Мартином Лютером зовут.
Он нам явил господне слово,
Чтоб никогда лукавый снова
Не отвратил нас от креста.
На том — благодарим Христа.

ПОЛЕВАЯ МЫШЬ ИДЕТ В ГОСТИ В ГОРОД

Случилось это как-то в ночь,
Когда никто поспать не прочь.
Дремали птички на ветвях.
Форель не плавала в ручьях
(Она спала на дне реки).
Заснули звери и жуки.
Луна на небе засверкала,
И землю тишина сковала.
И вот, когда все в мире спят,
Две мыши у ворот стоят.
Пред ними каменный забор.
Закрыты двери на запор.
Но только сторожа заснули,
Как эти мыши прошмыгнули
В щель под забором, а потом
Они в большой прокрались дом.
Хозяин дома крепко спал.
Он целый вечер пировал,
С гостями много ел и пил.
Так день за днем он проводил.
А на столе — вот благодать!
Чего там только не сыскать!
Фисташки из заморских стран,
Гусь и зажаренный баран,
Изюм, фазаны и жирна
В огромном блюде ветчина.
Ковриги, сахар, виноград
И пироги кругом лежат.

Кувшины с пивом и вином.
Весь стол завален серебром...
И все, что на столе лежало,
Тех мышек очень привлекало.
Никто заметить их не мог.
Они на стол скорее — скок!
Гуткезхен — городская мышь.
Ее ничем не удивишь.
Варнфрида — полевая мышка
(Она ужасная трусишка).
И тут Гуткезхен говорит:
«О гостья! Все, что здесь лежит,
Хочу тебе я подарить.
О нет! К чему благодарить!
Не надо. Лучше поживей
Наешься вдоволь и попей!»
Варнфрида только: «Ах» и «Ох».
«Да этот стол совсем не плох.
Какая вкусная еда!
Вот это жизнь! Вот это да!
Какой божественный паштет!
Какое множество конфет!»
И снова только «ох» и «ах».
«Как можешь жить ты на полях?
Питаться лишь одним зерном?
Я часто думаю о том,—
Гуткезхен молвит, как царица,—
Здесь можно только подивиться!»
И тут внезапно пробудился
Хозяин дома. Он напился
Сегодня здорово, и вот
Болят и сердце и живот.
Так где ж его былая сила?
Ему мерещится могила,
Не может он ни сесть, ни встать...
И он от страха стал кричать:
Ему до смерти два шага!
Бегут служанка и слуга...
Свою жену позвать он просит:
«И где ж ее, дуреху, носит?»
Но вот, заботлива, нежна,
К нему бежит его жена...
Она дрожит. «Мой дорогой!
Я отпою тебя водой!

Гоподь да не оставит нас!»
И слезы катятся из глаз.
...Повсюду шум и суета.
Смела Гуткезхен, да и та
Бежит в нору, забыв с испугу
Свою любимую подругу.
Но час прошел, прошел другой,
И вновь царит кругом покой.
Две мыши встретились опять.
«Давай продолжим пировать,—
Гуткезхен говорит Варнфриде,—
Ты на меня не будь в обиде!»
Пищит Варнфрида и вздыхает:
«Скажи, и часто так бывает,
Что в доме все идет вверх дном?»
«Да, да. Скандалы день за днем.
Хозяин всякий раз кричит.
Но возрастает аппетит,
И все вкуснее кажется,
Когда скандал уляжется».
На что Варнфрида отвечала:
«Я часто в поле голодала
И мокла под дождем. Но все же
Мне тишина всего дороже.
Я шум и крик не выношу.
Сейчас же в поле поспешу,
Пока светать не стало.
Прощай! Я побежала!..»

ЦАРЬ И БЛОХА

Рассказывает вошь:

Блоха, рассказать мне тебе разреши
О жизни одной неприметной вши.
К ней, представь себе, были внимательны
Лица, которые крайне влиятельны.
Однажды один император славный
Велел подавать свой камзол исправный.
Вдруг камердинера бросило в дрожь —
Он на камзоле заметил вошь.
Несчастный от страха совсем зачах.
Теперь не сносить головы на плечах.
И, поправляя кружево манжетное,
Движение сделал он еле заметное.
Снял с рукава рыжеватую вошь,
Но императора не проведешь.
Жизнь камердинера на волоске.
«Что же ты держишь в правой руке?»
В крови от стыда разгорелся огонь.
Как он боится разжать ладонь!
В последней надежде на чудеса
Молит о помощи он небеса:
«О, ниспошли мне, господь, милосердие
За все мое рвение и усердие!»
Он раскрывает ладонь. И что ж?
Император смеется, увидев вошь.
«Значит, и мне даровал господь
Всего лишь навсего тленную плоть.
Пусть я сижу на высоком троне,
С жезлом в руке, в золотой короне!

Как ни старайся, как ни пляши,
И у меня, императора, вши!
Может, проживу еще немного я.
До чего же наша жизнь убогая!»
И слугу, что был таким проворным,
Наградил он титулом придворным.
И тут же смекнул камердинер-пройдоха:
«Еще поживлюсь я на этом неплохо.
И, коль понадеюсь я вновь на удачу,
Мешок золотых получу я в придачу.
Куй железо, пока горячо!»
На высочайшее глянув плечо,
К особе светлейшей он сделал шаг,
Что-то усердно зажал в кулак
И тотчас признался, как на духу,
Что на камзоле поймал блоху.
«Как? — закричал император в злости.—
Пересчитаю тебе я кости!
Выпущу я из тебя потроха.
Откуда на платье моем блоха?
Ах ты, негодник, коварный и лживый,
Что ж я, по-твоему, пес шелудивый?
Катись отсюда без оглядки,
Да так, чтобы сверкали пятки!»
В назиданье нерадивым слугам
Получил обманщик по заслугам.
И в тот же день и в тот же час
Издал император строжайший указ.
И всем с тех пор считать приходится,
Что только у животных *блохи* водятся.
Людей же порою кусают вши,
Несмотря на наличие вечной души.
Тот, кто жить привык беспечно,
Вспомнит: жизнь не вековечна.
Коль тебя укусит вошь,
Знай, от смерти не уйдешь.
Пусть вши порой приносят муку,
Но деньги платят за науку.
Ведь император понял сам,
Что вши угодны небесам!
Мы, вши, прямое подтверждение
Тому, что все охватит тление.
Как мне жаль вас, прыгучие блохи.
До чего же дела ваши плохи!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕМЦАМ, ПО СЛУЧАЮ КАРТИНЫ, КОТОРУЮ ЯВЛЯЕТ СОБОЮ ГЕРМАНИЯ

Ужель, Германия, скажи,
Ты лести поддалась и лжи?
Неужто жребий твой прославлен
Тем, что весь мир тобой отравлен?
Ах, не стыдясь своих детей,
Кичишься ты картиной сей,
Которой бы страшиться надо!
О, недостойнейшее чадо
Могучих предков!.. Почему,
На гибель сердцу и уму,
Отцов притворно восхваляешь
И память их в грязи валяешь?
Твердишь, в делах увязнув злых,
О добродетелях былых
И к дедовским взываешь правам,
Предавшись мерзостным забавам!
Ты вся пронизана пороком,
Хоть и глаголешь о высоком!
Напоминаешь сим птенца,
Что, сидя в клетке у ловца,
Обозреваемый народом,
Кичится именитым родом,
Он-де орлов привольных сын,
Жильцов заоблачных вершин,
Царей в заоблачной державе!..
Но проку нет в отцовской славе,
Коль отпрыск чахлый — под замком...
Пример подобный нам знаком.
Германия, не ты ли это,
Чье сердце пагубой задето?
Что́ нам сияние побед
И доблесть немцев прошлых лет?
Во благо своему народу
Они сражались за свободу
И злых соседей — видит бог! —
Не допускали на порог!
А нынче мы и в самом деле
Свободу родины презрели.
Толпится враг у наших врат,
Верша бесчинства и разврат!

Ужели Трусости царица
В германских землях воцарится?
Отдать ли скипетр ей и трон?!
Нет, полагаю, не резон!
Мы по-иному с ней поладим;
С почтеньицем ее подсадим
На деревянного коня
И, погремушками звеня,
Напялим на нее «корону»,
Взамен орла дадим ворону,
Взамен державы — круглый мяч,
Тот самый, что несется вскачь,
Как только по нему ударят...
О, нам свободу не подарят!
Завоевать ее спеши!
Прочь страх, прочь робость из души!..
Без благочестья нет свободы!
Чужие мысли, нравы, моды
Свободно в наш проникли дом,
И кажется давнишним сном
Германских строгих нравов прочность.
Всё — легкомыслие, порочность,
Распутство бабье!.. Что за стыд!..
Нет, нам потомство не простит
Того, что мы столь низко пали
И честь отцовскую распяли!..
Германский край, остепенись!
Орел германский, вознесись!
Да возвратит господь нам снова
То, что родной земли основа —
Бесстрашие твоих бойцов!..
Геройство дедов и отцов
И в нас геройством отзовется,
И высоко орел взовьется,
Победы ввысь взовьется стяг...
Воспрянет друг! И сгинет враг!..

О ПОДРАЖАНИИ ЧУЖИМ МОДАМ

Поляки — доблестное панство —
Блюдут в одежде постоянство.
У москвитян, у турков есть
Понятья: мера, ум и честь.

И лишь в краю германском нашем
На разум мы рукою машем,
Своих обычаев не чтим —
Все собезьянничать хотим.

В одеждах ходим иностранных,
Добытых в сопредельных странах.
Я «итальянец»! Ты «француз»!..
Что говорить! Вошли во вкус!

На что у них сегодня мода —
Нам слаще сахара и меда.
Взгляните на господ и дам:
Все носят всё, что носят там.

Болезнью тяжкой мы болеем!
Ни сил, ни денег не жалеем.
Чужой покрой, чужой наряд,
Страшусь, нас вскоре разорят.

Да как угонимся мы с вами
За шляпками, за башмаками,
Длиною юбок, цветом лент,
Коль все меняется в момент

И в моде новые фасоны!
Влиятельнейшие персоны
И те не выдержат такой
Безумной гонки колдовской!

Придет ли к немцам час прозренья,
Дабы избегнуть разоренья?..
Сколь нищ, сколь глуп безмозглый мот —
Любитель чужестранных мод!

ПЕСНЯ
О ФЛОРИАНЕ ГАЙЕРЕ

Настали золотые
Для Коршуна деньки,
Птенцы его лихие —
Простые мужики.
Они теперь восстали —
Немецкий весь народ,—
Оружие достали
И двинулись в поход.

Зачем им не сиделось
В насиженном гнезде?
Откуда взяли смелость
И силу взяли где?
По божьему веленью
Идут они на бой —
Идут на искупленье
Греховности мирской.

Отчаянным народом
Силен крестьянский полк.
Иной зовет их сбродом.
Глядит на них как волк.
Так делают злодеи,
Гордец, ханжа и трус.
Мы с каждым днем сильнее —
Мотайте-ка на ус!

Еще на нас косится
Высокомерный враг;

Мол, что они за птицы
И кто у них вожак?
Вожак наш этим барам
Покажет, что почем!
Ведь Гайера недаром
Мы Коршуном зовем.

И вот идут крестьяне,
Бесстрашны и честны,
Идут на поле брани,
На тяжкий труд войны.
И пусть они покуда
Не ведали побед —
Дворянам будет худо,—
Такой дают обет.

Бесчисленное войско
Отважных мужиков
Сражается геройски
И не щадит врагов.
Оно разрушит храмы,
Оно сожжет дворцы,—
Недаром нас упрямо
Порочат подлецы.

ПЕСНЯ РЫЦАРЕЙ-РАЗБОЙНИКОВ ИЗ ВОЛЬНИЦЫ ШЕНКЕНБАХА

Тебе воздать хваленья,
Пречистая, спешим.
Мария! Все моленья
Несем к стопам твоим!
На конях наши роты
Сидят, полны заботы;
Щадить нам нет охоты,
Лишь ты, Христова мать,
Не устаешь внимать.

Свят Юрий благородный,
Хорунжим будь у нас!
Дай нам денек погодный,
Даруй счастливый час,
Чтоб мы не оплошали,

Крестьян в силки забрали,
Что нас взнуздать мечтали,
Не им в дворянстве быть!
Им лиса не словить.

Купцы с дворянской спесью
Сроднились, мнят, вполне.
Так грянем по полесью,
Мы на борзом коне.
Почешем ихни спины!
Из темных нор дубиной,
Зажженной хворостиной
Начнем зверье травить,
Чтоб ихню спесь посбить.

Да знает каждый рыцарь
Наш орденский статут;
Нам от нужды не скрыться,
Нам яств не нанесут,
Нас голод мучил с детства.
Но есть другое средство:
Сорвать с купца наследство,
Все, чем нажился плут.
Пускай себе ревут!

Ну, как себе на пищу
Доходы соберу?
Но эту дичь мы сыщем
Залетную в бору:
Франконцев с их сумою,
Что, не готовясь к бою,
Сидели за стеною.
Вот эта дичь — по мне,
В глухом бору — вдвойне.

Как птицу мы подымем,
Так не устанем гнать.
Со всех сторон нахлынем
Мы, рыцарская рать.
Пошлем ребят дозором
По рощам, косогорам.
Того прославим хором,
Кто вечный даст покой
Певунье городской.

Рыбачить мы умеем
И на сухой земле.
Мы ветерочком веем
Вдоль рощи. На седле
Не будем мы гнусавить:
«Как одежонку справить?»
Иль не вподъем заставить
Платить того, кто в лес
С тугой сумой полез?

В Франконии нам любо
Ни год, ни два сновать.
Крестьяне точат зубы
На рыцарскую знать.
Господь от бед избави!
По полю, по дубраве
Дай волю всей ораве
Гулять, пока петлей
Не стянут ворот мой.

Дай покарать нам, боже,
Лихих бунтовщиков!
Иль молодец пригожий
Не стоит ста голов?
Их спесь навеки скрутим,
Смерть братьев не забудем.
В них страх такой пробудим,
Что с трепетом в сердцах
Поймут, кто Шенкенбах.

ОТВЕТНАЯ ПЕСНЯ КРЕСТЬЯН

Такой лихой печали,
Таких великих бед
Сыздетства не видали
Ни я, ни мой сосед.
И господа и слуги
На покаянье туги.
Живут по всей округе
Без бога, без узды,
Смирению чужды.

Не рыцарскому роду
Бить, грабить, жечь, пытать!
Торговцам нет проходу:
Всех тщатся обобрать.
Легко ль от бед укрыться?
Как лих в разбое рыцарь,
И в песне говорится,
Что лютая семья
Сложила про себя.

Свят Юрий, божий витязь,
Водитель ваших орд?
Эх, подлые, стыдитесь —
Над ним не властен черт!
Свят Юрий вас оставит,
Сразит мечом, удавит
Иль сам топор направит
В загривок гордый твой
На площади большой.

Вы пели о затраве
Охотничьей в лесу?
Не всякий час забаве,
Приходит смерть и псу.
Качнется в дреме вечной
Под балкой поперечной,
Охотничек беспечный,
Что по лесу гулял,
Не заслужив похвал.

Хвалились вы заране
Ухлопать дичь в упор.
Эх, господа-дворяне,
Не крепок ваш дозор,
Не медлим мы с расправой,
Сведем свой счет кровавый.
А суд не знает правый
Ни смердов, ни господ,
На плаху всех сведет.

Дозорных ваших любо
В темнице зреть, в цепях,
Под одежонкой грубой,
В тревоге и мольбах.

Иную песню птахи
Поют при виде плахи.
«О сударь! — молят в страхе.—
Хоть мессу нам пропой
Душе на упокой».

Мы рассказать могли бы
Про муки, крики, плач;
Невинного на дыбы
С виновным взвил палач,
Так вор-разбойник губит
И тех, кого он любит;
Он жизнь под корень рубит
Супруги и детей.
А это мук больней.

Вы плутовством, нахрапом
Позорили свой род;
Нас звали «сиволапым»,
Брань чести не берет.
А вас — которых чтили
С младенчества не мы ли? —
Дворянства-то лишили.
В кого всадили клин,
Уж тот не дворянин.

Дворянству денег мало,
На то и господа!
А слугам-то пристало
За них платить всегда?
Иссякнут все колодцы,
А коли сердце бьется,
Садись на иноходца
Да мчись в шумливый бор,
А там виси, как вор.

Максимилиану славу
Мы, кесарю, поем
За твердую расправу
С сиятельным жульем.
Петля пришлася впору
И Гогенкранцу-вору.
Колите песью свору,
Что кесаря хулит,
В них божий глас молчит!

ПЕСНЯ ОБ УСМИРЕНИИ МЮЛЬГАУЗЕНА

Хотите песенке внимать,
Что пелась про князей да знать,
Высокоблагородных
Теснителей народных?

Им христианскую-то кровь
Пивать за трапезой не вновь,
Им миловать негоже,
Спаси нас, бедных, боже!

В четверг стряслась у нас беда.
Сошлись князья и господа
Под Шлотгейм всей оравой,
Грозили нам расправой.

Как герцог Юрий зол и лют,
Расскажет эббелейдский люд;
К князьям он едет в поле,
Чтоб благ стяжать поболе.

Мюльгаузен — крепость хоть куда,
Но взяли город господа,
В том доктор был виною
С багряной бородою.

Ты, доктор, признанный злодей,
Ты худо сделал, ей-же-ей!
Но мы тебя отвадим,
На кол тебя посадим.

И Генрих Баумгард был из тех,
Кого не устрашает грех,
Он знал, что доктор хочет,
О чем злодей хлопочет.

Их плутни Кенемунд открыл.
Зато и голову сложил
В угоду барам злобным
У нас, на месте лобном.

Был Пфейфер честен и учен,
Славней не сыщется имен.
В пути его схватили,
Навеки уложили.

Так нам Мюльгаузенский совет
Не мало понаделал бед,
Из злобы и из мести
Нас бьют на лобном месте.

И даже тех, кому князья
Свободу дали, видел я,
Прислужники хватали
И насмерть убивали.

Людей не милуют они.
Господь, теснителей казни!
Пусть черти в хворостины
Их примут в час кончины.

Нам Ламгарт, воевода-плут,
Сказал: на Попперекский пруд
Идите всей толпою
С повинной головою.

И жены бедные гурьбой,
Ведомы докторской женой,
Пошли молить злодеев...
Спусти на ведьму змеев!

Кто эту песенку сложил,
Тот на земле недолго жил —
Он выпил злую чашу.
Ты песню слышал нашу?

ГОСПОДИН ФОН ФАЛЬКЕНШТЕЙН

Однажды с охоты граф Фалькенштейн
Скакал по лесам и полянам.
И вдруг на дороге увидел он
Девчонку в платке домотканом.

«Куда ты, красавица, держишь путь?
Не скучно ль бродить в одиночку?
Поедем! Ты в замке со мной проведешь
Хмельную, веселую ночку!»

«Чего вы пристали? Да кто вы такой?
Все хлопоты ваши напрасны».
«Так знай же, я сам господин Фалькенштейн!
Теперь ты, надеюсь, согласна?»

«Ах, коли взаправду вы граф Фалькенштейн,—
Ему отвечает девица,—
Велите отдать моего жениха.
Он в крепости вашей томится!»

«Нет, я не отдам твоего жениха,
Ему ты не станешь женою.
Твой бедный соколик в поместье моем
Сгниет за тюремной стеною!»

«Ах, если он заживо в башне гниет,—
Бедняжка в слезах отвечает,—
Я буду стоять у тюремной стены,
И, может, ему полегчает».

Тоскует она у тюремной стены,
Звучит ее голос так жутко:
«О милый мой, коли не выйдешь ко мне,
Наверно, лишусь я рассудка».

Все ходит и ходит вкруг башни она,
Свою изливая кручину:
«Пусть ночь пройдет, пусть год пройдет,
Но милого я не покину!

Когда б мне дали острый меч,
Когда б я нож достала,
С тобою, граф фон Фалькенштейн,
Я насмерть бы драться стала!»

«Нет, вызов я твой все равно не приму,
Я с женщиной драться не буду!
А ну-ка, бери своего жениха,
И прочь убирайтесь отсюда!»

«За что ж ты, рыцарь, гонишь нас?
Ведь мы небось не воры!
Но то, что нам принадлежит,
Берем без разговора!»

КОРОЛЕВСКИЕ ДЕТИ

Я знал двух детей королевских —
Печаль их была велика:
Они полюбили друг друга,
Но их разлучала река.

Вот бросился вплавь королевич
В глухую полночную тьму,
И свечку зажгла королевна,
Чтоб виден был берег ему.

Но злая старуха черница
Хотела разбить их сердца,
И свечку она загасила,
И ночь поглотила пловца.

Настало воскресное утро —
Кругом веселился народ.
И только одна королевна
Стояла в слезах у ворот.

«О матушка, сердце изныло,
Болит голова, как в чаду.
Ах, я бы на речку сходила,—
Не бойтесь, я скоро приду».

«О дочка, любимая дочка,
Одна не ходи никуда.
Возьми-ка с собою сестрицу,—
Не то приключится беда».

«Сестренка останется дома,—
С малюткой так много хлопот:
Поди, на зеленой поляне
Все розы она оборвет».

«О дочка, любимая дочка,
Одна не ходи никуда.
Возьми с собой младшего брата,—
Не то приключится беда».

«Пусть братец останется дома,—
С малюткой так много хлопот:
Поди, на зеленой опушке
Он ласточек всех перебьет».

Ушла во дворец королева,
А девушка в страшной тоске,
Роняя горючие слезы,
Направилась прямо к реке.

Вдоль берега долго бродила,
Печалясь — не высказать как.
И вдруг возле хижины ветхой
Ей встретился старый рыбак.

Свое золотое колечко
Ему протянула она.
«Возьми! Но дружка дорогого
Достань мне с глубокого дна!»

Свою золотую корону
Ему протянула она.
«Возьми! Но дружка дорогого
Достань мне с глубокого дна!»

Раскинул рыбак свои сети,
И вот на прибрежный песок
Уже бездыханное тело
С немалым трудом приволок.

И девушка мертвого друга,
Рыдая, целует в лицо:
«Ах, высохли б эти слезинки,
Когда б ты сказал хоть словцо».

Она его в плащ завернула.
«Невесту свою приголубь!»
И молча с крутого обрыва
В холодную бросилась глубь...

...Как колокол стонет соборный!
Печальный разносится звон.
Плывут похоронные песни,
Звучит погребальный канон...

УЛИНГЕР

Веселый рыцарь на коне
Скакал по дальней стороне,
Сердца смущая девам
Пленительным напевом.

Он звонко пел. И вот одна
Застыла молча у окна:
«Ах, за певца такого
Я все отдать готова!»

«Тебя я в замок свой умчу,
Любви и песням научу.
Спустись-ка в палисадник!» —
Сказал веселый всадник.

Девица в спаленку вошла,
Колечки, камушки нашла,
Связала в узел платья
И — к рыцарю в объятья.

А он щитом ее укрыл
И, словно ветер быстрокрыл,
С красавицей влюбленной
Примчался в лес зеленый.

Не по себе ей стало вдруг:
Нет никого — сто верст вокруг.
Лишь белый голубочек
Уселся на дубочек.

«Твой рыцарь,— молвит голубок,—
Двенадцать девушек завлек.
Коль разум позабудешь —
Тринадцатою будешь!»

Она заплакала навзрыд:
«Слыхал, что голубь говорит,
Как он тебя порочит
И гибель мне пророчит?»

Смеется Улингер в ответ:
«Да это все — пустой навет!
Меня — могу дать слово —
Он принял за другого.

Ну, чем твой рыцарь не хорош?
Скорей мне волосы взъерошь!
На траву мы приляжем
И наши жизни свяжем».

Он ей платком глаза утер:
«Чего ты плачешь? Слезы — вздор!
Иль, проклятый судьбою,
Покинут муж тобою?»

«Нет, я не замужем пока.
Но возле ели, у лужка,—
Промолвила девица,—
Я вижу чьи-то лица.

Что там за люди? Кто они?»
«А ты сходи на них взгляни,
Да меч бы взять неплохо,
Чтоб не было подвоха».

«Зачем девице нужен меч?
Я не гожусь для бранных встреч.
Но люди эти вроде
Кружатся в хороводе».

Туда направилась она
И вдруг отпрянула, бледна:
В лесу, на черной ели,
Двенадцать дев висели.

«О, что за страшный хоровод!» —
Кричит она и косы рвет.
Но крик души скорбящей
Никто не слышит в чаще.

«Меня ты, злобный рыцарь, здесь,
Как этих девушек, повесь,
Но не хочу снимать я
Перед кончиной платья!»

«Оставим этот разговор.
Позор для мертвых — не позор.
Мне для моей сестрицы
Наряд твой пригодится».

«Что делать, Улингер? Бери —
Свою сестрицу одари,
А мне дозволь в награду
Три раза крикнуть кряду».

«Кричи не три, а тридцать раз,—
Здесь только совы слышат нас.
В моем лесу от века
Не встретишь человека!»

И вот раздался первый крик:
«Господь, яви свой светлый лик!
Приди ко мне, спаситель,
Чтоб сгинул искуситель!»

Затем раздался крик второй:
«Меня от изверга укрой,
Мария пресвятая!
Перед тобой чиста я!»

И третий крик звучит в бору:
«О брат! Спаси свою сестру!
Беда нависла грозно.
Спеши, пока не поздно!»

Ее мольбу услышал брат.
Созвал он всадников отряд,—
На выручку сестрицы
Летит быстрее птицы.

Несутся кони, ветр свистит,
Лес вспугнут топотом копыт.
До срока подоспели
Они к той черной ели.

«Что пригорюнился, певец?
Выходит, песенке — конец.
Сестру свою потешу —
На сук тебя повешу!»

«Видать, и я попался в сеть.
Тебе гулять, а мне — висеть.
Но только без одежи
Мне помирать негоже!»

«Оставим этот разговор.
Позор для мертвых — не позор.
Камзол твой и кирасу
Отдам я свинопасу!»

И тотчас головою вниз
Разбойник Улингер повис
На той же самой ели,
Где пленницы висели.

Брат посадил в седло сестру
И прискакал домой к утру
С сестрицею родимой,
Живой и невредимой.

БЕГЛЫЙ МОНАХ

Я песню новую свою
Готов начать без страха.
А ну, споемте про швею
И черного монаха.

Явился к повару монах:
«Давай скорей обедать!
Что в четырех торчать стенах?
Хочу швею проведать!»

Вот он поел да побежал,
Плененный белой шейкой.
Всю ночь в постели пролежал
С красоткой белошвейкой.

Меж тем колокола гудят,
Зовут монахов к мессе.
«Эх, что сказал бы мой аббат,
Когда б узнал, что здесь я?»

Он пред аббатом предстает,
Потупив долу очи.
«Мой сын, изволь-ка дать отчет,
Где был ты этой ночью?»

И говорит ему чернец:
«Я спал с моею милкой
И пил вино, святой отец,
Бутылку за бутылкой!..»

Весь день томительно гудят
Колоколов удары.
Монахи шепчут: «Бедный брат,
Побойся божьей кары!»

И говорит чернец: «Друзья,
Погибнуть мне на месте,
Но мне милей моя швея,
Чем все монахи вместе!»

Кто эту песенку сложил,
Ходил когда-то в рясе,
В монастыре монахом жил,
Да смылся восвояси.

БЫЛА Б ТЫ НЕМНОГО БОГАЧЕ...

Однажды я на берег вышла,
По тропке спустилась к реке.
Вдруг вижу: челнок подплывает,
Три графа сидят в челноке.

Вот граф, молодой и прекрасный,
В бокал наливает вина.
«Красавица, светик мой ясный,
Ты выпить со мною должна».

Глядит на меня, чуть не плача,
И шепчет, склонясь надо мной:
«Была б ты немного богаче,
Моей бы ты стала женой».

«Не смейтесь над девушкой честной.
Зачем мне ваш графский дворец!
Бедняк из деревни окрестной
Меня поведет под венец».

«А коль жениха не дождешься
Ни в том и ни в этом году?»
«Тогда я монахиней стану,
Тогда я в обитель уйду».

С тех пор миновало полгода,
Зима наступила, и вот
Приснилось ему, что голубка
Монахиней в келье живет.

Стрелой к монастырским воротам
Летит он на быстром коне...
Открылось окошечко: «Кто там?»
«Любовь моя, выйди ко мне!»

И девушка в белом наряде
Выходит к нему на порог.
Отрезаны длинные пряди,
И взгляд ее грустен и строг.

Он ей не промолвил ни слова,
Он ей не сказал ничего.
Но сердце от горя такого
Разбилось в груди у него.

ГОРЕМЫКА ШВАРТЕНГАЛЬЗ

В пути заметил я трактир
И постучал в ворота.
«Я горемыка Швартенгальз.
Мне пить и есть охота!»

Хозяйка отворила дверь.
Я плащ и шляпу скинул,
Налил вина — да стал глазеть
И кружку опрокинул.

Она тут потчевать меня,
Что барина какого.
Да только денег не возьмешь
Из кошелька пустого.

Хозяйка сердится, бранит —
Чуть не оглох от крика.
Постель не стелит, гонит прочь:
«Иди в сарай поспи-ка!»

Что делать, братцы! Лег я спать
В сарае возле дома.
Эх, незавидная кровать —
Колючая солома.

Проснулся утром — смех и грех,—
Дрожу, от стужи синий.
Вот так хоромы! На стене
Засеребрился иней.

Ну что же, взял я в руки меч,
Пошел бродить по свету.
С пустым мешком пошел пешком,
Коль не дали карету.

А на дороге мне сынок
Купеческий попался,
И кошелек его тугой
По праву мне достался!

ПОРТНОЙ В АДУ

Под утро, в понедельник,
Портняжка вышел в сад.
Навстречу — черт: «Бездельник,
Пойдем со мною в ад!
Теперь мы спасены!
Сошьешь ты нам штаны,
Сошьешь нам одежонку,
Во славу сатаны!»

И со своим аршином
Портняжка прибыл в ад.
Давай лупить по спинам
Чертей и чертенят.
И черти смущены:
«Мы просим сшить штаны,
Но только без примерки,
Во славу сатаны!»

Портной аршин отставил
И ножницы достал.
И вот, согласно правил,
Хвосты пооткромсал.
«Нам ножницы странны!
Изволь-ка шить штаны.
Оставь хвосты в покое,
Во славу сатаны!»

С чертями трудно сладить.
Портной согрел утюг
И стал проворно гладить
Зады заместо брюк.
«Ай-ай! Ужель должны
Нас доконать штаны?
Не надо нас утюжить,
Во славу сатаны!»

Затем он вынул нитку,
Чертей за шкуру — хвать!
И пуговицы начал
Им к брюху пришивать.

И визг и плач слышны:
«Проклятые штаны!
Он спятил! Он рехнулся,
Во славу сатаны!»

Портной достал иголку
И, не жалея сил,
Своим клиентам ноздри
Как следует зашил.
«Мы гибнем без вины!
Кто выдумал штаны?
За что такая пытка,
Во славу сатаны?!»

На стену лезут черти —
Шитье всему виной.
«Замучил нас до смерти
Бессовестный портной!
Не слезем со стены!
Не будем шить штаны!
Иначе мы подохнем,
Во славу сатаны!»

Тут сатана явился.
«Ты, парень, кто таков?
Как ты чертей решился
Оставить без хвостов?
Коль так — нам не нужны
Злосчастные штаны.
Проваливай из ада,
Во славу сатаны!»

«Ходите с голым задом!» —
Сказал чертям портной
И, распрощавшись с адом,
Отправился домой.
Дожив до седины,
Он людям шьет штаны,
Живет и не боится
Чертей и сатаны!

* * *

Кабы мне птицей стать,
Крылья бы где достать,—
Был бы с тобой!
Но как ни хочу — не взлечу,
Проклят судьбой.

Ночью снишься ты мне,
Вижу тебя во сне,
Взгляд твой ловлю.
А разомкну глаза —
Слезоньки лью.

Верь, что каждую ночь
Сердцу уснуть моему невмочь,—
С тобой говорит...
Тысячу раз тебя
Благодарит.

ПРОДАННАЯ МЕЛЬНИЧИХА

В деревню мельник под хмельком
Без денег шел, да с кошельком.
Но денежки найдутся.

Вот завернул он в лес густой —
Навстречу три злодея: «Стой!»
И три ножа сверкнули.

«Здорово, мельник! Нам нужна
Твоя брюхатая жена.
Мы хорошо заплатим!

Чего ты струсил? Не дрожи!
Вот — триста талеров держи
И убирайся с богом!»

«Как! Моего ребенка мать
За триста талеров отдать?!
Нет, мне жена дороже!»

«Бери шестьсот — и по рукам!
Ее ты в лес отправишь к нам
Не позже чем сегодня!»

«Да вы в уме ль? — воскликнул муж.—
Мне за вдовство столь жалкий куш?!
Здесь тысячами пахнет!»

Хохочут изверги: «Разбой!
Нá девятьсот — и черт с тобой!
Но шевелись живее!»

Бедняга муж потер чело:
«Ну, девятьсот — куда ни шло.
Что ж! Сделка состоялась».

Домой вернулся он... Жена
Ждет у ворот, как смерть бледна:
«Откуда ты так поздно?»

«Жена! Я из лесу иду.
Там твой отец попал в беду.
Беги к нему на помощь!»

И лишь она вступила в лес,
Как ей спешат наперерез
Разбойники с ножами.

«Красотка, здравствуй! В добрый час!
Твой муженек три шкуры с нас
Содрал за эту встречу!»

И принялись ее топтать,
По лесу за косы таскать.
«Сейчас помрешь, красотка!»

«О, боже! Не снесу я мук!
Ах, проклят будь злодей супруг
На том и этом свете!

Когда бы мой услышал крик
Мой брат — охотник, в тот же миг
Он вас убил бы, звери!»

И тут, сестры заслышав зов,
Явился брат из-за кустов
И уложил злодеев.

«Сестрица, не о чем тужить.
Пойдем со мной! Ты будешь жить
В родном отцовском доме!..»

Прошло три долгих дня. И вот
Охотник мельника зовет:
«Зайди-ка, мельник, в гости!..»

«Ну, зять, здорово! Как живешь?
Что ж без жены ко мне идешь?
Сестрица не больна ли?»

«Ох, шурин, горе у меня.
Твою сестру третьёва дня
На кладбище снесли мы.

Душа бедняжки — в небесах...»
Но тут с младенцем на руках
К ним мельничиха вышла.

«Ах, мельник — изменник, мошенник и вор!
Жену заманил ты к разбойникам в бор —
Так сам отправляйся на плаху!»

ИЗ НАРОДНОЙ КНИГИ «ГРОБИАНУС»

О ТОМ, КАК ПРОСЫПАТЬСЯ УТРОМ

Зачем вставать в глухую рань?
Ты лучше попозднее встань.
Со сна забудь надеть камзол
И нагишом садись за стол.
К чему приветствовать родню?
Еще успеется на дню.
Коль за столом случится гость,
Ему в тарелку выплюнь кость.
И посмотри на всех сердито
Для поддержанья аппетита.
Не говори слуге: «Спасибо!»
Сиди и лопай, нем как рыба.
Какой в словах излишних толк,
Когда ты голоден как волк?
Наешься лучше до отвала,
Чтоб за ушами затрещало.
Набей себе плотнее брюхо
Для бодрости и силы духа!
Хороший тон и поведенье
Испортят враз пищеваренье.
К чему манеры, тонкий вкус?
Живи себе не дуя в ус!

О ТОМ, КАК НАДО ГУЛЯТЬ

Когда к семи начнет смеркаться,
Выходят люди прогуляться.
Кто в одиночку, кто с дружком
Идут по улицам пешком.

И если ты гуляешь тоже,
Будь побойчее и построже.
Тебе смущаться не пристало,
Чтоб грязь к ботинкам не пристала,
Ты лужи обходи вокруг —
Пусть в них купается твой друг!
Поуже выбирай дорожки.
Всем встречным подставляй подножки.
И шутки ради, для забавы
Прохожих сталкивай в канавы!
И, совершив сей променад,
Наверняка ты будешь рад.

О ДЛИННЫХ ВОЛОСАХ

Прими совет мой — будешь рад.
Расти же волосы до пят!
Они согреют без труда
Тебя в любые холода.
В те золотые времена,
Когда земля была юна,
Все были голы, босы,
К тому ж длинноволосы.
И в том давно уверен я,
Что все ученые мужья
Вкушают уваженье
За париков ношенье.
Расти же волосы до пят —
И будешь всем милей в сто крат!

ФРАНЦИЯ

БАЛЛАДА
О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Скажи, в каких краях они,
Таис, Алкида — утешенье
Мужей, блиставших в оны дни?
Где Флора, Рима украшенье?
Где Эхо, чье звучало пенье,
Тревожа дремлющий затон,
Чья красота — как наважденье?..
Но где снега былых времен?

Где Элоиза, объясни,
Та, за кого приял мученья
Пьер Абеляр из Сен-Дени,
Познавший горечь оскопленья?
Где королева, чьим веленьем
Злосчастный Буридан казнен,
Зашит в мешок, утоплен в Сене?..
Но где снега былых времен?

Где Бланка, белизной сродни
Лилее, голосом — сирене?
Алиса, Берта,— где они?
Где Арамбур, чей двор в Майенне?
Где Жанна, дева из Лоррэни,
Чей славный путь был завершен
Костром в Руане? Где их тени?..
Но где снега былых времен?

Принц, красота живет мгновенье.
Увы, таков судьбы закон!
Звучит рефреном сожаленье:
Но где снега былых времен?..

ЖАЛОБЫ ПРЕКРАСНОЙ ОРУЖЕЙНИЦЫ

Мне никогда не позабыть
Плач Оружейницы Прекрасной,
Как ей хотелось юной быть
И как она взывала страстно:
«О, увяданья час злосчастный!
Зачем так рано наступил?
Чего я жду? Живу напрасно,
И даже умереть нет сил!

Ведь я любого гордеца
Когда-то сразу покоряла,
Купца, монаха и писца,
И все, не сетуя нимало,
Из церкви или из кружала
За мной бежали по пятам,
Но я их часто отвергала,
Впадая в грех богатых дам.

Я чересчур была горда,
О чем жестоко сожалею,
Любила одного тогда
И всех других гнала в три шеи,
А он лишь становился злее,
Такую преданность кляня;
Теперь я знаю, став умнее:
Любил он деньги, не меня!

Но он держал меня в руках,
Моею красотой торгуя.
Упреки, колотушки, страх, —
Я все прощала, боль любую;
Бывало, ради поцелуя
Я забывала сто обид...
Доныне стервеца люблю я!
А что осталось? Грех и стыд.

Он умер тридцать лет назад,
И я с тоскою понимаю,
Что годы вспять не полетят
И счастья больше не узнаю.
Лохмотья ветхие снимая,
Гляжу, чем стала я сама:
Седая, дряхлая, худая...
Готова я сойти с ума!

Что стало с этим чистым лбом?
Где медь волос? Где брови-стрелы?
Где взгляд, который жег огнем,
Сражая насмерть самых смелых?
Где маленький мой носик белый,
Где нежных ушек красота
И щеки — пара яблок спелых,
И свежесть розового рта?

Где белизна точеных рук
И плеч моих изгиб лебяжий?
Где пышных бедер полукруг,
Приподнятый в любовном раже,
Упругий зад, который даже
У старцев жар будил в крови,
И скрытый между крепких ляжек
Сад наслаждений и любви?

В морщинах лоб, и взгляд погас,
Мой волос сед, бровей не стало,
Померкло пламя синих глаз,
Которым стольких завлекала,
Загнулся нос кривым кинжалом,
В ушах — седых волос кусты,
Беззубый рот глядит провалом,
И щек обвисли лоскуты...

Вот доля женской красоты!
Согнулись плечи, грудь запала,
И руки скручены в жгуты,
И зад и бедра — все пропало!
И ляжки, пышные, бывало,
Как пара сморщенных колбас...
А сад любви? Там все увяло.
Ничто не привлекает глаз.

Так сожалеем о былом,
Старухи глупые, седые,
Сидим на корточках кружком,
Дни вспоминаем золотые,—
Ведь все мы были молодые,
Но рано огонек зажгли,
Сгорели вмиг дрова сухие,
И всех нас годы подвели!»

БАЛЛАДА ПРИМЕТ

Я знаю, кто по-щегольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю — у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю — богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю — нет им дела до тебя,
Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю — проведут тебя простухи,
Я знаю — пропадешь с такой, любя,
Я знаю — пропадают с голодухи,
Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истины и слухи,
Я знаю все, но только не себя.

БАЛЛАДА ИСТИН НАИЗНАНКУ

Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,
Смеемся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Лентяй один не знает лени,
На помощь только враг придет,
И постоянство лишь в измене.
Кто крепко спит, тот стережет,
Дурак нам истину несет,
Труды для нас — одна забава,
Всего на свете горше мед,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Кто трезв, тем море по колени,
Хромой скорее всех дойдет,
Фома не ведает сомнений,
Весна за летом настает,
И руки обжигает лед.
О мудреце дурная слава,
Мы море переходим вброд,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

Вот истины наоборот:
Лишь подлый душу бережет,
Глупец один рассудит право,
Осел достойней всех поет,
И лишь влюбленный мыслит здраво.

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом.
Чужбина мне — страна моя родная.

Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз — я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение — почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр и засыпаю днем.
Я по земле с опаскою ступаю.
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
И для меня полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН, ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОВЕШЕНИЮ

Я — Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

БАЛЛАДА ПОВЕШЕННЫХ

О люди-братья, мы взываем к вам:
Простите нас и дайте нам покой!
За доброту, за жалость к мертвецам
Господь воздаст вам щедрою рукой.
Вот мы висим печальной чередой,
Над нами воронья глумится стая,
Плоть мертвую на части раздирая,
Рвут бороды, пьют гной из наших глаз...
Не смейтесь, на повешенных взирая,
А помолитесь господу за нас!

Мы — братья ваши, хоть и палачам
Достались мы, обмануты судьбой.
Но ведь никто,— известно это вам? —
Никто из нас не властен над собой!
Мы скоро станем прахом и золой,
Окончена для нас стезя земная,
Нам бог судья! И, к вам, живым, взывая,
Лишь об одном мы просим в этот час:
Не будьте строги, мертвых осуждая,
И помолитесь господу за нас!

Здесь никогда покоя нет костям:
То хлещет дождь, то сушит солнца зной,
То град сечет, то ветер по ночам
И летом, и зимою, и весной
Качает нас по прихоти шальной
Туда, сюда и стонет, завывая,
Последние клочки одежд срывая,
Скелеты выставляет напоказ...
Страшитесь, люди, это смерть худая!
И помолитесь господу за нас.

О господи, открой нам двери рая!
Мы жили на земле, в аду сгорая.
О люди, не до шуток нам сейчас,
Насмешкой мертвецов не оскорбляя,
Молитесь, братья, господу за нас!

БАЛЛАДА-ВОСХВАЛЕНИЕ ПАРИЖСКОГО СУДА, С ПРОСЬБОЙ ПРЕДОСТАВИТЬ ВИЙОНУ ТРИ ДНЯ ОТСРОЧКИ НА СБОРЫ ПЕРЕД ИЗГНАНИЕМ

Пять чувств моих проснитесь: чуткость кожи,
И уши, и глаза, и нос, и рот;
Все члены встрепенитесь в сладкой дрожи:
Высокий Суд хвалы высокой ждет!
Кричите громче, хором и вразброд:
«Хвала Суду! Нас, правда, зря терзали,
Но все-таки мы в петлю не попали!..»
Нет, мало слов! Я все обдумал здраво:
Прославлю речью бедною едва ли
Суд милостивый, и святой, и правый.

Прославь же, сердце, Суд, что мог быть строже,
Излей слезами умиленья мед!
Пусть катятся по исхудалой роже,
Смывая грязь тюремную и пот,
Следы обид, страданий и забот.
Французы, иноземцы — все дрожали,
Взирая на судебные скрижали,
Но в мире справедливей нет державы,—
Здесь многие раз навсегда познали
Суд милостивый, и святой, и правый.

А вы что, зубы? Вам молчать негоже!
Пусть челюсть лязгает и, как орга́н, поет
Хвалы Суду, и селезенка тоже,
И печень с легкими вступают в свой черед,
Пусть колоколом вторит им живот,
Все тело грешное,— его вначале
Отмыть бы надо, чтоб не принимали
Меня за кабана в трясине ржавой,—
А впрочем, пусть восхвалит без печали
Суд милостивый, и святой, и правый.

Принц, если б мне три дня отсрочки дали,
Чтоб мне свои в изгнанье подсобрали
Харчей, деньжишек для дорожной справы,
Я б вспоминал, уйдя в чужие дали,
Суд милостивый, и святой, и правый.

ПАПСТВО

Распутница, владея светом целым,
Такой себе присвоила почет
И власть такую над душой и телом,
Как бог, который в небесах живет.
И долго тешилась она. Но вот
Стрелу в нее какой-то враг направил.
А там и лекарь вдруг ее оставил,
Беспомощную и больную тяжко,
Плоха она, и кто-то уж расславил,
Что впала в слабоумие бедняжка.

РЕВНОСТЬ

Глаза и рот ваш целовать прекрасный
Готов я много, много тысяч раз,
Когда вы отбиваетесь напрасно,
А я держу в объятьях крепких вас.
Но в это время мой влюбленный глаз,
Чуть отстранясь, на прелести косится,
Которые мой поцелуй крадет.
Я так ревнив, что глаз мой не мирится
С соперником, хотя б им был мой рот.

ПОСЛАНИЕ

Бог дал мне в пастыри Христа —
К иным владыкам мне ль стремиться?
Я хлебом бытия сыта,—
На пищу смерти мне ль польститься?
Меня хранит его десница,—
Мне ль верить собственной руке?
Мое спасенье в нем таится,—
Мне ль строить веру на песке?
Лишь на Христа надеюсь я,—
Не отступлюсь ни впредь, ни ныне.
Он сила, мощь и власть моя,—
Так припаду ль к иной святыне?
Он духа моего твердыня,—
Как я могу его забыть?
Увязнуть стоит ли в пучине,
Чтоб славу ложную добыть?
Вся жизнь моя в любви к Христу,—
Прельщусь ли суетой земною?
Его завет я свято чту,—
Пойду ли я стезей иною?
Такой учитель дан судьбою,—
Кого я с ним могу равнять?
Он не гнушался править мною,—
Так отступлю ли хоть на пядь?
Бог дочерью меня зовет,—
Я ль звать отцом его не буду?
Мои слова весь мир клянет,—
Я ль слух открою злу и блуду?
Он дух мой вынул из-под спуда,—
Меня ли осыпать хвалой?
Нет, ибо бог — везде и всюду.
Ему — любовь и трепет мой.

* * *

Спаситель мой, что я могу добавить?
Перед тобою нет нужды лукавить:
Ты с тайн срываешь полог темноты.
Ты видишь, помыслы мои просты:
Тобой дышать, тебя любить и славить.

Я научилась ни во что не ставить
Земную власть. Кому же мною править,
Как не тебе, средь этой суеты,
  Спаситель мой.

Лишь ты один сумел меня избавить
И оградить от зол, на путь наставить.
Плоть, дух и мысль питаешь только ты.
Яви свою заботу с высоты
И помоги мне жизнь мою исправить,
  Спаситель мой.

* * *

Приправа смерти пряна и остра
И тело жжет до самого нутра.
Кому ее не хочется хлебнуть?
Ведь только смерть дает душе прильнуть
К сосуду очищенья и добра.

Утратив брата, вслед за ним сестра —
Ей смерть была страшна еще вчера —
Свой хлеб скорее жаждет обмакнуть
  В приправу смерти.

Она душой спокойна и бодра
И чувствует, что ей теперь пора
К Спасителю идти в последний путь,
И нетерпенье ей стесняет грудь.
Она губами тянется с одра
  К приправе смерти.

КЛЕМАН МАРО

ПОСЛАНИЕ КОРОЛЮ С ПРОСЬБОЙ ВЫЗВОЛИТЬ АВТОРА ИЗ ТЮРЬМЫ

Король французский, страждущих оплот,
Заутра день шестнадцатый пойдет
(Ошибки в счете нет — даю вам слово),
Как в монастырь Отсидия святого
Маро на кошт казенный помещен,
И хоть я этим несколько смущен,
Дерзну поведать все ж, в чем дело было.
К вам во дворец три пристава-верзилы
Внезапно ворвались, чтоб мне сказать:
«Король вас повелел под стражу взять».
И удивил меня приказ такой
Куда сильней, чем гром с небес зимой.
Предъявлен был пергамент мне потом.
Он нелюдским был писан языком:
Там говорилось лишь о пресеченье,
Поимке, задержанье, заключенье.
«Вы помните,— прохвосты изрекли,—
О том, как арестанту помогли
Из наших рук намедни ускользнуть?»
Тут я, конечно, стал твердить: «Отнюдь!»
Ведь если б я ответил: «Да» — оно
В вину мне после было б вменено.
К тому ж я в этом случае к лжецам
Открыто бы себя причислил сам:

Ну, где мне от тюрьмы спасать других,
Коль разделю я вскоре участь их!
Но понапрасну тратил я слова:
Им внять не пожелали пристава.
Меня они, скомандовав: «Ни с места!»,
Под локти подхватили, как невесту,
Но чуть грубей, и повлекли в тюрьму.
И все ж скорей прощу я и пойму
Их неучтивость, наглость, шельмовство,
Чем подлость прокурора моего —
Чтоб в ад он шел точить с чертями лясы!
Я зайца, перепелку и бекаса
Ему послал, но до сих пор сижу;
А если куш побольше предложу,
Он хапнет и его без лишних слов:
Свои силки подобный птицелов
Таким липучим клеем покрывает,
Что в них любая птичка застревает.
Но к делу! Вот о чем посланье это:
Боюсь, что будет песня моя спета
И пропоют отходную мне вскоре,
Коль на мое не при́зрите вы горе.
Одна надежда у меня осталась —
На ваше милосердие и жалость.
Да и к чему вам надо мною суд? —
Лишь пересуды лишние пойдут.
А коли впрямь понатворил я бед,
Что тоже, кстати, доказать бы след,
С меня вполне довольно порицанья.
Такое мне и дайте наказанье —
Его принять от вас я буду рад.
А если крючкотворы возопят,
Со мной — тут остановка лишь за вами —
Всегда их можно поменять местами.
Итак, пусть вашим, государь, указом
Я из тюрьмы отпущен буду разом,
А уж когда я выберусь на волю,
Меня сюда не заполучат боле.
Прощения прошу у вас смиренно
За то, что к вам решился дерзновенно
С посланьем этим глупым обратиться,
Хоть лично б должен во дворец явиться.
Но тут уж, право, нет моей вины —
Прогулки мне сейчас воспрещены.

БРАТ ЛЮБЕН

Обитель бросив на день целый —
Пускай себе брюзжит приор,—
Скакать в Париж как угорелый,—
Тут брат Любен на дело скор;
Но жить страстям наперекор
И, как Писание велело,
Не устремлять к соблазну взор,—
Тут брат Любен не скор на дело.

Содрать у человека смело,
Коль тот, бедняга, не хитер,
Последнюю рубаху с тела,—
Тут брат Любен на дело скор;
Но устыдиться клички «вор»
И в пользу жертвы оскуделой
Отдать хоть часть того, что спер,—
Тут брат Любен не скор на дело.

Искусней сводни закоснелой
Внушать, что блуд не есть позор,
Девице юной и незрелой,—
Тут брат Любен на дело скор;
Громит он пьянство с давних пор,
Но пусть, коль жажда одолела,
Пьет воду пес его Трезор,—
Тут брат Любен не скор на дело.

ПОСЫЛКА

Посеять зло, разжечь раздор —
Тут брат Любен на дело скор;
Но ближнему помочь умело —
Тут брат Любен не скор на дело.

ПРОТИВ ТОЙ, КТО БЫЛА ПОДРУГОЙ ПОЭТА

Когда я в пост, повздорив с милой,
Ревнивый бросил ей упрек,
Со зла красавица решила,
Что дать мне следует урок,

И вот она, не чуя ног,
Спешит с доносом на того,
Кто за нее костьми бы лег:
«Он сало ел. Хватай его!»

Так эта весть святош взбесила,
Что через самый краткий срок
Явились стражники-верзилы
Меня упрятать под замок,
И толстый их сержант изрек
С порога дома моего:
«Вот он, Клеман, убей нас бог!
Он сало ел. Хватай его!»

Хоть всякое со мною было,
Такого все ж я ждать не мог!
В тюрьму злодейка посадила
Меня за сущий пустячок,
Хоть не пойму, какой ей прок
Лишаться друга своего,
Властям духовным дав намек:
«Он сало ел. Хватай его!»

ПОСЫЛКА

Принц, только та, чей нрав жесток,
В чьем сердце злость и ханжество,
Шепнуть способна под шумок:
«Он сало ел. Хватай его!»

СОВЕРШЕННОЕ РОНДО ДРУЗЬЯМ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

На воле я, друзья, гуляю снова,
А все-таки томился под замком.
Ну, до чего ж судьба ко мне сурова!
Но благ господь. Сменилось зло добром.

Меня в Нуэ, узилище сыром,
Завистники сгноить давали слово,
Но не смогли поставить на своем.
На воле я, друзья, гуляю снова.

Рим на меня косился, строил ковы,
Хоть не бывал я в обществе дурном
И не содеял ничего плохого,
А все-таки томился под замком.

Как только стала та моим врагом,
Кто мне дороже бытия земного,
В тюрьму Сен-При я брошен был тайком.
Ну, до чего ж судьба ко мне сурова!

В Париже долго я влачил оковы,
А в Шартре был до этого знаком
С темницею, где света нет дневного.
Но бог велик: сменилось зло добром.

Друзья, похлопотали вы о том,
Чтоб отпустили узника больного,
И ныне извещаю вас письмом,
Что вновь гуляю, бодрый и здоровый,
        На воле я.

ЭЛЕГИЯ О ЗЛОСЧАСТНОМ БОГАЧЕ ЖАКЕ ДЕ БОНЕ, СЕНЬОРЕ САМБЛАНСЕ

Фортуна долго нянчилась со мной,
Но, подавая мне рукой одной
Имения, чины и бла́га прочьи,
До коих мы во Франции охочи,
Она петлю вила рукой другою,
И та петля была моим слугою,
Спасти хотевшим жизнь свою младую,
Надета мне на голову седую;
И я глазам своих детей, с рожденья
К высокому привыкших положенью,
Предстал, увы, и перед смертью в нем,
На виселицу вздернут палачом.
Лишился я столь дорогой мне чести,
Которая со мной погибла вместе.
Меня мое богатство не спасло,
А до постыдной казни довело.
Не многим помогли мне и друзья:

Оплакан для приличья ими я.
Так щедро взыскан я судьбою был,
Что от щедрот оскомину набил.
Меня своим отцом король наш звал,
Но даже это суд в расчет не взял.
Там все ошибки мне в вину вменили,
Заслуг же и трудов не оценили
И обрекли меня по приговору
Удавке, разоренью и позору,
И мне одно осталось — к месту казни
Проследовать, не выказав боязни
И ни на миг не побледнев с лица,
Чем так привлек к себе я все сердца,
Что вынудил, идя в последний путь,
Завистников своих и тех всплакнуть.
Не стану спорить, жил я столь богато,
Что зависть в людях пробуждал когда-то,
Но пусть она теперь уснет спокойно:
Болтаюсь я, считавший, что пристойно
Меня по смерти предадут земле,
На Монфоконе в мерзостной петле,
И сильный ветер труп мой охладелый
Качает в вышине остервенело,
А слабый — в волосах моих седых
Играет, как в листве дерев густых.
Мои глаза, что молнией блистали,
Добычею ворон голодных стали,
А шею, коей я вовек не гнул,
Ошейник смертный мне, как псу, стянул.
Носил я встарь изысканный наряд,
А ныне бьет меня нещадно град,
И дождь сечет, и солнце сушит там,
Где место лишь убийцам да ворам.
Заканчивая жалобу свою,
Богач злосчастный, я совет даю
И королю, и смертному простому
За славою не гнаться по-пустому.
Я в жизненной игре брал верх не раз,
Но и меня — не первого из нас! —
Фортуна, уготовив мне веревку,
В последний час переиграла ловко:
Я слыл за ловкача из ловкачей,
Она же оказалась половчей.
Итак, прошу я люд честной молиться,

Да и с душой моей не сотворится
Того, что плоти довелось узнать;
А также заклинаю всех понять,
Что золото хоть и сулит услады,
Да за него платиться горем надо.

«ДА» И «НЕТ»

Хочу, чтоб вы, когда я вас целую,
Твердили «нет» с улыбкою, но строго:
Ведь слыша «да», вас упрекнуть могу я,
Что вы наговорили слишком много.
Не полагайте только, ради бога,
Что цвет любви ненужен стал мне вдруг,
И все ж, отнюдь не корча недотрогу,
Шепчите: «Нет, он не про вас, мой друг!»

К АННЕ

Как солнце разгоняет сумрак синий
Сияньем несказанно золотым,
Так разгоняешь и мое унынье
Ты, Анна, появлением своим.
Тебя не видя, я тоской томим,
Тебя увидев, оживаю вновь я,
И это объясняется одним —
Тем, что к тебе пылаю я любовью.

ПРО АННУ

Увидев ту брюнетку, что поспорит
С Венерою сложеньем и красой;
Услышав голосок, чьим звукам вторит
Спинет, звенящий под ее рукой,
Я радости исполнен неземной,
Как праведники перед ликом бога,
И становлюсь в блаженстве им ровнёй,
Чуть вспомню, что и я ей мил немного.

МАРГАРИТЕ НАВАРРСКОЙ

Как раб, я предан госпоже, чья плоть
Стыдлива, непорочна и прекрасна,
В чьем сердце постоянство побороть
Ни радости, ни горести не властны;
С чьим разуменьем ангельским напрасно
Соперничать бы тщился ум людей.
На свете нет чудовища странней —
Такому слову не дивитесь вчуже,
Затем что тело женщины у ней,
Но разум ангела и сердце мужа.

О СОЧИНЕНИЯХ МАРГАРИТЫ НАВАРРСКОЙ

Настолько дивный дар стихосложенья
Дан грациями госпоже моей,
Что я сержусь, дивясь ему при чтенье,
На то, что не дивлюсь еще сильней.
Когда же я, ведя беседу с ней,
Вновь на ее творенья брошу взгляд,
Дивлюсь я неразумью тех людей,
Кого плоды пера ее дивят.

ПЕСНЯ

Пленен я самою прекрасной
Из женщин, живших в мире сём,
За что хвалу своим стихом
Пою Венере громогласно.

Когда б Амур себе напрасно
Глаз не завязывал платком,
Он в девушку с таким лицом
И сам бы мог влюбиться страстно.

Она ко мне небезучастна,
А я готов поклясться в том,
Что счастлив, став ее рабом,
Служить ей всюду и всечасно.

СУДЬЯ И САМБЛАНСЕ

Когда на монфоконский эшафот
Вел Самблансе Майар, служитель ада,
Кто выглядел бодрей — судья иль тот,
Кого судье повесить было надо?
Бросал вокруг Майар так робко взгляды,
Был Самблансе так тверд, хоть он и стар,
Что мнилось: на расправу без пощады
Ведом своею жертвой сам Майар.

АББАТ И ЕГО СЛУГА

С хозяином слуга аббата схож
Так, что порою различить их трудно;
Бесчинство этот любит, тот — дебош;
Тот шутит непристойно, этот — блудно;
Тот пьет мертвецки, этот беспробудно.
Лишь вечером идет у них война:
Аббат боится, что во время сна
Умрет, коль ночью глотку не промочит,
Слуга ж, пока хоть капля есть вина,
Упорно отойти ко сну не хочет.

О САМОМ СЕБЕ

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.

Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!

БОНАВАНТЮР ДЕПЕРЬЕ

ЛЮБОВЬ

Вышел на праздник
Юный проказник,
Без упоенья и слез,
В день изобилья
Новые крылья
Сплел он из лилий и роз.

Сладости любит,
Но лишь пригубит —
Вмиг улетает, пострел,
В этой снующей
Праздничной гуще
Мечет он молнии стрел.

Скольких ни встретит,
В каждого метит,
В сердце стремится попасть.
Лучник умелый
Шлет свои стрелы,
Яд их погибельный — страсть.

Смех твой — награда
Тем, кто от яда
Гибнет, печаль затая.
Мальчик жестокий!
Наши упреки
Мать услыхала твоя.

Взор ее строгий
В смутной тревоге
Ищет тебя на лугу,
В дикорастущих
Чащах и пущах,
В праздничном шумном кругу.

МОРИС СЭВ

К ДЕЛИИ

Не пламенная Анадиомена,
Не ветреный и любящий Эрот,
А память, не желающая тлена,
В моем творенье пред тобой встает.
Ты в нем найдешь, я знаю наперед,
Ошибку в слове, слабость в эпиграмме.
Но вот Любовь мои стихи берет
И, пощадив, проносит через пламя.

страдать — не страдать

* * *

Над самой прекрасной из Океанид,
Над Клитией гордой, оставившей Море,
Адонис свой лик несравненный склонит,
И прелесть его омрачится от горя.
Поникнув к земле и со смертью не споря,
Засохший цветок хранит аромат,—
Урок для тех, что бессмертья хотят,
Надеются выжить и смерти боятся.
Твои добродетели, вечный клад,
От Мавра до Индии сохранятся.

* * *

Два раза мне являлся лунный серп,
Два раза полная луна всходила,
И снова месяц плелся на ущерб,
Два раза полуденное светило
Напоминало, что в терпенье сила,
Что время разлучило нас давно,
Что с жизнью мне ужиться не дано.
Ведь умереть — но жить в тебе, о Дама,—
Погибнуть от разлуки — все равно
Что в ожиданье мучиться упрямо.

* * *

Любил я так, что только ею жил.
Так ею жил, что и люблю доныне.
Меня слепил души и чувства пыл,
Запутывая сердце в паутине.
Но вот и подошла любовь к вершине.
Неужто верность оскудеть могла?
Взаимной искра страсти в нас была,
И твой огонь во мне рождает пламя.
Так пусть же два костра сгорят дотла,
Одновременно сгинув, вместе с нами.

* * *

Еще целуй меня, целуй и не жалей,
Прошу тебя, целуй и страстно и влюбленно.
Прошу тебя, целуй еще сильней, до стона,
В ответ целую я нежней и горячей.

А, ты устал? В моих объятиях сумей
Вновь целоваться так, как я — воспламененно.
Целуясь без конца, без отдыха, бессонно,
Мы наслаждаемся, не замечая дней.

Две жизни прежние объединив в одну,
Мы сохраним навек надежду и весну.
Жить без страстей, Амур, без муки не могу я.

Когда спокойна жизнь, моя душа больна.
Но стынет кровь, когда я ласки лишена,
И без безумств любви засохну я, тоскуя.

* * *

Согласно всем законам бытия
Душа уходит, покидая тело.
И я мертва, и я зову несмело:
Где ты, душа любимая моя?

Когда б ты знала, как страдаю я
И как от горьких слез окаменела,
Душа моя, ты, верно б, не посмела
Жестокой пытке подвергать меня.

Охвачена любовною мечтою,
Страшусь, мой друг, свидания с тобою.
Молю тебя: не хмурь тогда бровей,

Не мучь меня гордыней непреклонной
И красотою одари своей,
Жестокой прежде, ныне благосклонной.

* * *

Лишь только мной овладевает сон
И жажду я вкусить покой желанный,
Мучительные оживают раны:
К тебе мой дух печальный устремлен.

Огнем любовным дух мой опален,
Я вся во власти сладкого дурмана...
Меня рыданья душат непрестанно,
И в сердце тяжкий подавляю стон.

О день, молю тебя, не приходи!
Пусть этот сон всю жизнь мне будет сниться,
Его вторженьем грубым не тревожь.

И если нет надежды впереди
И вдаль умчалась счастья колесница,
Пошли мне, ночь, свою святую ложь.

* * *

Что нас пленяет: ласковые руки?
Надменная осанка, цвет волос?
Иль бледность, нежность взгляда, скупость слез?
И кто виновник нестерпимой муки?

Кто выразит в стихах всю боль разлуки?
Чье пение с тоской переплелось?
В чьем сердце больше теплоты нашлось?
Чья лютня чище извлекает звуки?

Я не могу сказать наверняка,
Пока Амура властная рука
Меня ведет, но вижу тем яснее,

Что все, чем наш подлунный мир богат,
И все, о чем искусства говорят,
Не сделает мою любовь сильнее.

* * *

Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне?
Когда конец войне на стонущей планете?
Когда настанет мир на этом грешном свете,
Чтобы вздохнул народ в измученной стране?

Я вижу вновь убийц пешком и на коне,
Опять войска, войска, и гул, и крики эти,
И нас, как прежде, смерть заманивает в сети,
И только стоны, кровь и города в огне.

Так ставят короли на карту наши жизни.
Когда же мы падем, их жертвуя отчизне,
Какой король вернет нам жизнь и солнца свет?

Несчастен, кто рожден в кровавые минуты,
Кто путь земной прошел во дни народных бед!
Нам чашу поднесли, но полную цикуты...

* * *

Не следует пахать и сеять каждый год:
Пусть отдохнет земля, под паром набухая.
Тогда мы вправе ждать двойного урожая,
И поле нам его в урочный срок дает.

Следите, чтобы мог вздохнуть и ваш народ,
Чтоб воздуху набрал он, плечи расправляя.
И, тяготы свои на время забывая,
В другой раз легче он их бремя пронесет.

Что кесарево, сир, да служит вашей славе,
Но больше требовать, поверьте, вы не вправе.
Умерьте сборщиков бессовестную рать,

Чтобы не смели те, кто алчны и жестоки,
Три шкуры драть с людей, высасывать их соки.
Стригите подданных,— зачем их обдирать?

ПЕСНЯ К МОЕЙ ЛЮТНЕ

Пой, лютня, не о жалобе напрасной,
Которою душа моя полна,—
Пой о моей владычице прекрасной.

Она не внемлет — но звучи, струна,
Как будто Сен-Желе тебя тревожит,
Как будто ты Альберу отдана.

Забудь про боль, что неустанно гложет
Меня, и пусть прекрасный голос твой
С моею нежной песнью звуки сложит.

Ее златые волосы воспой —
Признайся, эти волосы намного
Прекрасней диадемы золотой.

Воспой чело, откуда смотрит строго
С укором Добродетель в душу мне,
А там, в душе,— любовная тревога.

Пой мне об этой нежной белизне,
Подобной цвету розы, что раскрылась
В прекрасный день, в прекраснейшей стране.

Пой о бровях, где счастье преломилось,
Где чередуются добро и зло,
Мне принося немилость или милость.

Воспой ее прекрасных глаз тепло:
От этого божественного взора
На небе солнце пламень свой зажгло.

Воспой улыбку, полную задора,
И щеки цвета ярко-алых роз,
Которым позавидует Аврора.

Еще воспой ее точеный нос,
И губы, меж которых ряд жемчужин,
Каких никто с Востока не привез.

И слух, который песнью не разбужен
Моей — для грешных звуков он закрыт,
С ним серафимов хор небесный дружен.

Сто милостей, которые хранит
Она в себе, воспой: я пламенею,
Сто факелов любви во мне горит.

Воспой и эту мраморную шею:
От этого кумира не спасти
Меня, склоняющегося пред нею.

Пой о красотах Млечного Пути,
О полюсах — о правом и о левом,—
Способных мне блаженство принести.

И пой мне о руках, что королевам
Под стать, когда их легкие персты
Тебя встревожат сладостным напевом.

Но о сокрытой доле красоты
Не пой мне, лютня, я прошу, не надо;
Не пой о том, к чему летят мечты.

Но пой мне, как бессмертная отрада
Стремится ввысь, раскрыв свои крыла,—
И не страшна ей ни одна преграда;

Как сердце у меня она взяла,
И как порой она меня терзала —
Лицом грустна, душою весела.

Но если песнь такую, как пристало,
Не сможешь ты найти в своей струне,
Тебя жалеть я буду столь же мало,

Сколь мало у нее любви ко мне.

СТАНСЫ

Если мы во храм пойдем,
Преклонясь пред алтарем,
Мы свершим обряд смиренный,
Ибо так велел закон
Пилигримам всех времен
Восхвалять творца вселенной.

Если мы в постель пойдем,
Ночь мы в играх проведем,
В ласках неги сокровенной,
Ибо так велит закон
Всем, кто молод и влюблен,
Проводить досуг блаженный.

Но как только захочу
К твоему припасть плечу,
Иль с груди совлечь покровы,
Иль прильнуть к твоим губам,—
Как монашка, всем мольбам
Ты даешь отпор суровый.

Для чего ж ты сберегла
Нежность юного чела,
Жар нетронутого тела,—
Чтоб женой Плутона стать,
Чтоб Харону их отдать
У стигийского предела?

Час пробьет, спасенья нет,
Губ твоих поблекнет цвет,
Ляжешь в землю ты сырую,
И тогда я, мертвый сам,
Не признаюсь мертвецам,
Что любил тебя живую.

Все, чем ныне ты горда,
Все истлеет без следа —
Щеки, лоб, глаза и губы.
Только желтый череп твой
Глянет страшной наготой
И в гробу оскалит зубы.

Так живи, пока жива,
Дай любви ее права,—
Но глаза твои так строги!
Ты с досады б умерла,
Если б только поняла,
Что теряют недотроги.

О, постой, о, подожди!
Я умру, не уходи!
Ты, как лань, бежишь тревожно!..
О, позволь руке скользнуть
На твою нагую грудь
Иль пониже, если можно!

* * *

Ко мне, друзья мои, сегодня я пирую!
Налей нам, Коридон, кипящую струю.
Я буду чествовать красавицу мою,
Кассандру иль Мари,— не все ль равно, какую?

Но девять раз, друзья, поднимем круговую,—
По буквам имени я девять кубков пью.
А ты, Белло, прославь причудницу твою,
За юную Мадлен прольем струю живую.

Неси на стол цветы, что ты нарвал в саду,
Фиалки, лилии, пионы, резеду,—
Пусть каждый для себя венок душистый свяжет.

Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь!
Быть может, завтра нам уж не собраться вновь.
Сегодня мы живем, а завтра — кто предскажет?

* * *

Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет!
Он хочет сотый раз увидеть без рубашки
Мою любимую, пощупать все: и ляжки,
И ту, и эту грудь, и спину, и живот.

Так лечит он ее? Совсем наоборот:
Он плут, он голову морочит ей, бедняжке,
У всей их братии такие же замашки.
Влюбился, может быть, так лучше пусть не врет.

Ее родители, прошу вас, дорогие,—
Совсем расстроил вас недуг моей Марии! —
Гоните медика, влюбленную свинью.

Неужто не ясна вам вся его затея?
Да ниспошлет господь, чтоб наказать злодея,
Ей исцеление, ему — болезнь мою.

ВЕРЕТЕНО

Паллады верный друг, наперсник бессловесный,
Ступай, веретено, спеши к моей прелестной!
Когда соскучится, разлучена со мной,
Пусть сядет с прялкою на лесенке входной,
Запустит колесо, затянет песнь, другую,
Прядет — и гонит грусть, готовя нить тугую.
Прошу, веретено, ей другом верным будь,
Я не беру Мари с собою в дальний путь.
Ты в руки попадешь не девственнице праздной,
Что предана одной заботе неотвязной:
Пред зеркалом менять прическу без конца,
Румянясь и белясь для первого глупца,—

Нет, скромной девушке, что лишнего не скажет,
Весь день прядет иль шьет, клубок мотает, вяжет
С двумя сестренками, вставая на заре,
Зимой у очага, а летом во дворе.

Мое веретено, ты родом из Вандома,
Там люди хвастают, что лень им незнакома,
Но верь, тебя в Анжу полюбят, как нигде.
Не будешь тосковать, качаясь на гвозде.
Нет, алое сукно из этой шерсти нежной
Она в недолгий срок соткет рукой прилежной;
Так мягко, так легко расстелется оно,
Что в праздник сам король наденет то сукно.
Идем же, встречено ты будешь, как родное,
Веретено, с концов тщедушное, худое,
Но станом круглое, с приятной полнотой,
Кругом обвитое тесемкой золотой.
Друг шерсти, ткани друг, отрада в час разлуки,
Певун и домосед, гонитель зимней скуки,
Спешим! В Бургейле ждут с зари и до зари.
О, как зардеется от радости Мари!
Ведь даже малый дар, залог любви нетленной,
Ценней, чем все венцы и скипетры вселенной.

* * *

Едва Камена мне источник свой открыла
И рвеньем сладостным на подвиг окрылила,
Веселье гордое мою согрело кровь
И благородную зажгло во мне любовь.
Плененный в двадцать лет красавицей беспечной,
Задумал я в стихах излить свой жар сердечный,
Но, с чувствами язык французский согласив,
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.
Тогда для Франции, для языка родного,
Трудиться начал я отважно и сурово.
Я множил, воскрешал, изобретал слова —
И сотворенное прославила молва.
Я, древних изучив, открыл свою дорогу,
Порядок фразам дал, разнообразье — слогу,
Я строй поэзии нашел — и, волей муз,
Как Римлянин и Грек, великим стал Француз.

* * *

Природа каждому оружие дала:
Орлу — горбатый клюв и мощные крыла,
Быку — его рога, коню — его копыта,
У зайца — быстрый бег, гадюка ядовита,
Отравлен зуб ее. У рыбы — плавники,
И, наконец, у льва есть когти и клыки.
В мужчину мудрый ум она вселить умела,
Для женщин мудрости Природа не имела
И, исчерпав на нас могущество свое,
Дала им красоту — не меч и не копье.
Пред женской красотой мы все бессильны стали,
Она сильней богов, людей, огня и стали.

РУЧЬЮ БЕЛЬРИ

Полдневным зноем утомленный,
Как я люблю, о мой ручей,
Припасть к твоей волне студеной,
Дышать прохладою твоей,

Покуда Август бережливый
Спешит собрать дары земли,
И под серпами стонут нивы,
И чья-то песнь плывет вдали.

Неистощимо свеж и молод,
Ты будешь божеством всегда
Тому, кто пьет твой бодрый холод,
Кто близ тебя пасет стада.

И в полночь на твои поляны,
Смутив весельем их покой,
Все так же нимфы и сильваны
Сбегутся резвою толпой.

Но пусть, ручей, и в дреме краткой
Твою не вспомню я струю,
Когда, измучен лихорадкой,
Дыханье смерти узнаю.

* * *

Когда от шума бытия
В Вандомуа скрываюсь я,—
Бродя в смятении жестоком,
Тоской, раскаяньем томим,
Утесам жалуюсь глухим,
Лесам, пещерам и потокам.

Утес, ты в вечности возник,
Но твой недвижный, мертвый лик
Щадит тысячелетий ярость.
А молодость моя не ждет,
И каждый день и каждый год
Меня преображает старость.

О лес, ты с каждою зимой
Теряешь волос пышный свой,
Но год пройдет, весна вернется,
Вернется блеск твоей листвы.
А на моем челе, увы!
Задорный локон не завьется.

Пещеры, я любил ваш кров,
Тогда я духом был здоров,
Кипела бодрость в юном теле.
Теперь, окостенев, я стал
Недвижней камня ваших скал,
И силы в мышцах оскудели.

Поток, бежишь вперед, вперед,
Волна придет, волна уйдет,
Спешит без отдыха куда-то.
И я без отдыха весь век
И день и ночь стремлю свой бег
В страну, откуда нет возврата.

Судьбой мне краткий дан предел,
Но я б ни лесом не хотел,
Ни камнем вечным стать в пустыне:
Остановив крылатый час,
Я б не любил, не помнил вас,
Из-за кого я старюсь ныне.

* * *

Прекрасной Флоре в дар — цветы,
Помоне — сладкие плоды,
Леса — дриадам и сатирам,
Цибеле — стройная сосна,
Наядам — зыбкая волна,
И шорох трепетный — Зефирам,
Церере — тучный колос нив,
Минерве — легкий лист олив,
Трава в апреле — юной Хлоре,
Лавр благородный — Фебу в дар,
Лишь Цитерее — томный жар
И сердца сладостное горе.

* * *

Мой боярышник лесной,
Ты весной
У реки расцвел студеной,
Будто сотней цепких рук
Весь вокруг
Виноградом оплетенный.

Корни полюбив твои,
Муравьи
Здесь живут гнездом веселым,
Твой обглодан ствол, но все ж
Ты даешь
В нем приют шумливым пчелам.

И в тени твоих ветвей
Соловей,
Чуть пригреет солнце мая,
Вместе с милой каждый год
Домик вьет,
Громко песни распевая.

Устлан мягко шерстью, мхом
Теплый дом,
Свитый парою прилежной.
Новый в нем растет певец,

Их птенец,
Рук моих питомец нежный.

Так живи, не увядай,
Расцветай,—
Да вовек ни гром небесный,
Ни гроза, ни дождь, ни град
Не сразят
Мой боярышник прелестный.

* * *

В дни, пока златой наш век
Царь бессмертных не пресек,
Под надежным Зодиаком
Люди верили собакам.
Псу достойному герой
Жизнь и ту вверял порой.
Ну, а ты, дворняга злая,
Ты, скребясь о дверь и лая,
Что наделал мне и ей,
Нежной пленнице моей,
В час, когда мы, бедра в бедра,
Грудь на грудь, возились бодро
Меж простынь устроив рай,—
Ну зачем ты поднял лай?
Отвечай, по крайней мере,
Что ты делал возле двери,
Что за черт тебя принес,
Распроклятый, подлый пес?
Прибежали все на свете:
Братья, сестры, тети, дети,—
Кто сказал им, как не ты,
Чем мы были заняты,
Что творили на кушетке!
Раскудахтались соседки.
А ведь есть у милой мать,
Стала милую хлестать,—
Мол, таких вещей не делай!
Я видал бедняжку белой,
Но от розги вся красна
Стала белая спина.

Кто, скажи, наделал это?
Недостоин ты сонета!
Я уж думал: воспою
Шерстку пышную твою.
Я хвалился: что за песик!
Эти лапки, этот носик,
Эти ушки, этот хвост!
Я б вознес тебя до звезд,
Чтоб сиял ты с небосклона
Псом, достойным Ориона.
Но теперь скажу я так:
Ты не друг, ты просто враг.
Ты паршивый пес фальшивый,
Гадкий, грязный и плешивый.
Учинить такой подвох!
Ты плодильня вшей и блох.
От тебя одна морока,
Ты блудилище порока,
Заскорузлой шерсти клок.
Пусть тебя свирепый дог
Съест на той навозной куче.
Ты не стоишь места лучше,
Если ты, презренный пес,
На хозяина донес.

* * *

Когда хочу хоть раз любовь изведать снова,
Красотка мне кричит: «Да ведь тебе сто лет!
Опомнись, друг, ты стал уродлив, слаб и сед,
А корчишь из себя красавца молодого.
Ты можешь только ржать, на что тебе любовь?
Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен.
Хоть прелести мои тебе волнуют кровь,
Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин.
Взглянул бы в зеркало: ну, право, что за вид!
К чему скрывать года, тебя твой возраст выдал:
Зубов и следу нет, а глаз полузакрыт,
И черен ты лицом, как закопченный идол».
Я отвечаю так: не все ли мне равно,
Слезится ли мой глаз, гожусь ли я на племя,
И черен волос мой иль поседел давно,—
А в зеркало глядеть мне вовсе уж не время.

Но так как скоро мне в земле придется гнить
И в Тартар горестный отправиться, пожалуй,
Пока я жить хочу, а значит — и любить,
Тем более что срок остался очень малый.

* * *

Оставь страну рабов, державу фараонов,
Приди на Иордан, на берег чистых вод,
Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод,
На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов.

Собою правь сама, не знай чужих законов,
Мгновеньем насладись — ведь молодость не ждет!
За днем веселия печали день придет —
И заблестит зима, твой лоб снегами тронув.

Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор?
Он золотом одел Донос и Наговор,
Унизил Правду он и сделал Ложь великой.

На что нам лесть вельмож и милость короля?
В страну богов и нимф — беги в леса, в поля,
Орфеем буду я, ты будешь Евридикой.

* * *

А что такое смерть? Такое ль это зло,
Как всем нам кажется? Быть может, умирая,
В последний, горький час, дошедшему до края,
Как в первый час пути,— совсем не тяжело?

Но ты пойми — не быть! Утратить свет, тепло,
Когда порвется нить и бледность гробовая
По членам побежит, все чувства обрывая,—
Когда желания уйдут, как все ушло.

И ни питий, ни яств! Ну да, и что ж такого?
Лишь тело просит есть, еда — его основа,
Она ему нужна для поддержанья сил,

А дух не ест, не пьет. Но смех, любовь и ласки?
Венеры сладкий зов? Не трать слова и краски,—
На что любовь тому, кто умер и остыл?

* * *

Я к старости клонюсь, вы постарели тоже.
А если бы нам слить две старости в одну
И зиму превратить — как сможем — в ту весну,
Которая спасет от холода и дрожи?

Ведь старый человек на много лет моложе,
Когда не хочет быть у старости в плену.
Он этим придает всем чувствам новизну,
Он бодр, он как змея в блестящей новой коже.

К чему вам этот грим — вас только портит он.
Вы не обманете бегущих дней закон.
Уже не округлить вам ног сухих, как палки,

Не сделать крепкой грудь и сладостной, как плод.
Но время — дайте срок! — личину с вас сорвет,
И лебедь белая взлетит из черной галки.

* * *

Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада
Я приближаюсь, глух, изглодан, черен, слаб,
И смерть уже меня не выпустит из лап.
Я страшен сам себе, как выходец из ада.

Поэзия лгала! Душа бы верить рада,
Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап.
Прощай, светило дня! Болящей плоти раб,
Иду в ужасный мир всеобщего распада.

Когда заходит друг, сквозь слезы смотрит он,
Как уничтожен я, во что я превращен.
Он что-то шепчет мне, лицо мое целуя,

Стараясь тихо снять слезу с моей щеки.
Друзья, любимые, прощайте, старики!
Я буду первый там, и место вам займу я.

* * *

Не стану воспевать, шлифуя стих скрипучий,
Архитектонику неведомых миров,
С великих тайн срывать их вековой покров,
Спускаться в пропасти и восходить на кручи.

Не живописи блеск, не красоту созвучий,
Не выспренний предмет ищу для мерных строф.
Лишь повседневное всегда воспеть готов,
Я — худо ль, хорошо ль — пишу стихи на случай.

Когда мне весело, мой смех звучит и в них,
Когда мне тягостно, печалится мой стих,—
Так все делю я с ним, свободным и беспечным.

И, непричесанный, без фижм и парика,
Не знатный именем, пусть он войдет в века
Наперсником души и дневником сердечным.

* * *

Невежде проку нет в искусствах Аполлона,
Таким сокровищем скупец не дорожит,
Проныра от него подалее бежит,
Им Честолюбие украситься не склонно;

Над ним смеется тот, кто вьется возле трона,
Солдат из рифм и строф щита не смастерит,
И знает Дю Белле: не будешь ими сыт,
Поэты не в цене у власти и закона.

Вельможа от стихов не видит барыша,
За лучшие стихи не купишь ни шиша,—
Поэт обычно нищ и в собственной отчизне.

Но я не откажусь от песенной строки,
Одна Поэзия спасает от тоски,
И ей обязан я шестью годами жизни.

* * *

Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живет?
Проснувшись, облачась по всем законам моды,
Час размышляет он, как сократить расходы
И как долги отдать, а плату взять вперед.

Потом он мечется, он ищет, ловит, ждет,
Хранит любезный вид, хоть вспыльчив от природы.
Сто раз переберет все выходы и входы.
Замыслив двадцать дел, и двух не проведет.

То к папе на поклон, то письма, то доклады,
То знатный гость пришел и — рады вы, не рады —
Наврет с три короба он всякой чепухи.

Те просят, те кричат, те требуют совета,
И это каждый день, и, веришь, нет просвета...
Так объясни, Панжас, как я пишу стихи.

* * *

Пока мы тратим жизнь, и длится лживый сон,
Которым на крючок надежда нас поймала,
Пока при дяде я, Панжас — у кардинала,
Маньи — там, где велит всесильный Авансон,—

Ты служишь королям, ты счастьем вознесен,
И славу Генриха умножил ты немало
Той славою, Ронсар, что гений твой венчала
За то, что Францию в веках прославил он.

Ты счастлив, друг! А мы среди чужой природы,
На чуждом берегу бесплодно тратим годы,
Вверяя лишь стихам все, что терзает нас.

Так на чужом пруду, пугая всю округу,
Прижавшись крыльями в отчаянье друг к другу,
Три лебедя кричат, что бьет их смертный час.

* * *

Ты помнишь, мой Лагэ, я собирался в Рим,
И ты мне говорил (мы у тебя сидели):
«Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе,
Каким уходишь ты, и воротись таким».

И вот вернулся я — таким же, не другим,
Лишь то, что волосы немного поседели,
Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели,
И только мучаюсь, все мучаюсь одним.

Одно грызет меня и гложет сожаленье.
Не думай, я не вор, не грешен в преступленье,
Но сам обрек себя на трехгодичный плен,

Сам обманул себя надеждою напрасной
И растерял себя из жажды перемен,
Когда уехал в Рим из Франции прекрасной.

* * *

Блажен, кто странствовал, подобно Одиссею,
В Колхиду парус вел за золотым руном
И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом
Остаток дней земных прожить с родней своею;

Когда же те места я посетить сумею,
Где каждый камешек мне с детских лет знаком,
Увидеть комнату с уютным камельком,
Где целым княжеством, где царством я владею!

За это скромное наследие отцов
Я отдал бы весь блеск прославленных дворцов
И все их мраморы — за шифер кровли старой,

И весь латинский Тибр, и гордый Палатин
За галльский ручеек, за мой Лире один,
И весь их шумный Рим — за домик над Луарой.

* * *

Я не люблю Двора, но в Риме я придворный,
Свободу я люблю, но должен быть рабом.
Люблю я прямоту — льстецам открыл свой дом,
Стяжанья враг — служу корыстности позорной;

Не лицемер — учу язык похвал притворный,
Чту веру праотцев, но стал ее врагом.
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом,
Друг добродетели — терплю порок тлетворный;

Покоя жажду я — томлюсь в плену забот,
Ищу молчания — меня беседа ждет,
К веселью тороплюсь — мне скука ставит сети,—

Я болен, но всегда в карете иль верхом.
В мечтах — я музы жрец, на деле — эконом.
Ну можно ли, Морель, несчастней быть на свете!

* * *

Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду
Высокой истине не шел наперекор,
Не принуждал перо кропать постыдный вздор,
Прислуживаясь к тем, кто делает погоду.

А я таю свой гнев, насилую природу,
Чтоб нестерпимых уз не отягчить позор,
Не смею вырваться душою на простор
И обрести покой иль чувству дать свободу.

Мой каждый шаг стеснен — безропотно молчу.
Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу.
О, мука все терпеть, лишь кулаки сжимая!

Нет боли тягостней, чем скрытая в кости!
Нет мысли пламенней, чем та, что взаперти!
И нет страдания сильней, чем скорбь немая!

* * *

Когда б я ни пришел, ты, Пьер, твердишь одно:
Что, видно, я влюблен, что сохну от ученья,
Что книги да любовь — нет худшего мученья,
От них круги в глазах и в голове темно.

Но верь, не в книгах суть, и уж совсем смешно,
Что ты любовные припутал огорченья,—
От службы вся беда, от ней все злоключенья —
Мне над конторкою зачахнуть суждено.

С тобой люблю я, Пьер, беседовать, но если
Ты хочешь, чтобы я не ерзал, сидя в кресле,
Не раздражай меня невежеством своим!

Побрей меня, дружок, завей, а ради скуки
Ты б лучше сплетничал, не трогая науки,
Про папу и про все, о чем толкует Рим.

* * *

Ты Дю Белле чернишь: мол, важничает он.
Не ставит ни во что друзей. Опомнись, милый,
Ведь я не князь, не граф, не герцог (бог помилуй!),
Не титулован я и в сан не возведен.

И честолюбью чужд, и тем не уязвлен,
Что не отличен был ни знатностью, ни силой,
Зато мой ранг — он мой, и лишь недуг постылый,
Лишь естество мое диктует мне закон.

Чтоб сильным угодить, не стану лезть из кожи,
Низкопоклонствовать, как требуют вельможи,
Как жизнь теперь велит,— забота не моя.

Я уважаю всех, мне интересен каждый.
Кто поклонился мне, тому отвечу дважды,
Но мне не нужен тот, кому не нужен я.

* * *

Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок,
Банкира улещать, хоть толку никакого,
Час целый взвешивать пред тем, как молвить слово,
Замкнув парижскую свободу на замок;

Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок,
Придерживать язык в присутствии чужого,
Пред иностранцами разыгрывать немого,
Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог;

Со всеми жить в ладу, насилуя природу;
Чем безграничнее тебе дают свободу,
Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму,

Хранить любезный тон с мерзавцами любыми —
Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме
Сполна усвоил я, к позору своему!

* * *

Ты хочешь, мой Дилье, войти в придворный круг?
Умей понравиться любимцам именитым.
Средь низших сам держись вельможей, сибаритом,
К монарху приспособь досуг и недосуг.

В беседе дружеской не раскрывайся вдруг
И помни главное: поближе к фаворитам!
Рукою руку мой — и будешь сильным, сытым,
Не брезгай быть слугой у королевских слуг!

Не стой за ближнего, иль прослывешь настырным,
Не вылезай вперед, кажись, где надо, смирным,
Оглохни, онемей, будь слеп к чужой игре,

Не порицай разврат, не будь ему свидетель,
Являй угодливость и плюй на добродетель,—
Таков, Дилье, залог успеха при дворе.

* * *

Ученым степени дает ученый свет,
Придворным землями отмеривают плату,
Дают внушительную должность адвокату,
И командирам цепь дают за блеск побед.

Чиновникам чины дают с теченьем лет,
Пеньковый шарф дают за все дела пирату,
Добычу отдают отважному солдату,
И лаврами не раз увенчан был поэт.

Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем,
Что мы обижены, что ничего не значим?
Тогда ступай себе другой дорогой, брат!

Лишь бескорыстному служенью Муза рада,
И стыдно требовать Поэзии наград,
Когда Поэзия сама себе награда.

* * *

Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи,
Идет гора воды и брызжет, и ревет,
И сотни черных волн швыряет в небосвод,
И разбивается о твердь скалы могучей;

Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче,
И воет, и свистит, и роет бездну вод,
Размахом темных крыл полмира обоймет,
И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей;

Как пламень, вспыхнувший десятком языков,
Гудя, взметается превыше облаков
И гаснет, истощась,— так, буйствуя жестоко,

Шел деспотизм — как вихрь, как пламень, как вода,
И, подавив ярмом весь мир, по воле рока
Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда.

* * *

Чтоб Миру петь хвалу, по моему сужденью,
Хор наших голосов чрезмерно слаб и тих.
Тут ангелы нужны, и громкий голос их,
Воспевший некогда Спасителя рожденье.

Творца, создавшего в шесть дней свои владенья —
И твердь и небеса,— да восхвалит мой стих!
Но если гром бомбард доныне не утих —
Как богу посвятить благие побужденья?

Отныне только Мир хочу я воспевать,
Те черствые сердца решил завоевать,
Что Миру предпочли военную дорогу.

Мир — благо высшее; мы все его хотим.
Подобно ангелам, мы хором возгласим:
«Мир людям на земле, и слава в вышних богу!»

* * *

Когда в давно минувшие века
Сплошным клубком лежало мирозданье,
Любовь, не ты ли первой, по преданью,
Взлетела и отторглась от клубка?

Ты принялась, искусна и ловка,
За труд размеренного созиданья,
И всем предметам ясность очертанья
Дала твоя спокойная рука.

Но если правда, что одна лишь ты
Сумела размотать клубок вражды
И если дружбу ты изобрела,

То где же доброта твоя была,
Когда в моей душе плелся клубок
Друг друга раздирающих тревог?

* * *

О, сладкая, манящая картина!
На поле боя сладостных ночей
Моя душа сливается с твоей,
И тело с телом слиты воедино.

Как жизнь сладка и как сладка кончина!
Моей душе неймется поскорей
В тебя вселиться разом, без затей —
То вверх, то вниз несет меня пучина.

О, сила в нас обоих не ослабла!
Я весь в тебе, я взят тобой всецело.
Ты пьешь меня, когда окончен путь,

И возвращаешь мне остаток дряблый.
Но губ твоих и ласки их умелой
Достаточно, чтоб силы мне вернуть.

ЭПИТАФИЯ
ПИСАТЕЛЮ ФРАНСУА РАБЛЕ

Плутон, суровый повелитель тех,
Кого уже давно оставил смех,
Впусти Рабле в свой сумрачный Аид:
Насмешник сразу всех развеселит.

АПРЕЛЬ

Ты, Апрель, земных долин
    Властелин;
Ты ласкаешь потаенно
Легкой дланью каждый плод,
    Что живет
В нежной глубине бутона.

Ты, Апрель, живишь листву
    И траву,—
Зелен, как волна морская —
Сотни тысяч лепестков
    Средь лугов
Рассыпаешь ты, играя.

Ты, Апрель, сошел на мир,
    И Зефир,
Спрятавшись, незримый взору,
Порасставил сто сетей
    Средь полей,
Возжелав похитить Флору.

Ты, Апрель, дары несешь,
    Ты хорош,
Ты в цветении богатом
Наполняешь лес и луг —
    Все вокруг —
Несравненным ароматом.

Ты, Апрель, цветешь кругом,
    И тайком
Госпоже в златые косы

И на грудь бросаешь ты
Все цветы
И предутренние росы.

Ты, Апрель, дарить нам рад
Аромат,
Вздох легчайший Кифереи,
Чья волшебная краса
В небеса
Смотрит чище и нежнее.

Птицы, словно год назад,
К нам летят,
С юга, что далек и жарок;
Эти вестницы весны
Нам даны
От тебя, Апрель, в подарок.

Вот шиповник средь полян,
И тимьян,
И фиалка, и лилея,
И гвоздики, что растут
Там и тут,
В ярких травах пламенея.

И сладчайший соловей,
Меж ветвей
Заливаясь нежной песней,
В небо шлет за трелью трель,
О Апрель,
Все волшебней, все чудесней.

Твой приход людей живит,
И звучит
Песнь любви в весеннем гимне,
И трепещет нежно кровь
В жилах вновь,
Растопляя панцирь зимний.

И с тех пор, как ты пришел,
Столько пчел
Над цветами суетится:
Собирают жадно впрок
Сладкий сок,
Тот, что в чашечках таится.

Май на землю низойдет,
Чистый мед
Принося в подарок пчелам,
Новым фруктам будет рад
Вертоград —
Созревающим, тяжелым.

Но тебе, Апрель, привет
В твой расцвет —
Месяц Анадиомены,
Той богини, что весной
Неземной
Родилась из белой пены.

БЕРИЛЛ

Бериллу песнь моя. Сей самоцвет хорош,
Окраской на волну морскую он похож
В тот нежный час, когда уходят аквилоны
И дышит вновь зефир, весною пробужденный.
Но иногда берилл бывает золотист —
Как самый свежий мед, необычайно чист;
Однако меньше блеск, и лик его туманней,
Коль не имеет он необходимых граней:
Затем, чтоб мог берилл достоинства хранить,
Потребно камень сей искусно огранить.
Зеленый — лучше всех, коль он похож при этом
На гордый изумруд своим глубоким цветом.
С Индийских берегов его привозят к нам,
Зеленый и златой. Испорченным глазам
И печени больной — нет ничего полезней;
Одышку, тошноту, сердечные болезни
Излечивает он — а также он один
Хранитель брачных уз для женщин и мужчин.
Он изгоняет лень, он возвращает друга,
Пред ним надменный враг робеет от испуга.
О, если ты, берилл, воистину таков,
Из Франции гони воинственных врагов:
Нет пользы ни душе, ни сердцу, ни здоровью
Нам руки обагрять напрасно вражьей кровью.

К МУЗЕ

О Муза гордая, изведав труд бесплодный,
Узнали оба мы, что нынче не в цене
Ни дух возвышенный, ни дух простонародный.

Ты знаешь, от щедрот, тобой даримых мне,
Обогащал я знать неблагодарной славой,
Лишь время потеряв по собственной вине.

Ты знаешь, только то вознес их суд неправый,
Что в обезьян должно людей преображать,
И стала Истина растленной лжи забавой.

Ты знаешь, что везде мы ищем благодать,
Но нет ее нигде,— что разум, подчиненный
Желаньям низменным, не может счастье дать,

Что в Добродетели — наш путь из тьмы исконный,
Хоть любо ей во тьме, в тиши, где нет людей,
Быть замкнутой в себе, от мира отрешенной.

Ты знаешь: кто на вид ей следует верней,
Тот дальше от нее, и чем достойней лица,
Тем более сердца в разладе, в ссоре с ней.

Ты знаешь, тот, кто глуп, казаться мудрым тщится,
И тот особенно, кто лестью ослеплен,—
Так вместе с червяком глотает смерть плотица.

Что лесть — приятный звук! Но чем он так силен,
Что кормит и пьянит, что даже мненье света,
Легенду, славу, песнь обманывает он?

Ты знаешь, суд живых в живом не чтит поэта,
Их справедливостью ценим лишь фаворит,
И чем он сам наглей, тем больше слава эта.

Ты знаешь, мудрости толпа теперь не чтит
И не поверит в то, что юноша счастливый,
За что ни взялся бы, соперников затмит.

Ты знаешь, жертвой став хулы и брани лживой,
Я к Добродетели, чтоб ей помочь, прибег,
И вот в ее плену томлюсь душой строптивой.

Ты знаешь, сердцем добр — как слабый человек,
Собой не властвуя,— в ответ на все удары
Чуть не прощения прошу я весь мой век.

Ты знаешь, как на мне свои проверить чары,
Когда я слушаю глупцов неправый суд
И, опустив глаза, терплю их растабары.

Ты знаешь, если бы тебя хвалил король,
Остряк смеялся бы, любой бы хлыщ придворный
Навязывал тебе насильственную роль.

Ты знаешь, как велик поэта труд упорный,
Но все кругом кричат (толпа извечно зла!):
Он фантазер, глупец, рифмач, писака вздорный!

Ты знаешь, если я хотел уйти в дела
Иль путешествия, хотел войны и славы,
Преграда мне — в моих достоинствах была.

Ты знаешь, в зависти — она сильней отравы —
В презренье к низшему коснеют их сердца,
И оскорбительны высокой знати нравы.

Ты знаешь, хоть бы ты боролась до конца,
Твой выигрыш — ничто. Но чести мне не надо,
Той чести, что влечет тщеславные сердца.

Для Добродетели — лишь в ней самой отрада,
Кто будет верен ей, прибежище свое
Лишь в ней и обретет,— в ней слава и награда.

И все, что я творю,— творю лишь для нее.
Так пусть в реке своей себя же утоплю я,
В огне своем сожгу свое же бытие!

Но если, никакой корысти не взыскуя,
Я остаюсь собой, лишь Истину любя,
То, значит, блага все в самом себе найду я

И мнением чужим не удушу себя.

* * *

Вы первая, кому я посвятил, мадам,
Мой разум, душу, страсть и пламенные строки,
В которых говорю, какой огонь высокий
Дарит незрячий бог попавшим в плен сердцам.

Под именем другим я *вам* хвалу воздам,
Ваш образ воспою, и близкий и далекий,
И так сложу стихи, чтоб даже сквозь намеки
Вы были узнаны, краса прекрасных дам.

А если вы никем покуда не воспеты
И божества никем не явлены приметы —
Не гневайтесь! Амур таинственным огнем,

Таким огнем не мог наполнить грудь другую,
И он не мог найти в другой или в другом
Подобную любовь и красоту такую.

* * *

Я двигался в горах извилистой тропой
По Верхним Альпам — там, где глыбистые кручи,
Подняв рогатые верхи, пронзают тучи,
И снег слепит глаза блестящей белизной.

Но нечто странное творилось предо мной,
Такое, что узреть не доводил мне случай:
Под солнцем таял снег, и стужу плетью жгучей
Сквозь этот дикий мир гнал шедший с неба зной.

Я был свидетелем таких чудес впервые:
Там — снег и лед в огне — враждебной им стихии,
Здесь — я в дыханье льдов, где жар томит меня.

Но снег застыл опять. И солнце, полыхая,
Весь окоем зажгло от края и до края,
А я от холода дрожал среди огня.

* * *

Стихи-изменники, предательский народ!
Зачем я стал рабом, каким служу я силам?
Дарю бессмертье вам, а вы мне с видом милым
Все представляете совсем наоборот.

Что в ней хорошего, скажите наперед?
Зачем я перед ней горю любовным пылом,
Что в этом существе, моей душе постылом,
Всегда мне нравится, всегда меня влечет?

Ведь это из-за вас, предательские строки,
Я навязал себе такой удел жестокий,
Вы украшаете весь мир, но как вы злы!

Из черта ангела вы сделали от скуки,
И то я слепну вдруг для этой ложной муки,
То прозреваю вновь для лживой похвалы.

* * *

Амур, смиришься ли с горчайшей из потерь?
Заплачь, коль слезы лить умеешь, своенравный!
Скончался Дю Белле, певец твой умер славный...
Кто воспоет тебя во Франции теперь?

Увы, оставь меня! Не стоит больше, верь,
Разить меня стрелой, как ты разил недавно.
Лети к трем Грациям: их горести нет равной,
Они готовятся захлопнуть склепа дверь.

Твоя в печали мать: и стонет и рыдает...
Лети же, раздели скорбь, что ее снедает!
Я надпись сделаю, отдав земной поклон:

«Не верьте, что мы здесь поэта схоронили!
Нет, не покоится наш Дю Белле в могиле,
Он музами живым на небо унесен».

* * *

Прочь, ворон, с глаз моих! Ты предвещаешь горе,
Три раза каркал ты уже в моем саду,
Пророча всякие несчастья и беду,
В смятенье приводя всех птиц в крылатом хоре.

Орехов хочешь ты — они поспеют вскоре,—
Иль вишни — ведь они бывают раз в году —
Ты прилетел клевать, а с этим наряду
Сулить моей любви и слез, и скорби море?

Ты перья белые на черные сменил,
Чтоб возвещать беду, и стал черней чернил,
Сычам и филинам стал другом закадычным.

Жаль, лука нет со мной... Поэту не мешай:
Священен Муз приют. Его не оглашай
Зловещим карканьем, столь мало мелодичным.

* * *

Сегодня солнце вновь струило жгучий зной,
Густой, как локоны Цереры плодородной;
Теперь оно зашло, повеял ветр холодный,
И снова Маргерит пойдет бродить со мной.

Мы не спеша идем тропинкою лесной,
И светит нам любовь звездою путеводной;
Когда прискучит сень дубравы благородной —
Нас поджидает луг и плеск воды речной.

И мы любуемся равниною просторной
Вдали от города, от суеты придворной —
О нелюдимый край, о сладостный Медок!

Здесь хорошо душе, и взору здесь приятно,—
Ты на краю земли, и дорог нам стократно:
Здесь наш злосчастный век, как страшный сон, далек.

* * *

Прости, Амур, прости — к тебе моя мольба,
Тебе посвящены мои душа и тело,
Любой мой помысел, мое любое дело,—
Но было нелегко во мне найти раба.

О, сколь изменчива коварная судьба!
С тобою, о Амур, я бился неумело,
Смеялся над тобой — но сердце ослабело;
Я сдался, я пленен — и кончена борьба.

Ты упрекнуть меня за этот бой не вправе,
Сраженье долгое — к твоей же вящей славе,
И то, что лишь теперь тебе хвалу пою,

Поверь мне, на тебя не бросит малой тени:
Презрен, кто упадет без боя на колени,
Победа радостна лишь в подлинном бою.

* * *

Благословенна светлая весна,
Сошедшая на землю своечасно.
Природа, в доброте вдвойне прекрасна,
Тебе дарит сокровища сполна.

И вот — тебе отныне отдана
Вся красота, что ей была подвластна.
Тревожится природа не напрасно:
Не слишком ли щедра была она?

Твоя рука насытилась, но снова
Тебе природа жертвовать готова,
Всю Землю предлагая под конец.

Тогда ты улыбаешься невольно:
Ты отвергаешь дар — тебе довольно
Быть королевою мужских сердец.

СРАВНЕНИЕ С ФЕНИКСОМ

Подобно Фениксу, что, смерти приближенье
Почуяв, вновь и вновь восходит на костер,
Чтобы свершить судьбы извечный приговор,
Сжигая в пламени цветное оперенье,

Покорно я себя готовлю на сожженье,
Когда меня слепит Ваш лучезарный взор.
Сгораю день за днем, не в силах до сих пор
Понять, зачем рожден на новые мученья.

Жжет Феникса огонь пылающих лучей,
Я солнцем обожжен прекраснейших очей,
Где я краду огонь, подобно Прометею,

За что к седой скале навеки пригвожден,
И коршун злой, Амур, врываясь в тяжкий сон,
Казнит меня рукой безжалостной своею.

О ТОМ, ЧТО НИКТО НЕ СВОБОДЕН

Любой, кто б ни был ты, здесь рабство — твой удел,
Любой иль под ярмом, иль дни влачит в оковах,
Порою сладостных, порой, как жизнь, суровых.
В сем мире каждый — раб земных страстей и дел.

Один стать баловнем Фортуны не сумел,
Другой не приобрел себе владений новых.
Один — слуга господ, всегда карать готовых,
Другому не спастись от сладострастных стрел.

Один у суеты житейской раб послушный,
Другой — слуга толпы, пустой и равнодушной.
Законы тяжкие в суровости своей

Чураться нам велят обычая чужого.
Но мы могли б найти покой и счастье снова,
Изведав сладкий плен нежнейших из цепей.

* * *

Брожу ли по тропинкам я лесным,
Иль у реки скитаюсь в час заката,
Или в горах, где пахнет дикой мятой
И эхо внемлет возгласам моим;

Иль слушаю, угрюм и нелюдим,
Трель соловья, что так замысловата,
Или, когда душа тоской объята,
Берусь за лютню, горестью томим,—

Везде со мной ты шествуешь незримо...
Ты так близка, хотя неуловима,
Что руки я вослед тебе тяну

И тщусь обнять... Обманчивые грезы!
И сызнова я проливаю слезы,
В пучине мук я сызнова тону...

* * *

Нету горлинки моей.
Я не слышу песен милой,
Полететь бы мне за ней.

Жаль тебе любви своей,
Мне ведь тоже все постыло;
Нету горлинки моей.

Верен ты, но я верней.
Полюбил я до могилы,
Полететь бы мне за ней.

Так зови и слезы лей!
Жалуюсь и я уныло:
Нету горлинки моей.

Нет прекрасней и светлей,
Но вернешь ли птицу силой?
Полететь бы мне за ней.

Так зову я много дней.
Счастье, ты мне изменило!
Нету горлинки моей.

Полететь бы мне за ней.

* * *

Я знаю: все течет, все бренно изначала,
Ряд грозных перемен страну любую ждет,
И все, что родилось, когда-нибудь умрет,
И есть всему конец, как есть всему начало.

Я знаю: суждено нам, людям, счастья мало,
И вслед за светлым днем день горестный придет,
И постоянства нет, как жизни без забот,
Ведь сохранять его лишь небесам пристало...

Но с верой предков я расстаться не хочу,
«Меняйте короля, законы!» — не шепчу,
Хоть не могу взирать спокойно и беззлобно,

Как трижды за шесть лет несчастная страна,
И завоевана и опустошена,
Добычей делалась вражды междоусобной.

* * *

Тюлена больше нет... Скончался он, увы!
Так воскресим его! Вполне возможно это.
Преемником шута вы сделайте поэта:
Поэты и шуты — родня, согласны вы?

Ведь оба — бедняки, беспечнее их нету;
Обоим дела нет до суетной молвы;
Обоих рассердить легко — уж таковы!
Импровизируют и шутки и сонеты.

Хоть на одном — берет, а на другом — колпак,
Не видно, кто из них — поэт, а кто — дурак:
Ведь рифма звонкая — такая ж погремушка.

Одно различие найду, пожалуй, сам:
Весьма благоволит к безумцам и шутам,
А нас не жалует Фортуна-потаскушка.

ИДИЛЛИИ

* * *

Амур, в молчанье лук бери;
Там лань моя, моя дикарка
При свете утренней зари
Выходит за ограду парка.

Вот на лужайке легкий след!
Не промахнись, готовься смело,
Нацель ей в сердце арбалет,
Чтоб посмеяться не посмела.

Ты слеп, стрелок! Твоя вина:
Ты метко целился, и что же?
Она свободна, спасена,
А я лежу на смертном ложе.

* * *

На мягких травах, на лилеях
Мою Филиду сон лелеял,
А возле милого чела,
Иной не ведая заботы,
Играли резвые эроты,
Ласкались нежные крыла.

Красой младенчески воздушной
Я любовался простодушно,
Но мне шепнул рассудок тут:
Зачем, безумный, время тратишь?
Ты дорогой ценой заплатишь,
Не воротить таких минут.

И вот беззвучно, бессловесно
Я наклонился к ней, прелестной,
И алых губ коснулся я —
С тем наслаждением блаженным,
Что только душам совершенным
Подарят райские края.

* * *

Мой друг Шапле, тебе ль успех не привалил?
Не ты ли переспал с возлюбленной моею?
Ты послан, чтобы мне Амур не сел на шею,
Чтоб вере в господа я посвятил свой пыл.

Но, как ни поверни, Амур мне все же мил:
Когда, потупив взгляд, я в церкви цепенею,
Я вспоминаю вновь любовные затеи,
И сердце усмирить мне не хватает сил.

Уставясь вверх, шепчу: «Когда бы мне за веру
Всевышний даровал сладчайшую Венеру,
Я б не стеснялся с ней, чтоб не прослыть глупцом!»

Судачит весь приход, как страстно крест целую,
Как рьяно я молюсь с восторженным лицом.
Но им и невдомек, каких святых зову я.

* * *

Неужто никогда, пройдя круги невзгод,
Не поплыву к любви рекой неторопливой,
Легонько теребя волос твоих извивы,
Покусывая твой гвоздично-алый рот.

Давая ощутить мужского тела гнет,
Сжимая ртом сосцы — как две тугие сливы,
Касаясь языком ресниц твоих ревнивых
И чувствуя рукой, как кровь в тебе течет.

Неужто никогда не слышать, опьянев,
Как нега изнутри мурлычет свой напев,
И не сжимать тебя в объятьях, дорогая,

Ловя на ощупь дрожь округлого плеча,
И вдосталь не испить из сладкого ключа,
Шалея, горячась, паря, изнемогая?

* * *

В чем дело? Ты меня считаешь дураком?
Стремительную страсть, шальную без оглядки,
Пытаешься унять то поцелуем кратким,
То словом ласковым, то вежливым кивком.

Мы на людях. Ну как обнять тебя тайком?
Они глядят на нас — так поиграем в прятки.
Беседовать начнем, изучим их повадки
И усыпим их слух пристойным пустяком.

Когда беседа их пойдет сама собой,
Используем хоть миг, дарованный судьбой,
И напрямик пойдем стезею наслаждений!

Взирая на гостей с бесстрастьем старика,
Я глазом не моргну, когда моя рука
В восторге ощутит тепло твоих коленей.

ИЗ ПОЭМЫ «НЕДЕЛЯ, ИЛИ СОТВОРЕНИЕ МИРА»

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Отрывок

Несет прохладу ночь, дневной смиряя зной,
И нивы освежив и небеса росой,
Отдохновение дарует нам, усталым,
Заботы наши скрыв под черным покрывалом.
Распахивает ночь широкие крыла,
И весь безмолвный мир их тень обволокла,
И льется тишина и ласка струй дремотных
По жилам и костям натруженных животных.

О ночь, нам без тебя не жизнь была бы — ад,
Где жажда и тоска, где горести царят,
Где тысячи смертей, где мукам нет предела,
Где и душа страдать обречена и тело.

Тому, кто осужден за грех на тяжкий труд,
На поиски в горах каких-то ценных руд,
И тем, кто у печей стоит, подобных аду,
Всем горестным сердцам дарует ночь отраду.

И тем, кто борется с напором быстрины,
Влача на бечеве груженые челны,
Вдоль пенных берегов шагая до упаду,—
На жестком сеннике дарует ночь отраду.

И тем, кто в дни страды руно равнин стрижет,
Кто падает без сил в конце дневных работ,
Усладу ночь дарит в объятиях подруги,
Дает забыть во сне усталость и недуги.
Когда приходит ночь, когда весь мир почил
Под сенью влажною огромных черных крыл,
Лишь дети новых Дев бессонны в эту пору,
Они устремлены к небесному простору,
Они ведут людей за облачный покров,
Взмывая на крылах своих летучих строф.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Отрывок

Поклон тебе, земля, вместилище плодов,
Здоровья, злаков, руд, народов, городов,
Земля-кормилица, о, как ты терпелива!
В недвижности своей ты хороша на диво,
Благоуханная, одетая в наряд,
Где вытканы цветы и ленты рек пестрят.
Поклон тебе, земля, о корень сокровенный,
Стопа животного — его зовут вселенной,
Избранница небес, подножие дворца,
Чьих ярусов не счесть, чьей выси нет конца.
Поклон тебе, сестра и мать царя природы,
Владычица всего: огни, ветра и воды
Подчинены тебе. Как ярко озарил
Тебя простор небес сиянием светил,
И солнечный огонь, плывя по небосводу,
Струит сквозь облака свой жар тебе в угоду,
И, остужая зной, доносится с морей
То ласковый зефир, то яростный борей,
Вода морей и рек тебя омыла щедро,
По венам, словно кровь, в твои струится недра.
Мне горько сознавать, что лучшие из нас
Тебя, моя земля, не жалуют подчас,
Ведь лучшие умы считают, что зазорна
Работа пахаря и тех, кто сеет зерна,
Что участи такой достоин лишь глупец,
Чьи руки словно сталь, а разум как свинец.

СОНЕТ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ДАВИДА

Победа над собой — нелегкая победа:
Труднее одолеть себя, чем сто врагов.
Коль с плотью ты своей сразиться не готов —
То слава далека, ты это твердо ведай.

Давид, что победил хвастливого соседа,
Прославился везде, герой былых веков.
Но все же, раб страстей, он шел стезей грехов
И на себя навлек неосторожно беды.

О, если бы Давид боролся сам с собой
И победил себя, характер свой крутой —
Тогда бы я сказал: «Сему примеру следуй!»

Он лавры заслужил, венчавшие его,
Но было бы славней иное торжество —
Победа над собой... Трудна сия победа!

ТРАГИЧЕСКАЯ ПОЭМА

ЛЕЗВИЯ

Отрывок

Да разве это бой! Там грудь броней прикрыта,
Там сталь поверх одежд — надежная защита,
Здесь отбиваются лишь криком да рукой,
Один вооружен, но обнажен другой.
Попробуй рассуди, кто доблестней, достойней,
Тот, кто разит клинком, иль жертва этой бойни.
Здесь праведник дрожит, здесь горлопанит сброд,
Невинного казнят, преступнику почет.
К позору этому причастны даже дети,
Здесь нет невинных рук, здесь все за кровь в ответе.
В темницах, во дворцах, в особняках вельмож,
Везде идет резня, гуляет меч и нож,
И принцам не уйти, не спрятаться в алькове,
Их ложа, их тела, их слава в брызгах крови.
Святыни попраны, увы, сам государь
На веру посягнул и осквернил алтарь.
Принцессы в трепете, едва успев проснуться,
От ложа прочь бегут, им страшно прикоснуться
К изрубленным телам, но не скорбят о тех,
Кого не спас приют любви, приют утех.
Твой, Либитина, трон окрашен постоянно
В цвет бурой ржавчины, как челюсти капкана.
Здесь западня — альков, здесь ложе — одр в крови,
Здесь принимает смерть светильник у любви.

Прискорбный этот день явил нам столько бедствий,
Хитросплетения раскрыл причин и следствий
И приговор небес. Глядите: стрежень вод
Лавину мертвецов и раненых несет,
Плывут они, плывут вдоль набережных Сены,
Где ядом роскоши торгует век растленный,
И нет в реке воды, лишь спекшаяся кровь,
Тлетворную волну таранят вновь и вновь
Удары мертвых тел: вода людей уносит,
Но сталь других разит, их следом в реку бросят.
Ожесточенный спор с водой ведет металл
О том, кто больше душ в тартарары послал.
Мост, по которому зерно переправляли,
Сегодня плахой стал в гражданском этом шквале,
И под пролетами кровавого моста
Зияют гибели зловещие врата.
Вот мрачная юдоль, где кровь струится в реки,
Юдоль страдания, так зваться ей вовеки.
Четыре палача, бесчинствовавших тут,
Бесчестие моста на совести несут,
Четыре сотни жертв швырнул он водам Сены!
Париж! Ей хочется твои разрушить стены;
И восемь сотен душ погубит ночь одна,
Невинных погребя и тех, на ком вина.

Но кто же впереди отары обреченной?
Кто первой жертвой стал толпы ожесточенной?
Ты оживешь в молве, хотя твой лик в тени,
Благочестивою была ты, Иверни.
Гостеприимица, защитница для многих
Печальных узников, для путников убогих.
Был на тебе убор монашеский надет,
Но выдал в час резни пурпурных туфель цвет:
Господь не пожелал, чтоб лучшая из стада
Рядилась под святош, меняла цвет наряда.
Спасая избранных, даруя благодать,
Не хочет мерзостям всевышний потакать.

Но чья там голова? Чье тело неживое?
Обмотана коса вокруг скобы в устое
Злосчастного моста. И странной красотой
Застывший бледный труп мерцает под водой.
Он, падая, повис в объятиях теченья,
Он к небу взор возвел, как бы прося отмщенья.

Паденье длилось миг, но, вверившись судьбе,
Покойница два дня висела на скобе,
Она ждала к себе возлюбленное тело,
К супружеской груди она прильнуть хотела,
И мужа волокут. Расправа коротка,
В грудь безоружного вонзили три клинка,
И вот он сброшен вниз, где мертвая супруга,
Качаясь на волнах, ждала на помощь друга.
Убитый угодил в объятия к жене,
Схватил сокровище — и тонут в глубине.
Но триста мертвецов на том же самом месте,
К несчастью, лишены такой высокой чести.
Убийца, ты вовек не разлучишь тела,
Коль души навсегда сама судьба свела.
Передо мной Рамо, подвешенный под кроной,
Седоголовый Шапп, весь кровью обагренный,
А вот возник Брион, столь немощный старик,
И малолетний принц к его груди приник,
Он старца заслонил с недетскою отвагой.
Но этот слабый щит насквозь пробили шпагой.
Корабль у пристани отправили на дно,
Хоть право убивать лишь времени дано.

Покуда в городе на славу шла работа,
И Лувр кровавый стал подобьем эшафота,
Из окон и бойниц, с балконов и террас
На быстрый бег воды взирают сотни глаз,
Коль кровь назвать водой. Полунагие дамы,
Припав к любовникам, следят развязку драмы:
Их возбуждает кровь и трупов голых вид,
И каждая ввернуть скабрезность норовит,
Им женских жаль волос — мол, пропадут задаром!
А ведь дымится кровь и души стали паром.
Глядят бездельницы, как здесь, невдалеке
Кромсают жен и дев и топят их в реке.
Как обесчещенным пронзают грудь стилетом,
Чтоб сами падали и верили при этом,
Что нелегко на кровь глядеть глазам Творца,
Что в миг отчаянья вселяет он в сердца
Своей надежды свет. Сарданапал наш мерзкий,
Столь переменчивый — то робкий он, то дерзкий,—
Охрипшим голосом подбадривает сброд,
Хоть слабосилен сам, других зовет вперед.
Сей доблестный храбрец, страшась всего на свете,

Среди придворных шлюх сидит в своем Совете.
Никчемный он король, зато какой стрелок!
Из аркебузы он бегущих валит с ног,
Все промахи клянет, но меткостью кичится,
В компании честной желая отличиться.
Комедию дают в трагический сезон,
Что ни лицо — Гнатон, Таис или Тразон.
И королева-мать со всей своей оравой
Отправилась глядеть плоды резни кровавой.
Одна из дам верхом спешит в тот самый миг
Двух спасшихся предать и выдать их тайник.
Здесь, в сердце Франции, где кровь повсюду вижу,
Затеял шумный двор прогулку по Парижу.

Нерон в былые дни нередко тешил Рим
Ареной цирковой, театром площадным,
Совсем как в Тюильри иль, скажем, в Бар-ле-Дюке,
В Байоне иль в Блуа, где затевают штуки
Такие, как балет, турнир иль маскарад,
Ристанья, карусель, борьба или парад.
Нерон, сжигая Рим, насытил нрав свой дикий,
Как наслаждался он, повсюду слыша крики
Отчаявшихся толп, дрожащих пред огнем,
Несчастие других лишь смех рождало в нем,
Все время раздувал он пламя для острастки,
Чтобы на пепле жертв владычить без опаски.
Когда огонь вполне насытился бедой,
Властитель ублажил народ несчастный свой,
Найдя виновников: он их припас заране.
И вот извлечены из тюрем христиане,
Они чужим богам стать жертвою должны,
Быть искупителями не своей вины.
В часы вечерние на пышном карнавале
Зевакам напоказ несчастных выставляли
И на глазах толпы, в угоду божествам,
Швыряли их в огонь и в пасть голодным львам.
Так и во Франции пожаром сотен хижин
Был вознесен тиран, а нищий люд унижен.
В горящих хижинах отчаянье царит,
Но деспот восхищен: «Как хорошо горит!»
Народ не видит зла, мошенникам доверясь,
Их кормит, а винит в своих несчастьях ересь.
И ты, христианин, за глад и мор ответь,
Ты землю превратил в железо, небо — в медь.

* * *

О, сжальтесь, небеса, избавьте от напасти,
Пучина, смилуйся, смири свой грозный вал,
Он смертным холодом уже сердца обдал,
Так пощадите ж тех, чьи судьбы в вашей власти!

Корабль трещит по швам, не выдержали снасти,
Увы, надежды нет, последний рвется фал,
Ветрила рухнули, все ближе зубья скал,
В чьей гордой красоте зловещий знак несчастий.

Превратности судьбы зыбучи, как пески,
Рыданья, словно гром, как вихри — вздох тоски,
Надежды тщетные подобны зыбкой пене.

Где любящих сердца, превозмогая страх,
Плывут почти без сил в бушующих волнах
Навстречу гибнущим, молящим о спасенье.

* * *

Ронсар! Ты щедрым был, ты столько дал другим,
Ты одарил весь мир такою добротою,
Весельем, нежностью, и мукой, и тоскою,
И мы твою любовь, твою Кассандру чтим.

Ее племянницу, любовью одержим,
Хочу воспеть. Но мне ль соперничать с тобою?
Лишь красоту могу сравнить одну с другою,
Сравнить огонь с огнем и пепел мой с твоим.

Конечно, я профан, увы, лишенный знанья
И доводов. Они полезны для писанья,
Зато для нежных чувств они подчас не впрок.

Восходу я служу, а ты вечерним зорям,
Когда влюбленный Феб спешит обняться с морем
И повернуть свой лик не хочет на восток.

* * *

Мила иному смерть нежданная в бою,
От пули, от меча, кинжала иль картечи,
Кончина славная среди кровавой сечи,
Где та ж судьба грозит оставшимся в строю.

Мила другому смерть в постели, не таю,
И суетня врачей, потом — над гробом речи,
И вопли плакальщиц, и факелы, и свечи,
И склеп на кладбище, и уголок в раю...

Но не прельстит меня нимало смерть солдата:
Ведь в наши времена его ничтожна плата.
В кровати смерть скучна, она — удел ханжей.

Хочу я умереть в объятиях Дианы,
Чтоб в сердце у нее, от горя бездыханной,
Воспоминания воздвигли мавзолей.

* * *

Один солдат был пулею сражен,
И смерть его была не за горами.
Мы собственными видели глазами,
Как он страдал, упав на бастион.

Струилась кровь, и раздавался стон,
В агонии он скрежетал зубами,
Моля, чтоб мы его добили сами...
Был ни живым, ни мертвым брошен он.

И у меня зияет в сердце рана,
Что нанесла жестокая Диана.
Как описать мучения мои?

Я знаю: смерть мне эта рана прочит...
Добить меня прекрасная не хочет,
И вот ни жив, ни мертв я от любви.

* * *

В неровных бороздах убогие ростки
До срока родились, но холод грянул снова,
Чтоб с юной красотой расправиться сурово,
И вновь пришла зима природе вопреки.

Для чахлой поросли морозы нелегки,
Но ей на выручку прийти метель готова,
Укроет белизна надежного покрова
И вдосталь напоит весною колоски.

Надежды любящих — ростки хлебов зеленых,
Обида и разлад, как изморозь на склонах,
Когда погожий день еще за тучей скрыт.

Таится блеск весны под сумрачною тенью,
Размолвки любящих приводят к примиренью,
А гневная гроза возврат любви сулит.

* * *

Рыданья горестные, вздох печали
И слезы, застилающие взор,—
В них боль моя, обида и укор,
Они мои мученья увенчали.

Надежды призрачные, как вначале,
Смятенье мыслей и страстей раздор,—
Агонии моей наперекор
Все эти чувства вновь затрепетали.

Ты слышишь, небо, мой посмертный стон,
Он сдавлен горем, смертью заглушен,
Ты покарай раскаяньем Диану.

За то, что навязала мне вражду,
Желала, чтобы я сгорел в аду,
И нанесла мне гибельную рану!

* * *

На строгий суд любви, когда меня не станет,
Мое истерзанное сердце принесут,
Кровоточащий ком, обугленный, как трут,
Свидетельство того, как беспощадно ранят.

Перед лицом небес несчастное предстанет,
Где отпущение лишь праведным дают,
Оно всю боль свою слепой Любви на суд
Представит, а тебя в ответчицы притянет.

Ты скажешь: это все Венера, все она
И озорник Амур... мол, не твоя вина.
Но ведь на них валить — нехитрая наука.

Смертельный этот жар сама ты разожгла,
И если Купидон пустил стрелу из лука,
Твоя зеница — лук, твой быстрый взор — стрела.

* * *

Как, я изменчив? Мненье ложно,
Моя привязанность крепка.
Скажите лучше: разве можно
Построить зданье из песка?

Вас холодность моя тревожит?
О, я всегда гореть готов,
Но ведь огонь пылать не может,
Коль не подкладывают дров.

Ну, что поделаю я с вами?
Вы охлаждаете мой пыл...
Поджечь не может льдину пламя,
А растопить — не хватит сил.

Сырое дерево способно
Дымить, а не огонь питать.
И тело впрямь душе подобно,
И госпоже слуга под стать.

Рассеяться успели грезы...
Как заливает дождь костер —
Так погасили в сердце слезы
Пожар, пылавший до сих пор.

Когда любил я беззаветно —
Смеялись вы, меня дразня.
Когда ж увидел: чувство тщетно,—
Вы обвиняете меня!

Я вижу: вам для развлеченья
Была нужна моя любовь,
Мои жестокие мученья
Вы смаковали вновь и вновь.

Вас разлюбить решил я, знайте,
Решил избавиться от мук.
Ну что же, на себя пеняйте:
Ведь это — дело ваших рук!

* * *

Ни молния, ни зной не тронут стебелька
Прижавшейся к земле ползучей повилики,
Вовек не поразит сей гнев небес великий
Былинки тоненькой и нежного цветка.

Но кедр, уткнувшийся вершиной в облака,
Но стены крепостей и скал высоких пики
От бурь и войн дрожат, и гордому владыке
Грозит Юпитера разящая рука.

К примеру вспомните того, кто, как хозяин,
Топтал несчастный край от Сены до окраин.
Другой всю Францию возвел на эшафот,

Он солнцу господин, ему покорны луны.
Так всякий, вознесясь, нисходит в свой черед,
Покорно следуя за колесом фортуны.

* * *

Осточертело мне транжирить мой досуг,
Свободу продавать мне больше неохота,
На что-то уповать и ублажать кого-то,
Во имя долга быть одним из верных слуг.

Мне больше по душе пустынный горный луг,
Ночлег под скалами и мрак под сводом грота,
Густая сень лесов, где нега и дремота,
Где столько отзвуков рождает каждый звук.

Принцесс увеселять и принцев надоело,
И даже мой король, который то и дело
Мне дарит милости, увы, постыл и он.

От почестей и ласк держаться бы подале,
Не надо их совсем, уж лучше быть в опале,
Чтоб не кричал никто, что я хамелеон.

НАДГРОБНЫЕ СТИХИ ТЕОДОРА-АГРИППЫ Д'ОБИНЬЕ НА СМЕРТЬ ЭТЬЕНА ЖОДЕЛЯ, ПАРИЖАНИНА, КОРОЛЯ ТРАГИЧЕСКИХ ПОЭТОВ

Когда Жодель пришел, оставив наши стены,
Еще от смертных мук бессилен и разбит,
Когда подземных царств ему открылся вид,
Он с облегчением вздохнул от перемены.

Он Ахеронт нашел приятней нашей Сены,
Парижа нашего приятнее — Аид:
Хоть этот порт черней, но все ж не так смердит,
Как жизнь там, наверху, и все ее измены.

Харон берет его в свой погребальный челн,
И говорит Жодель, плывя во мраке волн:
«Нельзя ль мне утонуть, чтобы скончаться снова.

И столь же выгадать еще один разок,
Как в этот первый раз?» Но больше он не мог
Переменить жилье для счастия двойного.

К КОРОЛЮ

Ваш пес в опале, сир. Под ним холодный пол,
А некогда он спал сладчайшим сном в постели.
Он преданность свою вам выказал на деле,
Среди придворных он предателей нашел.

На вашей службе он вынослив был, как вол,
И перед ним враги от ужаса немели.
Теперь он бит, его не кормят по неделе.
Неблагодарность, сир, горчайшее из зол.

За ловкость, молодость вы так его любили.
Теперь же он презрен. Уже другие в силе.
Коварством, злобой он теперь терпим едва.

Он брошен. Перед ним все двери вдруг закрыты.
Вы травите его, но знайте, фавориты:
За верность плата всем, всем будет такова.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Восходит солнце вновь и огненной короной
        Сияет в дымке золотой.
Светило ясное, огонь любви святой,
Пронзи потемки душ стрелою раскаленной,
        Погожим днем нас удостой.

Но солнце всякий раз становится смиренней,
        Смежает свой слепящий взор,
Когда над всей землей, поверх долин и гор,
Плывет завеса мглы, скопленье испарений,
        Скрывая голубой простор.

Господень ясен лик, но свет его мы застим
        Густыми тучами грехов,
Когда они ползут, стеля сплошной покров,
Всплывают над землей, становятся ненастьем,
        И черный небосвод суров.

Но полог сумрачный колеблется, редеет.
        Его пробил могучий свет.
Бегите прочь, грехи! Нам солнце шлет привет,
Оно своим лучом ваш темный рой рассеет,
        Развеет — и завесы нет.

Из праха нам восстать, над мраком, над могилой,
        Как день из ночи восстает.
И если смерть — врата во тьму, то в свой черед
Любой погожий день — кончина тьмы унылой.
        А жизнь над смертью верх берет.

* * *

Когда я отдохнуть сажусь под тень берез,
Амур, отбросив лук, садится на пенечке.
Когда пишу стихи — и он кропает строчки.
Коль плачу — удержать и он не может слез.

Когда пожалуюсь, что много перенес,
Предупреждает он: «Знай, это лишь цветочки!»
Порою, оторвав полоску от сорочки,
Врачует рану мне, что сам же и нанес.

Когда невесел я — со мною вместе тужит,
И днем и по ночам мне провожатым служит,
В сражении щитом прикроет иногда.

Куда б я ни пришел — его увижу вскоре.
Охотно делит все: и радости и горе.
Короче — он со мной повсюду и всегда.

* * *

Бегут за днями дни, как волны в океан,
Бесшумно небеса свершают путь извечный.
О смертный! Ты в своей гордыне бесконечной
Не ведаешь, что жизнь твоя — сплошной обман.

Прошелестят года, как ветры дальних стран.
Мгновенно пролетит срок жизни быстротечной.
Смерть грубо оборвет наш карнавал беспечный,
И суеты мирской рассеется туман.

Один умрет, как раб, раздавленный судьбою.
Другой тоску любви уносит за собою.
Блеск славы одному, другому — шум войны.

Желаниям людским нет ни конца, ни края.
Но для чего, скажи, игра страстей пустая,
Коль в землю навсегда вернуться мы должны?

* * *

Здесь пал Икар, тот молодой смельчак,
Вознесшийся в небесные пределы.
Он пал! Пучина схоронила тело
Среди стихий. Не каждый гибнет так!

Блажен, кто к небу сделал первый шаг,
В неведомое плыть — безумцев дело.
Блажен, чью смерть поэзия воспела,
Кто славой победил столетний мрак.

Так новую стезю открыла смелость.
Ему в безбрежный мир взлететь хотелось,
Герой к звездам направить путь посмел.

Им жажда подвига руководила.
Цель — небеса, а океан — могила.
Бывает ли прекраснее удел?

* * *

О сон, я для тебя все припасу, что надо:
Вино из погреба и черный мак из сада.
Ты крылья опусти над старой Ализон.
Ее веретено останови, о сон!
Перст этот скрюченный, дрожащий неужели
Не упадет с ее замусленной кудели?
Сомкни ее уста, коснись ее очей.
До самого утра не дай проснуться ей.
А я тем временем пригрею сиротинку,
Что рядом с Ализон вздыхает под сурдинку.

* * *

Но ведь конец придет. Спесивой жизни лик
При виде смерти страхом исказится.
Под жаром солнц цветок испепелится,
И время разорвет наполненный гнойник.

Уже давно поник сияющий ночник,
Прекрасный свет навеки прекратится,
Холстина из-под красок оголится,
Бить перестанет редкостный родник.

Я видел жар зарниц и зарево кругом,
Меня встречал ворча в суровом Небе гром,
И грозы грозные в пути меня встречали.

Я видел, как в поток преобразился лед,
В пустыне на меня без гнева львы рычали.
Живи, о человек; но ведь конец придет.

* * *

Вы смертны, смертные, и смертных порожденье,
Вам от рождения до смерти истлевать.
Что в тленных сундуках сокровища скрывать?
Наследье мертвецов лишь источает тленье.

Среди чреды смертей, под плач и песнопенье
Вам траурных одежд не суждено сорвать,
И все ж вы смеете страх смерти забывать,
В беспамятстве не помня о спасенье.

Ужель вам сладки лишь утехи, лишь услады,
И сумрак смерти вам столь помрачает взгляды,
Что жизнь иную вы не в силах призывать?

Все обвинят, но я прощаю вам, беспечным,
Вину забвенья. Там, в забвенье смерти вечном,
Сумеете на жизнь, на вечность уповать.

ВЕНГРИЯ

* * *

Как грустно, что с тобой расстаться должен я,
Благословенная Мадьярия моя.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

Проклятый турок взял весь наш мадьярский юг,
А немец взял весь Верх, не выпустит из рук.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

От немца чванного мне просто нет житья,
Средь турок-нехристей проходит жизнь моя.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

Наскучила мне знать. Все наши господа
Ученье божие забыли без стыда.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

Благословенная Мадьярия, прощай,
Отныне ты пустой и разоренный край.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

Я Борнемисса Петр, я в замке Хуста был,
И там в веселый час я эту песнь сложил.
О, буду ли я вновь в любимой Буде жить?

ЖУРАВЛЯМ

День добрый, журавли,
Летящие вдали
Туда, к родному краю!
Едва замечу вас,
Ток слез бежит из глаз,
И горько я вздыхаю.
Красавица моя!
Тебя припомню я —
И снова я страдаю.

Вы, журавли, вперед
Стремите свой полет,
В край милый, животворный,
К подруге дорогой,
Что всей моей душой
Владеет так упорно.
Вас видя в вышине,
Вздохнет ли обо мне,
Служившем ей покорно?

Чужие здесь места,
Я здесь, как сирота,
Бреду все мимо, мимо,
Я в темное одет,
И в сердце вечный след
Тоски невыносимой.
Я не имею крыл,
А то б я воспарил
И улетел к любимой.

Ты, мой журавль, крылат,
Ты мчишься, ветра брат,
Садишься, где желаешь,
И чистою водой,
Холодной, ключевой,

Ты жажду утоляешь.
Коль под своим крылом
Ее заметишь дом,
Мой рай ты повидаешь.

Журавль, подставь мне грудь,
Чтоб на груди черкнуть
Ей краткое посланье.
Не торопись, прошу.
Лишь имя напишу
Я ей в напоминанье.
Пусть знает, что люблю,
Из-за нее терплю
Все муки, все страданья.

Так пусть господь с высот
Здоровья ей пошлет,
Пошлет ей долголетья,
Так пусть из божьих рук
Летят к ней, как на луг,
Все блага, как соцветья,
Чтоб след ее пророс
Кустами ярких роз,
Чтоб мог ее воспеть я.

Когда, средь битв и бурь,
Вдруг надо мной лазурь
Прорежет птичья стая,
Летящая в края,
Где Юлия моя
Живет, красой блистая,
Кричу я птицам вслед,
С крылатыми привет
Любимой посылая.

* * *

Как плачет соловей,
Когда его детей
Мальчишка вороватый
Уносит из гнезда!
Как он поет тогда,
Отчаяньем объятый!
Так, Целия, и ты,

Вся в блеске красоты,
Оплакиваешь брата.

Как россыпь нежных рос
Румянец юных роз
Весною омывает
И роза под росой
Блестит, горит красой,
Сверкает и пылает,
Так Целия от слез
Пылает ярче роз
И краше расцветает.

Как лилия, косой
Подрезанная злой,
Вдруг падает с откоса,
Так Целия чело
Склоняет тяжело,
На гроб роняя косы,
И слезы на очах
Горят, блестят в лучах,
Как жемчуг или росы.

* * *

О, как несчастен я!
Вся молодость моя
Повита хмурой мглою.
Как трудно к моему
Привыкнуть мне ярму!
Оставил за собою
Я радость прежних лет,
Влеком в пучину бед
Печальною судьбою.

Осенние леса
Сперва кропит роса,
В чащобах ветер воет,
Потом с деревьев лист
Слетает, золотист,
А там и снег покроет
Росу в лесах сырых,
След алых, огневых
Сапог моих зароет.

Грустят мои глаза,
Бежит из них слеза
И падает, сияя,
И сердце слез полно,
Тоской напоено
И сетует, рыдая.
Я думаю о той,
Что так строга со мной,
И слезы лью, страдая.

Господь, что делать мне?
Скажи, в какой стране
Искать мне утешенья?
Ужель мне так и жить,—
Грустить, всегда грустить,
Не зная избавленья?
Ужели жребий мой —
Пройти весь путь земной,
Терпя одни мученья?

В тоске, за годом год,—
Так юность и пройдет.
Чем сердце успокою?
Уж лучше с журавлем,
Родной покинув дом,
Осеннею порою
Умчаться в край, куда
Завистник никогда
Не прилетит за мною.

И, может быть, сказав
«Прости» и убежав
На край земли, далече,
Моих клеветников,
Завистников, врагов
Избегну я злоречья.
Зачем им будет лгать,
Браниться, клеветать,
Коль прекратятся встречи?

Тебе желаю я
Счастливого житья,
Любви тебе желаю
И не жалею, нет,
Что столько отдал лет

Одной тебе; мечтаю,
Чтоб ты всегда была
Здорова, весела;
Тебя благословляю.

Прости, что согрешил
Слуга твой и не скрыл
Невольную досаду.
Как тяжело сойти
Мне с твоего пути,
Но знаю: надо, надо.
Увижу ль, друг ты мой,
Еще хоть раз живой
Тебя, моя отрада?

Был сокол у тебя,
И ты его, любя,
На привязи жемчужной,
На нитке золотой
Всегда несла с собой.
Теперь простись с ним дружно,
Скажи ему: «Лети!» —
И с миром отпусти,
И не сердись, не нужно.

МОЛЬБА ИЗГНАННИКА

Господь, я отдаю
Тебе всю жизнь мою,
Храни меня в дороге.
Тоскуя и скорбя,
На одного тебя
Покинут я в тревоге.

С младенческих годов
Твоих щедрот, даров
Усердно ожидал я.
Как сын отца зовет,
Так средь тревог, невзгод
К тебе всю жизнь взывал я.

Тебя и нынче чту
И лишь на доброту
Твою я уповаю,

Тобой одним храним,
Тобой одним водим,
Тебе себя вручаю.

Что выгадаешь ты,
Разбив мои мечты?
Зачем внушать сомненья
Мне, сыну твоему
Приемному, кому
Твой сын принес спасенье?

Внемли моей мольбе,
В моей судьбе, борьбе
Прими и ты участье,
Дай знак своей любви,
Меня благослови,
Пошли немного счастья.

Меня не покидай,
Надежду мне подай,
Мне помоги с охотой,
Свободно и светло
Мне осени́ чело
Отеческой заботой.

Как ты кропишь весной
Свои цветы росой,
Раскрыв для них объятья,
Так, жизнь мою храня,
Ты окропи меня
Своею благодатью.

Чтоб до последних дней
В груди все веселей,
Все звонче сердце билось,
Чтоб вольно я дышал
И всюду прославлял
Благую божью милость.

Пишу я это тут,
Где гребни волн несут
На берег пены перлы,
Пишу все это в год
Я тысяча пятьсот
Девять-на-десять первый.

* * *

Тяжко, если рядом нет со мною милой,
День и ночь вздыхаю, грустный и унылый,
Все-то мне постыло,
Словно нас навеки небо разлучило.

К милой сердце рвется, нет ему покоя,
Все бы любовался я ее красою,
А глаза закрою —
И во сне ее лишь вижу пред собою.

Я дождусь прихода радостного срока,
Пусть над ней в дороге бдит господне око,
Верю — недалеко
День, когда я вновь не буду одиноким.

Обойму за плечи трепетной рукою,
Свой восторг и нежность перед ней не скрою,
На груди укрою
И, ее лаская, сердце успокою.

ПЕСНЯ СОЛДАТА

Полководец, ты правая божья рука.
С божьей помощью битва да будет легка,
И палаш закален, и кольчуга крепка.

Барабан и труба веселят тебя, воин,—
Ты на битву шагаешь — и горд и спокоен,
И победы над вражеской силой достоин.

Смелость верным дарует великий господь,
Палашом беспощадным ты будешь колоть,
И рубить, и крушить басурманскую плоть.

И тебя не покинет всевышнего слово —
Ведь врагами поругано имя Христово,
Даже смерть не страшна ради дела святого.

Сладко сердцу бойца, и отрадно ему:
Он победу друзьям принесет, потому
Что в сраженье господь помогает ему.

С окровавленной сталью, с открытою раной,
Он вернется домой, славный доблестью бранной
И готовый по-прежнему бить басурмана.

Кто не ведает праведной жизни такой,
За спиной у других ищет мир и покой —
Тот не будет помилован божьей рукой.

Не оставь нас, господь, отврати непогоды,
Щедрой жатвы пошли в эти трудные годы.
Да придет к нам веселье, да минут невзгоды.

ПОРЧА И УБАВЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ НАЦИИ

Мой бедный, мой родной, мой гибнущий народ!
Побед не знаешь ты уже который год,—
Ты плачешь, ты скорбишь — и гаснет славный род!
К спасенью ни одна дорога не ведет.

С насмешкой говорят о доблести венгерской,
И больше не снискать почета саблей дерзкой.
И негодяй кривит лицо улыбкой мерзкой
Над именем твоим иль пышет злобой зверской.

Надежда Венгрии, дворянские сыны,
Для славных подвигов отныне не нужны:
Чужие люди есть венгерский хлеб должны,—
Любой из них подлей и хуже сатаны.

Ограблены твои прекрасные равнины,
От войска твоего не стало половины,
Бедна твоя постель — доска взамен перины,
И на столе твоем полупусты кувшины.

Кто мыслит о твоей трагической судьбе?
О венгр, ты одинок. Никто не внял мольбе,
И тот, кто мог помочь твоей стране в борьбе,
В постыдных кутежах лишь изменил тебе.

Ни деньги, ни стада, ни дорогие ткани
Уже не привлекут тебя на поле брани —
Подобна вся страна кровоточащей ране,
И никому не счесть ужасных злодеяний.

Родная Венгрия, моей души весна,
Всю чашу скорбную со мной испей до дна.
И горечь строк моих пусть выразит сполна,
Как я люблю тебя и как ты мне нужна.

ПОЛЬША

* * *

Не будь лозиной вербной, коя, смладу, гнута,
Тако и вырастает, и всяк с нею круто
Обойдется, ломая, — что бесплодна, знает;
Ее же пнут клюкою и коза глодает.
Ты будь древу подобен — гор Ливанских кедру,
Благовонный, заслужишь благодарность щедру;
Пусть и тень твоя будет густа и пространна,
И твоя добродетель тож благоуханна.
И, под сенью своею укрыв, кого сможешь,
Тем себе во славе, ему ж — в нужде поможешь.

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ

Речь Посполита, голой девой в колеснице
Всеми изображенна, разно все же чтится.
Те вправо ее тянут, эти тащат влево —
Несогласную челядь держит в доме дева.
А ежли ты не веришь, можешь убедиться,
Поглядевши, что в сейме хваленом творится;
Узришь, сколь беспощадно бедную пытают,
Чуть ли кожа не лопнет, так ее растягают.

ПРО ВСЕГДАШНЮЮ НАШУ НЕХВАТКУ

Сказал достойный некто: «Не уразумею,
По потребностям я ведь вроде все имею,
А все ищу чего-то, все в чем-то нехватка;
И вроде бы, сколь надо, у меня достатка».

Таково же и все мы — взять в толк не умеем
И, кажется, достатка довольно имеем,
А всё в бегах за чем-то, всё чего-то ищем,
Ну не тошно ли жить нам в свете этом нищем?

МУЖИКИ В ГОРОДЕ СТРАСТИ ХРИСТОВЫ ПОКУПАЛИ

Холопы двух придурков в город снарядили,
Чтобы Страсти Христовы к празднику купили.
Мастер видит — болваны, и пытает: «Смерды,
Вам как изобразить-то — живого иль по смерти?»
Мужики обсудили: «Лучше-де живого,
Всяко нам удобняе приобресть такого;
Сельчанам не потрафим — можно и убити,
А излишек случится — можно и пропити».

ШВЕЦ, КОТОРЫЙ ГРАД ИЗ КАМЕНЬЕВ УСТРОИЛ

Швец искал поймать ксендза Мачея с женою,
Набрал каменьев в торбу, засел за стеною.
Ксендз пришел, а бабенка: «Где были?» — пытает.
«Яровое посеял»,— Мачей отвечает.
Та задрала подол-то: «Чтоб так разрослося?»
А ксендз: «Чтобы эдак, как вот здесь, поднялося!»
А швец берет каменья: «Таковое жито
Лишь таковым и градом дóлжно быть побито!»

МУЖИК, КОТОРЫЙ ПОД ДУБОМ СРАЛ

Ехал пан по дороге и маленько вбок взял,
Там дуб стоял тенистый, а под ним холоп срал.
Смешался тот, а барин рёк: «Не суетися!
Без этого ж никто не может обойтися!»
Мужик и отвечает: «Я, чай, обойдуся,
Все, пане, тут оставлю и прочь повлекуся.
Надо вам — так берите, мне оно не треба.
Взамен же соглашуся на ковригу хлеба».

СМЕЛОСТЬ МЕЛЬНИКОВОЙ РУБАХИ

Гуторили однажды, кто смелее в свете.
Те назвали медведя, льва злобного эти.
Иные рассудили: «Ворог беглых — стражник».
«Вишь, смелый,— молвил кто-то,— с алебардой ажник,
А мельника рубаха — без всего отважна;
Она имает вора в день всякий и кажный».
От такого ответа все развеселились,
Что мельник — вор отпетый, сразу согласились.

ЧЛЕНЫ ТЕЛА СЕРДЦЕ ЦАРЕМ ИЗБРАЛИ

Члены тела на царство Сердце посадили,
Живот в Сенат, Десницу в Министры срядили.
Жопа метила в Думу. Министр не дал ходу.
А она пригрозила: «Учиню-де шкоду!»
Тут нужда им приперла. Жопа ни в какую:
«Сами и управляйтесь, я чести взыскую».
Дали ей место в Думе, а Министр отныне
Утирать ее должен, хоть и старше в чине.

* * *

Пусть иные дивятся стенам с намалевкой,
Пусть, кто хочет, топочет ботфортом с подковкой,
Мне же все надоело, ино дом лишь сладок,
Ты ж при дворе вертися, если тщиться падок.

ФРАШКИ

О ДОКТОРЕ-ИСПАНЦЕ

«Наш доктор спать пошел, отдав поклон.
Не хочет ужина дождаться он».
«Пускай идет! Найдем его в постели
И станем пить, как прежде пили, ели.
Отужинав, к испанцу мы пойдем!»
«Пойдем с кувшином, налитым вином.
Впусти нас, доктор, брат родной по вере!»
Он не впустил, зато впустили двери.
«Одна ведь чарка, доктор, не вредна!»
А он в ответ: «Ох, если бы одна!»
Мы от одной до девяти добрались.
У доктора мозги перемешались.
«Беда мне пить порядком круговым:
Лег трезвым спать я, встал же — пьяным в дым!»

ГОСПОЖЕ

Свое ты имя, госпожа, находишь
В моих произведеньях многократно,
Понеже мне твердить его приятно,
Чтоб люди знали: всех ты превосходишь.

Когда б тебе я статую поставил
(Достойную красы твоей и нрава)
Из злата или мрамора, то, право,
Тебе бы крепче славы не прибавил.

Египетские стогны, мавзолеи
Все ж не бессмертны; коль огонь и воды
Им нипочем, то все же их сильнее
Власть времени, ревнующие годы.

И слава в слове лишь не умирает,
Лет не боится, пропаду не знает.

О ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

О Мысль Извечная, котора древле века,
Коль трогают тебя волненья человека —
То сущей масленицей мир тебе сей мнится,
Где каждый задарма мечтает угоститься.
Ведь что ты там ни кинь, а мы, как малы дети,
Готовы в драку лезть, чтоб вздором завладети.
Базар! Без рукавов останутся тут шубы,
Тот шапки не найдет, другой лишится чуба,
Кому не пофартит, кого и смерть с любою
Добычей разлучит... Достоин ли с тобою
Смотреть на сей спектакль, не знаю я, Создатель,
Но не участник я сих драк, а наблюдатель!

О ПРОПОВЕДНИКЕ

Однажды у ксендза спросили прихожане:
— Что ж не живете так, как учите вы, пане? —
(С кухаркою он жил.) А он в ответ смеется:
— Не диво! Мне пятьсот за проповедь дается,
Но, говорю, не взял бы даже вдвое боле
С условьем жить вот так, как я учу в костеле.

НА ЛИПУ

Мудрый гость, коль в самом деле ты доволен мною,
Если под моею сенью спасся ты от зноя,
Если на коленях лютня, а с тобою рядом
Жбан на льду, что столь приятным одаряет хладом,—
Ни вином меня, ни маслом не дари за это —
Древесам лишь дождь небесный нужен в знойно лето,—

А почти стихом хвалебным, нету дара слаще
Нам, пусть будем хоть бесплодны, хоть плодоносящи.
Те ж, кто думают: «Что липам до стихов?» — не правы,
Ибо, коль Орфей играет, пляшут и дубравы!

КСЕНДЗУ

Всегда пишу я так, как и живу,— свободно.
Пусть ритм мой часто пьян, ведь сам я пью охотно.
Люблю беседовать, и шутка мне приятна;
О женском чепчике писал неоднократно.
Умеренности, ксендз, ты учишь, лицемерью
Меня, а кроешь сам нечистого за дверью.

ДЕВКЕ

Не чурайся меня, девка молодая,
Подходяща борода моя седая
К твоему румянцу: коль венок сплетают,
Возле розы часто лилию вплетают.

Не чурайся меня, девка молодая,
Сердцем молод я, хоть борода седая,
Хоть она седая, крепок и теперь я,—
Бел чеснок с головки, да зелены перья.

Не чурайся, ведь и ты слыхала тоже,
Чем кот старше, тем и хвост у него тверже.
Дуб хоть высох кое-где, хоть лист и пылен,
А стоит он крепко, корень его силен!

ПЕСНИ

* * *

Сердце радуется: вышли сроки!
Так недавно снег лежал глубокий,
И деревья были вовсе голы,
И по рекам шли возы тяжелы.

А сейчас луга цветут чудесно,
Лед сошел, и веточки древесны
Одеваются зеленым ли́стом,
И ладьи плывут по водам чистым.

Все смеется. Всходы зеленеют,
Ветер западный над ними веет.
Гнезда вить пичуги замышляют,
Поутру проснувшись, распевают.

Тут бы наслаждаться, веселиться,
Никаких желаний не стыдиться
И не знаться с грустью никакою
Человеку с цельною душою.

И ему не надо опьяненья,
Ни игры на лютне и ни пенья.
Будет весел и с водицы, коли
Ощутит, что он почти на воле.

Но уж чье нутро червь тайный точит,
Тот и яств обеденных не хочет.
Не доходит песнь ему до слуха,
Все идет на ветер мимо уха.

Счастие, какого и не знают
Те, кто стены шелком обивают,
Шалашом лесным моим не брезгуй,
Будь со мною, пьяный или трезвый.

* * *

Что ж тут поделаешь: в предчувствии разлуки
Мне так невесело, нейдет и лютня в руки,
И каждый помысел к тебе одной стремится.
Никто не вызволит меня из сей темницы,
Покуда, госпожа, я вновь с тобой не встречусь,
С красавицей, какой не порождала вечность.

Забыв о всех других, я помню лишь прекрасный,
Неповторимый лик, заре подобный ясной,
Что по утрам глядит на море белопенно,
Чтоб мрак ночной сменить рассветом постепенно.
Все мелки звездочки из виду пропадают
И ночи следующей где-то ожидают.

Такой мне видишься. И счастливы дороги,
Что лягут под твои прельстительные ноги.
О, как завидую я вам, леса и горы,
Что роскошью такой вы насладитесь скоро
И голос благостный услышите, и речи,
По коим тосковать я буду издалече.

Мое веселие, любезные забавы!
Лишь только на одно я не теряю права:
Надежду сладкую, скорбя, в душе лелеять.
В надежде человек пахать идет и сеять.
А ты не будь столь зла и не карай столь дико,
Надолго не скрывай прелестнейшего лика!

* * *

Где б ты ни была, храни тебя бог и милуй!
Я буду твоим, покуда не взят могилой.
Так бог мне судил от века; и не жалею,
Ты сотни других прекраснее и милее.

Не только пригожей прочих ты уродилась,
Но нравом своим с красою лица сравнилась;
И как изумруд оправой златой удвоен,
Так отблеск души телесной красы достоин.

Я был бы счастлив, когда бы мог убедиться,
Что тело с душой — не мнимое есть единство;
Но в бурных морях плывем не согласно воле,
А мчимся туда, куда нас уносит море.

Но либо любовь сама себе только снится,
Иль хочешь и ты, чтоб я не мог усомниться.
Надеждой такой живу; а если иное —
Не нужно тогда существованье земное!

* * *

Жгучи солнца лучи, землю в пепел они превратили,
Нет спасенья от пыли,
Реки пересыхают,
Опаленные злаки о дождике к небу взывают.

Дети, флягу — в колодец; стол ставьте под липами теми,
Чтоб хозяйское темя
Защитила прохлада,—
За посадку деревьев в горячее лето награда.

Ты со мной, моя лютня: пусть струн благозвучное пенье
Умеряет смятенье,
Ты звучи, не печалясь,
Чтоб за рдяное море лихие тревоги умчались.

* * *

Вы, государством управляющие люди,
Держащие в руках людское правосудье,
Уполномочены пасти господне стадо,
Вам, пастырям людским, скажу я, помнить надо:

Коль вы на сей земле на место сели божье,
То, сидючи на нем, обязаны вы все же
Не столько о своем заботиться доходе,
Сколь думать обо всем людском несчастном роде.

Над всеми меньшими дана вам власть велика,
Но и над вами есть на небесах владыка,
Которому в делах придется отчитаться,
И будет не весьма легко там оправдаться.

Он взяток не берет, и он не разбирает,
Кто хлоп, а кто себя вельможей почитает,
В сермягу ли одет, во ризы ли парчовы,
Но если виноват — влачить ему оковы!

Мне все же кажется, что с меньшим безрассудством
Грешу: лишь сам себя гублю своим распутством,
А преступления распущенного барства
Губили города, дотла сжигали царства!

* * *

Что от нас ты хочешь, боже, за свои щедроты,
За свои благодеянья, коим нет и счета!
Ты не только во костеле — все полно тобою:
Бездна, море, чисто поле, небо голубое.

Знаю, ты не жаждешь злата — ибо ведь твое лишь
Все, что людям в этом мире счесть своим позволишь.
И от чистого мы сердца чтим тебя, о боже,
Ибо жертвы не найдется для тебя дороже.
Ты, владыка бела света, создал свод небесный
И украсил его звездной росписью чудесной,
И заложил ты фундамент для земли громадный,
Наготу ее прикрывши зеленью нарядной.
Ты повелеваешь морю знать свои границы,
И оно сии пределы перейти страшится.
Рек земных не иссякают мощные потоки,
Ясны дни и темны ночи знают свои сроки,
Следом за весной цветущей колосится поле,
Лето во венце из злаков — по твоей же воле.
Осень нам подносит вина, плод в саду фруктовом,
Чтоб во дни зимы ленивой жить на всем готовом.
Ты ночной росой питаешь травы утомленны,
И дождем ты орошаешь злаки опаленны,
И по милости великой даришь пропитанье
Человеку, как и зверю, щедрой своей дланью.
Будь бессмертен, господин наш, славный бесконечно!
Пусть добро твое и милость не иссякнут вечно,
И пока ты соизволишь, будем мы хранимы,
Боже, на земле сей низкой крыльями твоими!

ТРЕНЫ

* * *

Над очами насилье ты, Смерть, сотворила,
Гибель чада узреть меня приговорила!
Видел, как отрясала ты плод недозревший,
Мать с отцом истомились душой изболевшей.
В каких бы ее лéтах ни взяла могила,
Все равно б мое сердце болело и ныло;
Если б даже и я вошел в возраст преклонный,
Все равно бы страдал болью неутоленной;
А от этой погибели, этой смерти ранней
Нет горя сильнее, нет страшнее страданий.
Если б ты, господи, ей пожелал долголетья,
Сколько счастья на свете успел бы узреть я!

Я бы дожил свой век до черты похоронной
И сумел бы тогда предстать пред Персефоной,
Той тоски не изведав, не испытав той боли,
Коих нету ужасней в сей нашей юдоли.
Не дивлюсь Ниобее, что окаменела,
Когда мертвых детей пред собою узрела.

* * *

Злосчастная одежда, грустные наряды
Возлюбленного чада!
Почто мои взоры вы влечете невольно,
И так тоски довольно.
Она в свою одежду уже не облачится
И к нам не возвратится.
Сон сковал ее вечный, суровый, железный...
Летничек бесполезный,
Материнский подарок, ленточки, поясочки —
Ни к чему моей дочке.
Не на эту постельку, не на смертное ложе
Мать мечтала — о, боже! —
Возвести свою дочку. Шить наряд венчальный,
А дала погребальный,
А дала рубашонку да грубой холстины,
А отец комья глины
Положил в изголовье. Так вместе с приданым
Спит в ларе деревянном.

* * *

Из-за несчастья и горькой печали,
Что меня почти до костей пробрали,
Должен расстаться я с рифмой и лютней —
Чуть не с жизнью утлой.

Жив я? Или сон блажит надо мною,
Сон, что сквозь окно вошел костяное,
Разностью разной занять мысли хочет,
Наяву морочит.

О, заблужденье! Гордыни нелепость!
Легко почитать рассудок за крепость,
Если мир тебе мил, дела твои гладки,
    Голова в порядке.

Кто в достатке живет — бедность превозносит,
Тот, кто счастлив, легко печаль переносит,
И пока у пряхи хватает шерсти,
    Не страшится смерти.

А если беда стучится в ворота,
Тут уж никому терпеть неохота.
А явится смерть в саване зловещем,
    Тут мы трепещем.

Зачем, Цицерон, слезами своими
Изгнанье омыл? Ты плачешь о Риме,
А мудрость твоя дарует отраду
    Вселенскому граду.

По дочери ты зачем убивался?
Ведь ты одного бесчестья боялся,
Мол, прочее все тебя не тревожит,
    Что случится может.

Сказал: смерть страшна одним лишь бесчестным,
А сам дрожал пред убийцей безвестным,
Как только пришлось за слово прямое
    Платить головою.

Докажешь другим — себе не докажешь,
Поступишь совсем иначе, чем скажешь,
Рассудок с душой в извечном раздоре,
    Когда грянет горе.

Душа не гранит. Меняются думы,
Когда повернется колесо Фортуны.
Проклятье ему! Ведь старая рана
    Болит непрестанно!

О время, отец покоя, забвенья!
Когда уже и мне пошлешь исцеленье!
В беде, где разум исцелить не может,
    И бог не поможет.

О КРАТКОСТИ И ШАТКОСТИ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НА СВЕТЕ

Эгей, как время крутит по-над нами
И небеса, и быстрого Титана.
И тщетну радость оборвет нежданно
Смерть, нас достигнув тяжкими шагами.

А я чем дале, тем сильней тенями
Грехов измучен, кои невозбранно
Мне гложут сердце — и несносна рана,
И удручен я дней былых страстями.

О, мощь! О, роскошь! О, плоды усердья!
Пускай нелишни — все-таки мешают
И нас, беспечных, божья милосердья

(Суть истинного счастия) лишают.
Пустой прибыток! Приобрел стократно
Познавший смладу, что́ душе отвратно.

О НЕПРОЧНОСТИ ЛЮБВИ К ВЕЩАМ МИРА СЕГО

Не полюбить — беда, любить, однако,
Невелика утеха, хоть и смладу
Прикрасит разум сладкую приваду,
И переменчиву и бренну одинако.

Ну кто вкусить горазд приятство всяко:
Скиптр, злато, почести, любви усладу,
Дородство облика, коль нету сладу
С тревогами и сердце бьет инако?

Любовь есть бытованья ход бегущий,
Но тело — четырех начал творенье —
Начаток превозносит равносущий

И душу мнит прельстить, а та в смятенье,
Когда Тебя, творца в предвечном Слове,
Не может зреть, к Тебе стремясь в любови.

О МИРОПРАВЛЕНИИ БОЖЬЕМ

Вековечная мудрость, боже непостижный,
Движущий мирозданье, сам же несодвижный,
Ангелов ты скликаешь бессчетные рати.
Дабы с волей своею сонмы сочетати.

Твердям вспять поворотным ты указал движенье,
Дабы им в сообразном быть от века круженье;
Здесь Титаново небо созвездья выводит,
Там и Цинтия роги на взлобье возводит.

Пребывают в согласье стихии небесны,
И не диво — ты дал им законы чудесны,
Чтобы не преступали сей воли предвечной;
Ты ж в доброте и доброй воле бесконечный.

Прах твоего подножья, для чего вольны мы
Твоих не чтить законов, кои нам вестимы,
То лишь предпочитая, что тщета и гибель?
Ты разум дал нам,— что же нас минует прибыль?

Не дай, обрушив громы, как в древние лета,
В испытаньях узнать нам, что хочешь завета.
Уйми ты алчность нашу, коей нету меры,
И мы в святой отчизне возжжем пламень веры.

О ШЛЯХЕТСКОЙ ДОБРОДЕТЕЛИ

Знатные от знатных суть происходят,
Славен конь кровями, не производит
Грозна орлица голубят пугливых,
Зайцу от львов не родиться гневливых.

Также шляхетность знатный умножает
Тем, что всемерно сердце утверждает
В разных науках, а не будь ученья,
Много средь знатных было б удрученья.

Доблестный Рим над сыном посмеялся
Отца, чьей силы в битвах убоялся
Сам Ганнибал, побросавший в поспехе
Отческий край и победны доспехи.

Но не лишен был похвал меж богами
Храбрый Алкид, порожденный громами
Грозного Зевса, желал он труждeньем
Славен быть боле, чем знатным рожденьем.

Сколько чудовищ на земле ни было —
Всех богатырска одолела сила.
Тем он и славен и прославлен будет,
Доблестей оных свет не позабудет.

В славном рожденье лишь дорога к славе,
Славы ж — нисколько, потому не вправе
К низким забавам знатный стремиться,
Не гербом — делом надобно тщиться.

Те же пребудут вечно достославны,
Кто блюл в покое устои державны;
Чтится молвою границ охранитель
И с вероломным соседом воитель.

РАЗУМ ЧЕЛОВЕКУ СОКРОВИЩ ВАЖНЕЕ

Злато на пробном камне, человек на злате
Отродясь проверялся, добродетель кстати
Не малит и не множит металл благородный,
Кому господь дал разум, тот всегда свободный.

Тот несытую алчность и страх изгнал гадкий,
В скудости не возропщет, не прячет в укладки,
Без смысла не потратит, не копит завзято,
Дороже ли, дешевле — с умом ценит злато.

И словами и делом указал нам здраво
Твой внук, Иессей, что лишки — лишняя отрава.
И с тем, кому их не дал, милосердней вышний,
Чем с тем, кто пребывает в роскоши излишней.

Бедный, коли захочет, найдет утешенье,
Удачливым труднее не впасть в искушенье;
И пагубу беспечно, коль сладка, полюбят,
И то почтут здоровым, что скорее сгубит.

В счастье, да и в несчастье, преуспеть не жажду;
Того почту счастливым, кто утеху кажду
В тебе, господи, ищет с великой охотой
И для тебя себя же обойдет заботой.

ЭПИТАФИЯ РИМУ

Ты Рим узреть средь Рима хочешь, пилигриме,
А между тем проходишь мимо Рима в Риме.
Гляди — вот стены града, вот руины зданий,
Там столпов обломки, а там стогны ристаний.
Се Рим! И город этот в могильном обличье
Все еще возвещает о прежнем величье.
Сей град, мир победивши, поверг и себя же,
Не мог непобедимых он представить даже.
И в Риме побежденном Рим непобежденный
(Тело в собственной тени) лежит погребенный.
Все вкруг переменилось, неизменен сущий
Тибер, вперемешку воды с песком несущий.
Вот она, Фортуна; то с годами распалось,
Что недвижно было, что подвижно — осталось.

СЕТОВАНИЯ НА СМЕРТЬ ЯНА КОХАНОВСКОГО

Плачьте, славянски реки, деревья зеленоволосы,
Плачьте, сарматски земли,— все-то пени и слезы
У меня поиссякли, и глухие рыданья
Дух и силу забрали, и удел мой — стенанья.

Извели причитанья слов прибыток богатый,
Слезы съедены плачем, и, тоскою объятый,
Изубожился разум, расточил, не иначе,
Перлы слез неутешных в нескончаемом плаче.

Вы, земли порожденья, низовые травинки,
Пчелки скупой привада — расписные барвинки,
Соки лугов приятны, где плывет без помехи
Беловодная Висла по угодьям Сецехи.

Плачьте, господи, травы, плачьте же, земнородны,
Плачьте в горах и долах, плачьте, растенья водны;
Зацветай, Гиацинт, печальней, чем в первы лета,
И печальные знаки вновь читай на себе ты.

Лес дремучий и в поле вы, еще молодые
Рощи, и все пустые, вовсе необжитые
Пущи, от Каританских верховин и до брега
Полнощи, где недвижно море от льда и снега.

И предел, Меотида илистая в котором
Влагу приводит к Понту Киммерийским Босфором,
И тот, где Океана одичавшие воды
Отделяют от Ляха западные народы.

Плачьте, полей прозрачных илистые покровы,
Темнохвойные ели, вековые дубровы,
Плачьте, слезливы сосны, не жалейте живицы,
Пусть слезою точится из мертвой глазницы.

Пусть и твоя, Алфей, знает о том Аретуза,
Знают пусть Сиракузы и Дорийская Муза,
Что умер, умер Орфеус, чадо польского лона,
Похоронили Ляхи славянского Амфиона.

Умер Ян Кохановский, Кохановский милый,
Если смертью зовется, коль из темной могилы
Сам Зевес человека земного призывает
И в пиру Олимпийском меж бессмертных сажает.

Но не надо б навечно, ибо чем эти боги
Особливым владеют в поднебесном чертоге?
Глупо нам, человекам, о таком сокрушаться
И на те благодати на земле покушаться.

Уж с тобою, Орфей наш, кончились добры годы,
Когда рощи пускались за тобой в хороводы.
Песни поют глухие неутешной подруге,
Недопетые песни благодарны округи.

Знать, и нынче, пируя между жителей неба,
Всласть поет Кохановский, и питья ему Геба,
Как и прочим, подносит бессмертного в чаше,
Но не снисходится пенье в обиталище наше.

Уж и скалы высоки песнетворцу не внемлют,
Уж леса пробуждающей лютни не емлют,
Уж, нема и печальна, без клика и спеха,
Меж теснины укрылась звукодельная Эхо.

ИЗ ИДИЛЛИИ «ЖНИЦЫ»

Отрывок

Петроха:

Солнышко, светик ясный, дня ласково око!
В старостовых привычках не видишь ты прока.
День ко дню ты сбираешь до круглого года;
Мы же все ему сделай с одного захода.
Часом ты припекаешь, часом ветерочку
Веять повелеваешь жарким дням в отсрочку;
А он: «Жни, не ленися!» — кричит, хоть и знает,
Что со жницы работа семь потов сгоняет.
Нет, староста, не будешь ты солнышком в небе!
Знаем твою докуку, ино в той потребе
Мы тебе не услужим, а чтим службу эту,
Тут хотение важно, его же и нету.
Плеткой много стегаешь — нет-нет да и свистнет!
Чтоб у тебя свисало, как у плетки виснет.

Староста:

Пожинай, не ленися! Ты небось хотела
Другой отведать плети; все б не делать дела!
А ты попробуй эту! То-то будет смеху!
Живее управляйся! Мало вижу спеху.

Петроха:

Солнышко, светик ясный, дня ласково око!
В старостовых привычках не видишь ты прока.
Часом темные тучки тебя заслоняют,
Только их легкий ветер быстро разгоняет;

А старосте и в очи глядеть неохота —
Вечно-то он нахмурен и зол отчего-то.
Ты на зорьке росою землю оделяешь
И обильной росою к ночи одаряешь;
Нам же с зорьки до зорьки пост голодный сужен,
Завтрака не снедаем, не льстимся на ужин.
Ты солнышком высоким, староста, не будешь,
Ни вдовки, ни девицы в жены не добудешь.
Всюду тебя ославим, всюду, за побои,
Бабу за обиды, бабу сведем с тобою,
Бабу в четыре зуба. Вот будет потешно
Видеть, как вы сидите друг с дружкой нежно.
А уж коль поцелует тебя эта баба,
Вроде бы как оближет шершавая жаба.

Олюхна:

Счастье, что не слыхал он твою прибаутку,
Ино бы получила красную обутку
Иль спину полосату за то величанье;
Слышь, каково Марушке чинит привечанье!
Она ж слаба, бедняга, третьеводни встала;
Ей бы лежать, а пани жать ее послала:
«Нечего, мол, валяться, поспевай, затрепа!»
Разве же наши баре берегут холопа!
Гляди, ведь озверел он: голову закрыла,
До крови полосует, нечистая сила.
Видать, не то сболтнула. На язык востра-то!
А много наболтаешь — тут тебе и плата.
Язык брехливый нужно б держать за зубами.
Неча с ним заводиться, хоть и шутит с нами —
Господска шутка быстро злобой обернется;
Ты ему полсловечка — он за плеть берется.

НА АЛЧНЫХ

Перестал я жизни этой вовсе удивляться,
Как мне, скудному, при алчных нынче напитаться?
Богачи шинки содержат, богачи мозгуют,
Богачи, как перекупки, крупами торгуют.
Можно видеть и шляхтянку с меркой на базаре,
То-то в город зачастила с кухаркою в паре.
Масло ложками базарит, горшочками пахту,
Домодельный сыр поштучно — панночке на плахту.
Пива на дворе наварят да накурят водки,
Не заплатишь, сколь запросят, не промочишь глотки.
Бедняку, как ни вертись он, дали на орехи,
А на хлеб вот не досталось — алчные в успехе.
Стежки даже распахали, выгоны, полянки,
Перепашут и дороги под свои делянки.
Уж от жадности от ихней просто спасу нету,
Просто видеть невозможно ненасытность эту.
Черта вам еще! Хоть жизнью хвалитесь вы сытной,
Да зато не отберете нищеты постыдной.
И всего-то вам не вдоволь, все-то вы с долгами,
Отобрали хлеб у бедных, а без хлеба сами.

ТАНЕЦ

«Ты лужок мой выкосить не зарься,
Хоть моли, хоть в ножки мне ударься;
Я его в косьбу другому прочу,
Обещалась — вот и не морочу.

Уж ходил он, уж меня просил он,
Мол, не дам ли, чтобы покосил он.
Как не дать, когда учтиво просят,
Пусть его разок себе покосит.

Складно, знать, его прошенье было —
Я сенца тогда и посулила,
Пусть конечка попасет досыта,
Чтоб в дороге не волок копыта.

Только, малый, обходись с опаской
С тем конечком на дорожке тряской;
Этот сивка, коль ему потрафят,
Напроказит и траву потравит.

Шел бы в кузню да свою бы косу
Поскорее ладил бы к покосу,
Закалилась чтоб да затвердела,—
Что, как вовсе не сгодится в дело?

Я ж давно забыла и бояться,
Что лужку дадут перестояться,
Еще вербы не пускали почку —
Примерялись косари к лужочку».

Он в ответ: «Позволила б хоть раз-то,
А косить коса моя горазда.
И не только травку-то положит,
Но небось пронять до сердца может».

«Ладно, парень, приходи в садочек,
Будет вёдро — выкосишь лужочек.
Только помни, раз уж напросился,
Не ленись, мол, «хватит, накосился».

ПЕСНЯ

«Ой же, ой же, кузнецова дочка,
Дай полтину — выпью пива бочку».
«Дам полтину,
Дам полтину
Милому дружочку».

«Ой же, ой же, девка белолица,
Дай веночек — вдруг да мне сгодится».
«Может, дам,
Может, дам,
Честная девица».

«Ой же, ой же, я не набиваюсь,
Я твоих посул не добиваюсь».
«Посулю,
Посулю,
Я дарю, кого люблю».

«Ой же, ой же, было дело, было,
Ты меня, случалось, и дарила.
Будь моей,
Будь моей,
Ты ж меня любила».

«Ой же, ой же, в пору ты явился,
Ты один со мною и любился.
Я твоя,
Я твоя,
Ты мне полюбился».

«Ой же, ой же, кузнецова девка,
Попаси-ка моего ты сивку».
«Попасу,
Попасу
И себя не упасу».

ЖАЛОБА КРЕСТЬЯН НА ХУДЫЕ ГОДЫ

Ой, куда деться в эти злые лета,
Не конец ли света?
С голоду просто чуть ли не колею,
Гроша не имею.
Сплю на рогоже, ем, что в снедь негоже,
Господи боже!
Мы ведь костелы с отцом сооружали,
Слуг содержали.
Я ведь платил прелатам десятину,
Ем вот мякину.

Я ж напитал и короля со свитой
    Податью сытой.
Я порадел для барского достатка
    Всем без остатка.
Я накормил ярыгу городского —
    Мастерового.
Я школяру да побирушке нищей
    Доставил пищи.
Сам нынче нищий и душой болею,
    То-то околею.
Нет мне защиты, нету мне спасенья
    От притесненья.
Вон и жолнéр коня пасет в амбаре —
    Тоже ведь баре!
В будни на пана, в праздник на общину
    Гнуть надо спину.
Без десятины и в костел не ступишь.
    Грех не искупишь.
Тело тощает, волоса редеют
. . . .
Спать разучился, сон нейдет на очи
    До полуночи.
Волка боюся — все из-за коровы,
    Вот и конь соловый
Не остерегся, дьявола прохлопал,
    Тот его и слопал.
Тут еще сорной заросло травою
    Жито яровое.
Я в поле робить, а школяр харчиться
    К женке стучится.
В дом ворочуся, а в дому ни крошки,
    Чистые плошки.
Скрыня пустая, тоже и кладовка;
    А жена-мотовка
И говорит мне: «Поснедали дети».
    Сколько ж терпети?
Вся и надежда, что на божье чудо,
    Очень уж худо!

ГОЛЛАНДИЯ

* * *

И свежи и чисты черты моей любимой,
Она, как вешний цвет, с Олимпа низошла
И свет златых волос на землю принесла
И бронзовых бровей излом неповторимый.

И взор ее (в душе столь бережно хранимый),
Как солнце, не таил ни горести, ни зла.
И ложь любую мог испепелить дотла
Ее прелестных уст пожар неугасимый.

О чем еще сказать? Она столь хороша,
Божественный восторг дарит ее душа,
Она прелестнее и радостней денницы...

Но я отвергнул все — я с тягостным трудом
Листаю медленно за томом новый том,
Где красота ее впечатана в страницы.

* * *

Я нимфу видел в светлые года:
Веселая, среди цветов стояла
Она одна у чистых вод канала,—
Покинув дом, пришла она сюда.

Нарциссами вспоенная вода
Все многоцветье луга отражала:
Расшитое цветами покрывало
С тем лугом не сравнится никогда.

В цветах стояла нимфа, словно Флора,
Равна Диане чистотою взора,
Прекрасна — хоть Венерой назови;

За честь и ум сравнимая с Минервой,
С Юноной — небожительницей первой;
И жажду я с тех пор ее любви.

* * *

Я лань увидел в благостной долине,
Вокруг нее шумел веселый лес
(Цвела весна по милости небес),
Она была под стать живой картине.

Она лежала гордо посредине
Лужайки, над ручьем, в тени древес.
Тот непорочный образ не исчез —
В моей душе храню его доныне.

И я за ней последовал с тех пор
И воспеваю золотой убор
Вкруг шеи гордой — в мире нет чудесней.

Я буду весел, доблестен и смел,
Чтобы никто злонравно не посмел
Ее встревожить недостойной песней.

* * *

Когда в апреле раскрывает Флора
Цветенью пышному луга и чащи,
И шлет дары, столь милые для взора,—
Я обращаюсь к ней, животворящей.

Любовь прекрасна — молвил я вначале,
Завидев розу, что должна раскрыться;
Но долго мы потом в саду искали,
Куда сокрылась алая царица.

Да, розы нет — кругом кусты в зеленой
Прозрачной и сверкающей одежде.
Мы только вспоминали удивленно
Ту красоту, что нам сияла прежде.

И я сказал: печалиться не надо,
Что в дни весны свершается утрата,
Что никому не ведома услада
Увянувшего с розой аромата.

Увы, цветок весны увял до срока,
Но повторять готов я неустанно:
В любви благословенной нет порока,
Блажен, кто любит — поздно или рано.

Была — любовь, теперь — воспоминанья.
Конец достойно завершил начало.
Пускай приходят в добрый час желанья,
Чтоб наша жизнь, как роза, не увяла.

ПЕСЕНКА

Серый заяц, озираясь
На лугу, увидеть смог,
Как пустилась наутек,
Влажных трав едва касаясь,
Пара стройных, быстрых ног.
Зря ль девчонка прочь спешила,
Зря ль бежала, что есть сил,
Если Виллема любила,
Если Герхард сзади был?

* * *

Природа, сколько ж сил, сноровки и чутья
Потребовалось, чтоб такое обаянье,
Такую красоту вложить в одно созданье,
Чтоб родилась на свет любимая моя!

Как научилась ты из быстрых слов ручья
Внезапно извлекать ярчайшее сиянье
Возвышенной души, в привычном одеянье
От глаз людских ее величие тая?

Тону в разгадке я той силы неизвестной,
Которая устам с улыбкою небесной
И неземным очам прекраснейшей дана.

Богинею считать ее готов отныне,
Но чудеса творить положено богине,
Она своей рукой снять боль мою должна.

ПЕСЕНКА

Чтобы спрятать в глубине
Любящего сердца горе,
Лебедь белая у моря
Шепчет, жалуясь волне:
Без него тоскливо мне,
Он угрюмее, чем вьюга,
Он холодный, как родник,
Он колючий, как тростник,
Краше он, чем солнце юга.

НОВОРОЖДЕННОМУ

Младенец, юный плод, с утробной тихой дремой
Расставшийся и в жизнь приотворивший дверь,
На радость и отца и матери теперь
В скопление страстей, в дотошный день влекомый,

Тебя уже нашел твой жребий незнакомый,
И от него не раз узнаешь ты, поверь,
Что зла нет без добра, нет счастья без потерь,
Что страх навеки слит с надеждою искомой.

Но если чересчур жестоким будет рок,
Пусть вопреки ему наш милосердный бог
От смертоносных стрел тебя хранит надежно,

А если ты судьбе все время будешь мил,
То сколько б от нее даров ни получил,
Благодари за все и трать их осторожно.

* * *

Когда всемирный свет слепому от рожденья
Вдруг зренье подарил, слепой был потрясен.
Игру тонов и форм открыл впервые он
И, восприняв их ритм, застыл от возбужденья.

Возникли перед ним дворцов нагроможденья:
Могущество людей в величии колонн.
Но более всего он солнцем был пленен.
Уста молчали — дух кричал от наслажденья.

Электра, так и ты, мне душу озарив,
Тепло своей души ей щедро подарив,
Вернула то, чего меня судьба лишила.

И сердце жаждало, мою покинув грудь,
Ниц пасть перед тобой, к твоим стопам прильнуть,
Тебе хвалу воздать за все, что ты свершила.

* * *

Стремительный старик, покоя никогда
Не знающий, вперед летящий, словно птица,
Что скоростью с тобой попробует сравниться?
Ты ветер обогнать способен без труда.

О время, твой полет сметает города,
Престолы и дворцы, державы и границы;
Ты разрушаешь все, что прочностью гордится.
Зачем же для меня ты медлишь иногда?

Любимая, теперь, когда ты не со мною,
Пугает каждый день меня своей длиною,
Медлительность его едва-едва терплю.

Но время зря, увы, я все же погоняю,
И, вероятно, день тем больше удлиняю,
Чем больше я его, страдая, тороплю.

* * *

Юноша: Галатея, даль уже светла.
Галатея: Ах, не надо торопиться,
Ночь все длится.
Ах, не надо торопиться, то луна взошла.
Юноша: Галатея, это солнца свет.
Галатея: Разве утро наступило?
Двух не било.
Разве утро наступило? Двух еще ведь нет.

Юноша: Галатея, на небо смотри.
Галатея: Прав ты, милый, очевидно.
Как обидно!
Прав ты, милый. Очевидно, это свет зари.
Если б ночь до вечера продлить!
Чтобы нас не разлучало
Дня начало,
Чтобы не могло начало дня нас разлучить.
Ну, прощай, пора, любимый мой!
Юноша: Нет, мой свет, без поцелуя
Не уйду я.
Твой последний поцелуй позволь забрать с собой.
Галатея: Ты придешь ли вечером опять?
Юноша: Тише! Мать нам помешает,
Коль узнает.
Но к тебе приду я снова, пусть узнает мать.
Галатея: Мне разжать объятия невмочь!
Юноша: Новый день уже все ближе.
Отпусти же!
Как тебе я благодарен за такую ночь!

ПО ПОВОДУ ОСКВЕРНЕНИЯ МОГИЛЫ ПЕТРАРКИ

Пока Петрарки дух витал за облаками,
Прах гения земля надежно берегла.
Но мстительный болван явился и со зла
Могилу осквернил нечистыми руками.

Послушай, лжегерой с куриными мозгами,
Тебя не ждет отнюдь за подвиги хвала!
Взбесившегося ты напоминал козла,
Который тень пронзить попробовал рогами.

И прах, что с первых дней за духом вслед стремился,
Но двести с лишним лет в сырой земле томился,
За то, дурак, тебя готов благодарить,

Что наконец сумел он выйти из могилы,
Вновь обрести свой дух, ему прибавить силы
И новых лавров блеск Петрарке подарить.

* * *

О время, почему помчалось ты стремглав,
Когда с любимой я обрел все счастье снова?
За что ты обошлось со мною так сурово?
В чем оказался я перед тобой неправ?

Ты, древнее, живешь, увы, не испытав
Той силы, что в себе любви скрывает слово.
Я плакать был готов, по ритму стука злого
Завистливых часов о гневе их узнав.

Ах, мастер, ты часы чинил нам аккуратно.
Но что сломалось в них той ночью,— непонятно.
Они решили бить три раза каждый час.

Когда же срок пришел расстаться нам с любимой,
Замедлили они свой бег неудержимый,
Пробив за целый день едва-едва шесть раз.

* * *

Когда светлейший бог за вожжи золотые
Хватается своей горячею рукой
И, желтый диск достав из глубины морской,
С людей срывает сны, тяжелые, густые,

Когда поля, луга и улицы пустые
Спешит наполнить вновь собою шум людской,
Все радуется дню. И радостью такой
Полны вершины гор и берега крутые.

Но прочим звездам днем на небе места нет.
За свой престиж боясь, их гасит солнца свет,
И ни одна звезда не смеет встретить Феба.
И ты, моя любовь, едва войдя в меня,
Поведала душе о наступленье дня,
Который всех других прогнать способен с неба.

* * *

Люблю, люблю, люблю — звучало в тишине,
Пока любимых губ касался я губами.
Не знаю, как тремя короткими словами
Все мысли спутала любимая во мне,

Которые, увы, пришедшего извне
Значения трех слов не понимали сами.
И то, что в этот миг возникло между нами,
Сумела лишь она расшифровать вполне.

О, сердца моего бесценная награда!
В ее душе моя была укрыться рада.
Но день от поздних звезд очистил небосклон.

И вместе с ними вдруг любовь исчезла тоже.
Но как же могут сны так быть на явь похожи
И как же может явь так походить на сон!

* * *

Сударыня, коль беречь
Рифмованные посланья
Вам негде, без колебанья
Швырните их прямо в печь.

Не страшно, что они снова
Встретятся там с огнем,
Ибо когда-то в нем
Рождалось каждое слово.

ЭПИТАФИЯ

Могиле этой оказала честь Христина Хофт последним сном своим.
Всех больше счастье в жизни заслужив, она всех меньше наслаждалась им.

ПЕСНЯ ПРОЩАНИЯ

Любимая, простимся
В мгновенья перед тягостной разлукой
И к богу обратимся —
Да будет он опорой и порукой.
    Храни, господь,
    Душу и плоть
Той, что люблю я нежно.
    Дай парусу щедро
    Попутного ветра
    В путь безбрежный.

Таинственные воды,
Бушующие с яростию темной,
Прошу, от непогоды
Челнок ее в пути щадите скромный.
    Морская глубь,
    Храни, голубь,
Злой Норд, не шли борея.
    Будь с нею любезна,
    Ревущая бездна
    Зюйдерзее.

На рейде Амстердама
Корабль стоит, других судов угрюмей.
Здесь нет богини храма,
Едва нашлась ей койка в грязном трюме.
    Лишь грязный трюм
    Да мрачный шум
Волны и пены клочья.
    Я в страшной тревоге:
    Смогу ли в дороге
    Ей помочь я?

Пусть солнца блеск полдневный
Косматые громады туч разгонит.
Корабль с моей царевной —
Пусть он в пучине грозной не потонет.
Ах, сердце-лот
В груди скользнет,
Как в море,— в путь опасный.
Рассудка лишаюсь
И не притворяюсь —
Это ясно.

Ты знаешь ведь, ты знаешь,
Как дорога мне, как любима мною.
Зачем ты уезжаешь?
Зачем твое сердечко — ледяное?
Ты кладезь муз,
Твой тонок вкус,
Бесспорна добродетель.
Твое внимание —
Очарование,
Я свидетель.

И ты, кто над волнами
То огненные взоры молний мечешь,
То нежно с кораблями
Играешь и ни в чем им не перечишь,
Царица волн,
Веди сей челн
Туда, где нет ненастья.
Где боги ликуют,
Где людям даруют
Радость, счастье.

И все, что я помыслю,
К тебе перед разлукой обращаясь,—
Всего не перечислю,—
Твоим все это будет, я ручаюсь.
Лишь будь моей
И все сильней
Желай конца разлуки.
Ведь нету на свете,
Чем месяцы эти,
Горшей муки.

МУЖИЦКАЯ ПИРУШКА

Арендт Питер Гейзен, друзья и кумовья
Затеяли пирушку в сторонке от жнивья —
На травке, у ручья.
Кому бутыль, чтоб лечь в ковыль,
А им — нужна бадья.

Арендт Питер Гейзен — на что уж пить мастак —
Знай льет из штофа в шляпу, да не нальет никак,
Чуть стоя на ногах.
Кончать пора, кто пьет с утра,
Лужайка не кабак!

Класьян, Клон и Лентьян — они пьяны давно.
На чистое, ворсистое, форсистое сукно,
Батисты и рядно
(Пусть шьет их швец — пропьет их жнец),
Не глядя, льют вино.

А рядом — деревушка, и проживают там
Веселые ребята: Кес, Тойнис, Франц и Шрам,
И Дирк ван Димердам,
И Симьян Слот, и Ян де Дод,
И Тим, и Баренд Бам.

Девицы из деревни, хоть самая страда,
Заслышав шум гулянки, а ну бегом туда
Без всякого стыда.
И парни враз пустились в пляс,
Крича: «Айда! Айда!»

Тут каша заварилась — аж коромыслом дым!
С штрафного зашатались Дирк, Баренд, Кес и Тим.
Один вопит другим:
— Болит живот! — Хлебни, пройдет.
— Добавим, побратим!

Меж тем девица Тринти и пришлый парень Клон
Решили разобраться: кто тут в кого влюблен?
Она в него иль он?
В густом стогу на берегу
Был спор их разрешен.

Но Арендт Питер Гейзен, пунцов, как маков цвет,
Вдруг выхватил оружье,— да если бы стилет
Иль даже пистолет! —
А то — тесак, и вдарил так,
Что сам свалился вслед.

Девицы разбежались, вопя что было сил,
И колокол в деревне истошно завопил —
Но Кес уже почил.
«Ах, сучья рать, поймать, догнать,
Поднять на зубья вил!»

«Нет, лучше — за решетку, на дыбу и в щипцы
Убийц и бузотеров,— решили мудрецы.—
А кто отдал концы,
Запишет тех, коль вышел грех,
Наш пастор в мертвецы».

Так кончилась пирушка — ах, если б лишь одна!
Вино отменно сладко, а кровь-то солона:
Не дремлет сатана!
Хоть сам люблю быть во хмелю
От доброго вина.

РЕЙН

Иоганну Волфарду де Бредероде,
барону де Вианен

Светлейший Рейн, мечта моя,
Тебя хвалой восславлю новой.
С высоких Альп твоя струя
Артерией материковой
Прыжками пролагает путь.
Дунай, твой брат, с тобой простился,
Решил к Востоку повернуть,
А ты — на Север устремился.
Снега, туманы, облака
Вас сотворили за века.

Еще Герцинский лес шумел,
Служа Германии покровом;
Германцам был сужден удел —
Мужать в смирении суровом.
Тобою, Рейн, о господин,
Сам Тибр поставлен на колени,
Когда великий Константин
С далеких рейнских укреплений
Повел под знаменем своим
Войска на развращенный Рим.

И принял ты ярмо Христа,
Твои брега поют осанну.
Вод окрещенных чистота
Бросает вызов Иордану.

Но оказался крест Христов
Неизмеримо легче груза
Высоких цезарских мостов,
И горьких слез под властью Друза,
И вставших над волной твоей
Пятидесяти крепостей.

Ты во Христе неуязвим,
Как злато в пламени горнила.
Пускай бряцаньем боевым
Шум рейнских волн глушил Аттила,
Невинной кровью христиан
Он обагрил твое теченье,
Убийствами и злобой пьян,
Он грабил каждое селенье,—
В огне дымились берега,
Пустели пашни и луга.

Мольбам о мщении творец
Внимал, и твой возвысил жребий.
Сам Карл Великий наконец
От злобных варварских отребий
Сумел очистить берег твой.
Преемник славы Константина,
Он рейнской овладел землей,
Слагая камни воедино,
И создал сад среди теснин
Благочестивый властелин.

О мукомол, о винодел,
О землекоп, градостроитель,
О мастер оружейных дел,
О смелый лоцман и воитель,
Бумагоделатель, молю,
Бумагу дай для этой оды,—
Горжусь тобой и восхвалю
Твои стремительные воды,—
Так лебедь резвый хмелю рад,
Вкушая рейнский виноград.

Как радуга, твоя краса
Цветет светло и горделиво,
И кажется, что небеса
Тускнеют перед ней стыдливо.

Пунцовый, синий, белый цвет
Тяжелых гроздий виноградных —
В них каждый город твой одет
Среди садов и вод прохладных,—
Со всех сторон любой приток
Несет воды тебе глоток.

Вот Майн, холмов лесистых сын,
Вот Мозель, яблоками славный,
Маас, духовный властелин,
Что с Рейном спор ведет, как равный,
И Рур, журчащий в тростниках,
И Неккар, лозами увитый,
И Липпе в низких берегах,
Среди дубрав, под их защитой,—
И сотни рек и ручейков
В венках из трав и васильков.

Стопами ты коснулся гор
Швейцарских, где сыны свободы
Врагам готовы дать отпор;
Ты руки погружаешь в воды
Морские, где стоит оплот
Земли батавов — остров гордый,
Где героический народ
Разбил гостей незваных орды
И плещет Рейнская волна,
Лишь для свободы рождена.

Ты, словно греческий пифон,
В долине завитки раскинув,
Ползешь, и лижешь горный склон,
И пьешь из пенистых кувшинов
Потоки мутных, талых вод.
И пухнет от водянки тело
Твое, и множится твой гнет,
Губя все то, что в поле зрело,—
Ты гложешь камни горных гряд
И дол, где зреет виноград.

Когда-то к Альбиону в дом
Тянулся ты разверстой пастью,
Теперь заплывшею песком;
Но ныне Лек и Эйсел, к счастью,

Убыток вдвое возместив,
Тебя ведут к морским просторам,
И сдержан дамбами разлив,
Чтоб под губительным напором
Растаявших весной снегов
Не вышел ты из берегов.

Река мерцающих светил,
Бегущая во тьме аркада —
Нет, это не роскошный Нил,
Не По — Ломбардии отрада.
Нет, это только Рейн златой,
Где рыбки плещут шаловливо,
И серебристой чешуей
Переливаются игриво,
И по хрустальным небесам
В ночи блуждают здесь и там.

Ты утопить, защекотать
Меня могла, русалка Рейна,
Но как тобой гордится знать
И чтит тебя благоговейно!
Ты странам имена дала,
Ты многих рыцарей сманила,
Свершивших славные дела,
Здесь расцвела их мощь и сила;
Но кровь голландских сыновей
Привычна для твоих очей.

Твоей весной мой стих рожден,
И в боевых играет горнах,—
Пусть я услышу перезвон
Твоих колоколов соборных,
Пусть проскользнет моя ладья,
Пусть повернет на гребне вала,
Пусть Кельном налюбуюсь я,
Пусть в Базеле сойду с причала,
Где навсегда обрел покой
Эразм, расставшийся с землей.

Ты в Шпейере глядишь на суд,
Где тянут кляузники дело,
Под бременем бумажных груд
Сама Фемида поседела.

Но как ты в Бингене ревешь!
Как полнишь в Нидерландах чаши
Вином,— забыты лесть и ложь,
И беззаботны семьи наши.
Мои чернильницы полны
Голубизной твоей волны.

Но горе! Плачу я в беде
И шлю проклятья мерзкой твари —
Церковной злобе и вражде,
Кровавой распре государей:
Сын гидры с тысячью голов,
Убийца, адский отравитель
Сладчайших рейнских берегов —
Погибни! Пусть освободитель
Очистит Рейна берега
От ненавистного врага.

Как гордо рейнский Лек вскипит
У стен Вианена волною,
Когда наследника родит
Супруга Волфарду-герою,
Вождю Нассауских знамен.
Пускай хранит наследник нравы
И честь, достойную времен
Минувших и отцовской славы.
Пусть расцветет, творя добро,
Достойный сын ван Бредеро.

Лелеять будет рейнский Лек,
Покорный нежному влеченью,
Зеленой поросли побег,
Что защитит своею тенью
Мать и прекрасных дочерей.
Так ждут проснувшиеся лозы
Весенних радостных дождей,
И жаждут вешних ливней розы.
Пусть небеса благословят
Ту колыбель и этот сад.

ВИЛЬГЕЛЬМ

Я — княжеского роду,
в Нассау родня моя,
и нашему народу
до гроба верен я.
Я есмь Вильгельм Оранский,
ничем не посрамлен,
и мной король Испанский
всегда бывал почтен.

За то, что я стремился
во страхе Божьем жить,
я родины лишился
и обречен тужить.
Орудием десницы
Господней стану я,
и мне да возвратится
былая власть моя!

Кто долг свой честно правит,
друзья мои в беде,
Господь тех не оставит
в юдоли и нужде.
Молитесь денно-нощно,
дабы меня Господь
поставил силой мощной
гишпанцев обороть.

Отважно шел на рать я,
как воин во строю,
презревши, как и братья,
добро и честь свою.
Адольф мой незабвенный
в сраженье пал тогда
и впредь душой блаженной
ждет Страшного суда.

В моей во родословной
был кесарь, и к тому ж
был избран полюбовно
сей благочестный муж.
Хваля Господне имя,
я страха не знавал.
Деяньями своими
врагов я устрашал.

Средь бранного раздора,
и горя, и невзгод
Ты, Боже, мне опора,
защита и оплот!
И дай слуге Господню,
ведомому Тобой,
низвергнуть в преисподню
тиранство и разбой!

Коль недругов сторицей
шлет на меня судьба,
оборони десницей
смиренного раба,
дабы их злая сила
не овладела мной
и рук не обагрила,
в моей крови честной.

И яко от Саула
бежал пастух Давид,
так я же от разгула
и вражеских обид.
Но Бог его избавил
и горя и беды,
царем его поставил
и власти дал бразды.

Противу силы вражьей
приемлю жребий мой
отважною и княжьей
и чистою душой.
Умру, как за отраду,
за родину свою
и райскую награду
я обрету в бою.

Несть большей мне печали
в моей судьбе лихой,
чем зрить, как истерзали
гишпанцы край родной.
И я не перечислю
злодейских их обид.
Но лишь о том помыслю —
вся кровь во мне кипит.

Собравши рать порану,
я на коня вскочил
и дерзкому тирану
сраженье учинил.
По Маастрихтским окопам
пехота их тряслась,
когда оружным скопом
к ним конница неслась.

И будь Господня воля,
так я бы с тех же пор
изгнал во бранном поле
сей чужеземный мор.
Но все в Господней власти,
и в тот злосчастный час
от вражеской напасти
он не избавил нас.

Как князь, по полю брани
я шел, врагов круша.
Не знала колебаний
горючая душа.
На деле стоя правом,
я Господа молил,
чтоб недругам лукавым
меня он обелил.

Вас горький страх объемлет,
рассеянных овец.
Но знайте, он не дремлет,
ваш пастырь и творец!
Служите же отчизне,
и вас услышит Бог!
Ведь в христианской жизни
победы есть залог.

И, Бога прославляя,
как силу вышних сил,
клянусь — на короля я
хулы не возводил!
Клянусь, что в бранном споре
и в смертной жизни сей
лишь Богу был покорен
по праведности всей!

ПЕСНИ ГЁЗОВ

ДЕСЯТЫЙ ПФЕННИГ

Родимый край, вставай на бой,
Поможет бог борьбе такой,
Погибнут все злодеи.
Богобоязненной рукой
Сорвем веревку с шеи.

Испанцы Вешателя шлют,
И тот, верша неправый суд,
Ярится, как Антихрист.
Он идолов расставил тут
И наши деньги вытряс.

Испанский Вешатель-злодей
Все больше пьет и жрет жирней,
Сживая нас со света.
Бродяги, странники морей,
Отмстим ему за это!

Мамона в храмах воцарен,
Единственный его закон —
Насиловать и грабить.
Десятой доли хочет он,
Чтоб нас еще ослабить.

Десятой долею, подлец,
Он разоряет нас вконец,
Казня еще суровей.
Уже не шерсти от овец —
Пастушьей хочет крови.

Когда могучий свой живот
Деньгами с кровью он набьет,
Страну оставив нищей,—
Опять отправится в поход
И спросит с нас деньжища.

Не больно ль жирно для него
Десятой доли от всего
Просить, десятый пфенниг?
Лишь увеличится скотство
От наших жалких денег.

Страна родная! Каждый грош,
Который втайне соберешь,
Неси не в ларь испанский,
А тем, кого в лесах найдешь,—
Их принц ведет Оранский.

Отдать ли деньги палачам
Иль нашим гордым смельчакам,
Решить давно пора нам.
На битву, гёзы! Счастья вам!
Позор и смерть тиранам!

* * *

Воспрянем и грянем во славу Господню,
Пред битвой молитвой и верой сильны.
Отец всеблагой! Ты порукой сегодня,
Что мы сокрушить супостата должны.

В сраженье и рвенье — отмщение божье,
И чудо повсюду — отрадой для глаз.
Воспрянем из праха! Расправимся с ложью,
Ведь правда за нами и вера за нас!

Серьезно и грозно Испанца мы ждали,
Который, как воры, ворвался в наш дом:
Молитвы умолкли, мечи заблистали —
Изрубим, изрежем и вспять повернем!

Рядами пред нами чужие солдаты,
Доныне гордыней известны своей,
Но праведный меч сокрушит супостата,
Да будь он, проклятый, хоть втрое сильней!

ДАНИЯ

РЫЦАРЬ КАРЛ В ГРОБУ

Рыцарю Карлу неймется.
Он спрашивает мать:
«Как мне юную Кирстин
Из монастыря умчать?»
А розы и лилии благоухали.

«Больным скажись — и в гроб ложись,
обряжен, как мертвец.
Пусть никто не усомнится,
что тебе пришел конец».

Послушался рыцарь Карл.
В постель улегся он.
Был вечером болен, к утру с колоколен
звучал погребальный звон.

Пажи коней седлают,
чтоб в монастырь поспеть.
Покойного рыцаря Карла
везут в монастырь — отпеть.

Въезжает гроб, качаясь,
на монастырский двор.
Встречать его с почетом
выходит сам приор.

«Преставился рыцарь Карл молодой!»
Пажи, пурпур надев,
сегодня ночью над мертвым бдеть
просят прекрасных дев.

Услышала крошка Кирстин
и спрашивает мать:
«Могу я рыцарю Карлу
последний долг отдать?»

«Должна ты пурпур надеть
и на кудри — златой венец.
Да в церкви, у гроба, глядеть надо в оба!
Ведь рыцарь Карл — хитрец».

Три двери дева прошла насквозь.
Огни восковых свечей
у ней расплывались в печальных очах,
и слезы лились из очей.

Вот села она к изголовью,
раскрыв молитвослов.
«Ты был моей любовью,
когда был жив-здоров!»

Стала она в изножье,
льняной подняла покров.
«Ты жизни мне был дороже,
когда был жив-здоров!»

Он ей шепнул чуть слышно:
«Ты слез не лей обо мне!
О маленькая Кирстин,
я здесь по твоей вине!

За стрельчатой оградой
ждут кони в час ночной.
Поскачешь ли, крошка Кирстин,
из монастыря со мной?»

Он выпрыгнул из гроба,
откинув прочь покров.
Он маленькую Кирстин
схватил — и был таков.

Монашки читали каноны
и видели, как он воскрес:
«Должно быть, ангел божий
за девой слетел с небес!»

Монашки читали каноны,
и каждую мучил вопрос:
«Почему этот ангел божий
до сих пор меня не унес?»
А розы и лилии благоухали.

КОРОЛЬ ЭРИК И НАСМЕШНИЦА

Живет спесивая дева
в поместье, к югу от нас.
Ей об руку с парнем бедным
зазорно пуститься в пляс.
Сударыня, ах, удостойте! Снизойдите к просьбе моей!

Ей об руку с парнем бедным
зазорно пуститься в пляс.
Искусно шнуром золотым перевит
у ней рукавов атлас.

Вот Эрик, молодой король,
велит седлать коней:
«Живет насмешница в нашем краю.
Отправимся в гости к ней!»

Вот Эрик, молодой король,
вскочил в танцевальный круг.
Он деву за белую руку взял,
пошел с ней плясать сам-друг.

«Больно жестки руки твои.
Со мной не тебе плясать бы!
Ты вилы сжимал или тын городил
вокруг чужой усадьбы?»

«Пировал я на свадьбе вчера.
Там пытали рыцари силы.
Досталась победа мне самому.
Сжимал я меч, а не вилы!»

«Пировал ты на свадьбе вчера,
в победителях там остался:
на отцовской телеге возил навоз,
самому тебе срам достался!

На одной из штанин — дыра,
одёжа твоя в беспорядке.
Отпустил господин со двора —
то-то скачешь ты без оглядки».

«Найдется ли в окру́ге у вас
швея либо швец толковый —
наряд из пурпура мне скроить
да сшить его нитью шелко́вой?»

«Швею отыщешь в округе у нас,
найдется и швец толковый —
наряд из дерюги тебе скроить
да сшить его ниткой пеньковой».

«Послушай, надменная дева моя,
всей датскою казною,
всем золотом Дании будешь владеть,
если станешь моей женою».

«Все золото Дании хранит
сидящий на датском престоле.
Ступай на чердак, залатай свой башмак,
не то набьешь мозоли!»

Тогда прислужница госпожу,
не мешкая, укорила:
«Ведь это с Эриком, королем,
с насмешкою ты говорила!»

«О, если я с Эриком, королем,
с насмешкою говорила,
то крепко раскаиваюсь теперь
в том, что я натворила!

Липа в саду отца моего
шумит зеленой верхушкой.
Прекрасные девы и рыцари там
встречаются тайно друг с дружкой».

«Липа в саду отца твоего
шумит зеленой верхушкой.
Мошенники и плуты под ней
якшаются тайно друг с дружкой!»
Сударыня, ах, удостойте! Снизойдите к просьбе моей!

ЭСБЕРН СНАРЕ

У переправы, при Медельфáре,
— а лес так зелен вокруг! —
Ивер пил мед с Эсберном Снáре.
Друг другом вовек не надышатся лето и луг.

«Дружище Ивер, стань мне родня:
Сестрицу Кирстин отдай за меня!»

«На что тебе Кирстин? У ней для шнуровки
своих рукавов не хватает сноровки!

Ни шить, ни кроить не научишь ее.
В город она отсылает шитье».

Эсберн отправился тихомолком
в Рибе за пурпурной тканью и шелком.

С покупками он прискакал во всю прыть
и просит Кирстин скроить да сшить.

Брала девица шелк и суконце
и шить садилась при ярком солнце.

На дощатом полу в изобилии
вырезáла розы и лилии.

Двух рыцарей с мечами
нашила она за плечами.

Ладьей на волне штормовой
украсила шов боковой.

По проймам, руки воздев,
танцуют пятнадцать дев.

А на груди — у древа
целуются рыцарь и дева.

«Ну вот наконец и дошила одежду.
Доставить в сохранности — дай бог надежду!»

Поверили слову пажа-мальчугана:
«Обнову берусь довезти без изъяна!»

«За каждый стежок по сукну и шелку,
пальчики девы, что держат иголку,—

пальчики девы спаси Христос!» —
Эсберн Снаре произнес.

«Получит она за шитье в уплату
город Ри́бе с округой богатой

и, в подарок за мастерство,
если угодно,— меня самого!»

«О рыцарь, щедра твоя награда!
— А лес так зелен вокруг! —
Тебя самого девице и надо!»
Друг другом вовек не надышатся лето и луг.

АНГЛИЯ

РОЖДЕНИЕ РОБИН ГУДА

Он был пригожим молодцом,
Когда служить пошел
Пажом усердным в графский дом
За деньги и за стол.

Ему приглянулась хозяйская дочь,
Надежда и гордость отца,
И тайною клятвой они поклялись
Друг друга любить до конца.

Однажды летнею порой,
Когда раскрылся лист,
Шел у влюбленных разговор
Под соловьиный свист.

— О Вилли, тесен мой наряд,
Что прежде был широк,
И вянет-вянет нежный цвет
Моих румяных щек.

Когда узнает мой отец,
Что пояс тесен мне,
Меня запрет он, а тебя
Повесит на стене.

Ты завтра к окну моему приходи
Украдкой на склоне дня.
К тебе с карниза я спущусь,
А ты поймай меня!

Вот солнце встало и зашло,
И ждет он под окном
С той стороны, где свет луны
Не озаряет дом.

Открыла девушка окно,
Ступила на карниз
И с высоты на красный плащ
К нему слетела вниз.

Зеленая чаща приют им дала,
И, прежде чем кончилась ночь,
Прекрасного сына в лесу родила
Под звездами графская дочь.

В тумане утро занялось
Над зеленью дубрав,
Когда от тягостного сна
Очнулся старый граф.

Идет будить он верных слуг
В рассветной тишине.
— Где дочь моя и почему
Не поднялась ко мне?

Тревожно спал я в эту ночь
И видел сон такой:
Бедняжку дочь уносит прочь
Соленый вал морской.

В лесу густом, на дне морском
Или в степном краю
Должны вы мертвой иль живой
Найти мне дочь мою!

Искали они и ночи и дни,
Не зная покоя и сна,
И вот очутились в дремучем лесу,
Где сына качала она.

«Баюшки-бáю, мой милый сынок,
В чаще зеленой усни.
Если бездомным ты будешь, сынок,
Мать и отца не вини!»

Спящего мальчика поднял старик
И ласково стал целовать.
— Я рад бы повесить отца твоего,
Но жаль твою бедную мать.

Из чащи домой я тебя принесу,
И пусть тебя люди зовут
По имени птицы, живущей в лесу,
Пусть так и зовут: Робин Гуд!

———

Иные поют о зеленой траве,
Другие — про белый лен.
А третьи поют про тебя, Робин Гуд,
Не ведая, где ты рожден.

Не в отчем дому, не в родном терему,
Не в горницах цветных,—
В лесу родился Робин Гуд
Под щебет птиц лесных.

РОБИН ГУД
СПАСАЕТ ТРЕХ СТРЕЛКОВ

Двенадцать месяцев в году,
Не веришь — посчитай.
Но всех двенадцати милей
Веселый месяц май.

Шел Робин Гуд, шел в Ноттингэм,—
Весел люд, весел гусь, весел пес...
Стоит старуха на пути,
Вся сморщилась от слез.

— Что нового, старуха? — Сэр,
Злы новости у нас!
Сегодня трем младым стрелкам
Объявлен смертный час.

— Как видно, резали святых
Отцов и церкви жгли?
Прельщали дев? Иль с пьяных глаз
С чужой женой легли?

— Не резали они отцов
Святых, не жгли церквей,
Не крали девушек, и спать
Шел каждый со своей.

— За что, за что же злой шериф
Их на смерть осудил?
— С оленем встретились в лесу...
Лес королевским был.

— Однажды я в твоем дому
Поел, как сам король.
Не плачь, старуха! Дорога
Мне старая хлеб-соль.

Шел Робин Гуд, шел в Ноттингэм,—
Зелен клен, зелен дуб, зелен вяз...
Глядит: в мешках и в узелках
Паломник седовлас.

— Какие новости, старик?
— О сэр, грустнее нет:
Сегодня трех младых стрелков
Казнят во цвете лет.

— Старик, сымай-ка свой наряд,
А сам пойдешь в моем.
Вот сорок шиллингов в ладонь
Чеканным серебром.

— Ваш — мая месяца новей,
Сему же много зим...
О сэр! Нигде и никогда
Не смейтесь над седым!

— Коли не хочешь серебром,
Я золотом готов.
Вот золота тебе кошель,
Чтоб выпить за стрелков!

Надел он шляпу старика,—
Чуть-чуть пониже крыш.
— Хоть ты и выше головы,
А первая слетишь!

И стариков он плащ надел,—
Хвосты да лоскуты.
Видать, его владелец гнал
Советы суеты!

Влез в стариковы он штаны.
— Ну, дед, шутить здоров!
Клянусь душой, что не штаны
На мне, а тень штанов!

Влез в стариковы он чулки.
— Признайся, пилигрим,
Что деды-прадеды твои
В них шли в Иерусалим!

Два башмака надел: один —
Чуть жив, другой — дыряв.
— «Одежда делает господ».
Готов. Неплох я — граф!

Марш, Робин Гуд! Марш в Ноттингэм!
Робин, гип! Робин, гэп! Робин, гоп!..
Вдоль городской стены шериф
Прогуливает зоб.

— О, снизойдите, добрый сэр,
До просьбы уст моих!
Что мне дадите, добрый сэр,
Коль вздерну всех троих?

— Во-первых, три обновки дам
С удалого плеча,
Еще — тринадцать пенсов дам
И званье палача.

Робин, шерифа обежав,
Скок! и на камень — прыг!
— Записывайся в палачи!
Прешустрый ты старик!

— Я век свой не был палачом;
Мечта моих ночей:
Сто виселиц в моем саду —
И все для палачей!

Четыре у меня мешка:
В том солод, в том зерно
Ношу, в том — мясо, в том — муку,—
И все пусты равно.

Но есть еще один мешок:
Гляди — горой раздут!
В нем рог лежит, и этот рог
Вручил мне Робин Гуд.

— Труби, труби, Робинов друг,
Труби в Робинов рог!
Да так, чтоб очи вон из ям,
Чтоб скулы вон из щек!

Был рога первый зов как гром!
И — молнией к нему —
Сто Робин-Гудовых людей
Предстало на холму.

Был следующий зов — то рать
Сзывает Робин Гуд.
Со всех сторон, во весь опор
Мчит Робин-Гудов люд.

— Но кто же вы? — спросил шериф,
Чуть жив.— Отколь взялись?
— Они — мои, а я Робин,
А ты, шериф, молись!

На виселице злой шериф
Висит. Пенька крепка.
Под виселицей, на лужку,
Танцуют три стрелка.

КОРОЛЬ И ПАСТУХ

*

Послушайте повесть
Минувших времен
О доблестном принце
По имени Джон.

Судил он и правил
С дубового трона,
Не ведая правил,
Не зная закона.

Послушайте дальше.
Сосед его близкий
Был архиепископ
Кентерберийский.
Он жил-поживал,
Не нуждаясь ни в чем,
И первым в народе
Прослыл богачом.

Но вот за богатство
И громкую славу
Зовут его в Лондон
На суд и расправу.
Везут его ночью
К стене городской,
Ведут его к башне
Над Темзой-рекой.

*

— Здорово, здорово,
Смиренный аббат,
Получше меня
Ты живешь, говорят.
Ты нашей короне
Лукавый изменник.
Тебя мы лишаем
Поместий и денег!

Взмолился епископ:
— Великий король,
Одно только слово
Сказать мне позволь.
Всевышнему богу
И людям известно,
Что трачу я деньги
Добытые честно!

— Не ври понапрасну,
Плешивый аббат,

Для всякого ясно,
Что ты виноват,
И знай: навсегда
Твоя песенка спета,
Коль на три вопроса
Не дашь мне ответа.

Вопросы такие:
Когда я на троне
Сижу в золотой
Королевской короне,
А справа и слева
Стоит моя знать,—
Какая цена мне,
Ты должен сказать.

Потом разгадай-ка
Загадку другую:
Как скоро всю землю
Объехать могу я.
А в-третьих, сказать
Без запинки изволь:
Что думает
Твой милосердный король?

Тебе на раздумье
Даю две недели,
И столько же будет
Душа в твоем теле.
Подумай, епископ,
Четырнадцать дней,—
Авось на пятнадцатый
Станешь умней!

*

Вот едет епископ,
Рассудком нетверд.
Заехал он в Кембридж,
Потом в Оксенфорд.
Увы, ни один
Богослов и философ
Ему не решил
Королевских вопросов.

Проездил епископ
Одиннадцать дней
И встретил за мельницей
Стадо свиней.
Пастух поклонился
Учтиво и низко
И молвил: — Что слышно,
Хозяин-епископ?

— Печальные вести,
Пастух, у меня:
Гулять мне на свете
Осталось три дня.
Коль на три вопроса
Не дам я ответа,
Вовеки не видеть
Мне белого света!

— Милорд, не печалься.
Бывает и так,
Что умным в беде
Помогает дурак.
Давай-ка мне посох,
Кольцо и сутану.
И я за тебя
Перед троном предстану.

Ты — знатный епископ,
А я — свинопас,
Но в детстве, мне помнится,
Путали нас.
Прости мою дерзость,
Твое преподобье,
Но все говорят,
Что мое ты подобье!

— Мой верный пастух,
Я тебе отдаю
И посох, и рясу,
И митру мою.
Да будет с тобою
Премудрость господня.
Но только смотри
Отправляйся сегодня!

*

Вот прибыл пастух
В королевский дворец.
— Здоро́во, здоро́во,
Смиренный отец,
Тебя во дворце
Я давно поджидаю.
Садись — я загадки
Тебе загадаю.

А ну-ка послушай:
Когда я на троне
Сижу в золотой
Королевской короне,
А справа и слева
Стоит моя знать —
Какая цена мне,
Ты должен сказать!

Пастух королю
Отвечает с поклоном:
— Цены я не знаю
Коронам и тронам.
А сколько ты сто́ишь,
Спроси свою знать,
Которой случалось
Тебя продавать!

Король усмехнулся:
— Вот ловкий пройдоха!
На первый вопрос
Ты ответил неплохо.
Теперь догадайся:
Как скоро верхом
Могу я всю землю
Объехать кругом.

— Чуть солнце взойдет,
Поезжай понемногу
И следом за солнцем
Скачи всю дорогу,
Пока не вернется
Оно в небеса,—

Объедешь ты в двадцать
Четыре часа!

Король засмеялся:
— Неужто так скоро?
С тобой согласиться
Я должен без спора.
Теперь напоследок
Ответить изволь:
Что думает
Твой милосердный король?

— Что ж,— молвил пастух,
Поглядев простовато,—
Ты думаешь, сударь,
Что видишь аббата...

Меж тем пред тобою
Стоит свинопас,
Который аббата
От гибели спас!

КОРОЛЕВА ЭЛИНОР

Королева Британии тяжко больна,
Дни и ночи ее сочтены.
И позвать исповедников просит она
Из родной, из французской страны.

Но пока из Парижа попов привезешь,
Королеве настанет конец...
И король посылает двенадцать вельмож
Лорда-маршала звать во дворец.

Он верхом прискакал к своему королю
И колени склонить поспешил.
— О король, я прощенья, прощенья молю,
Если в чем-нибудь я согрешил!

— Я клянусь тебе жизнью и троном своим:
Если ты виноват предо мной,
Из дворца моего ты уйдешь невредим
И прощенный вернешься домой.

Только плащ францисканца на панцирь надень.
Я оденусь и сам как монах.
Королеву Британии завтрашний день
Исповедовать будем в грехах!

Рано утром король и лорд-маршал тайком
В королевскую церковь пошли,
И кадили вдвоем, и читали псалом,
Зажигая лампад фитили.

А потом повели их в покои дворца,
Где больная лежала в бреду.
С двух сторон подступили к ней два чернеца,
Торопливо крестясь на ходу.

— Вы из Франции оба, святые отцы? —
Прошептала жена короля.
— Королева,— сказали в ответ чернецы,—
Мы сегодня сошли с корабля!

— Если так, я покаюсь пред вами в грехах
И верну себе мир и покой!
— Кайся, кайся! — печально ответил монах.
— Кайся, кайся! — ответил другой.

— Я неверной женою была королю.
Это первый и тягостный грех.
Десять лет я любила и нынче люблю
Лорда-маршала больше, чем всех!

Но сегодня, о боже, покаюсь в грехах,
Ты пред смертью меня не покинь!..
— Кайся, кайся! — сурово ответил монах.
А другой отозвался: — Аминь!

— Зимним вечером ровно три года назад
В этот кубок из хрусталя
Я украдкой за ужином всыпала яд,
Чтобы всласть напоить короля.

Но сегодня, о боже, покаюсь в грехах,
Ты пред смертью меня не покинь!..
— Кайся, кайся! — угрюмо ответил монах.
А другой отозвался: — Аминь!

— Родила я в замужестве двух сыновей,
Старший принц и хорош и пригож,
Ни лицом, ни умом, ни отвагой своей
На урода отца не похож.

А другой мой малютка плешив, как отец,
Косоглаз, косолап, кривоног!..
— Замолчи! — закричал косоглазый чернец.
Видно, больше терпеть он не мог.

Отшвырнул он распятье, и, сбросивши с плеч
Францисканский суровый наряд,
Он предстал перед ней, опираясь на меч,
Весь в доспехах, от шеи до пят.

И другому аббату он тихо сказал:
— Будь, отец, благодарен судьбе!
Если б клятвой себя я вчера не связал,
Ты бы нынче висел на столбе!

* * *

Ох, сердце жалкое, вопи от муки,
Кровоточи от смертоносных ран!
Оплакивай свой рок, ломая руки.
Судьба враждебная, крутой тиран,
Тобою мне жестокий жребий дан
Терпеть в тоске и скорби нестерпимой
Молчанье перед нею, пред любимой.

Одна лишь есть, и лишь одна пребудет,
О ком душе моей кровоточить,—
Та, от кого и боль блаженна будет.
И все-таки дозволь, господь, смягчить
Недобрый рок и муки облегчить.
Мне дан судьбою жребий нестерпимый —
Молчанье перед нею, пред любимой.

К МАРДЖЕРИ УЭНТВОРТ

О Марджери, май, медуница,
О мой аромат майорана,
Девичества плащаница
Расшита шелками тумана.

И я не льстец, о нет,
Когда твержу смиренно:
Ты нежный первоцвет,
Ты чистая вербена.

О Марджери, май, медуница,
О мой аромат майорана,
Девичества плащаница
Расшита шелками тумана.

Тиха, кротка, умна,
Невинна, бог свидетель,
Вместила ты одна
Добро и добродетель.

О Марджери, май, медуница,
О мой аромат майорана,
Девичества плащаница
Расшита шелками тумана.

* * *

Ты мнишь: как сон, опасности минуют,
Желаний всех исполнится порыв.
Но берегись, судьба игру двойную
Ведет, в рукав крапленый козырь скрыв,—
Вот так под кожей кроется нарыв.
Безоблачна, помни́л ты, жизнь твоя,
Но берегись, в траве шуршит змея.

* * *

Баю-баю, люли-люли,
Кто проспал, того надули.

«Моя милашка, мой майский цвет,
Позволь прилечь к тебе на грудь».
Она сказала: «Ложись, мой свет,
Лежи в тиши, поспеши уснуть».
Он сонный пустился в любовный путь.
Но взор в тумане и ум туманный,—
Не устерег он своей желанной.

Баю-баю, люли-люли,
Кто проспал, того надули.

И, ласками и сном пленен,
Среди утех, под сладкий смех,
Он позабыл, кто он, где он,
Он позабыл про смертный грех.
Он заплатил за свой успех,
Но не успел — он спал. И что же?
Она, как тать, сбежала с ложа.

Баю-баю, люли-люли,
Кто проспал, того надули.

Вода темна, бурлит река,
Но ей не страшно ступить в поток.
Вброд перешла, нашла дружка,
И крепко обнял ее дружок,
И в ней, замерзшей, огонь разжег.
«А мой,— сказала,— храпит ненаглядный,
В его голове туман непроглядный».

Баю-баю, люли-люли,
Кто проспал, того надули.

Пивной бочонок, ну где твоя страсть?
Который сон, засоня, глядишь?
Ты перепился, проспался всласть,
Глянь, лежебока, один лежишь!
Теперь поплачешь да покричишь.
Ты с ней опозорился, жалкий пьянчужка,
Оставила с носом тебя подружка.

* * *

Охотники, я знаю лань в лесах,
Ее выслеживаю много лет,
Но вожделений ловчего предмет
Мои усилья обращает в прах.
В погоне тягостной мой ум зачах,
Но лань бежит, а я за ней вослед
И задыхаюсь. Мне надежды нет,
И ветра мне не удержать в сетях.
Кто думает поймать ее, сперва
Да внемлет горькой жалобе моей.
Повязка шею обвивает ей,
Где вышиты алмазами слова:

«Не тронь меня, мне Цезарь — господин,
И укротит меня лишь он один».

* * *

Нет мира мне, хоть кончена война.
Страшусь, надеюсь. Я огонь и лед.
Над ветром я, но не по мне полет,
И мой — весь мир, хотя пуста казна.
Моя темница страшная прочна,
В ней нет замков, но затруднен уход —
Ни жить, ни умереть мне не дает,
Хоть повод к смерти подает она.

Смотрю без глаз, кричу без языка,
Я кличу смерть, о здравии молю,
Себя кляну, а не себя люблю,
Мне силы скорбь дает, а боль легка.

И жизнь и смерть постыли мне равно —
Моей отрадой это мне дано.

* * *

Я терплю и терплю, без конца терплю,
Жду прекращенья скорбей и обид,
А мне госпожа моя говорит:
«Назойлив не будь — и печаль утолю».
Я терплю и терплю, ожидание длю,
Но радости миг от меня сокрыт —
И так я терплю, а время летит,
И никак не дождусь я, о чем молю.
Увы мне, терпенья тягостный срок
С муками, скрытыми в каждом дне,
Смертью продленной кажется мне —
Так он мучителен и жесток.

Уж лучше б лишиться надежды враз,
Чем напрасно терпеть, встречая отказ.

ПЕСНИ

* * *

Ты бросишь ли меня?
Скажи, скажи, что нет!
Тебя ль ославит свет
Виной скорбей и бед?
Ты бросишь ли меня?
Скажи, что нет!

Ты бросишь ли меня?
Твоя ль душа тверда?

Богатство иль нужда —
Но я любил всегда.
Ты бросишь ли меня?
Скажи, что нет!

Ты бросишь ли меня?
Хоть рок меня терзал,
Тебя не покидал
Твой преданный вассал.
Ты бросишь ли меня?
Скажи, что нет!

Ты бросишь ли меня?
В душе ко мне тепла
Ужель ты не нашла?
О, до чего ты зла!
Ты бросишь ли меня?
Скажи, что нет!

* * *

«Я тоской томим;
Мне ль счастливым быть,
Беспечно жить,
Подобно другим?»

Так молвил тот,
Кто горя гнет,
Мне встретясь, проклинал;
Тоской сражен,
Слезами он
Рассказ свой прерывал.

«Увы,— он рек,—
Я человек,
Изменою язвим:
Та, что любил,
Кого ценил,
Покорена другим.

Без лишних слов
Я был готов

Отдать всю душу ей,
Я с ней хотел
Делить удел
Благих и тяжких дней.

Но вдруг зефир,
Дохнув на мир,
Ее любовь унес;
Не стало всех
Земных утех,
И лью потоки слез.

О, тяжкий рок!
Я краткий срок
Фортуной взыскан был,
Когда, влюблен,
Забот лишен,
Я время проводил.

Душа грустна:
Ушла она,
Былого не вернуть,
И видно всем,
Что мне затем
Стал тяжек жизни путь.

Мне счастья нет:
Ее обет
Забвенью обречен.
Пускай таким
Словам пустым
Не верит, кто умен.

А если нет —
Пусть мне вослед
Скорбят о доле злой
И песнь мою,
Где слезы лью,
Поют вослед за мной.

Я тоской томим;
Мне ль счастливым быть,
Беспечно жить,
Подобно другим?»

ЭПИГРАММЫ

*

Всему противник, недруг бытия,
Который хладом губит зелень луга,
Вечор заметив, что хвораю я,
Меня решил избавить от недуга.
Я согласился, боли не тая;
Лук со стрелою натянул он туго —
Туда он бил, куда Амур попал,
И глубже первую стрелу вогнал.

*

Посеяв службу верную мою,
Я дал отчаянью сбор урожая.
Под натиском беды я устою,
Но у огня я гибну, замерзая.
От голода я изнурен в раю,
От жажды сохну, где река большая.
Я Тантал, только в худшей я беде:
Кругом друзья, но дружбы нет нигде.

*

О, соколы мои! Любой хорош,
И все не отреклись бы от свободы,
Но в пору бед меня не бросьте все ж,
Как некие друзья людской породы,
Что от меня ползут, как с трупа вошь,
Хотя еще легки мои невзгоды!
Нет, ваши сбруи на кон ставлю я:
Вы мне, как очень мало кто,— друзья.

*

(Писано в тюрьме)

Я вздохами питаюсь, слезы пью,
Мне музыкою служит звон кандальный,
Смрад с духотой уносят жизнь мою,
Лишь честность — мне оплот в судьбе опальной.

Дождь, вёдро ли — на слух я узнаю:
Вот правоте от злобы дар печальный!
Да, Брайан, исцелюсь я наконец,
Но рана все ж оставит мне рубец.

* * *

Я есмь, что я есмь, и пребуду таков,
Но от взоров чужих меня застит покров.
В зле, в добре, на свободе, под гнетом оков
Я есмь, что я есмь, и пребуду таков.

Душа у меня не сгорает в жару,
Честную в жизни веду я игру.
Судите меня — на рожон я не пру,
Но я есмь, что я есмь, и таким я умру.

Не вдаваясь в веселость или в тугу,
И горя и счастья равно я бегу.
Они не отыщут во мне слугу —
Я есмь, что я есмь, быть иным не могу.

Иные разно в своем суде
Толкуют о радости и о беде.
Фальши много — так страсти держу я в узде,
И я есмь, что я есмь, всегда и везде.

И ежели нынче в упадке суд,
Без изъятий пусть все приговоры несут,
Приму я любой, как бы ни был он крут,
Ведь я есмь, что я есмь, хоть меня проклянут.

Тем, кто судит по совести — милость творца,
И пусть покарает он подлеца;
Так судите по чести, не пряча лица —
Я же есмь, что я есмь, и таков до конца.

От тех, кто коварен, отречься спешу,
Зане клеветою отнюдь не грешу,
И милости я у таких не прошу:
Я есмь, что я есмь, и так я пишу.

Молю я тех, кто прочтет сей стих,
Верить правдивости слов простых;
Вовеки я риз не меняю моих,
И я есмь, что я есмь, в переменах любых.

Но, исполнены благом вы или злом,
Прежними будьте в сужденье своем:
Не больше вам ведомо, чем в былом,
И я есмь, что я есмь, при исходе любом.

Не отрекусь я от сказанных слов,
Но тем, кто меня осудить готов,
Я отвечу как видно из сих стихов:
Я есмь, что я есмь, и пребуду таков.

ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ, КОГДА МЕНЯЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ СЕРДЦА ВЛЮБЛЕННОГО

Пришла пора, когда земля цветет:
Зеленым затканы и холм и дол,
В обнове сладко соловей поет,
Гурлящий голубь милую обрел,
Раскован у ручьев журчащих ход,
Олень, рога роняя, бьет о ствол,
В лесную чащу лань линять идет,
У резвой рыбки в серебре камзол,
Змея из выползины прочь ползет,
Стал ласков к легкой ласточке Эол,
Поет пчела, копя по капле мед,
Зима зачахла, всякий злак взошел,

Бежит беда от счастья и щедрот —
И только мне не избежать невзгод!

САРДАНАПАЛ

В дни мира ассирийский царь пятнал
Державный дух развратом и грехом,
А в пору битв не ратный пыл познал,
Любезный славным душам, а разгром.
И ложе блуда щит сменил затем,
Взамен лобзаний он узнал мечи,

Взамен венков душистых — тяжкий шлем,
Взамен пиров — солдатские харчи.
Женоподобный, в леность погружен,
В изнеженности обреченный пасть,
Нестойкий, слабый пред лицом препон,
Когда и честь утратил он и власть

(В довольстве горд, в грозу труслив и хил),
Чтоб в чем-то мужем быть, себя убил.

* * *

Хожу я взад-вперед, надев небрежно плащ,
И вижу, что Эрота лук и меток и разящ.
Любое сердце он заденет без труда
И даже легкой ранки след оставит навсегда.
Наносит много он разнообразных ран:
Тот еле тронут, а иной смятеньем обуян.
Все это вижу я, и более того,
Дивясь, что всяк на свой манер страдает от него.
Я вижу, что иной томится много лет,
Напрасно слушая слова — то «да», а чаще «нет».
Секрет в душе моей замкну я на запор,
Но вижу: дама иногда метнет украдкой взор,
Как будто говоря: «Нет-нет, не уходи»,
Хоть и следа подобных чувств нет у нее в груди.
Тогда я говорю: от счастья он далек,
Когда такой лишь у него целения залог.
Она ж играет им — и это ясно мне,—
Чтоб властью над чужой душой натешиться вполне.
Но ласкова она тогда лишь, как сочтет,
Что бросить он ее готов, не вытерпев невзгод.
Чтоб удержать его, она изменит вид
И улыбнется, будто впрямь объятия сулит.
А если подтвердить ей надо нежный взгляд,
Лишь горечь он и пустоту найдет взамен услад.
Вот козни, бог ты мой! Как восхвалять ее,
Что тешит хитростью такой тщеславие свое?
С другими я почел, смотря на свару их,
Что больше в ней лукавства есть, чем в двадцати других.
Коварна столь она, пока еще юна,—
Что ж будет с ней, когда ее напудрит седина?

МОЛОДОСТЬ И СТАРОСТЬ

В постели я лежал; был тихий час ночной,
Клубился в голове моей бессчетных мыслей рой —
Столь видимы они воочью стали мне,
Что вздох с улыбкой то и знай мешал я в тишине.
Ребенок мне предстал: чтоб розги избежать,
Высоким юношею он скорей мечтает стать,
А юноша, в нужде мечтой иной влеком,
Чтоб жить в покое, жаждет стать богатым стариком,
Богатый же старик, дрожа перед концом,
Быть отроком желает вновь или хотя б юнцом.
И улыбался я, смотря, как всем троим
Отрадно было б свой удел дать на промен с другим,
И, размышляя так, нелепым я нашел,
Чтоб некто горестный удел богатству предпочел.
Но вдруг я увидал, что нехорош мой вид:
Увяла кожа, сеть морщин мне щеки бороздит,
А десны без зубов, врата моих речей,
Так провещали мне тогда в безмолвии ночей:
«Глашатаи годов, седины говорят,
Что время лучшее тебе не воротить назад.
Ты белой бородой похож на старика —
Две первые поры прошли, и третья уж близка.
Так, побежден, цени остаток шалых дней
И время наибольших благ определить сумей».
Вздохнул я и сказал: «Восторг, навек прости!
Сбери суму и всех детей скорее навести,
Скажи им, что у них счастливейшие дни,
Хоть, несмышленые, того не ведают они».

ИЗ ЦИКЛА «АСТРОФИЛ И СТЕЛЛА»

*

Пыл искренней любви я мнил излить стихом,
Чтоб милую развлечь изображеньем бед —
Пускай прочтет, поймет и сжалится потом,
И милость явит мне за жалостью вослед.
Чужие книги я листал за томом том:
Быть может, я мечтал, какой-нибудь поэт,
Мне песнями кропя, как благостным дождем,
Спаленный солнцем мозг, подскажет путь... Но нет!
Мой слог, увы, хромал, от Выдумки далек,
Над Выдумкою бич учения навис,
Постылы были мне сплетенья чуждых строк,
И в муках родовых перо я тщетно грыз,

Не зная, где слова, что вправду хороши...
«Глупец! — был Музы глас.— Глянь в сердце и пиши».

*

Не наобум, не сразу Купидон
Меня неизлечимо поразил:
Он знал, что можно зря не тратить сил —
И все равно я буду покорен.
Увидел я; увлекся, не влюблен;
Но бог коварный раздувал мой пыл,
И наконец уверенно сломил
Слабеющее противленье он.

Когда же нет свободы и следа,
Как московит, рожденный под ярмом,
Я все твержу, что рабство не беда,
И скудным, мне оставшимся умом

Себе внушаю, что всему я рад,
С восторгом приукрашивая ад.

*

Бог Купидон бежал из Греции родной,
Где каменным сердцам злодеев оттоман
Не в силах был стрелой нанесть глубоких ран,
И думал, что у нас он обретет покой.
Но в северной земле, морозной, ледяной,
Где вверг его в озноб и холод и туман,
Он возомнил, что был ему жилищем дан
Лик Стеллы, что горит веселостью живой,
Чья белизна и взор, как солнце на снегу,
В него вселили вмиг надежду на тепло,
И он решил: «Уж тут согреться я смогу!» —
Но от нее, чей хлад его измучил зло,

Мне в сердце он впорхнул, где, бросив уголек
И крылья опалив, вновь полететь не мог.

*

Амура, Зевса, Марса Феб судил —
Кто наделен прекраснейшим гербом?
Орел у Зевса на щите златом —
Он Ганимеда цепко ухватил;
У Марса щит зеленый, и на нем
Меч острый сердце до крови пронзил;
Перчатку Афродиты Марс носил,
А Зевс украсил стрелами шелом.
Амур добился первенства легко,
Едва лик Стеллы на щите вознес,
Где на сребристом поле алость роз.
Феб распахнул свод неба широко

И рек Амуру, что в сравненье с ним
Не зваться рыцарями тем двоим.

*

О Месяц, как бесшумен твой восход!
Как бледен лик твой, как печален он!
Иль даже там, где ясен небосклон,
Упорный лучник стрел не уберет?
В любви немало ведал я невзгод,
И видно мне, что ты, как я, влюблен;
Твой облик — скорби полон, изможден —
Твое родство со мною выдает.
Товарищ по несчастью, молви мне:
Ужели верная любовь глупа,
Ужели даже в горней вышине
Красавиц горделивая толпа

Любимой любит быть и мучит всех,
А добродетель вызывает смех?

*

Приди, о Сон, забвение забот,
Уму приманка, горестям бальзам,
Свобода пленным, злато беднякам,
Судья бесстрастный черни и господ!
От жгучих стрел твой щит меня спасет —
О, воспрепятствуй внутренним боям
И верь, что щедро я тебе воздам,
Когда прервешь междоусобья ход:
Согласен я, чтоб ложе ты унес,
Опочивальню тихую мою,
И тяжесть в веждах, и гирлянды роз;
А если все тебе я отдаю,

Но не идешь ты, как молю о том,—
Лик Стеллы в сердце покажу моем.

*

Уж если ты, дорога, мой Парнас,
А Муза, что иным ушам мила,
Размер подков гремящих предпочла
Мелодиям, исполненным прикрас,
То, словно счастья, я молю сейчас,
Чтоб ты меня к любимой привела —

И наша с Музой прозвучит хвала
Благодарением тебе от нас.
Пусть о тебе заботится народ,
Пусть избежит забвенья даль твоя,
Не знай греха, разбоя и невзгод —
И в знак того, что не завистлив я,

Тебе желаю много сотен лет
Лобзать благоговейно Стеллы след!

*

Разлуки хмурая, глухая ночь
Густою тьмой обволокла мне день —
Ведь очи Стеллы, что несли мне день,
Сокрылись и оставили мне ночь;
И каждый день ждет, чтоб настала ночь,
А ночь в томленье призывает день;
Трудами пыльными замучит день,
Исполнена безгласных страхов ночь;
Вкусил я зло, что дарят день и ночь,
Нет ночи непроглядней, чем мой день,
И дня тревожней, чем такая ночь;
Я знаю все, чем плохи ночь и день:

Вокруг меня зимы чернеет ночь,
И жжет меня палящий летний день.

ИЗ РОМАНА «АРКАДИЯ»

* * *

Ежели мой взор полон красноречья,
И его язык будет ясен милой,
И поймет она мысль мою,— надежда,
    Мы с тобой живы.

Ежели же он в трудную минуту
Не сумеет быть для нее понятным
И презрит она мысль мою,— надежда,
    Оба мертвы мы.

Но и в смертный час воздадим ей честь мы,
Монументом ей сделаем могилы:
Что теряем мы — ей приобретенье,
    Вечная слава.

Ежели средь сфер музыка таится,
Ежели поет лишь пред смертью лебедь,
Ежели родить звуки в силах древо,
    Ставшее лютней,

Ум людской ужель одарен столь скудно,
Что не в силах он с ненавистной Смертью
Возгласить мирам в искреннем обете
    Подданство наше?

Так и ей хвала, не прервясь, прервется:
Наша плоть хрупка, но душа бессмертна,
Ведая любовь; и любовь с душою
    Жизнь съединяет.

И когда мой взор полон красноречья,
И его язык будет ясен милой,
И поймет она мысль мою,— надежда,
    Мы с тобой живы.

* * *

Скажи мне, Разум, будет ли разумно
Противиться, когда идет на приступ
Полк Чистоты, Фортуной оснащенный,
Где грации штандарт подъемлют гордый,
А Красота командует атакой?
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.

Ее власы разметанные — пули,
Движения — разведка, груди — пики,
Ее уста, скрывающие перлы,
Отменно служат полковой казною,
А ноги движут весь прелестный лагерь,—
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.

Ее глаза — орудия, мои же —
При первом залпе рухнувшие стены,
И мозг мой тотчас же взлетел на воздух,
Подорван речью, что пронзает мысли.

Я сам себя ослабил, нет подмоги,—
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.

И слава, чести истинной глашатай,
Устами всех людей вещает ныне,
Что сущего владычица, Природа,
Повелевает всем склонить колена
Перед ее любимицей единой,—
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.

Вздыхая, Разум наконец ответил:
Нет сил у Разума в делах небесных.
Что ж, я сдаюсь тебе, алмаз Природы,
Перл чистый, я и душу сдам и чувства,
Боль сладкая, все сдам, чем обладаю.
Спасайся, Разум! Я служу богине.

* * *

О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Здесь вечно волен разум человеческий
Повиноваться гласу добродетели,
Видна здесь чувствам стройность мироздания,
А мысли постигают суть Создателя.
Тут Созерцания престол единственный:
Безбрежное, крылом надежды поднято,
Оно взлетает к звездам над Природою.
Тебе покорно все и не смутит ничто,
Все мысль рождает (мысль же — всем наукам мать)
А птицы певчие дарят мелодии,
Деревьев сень — тебе защита верная,
И лишь в тебе самом — тебе опасности.

О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Здесь не таится взор змеиный зависти,
Измена не прикинется невинностью,
Льстецы не брызжут скрытою отравою,
Не путаются мненья хитроумием,
Не губит вежливое ростовщичество,
И пустословью не родить невежество;
Нет чванства, нет и долга беспричинного,
Не ослепляют титулы тщеславные,

И раем цепь из золота не кажется.
Здесь кривды нет, здесь клевета — чудовище,
От века поношенья здесь неведомы,
И кто к стволу привил бы ветвь двуличия?

О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Но ежели душа в прелестном облике,
Нежней фиалки и прекрасней лилии,
Стройна, что кедр, и Филомела голосом,
Кому нигде не ведомы опасности,
Мудра, как воплощенье философии,
Добра, как ликованье безыскусности,
Та, что погасит взор змеиный зависти,
Лесть обессилит, клевете уста замкнет —
Когда она возжаждет одиночества,
И взор ее и поступь встретим радостно;
Не повредит она уединению,
Украсит нам она уединение.

* * *

С любимым обменялись мы сердцами:
    Он взял мое и дал свое взамен;
Не может лучшей сделки быть меж нами,
    И нас обоих радует обмен.
С любимым обменялись мы сердцами.

И сердце милого во мне стучит,
    Мое — его умом повелевает;
Мое — теперь ему принадлежит,
    Его — теперь со мною пребывает.
С любимым обменялись мы сердцами.

ДВОЙНАЯ СЕСТИНА

Стрефон:

Вы, боги, что стада ведете в горы,
Вы, нимфы, чей приют — ручьи и долы,
И вы, веселые сатиры в чащах,
Внемлите заунывные напевы,
Что я начну, когда наступит утро,
И все пою, пока не снидет вечер.

Клай:

Меркурий, предвещающий нам вечер,
Диана-дева, чьи владенья — горы,
Прекрасная звезда, чье время — утро,
Пока мой голос оглашает долы,
Внемлите заунывные напевы,
Что Эхо повторяет в диких чащах.

Стрефон:

Я некогда был рад свободе в чащах,
Где тень мне полдень нес, утехи — вечер;
Когда-то славились мои напевы,
А днесь, изгнанник, вознесен я в горы
Отчаянья, сошел к унынью в долы,
И, как сова, я проклинаю утро.

Клай:

Я прежде радовал любое утро,
Охотился в непроходимых чащах
И в пении был вашим гласом, долы,
А ныне мрачен я, мне день — что вечер,
Кротовьи норы круты мне, что горы,
И стоны исторгаю, не напевы.

Стрефон:

И лебединые мои напевы,
Которыми оплакиваю утро,
Давно взлетают, полны смерти, в долы,
Я в мыслях заблудился, словно в чащах,
И всем отрадам наступает вечер,
Достоинство с высот нисходит в долы.

Клай:

Давно все те, кто населяет долы,
Меня молили прекратить напевы,
Что отравляют им и день и вечер;
Ночь ненавижу, ненавижу утро,
Терзают мысли, словно звери в чащах...
Когда б меня похоронили горы!

Стрефон:

И мнится мне, что царственные горы
Обращены в заброшенные долы;

И мнится мне, что совы в темных чащах
Внушают соловьям свои напевы;
И мнится мне, что благостное утро
Превращено в смертельно тихий вечер.

Клай:

И мнится мне: настал дождливый вечер,
Когда рассветом озарились горы;
И мнится мне: когда настанет утро,
Цветы зловоньем наполняют долы;
И мнится мне, коль слышу я напевы,
Что это вопли жертв разбоя в чащах.

Стрефон:

Хотел бы я поджечь деревья в чащах,
Я солнцу шлю проклятья каждый вечер,
Я проклинаю нежные напевы,
Завистник злобный, ненавижу горы
И всей душою презираю долы.
Мне мерзки ночь и вечер, день и утро.

Клай:

Проклятьями я привечаю утро,
Мой огнь грозней бушующего в чащах,
Стал ниже я, чем низменные долы,
Последним я считаю каждый вечер,
К позору моему привыкли горы.
Боюсь: меня с ума сведут напевы.

Стрефон:

Ведь та, что гармоничней, чем напевы,
Та, чья краса слепительней, чем утро,
Та, что величественнее, чем горы,
Та, чей стройнее стан, чем кедры в чащах,
Меня отныне ввергла в вечный вечер:
Двух солнц ее не видят больше долы.

Клай:

Она, в сравненье с кем и Альпы — долы,
Рождающая в небесах напевы,
Она, чей облик солнцем полнил вечер,
Несущая в своем обличье утро,—
Ее теперь не видно больше в чащах,
И запустеньем стали наши горы.

Стрефон:

Нам это горы подтвердят и долы,

Клай:

И в чащах слышны горькие напевы.

Стрефон:

То нам на утро гимн

Клай:

и песнь на вечер.

ФИЛОМЕЛА

Апрель пробудит Филомелу зовом,
И соловьиный глас поет и тужит,
И слышит вся земля в наряде новом,
Как острый шип ей песенником служит,
И льется все звончее
Из трепетной гортани
Песнь скорби и страданий,
Вещая о насильнике Терее.

Узнай, о Филомела, в утешенье:
Переношу я худшее лишенье;
Твой мир цветет, мой — вянет,
Твой шип снаружи, мой — мне сердце ранит.

Одна причина у нее для боли:
Изнемогла она, в плену слабея,
И хрупкой деве недостало воли
Противиться объятиям Терея.
Увы! От злейших пыток
Я непрестанно стражду:
Вотще любви я жажду,
И горше недостаток, чем избыток.

Узнай, о Филомела, в утешенье:
Переношу я худшее лишенье;
Твой мир цветет, мой — вянет,
Твой шип снаружи, мой — мне сердце ранит.

ПАСТУШЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ

Отрывок

Будь, лес глухой, моей свидетель скорби —
Знаком тебе моих рыданий глас;
Вам, птицы, ведом звук моих стенаний —
Ах, не они ль — напевов ваших часть?
Ты, ручеек, мне навевал дремоту
И слез моих бывал нередко полн.

На людях я все больше горем полн,
В градских стенах я умножаю скорби —
В лесной трущобе эха гулкий глас
Созвучней жалобе моих стенаний.
Под кровлей с милой я расстался — часть,
Навек прогнавшая мою дремоту.

Потоком слез я заменил дремоту.
Что мило, то ушло. Я горя полн.
Уместнее мои оплакать скорби
В лесу, где эхо, разливая глас,
Ответит жалобе моих стенаний,
Но ввек не обрести мне даже часть

Былых отрад. Нет, выпала мне часть
Здесь ожидать последнюю дремоту,
Что мне глаза смежит — покоя полн,
С ней не узнаю умноженья скорби.
О птицы злобные, ваш резкий глас,
Вещая смерть, мольбе моих стенаний

Созвучен. Что же до моих стенаний
(Они скорбей не выразят и часть),
Не молкнущих в ночи, когда дремоту
Зовет природа — крик ваш ими полн.
Я ночь отдам стенаньям, день же — скорби.
Поклялся я: их не заглохнет глас.

Но если милой серебристый глас
Я вновь услышу, то взамен стенаний
Я запою, и это будет часть
Мелодий соловья — презрев дремоту,
В ночи напев он льет, истомы полн,
Забыть не в силах о великой скорби.

Ты, чуждый скорби, ночью слыша глас
Моих стенаний, знай страдальца часть —
Прервав дремоту, стань участья полн.

ОКТЯБРЬ

Пирс:

Не стыдно ль, Кадди, никнуть головой,
Когда в медлительное время года
Утех людская требует природа?
Не ты ли пастухов сбирал толпой
Для песнопенья, пляски, хоровода,—
А ныне спишь, и игры спят с тобой.

Кадди:

Я так усердно утомлял свирели,
Что Муза истощила свой запас.
Я все богатства в играх порастряс,
И с чем же оказался я на деле?
Как стрекоза из басни, в зимний час
Я должен дрогнуть в ледяной постели.

Слагал я песни на прелестный лад,
И юноши под них резвились прытко:
Им — щедрый хмель любовного напитка,
Мне — похвалы скупые невпопад.
От их восторга мало мне прибытка:
Я бьюсь о куст, а птицы к ним летят.

Пирс:

Но, Кадди, похвала ценней награды
И слава много выше всякой мзды:
Поверь, что нет счастливее звезды,
Чем буйству юных возводить преграды,
Советом отвращать их от беды
И вдохновенья объяснять отрады.

Настрой свирель на сладостный напев,
И, покорясь, округа молодая
К тебе прильнет, рассудок забывая:
Так укрощал Орфей Плутонов гнев,
Из Тартара подругу вызволяя,
И самый Цербер слушал, присмирев.

Кадди:

Так Аргусовы очи дети славят,
И птица, распуская хвост, горда:
Но за красу павлину никогда
Ни зернышка в кормушку не прибавят.
Что слово? Дым и тает без следа.
Что слава? Ветр и к ветру путь направит.

Пирс:

Певец, оставь пустое шутовство,
Душой из бренной воспари юдоли:
Воспой героев, иже на престоле
Делили с грозным Марсом торжество,
И рыцарей, врага разивших в поле,
Не запятнав доспеха своего.

И Муза, вольно простирая крылья,
Обнимет ими Запад и Восток,
Чтоб ты на гимн благой Элизе мог
Направить вдохновенные усилья
Иль пел медведя, что у милых ног
Дары свои слагает в изобилье.

Когда ж остынет гимнов жаркий звук,
Ты воспоешь блаженство нежной ласки
И будешь вторить мирной сельской пляске
И прославлять хранительный досуг.
Но знай, какие б ни избрал ты краски,
Хвала Элизе и тебе, мой друг.

Кадди:

Да, я слыхал, что римлянин Вергилий
Был Меценатом к Августу введен:
Для бранных песен вмиг оставил он
Смиренный звук пастушеских идиллий.
Поныне отражает небосклон
Набат его легенд и грозных былей.

Увы, Октавиан давно почил,
И Мецената прах оделся глиной:
Не дóлжно ль быть сие певцам причиной
Великих славить, не жалея сил,
Напоминать о доблести старинной
И гнать забвенье от святых могил?

Но днесь к упадку мужество клонится,
И просится геройство на покой,
И рой пиитов жалких вразнобой
Твердит ученым судьям небылицы,
И разум иссыхает, как изгой,
И солнце чести замкнуто в темницу.

И если твой, Поэзия, росток
От корня старого пробьется снова,
Ты потакаешь слуху сквернослова
И поощряешь низость и порок:
Так в поисках признания земного,
Не расцветая, вянет твой цветок.

Пирс:

О Муза, где пребыть тебе по чину?
Когда ты не допущена к дворцу
(А он тебе всех более к лицу),
В служанки ты идешь к простолюдину.
Взмахни крылами, вознесись к Творцу:
В презренном мире нет тебе притину.

Кадди:

Ах, Пирс, не всякой Музе сей удел:
Моей не хватит рвенья, и здоровья,
И дара воспарять от многословья.
Вот Колин бы взлететь не оробел:
Не будь он злою поражен любовью,
То лебедем бы взвился и запел.

Пирс:

Глупец, не от любви ль его усердье
Стремиться дале звезд за горний свод,
Не от любви ль он дерзко предпочтет
Взирать с восторгом в зеркало бессмертья?
Возвышенная страсть зовет в полет,
И низкий ум парит над низкой твердью.

Кадди:

Куда там! Все как раз наоборот:
Всевластная любовь певца тиранит,
И силы гонит прочь, и ум туманит,
И сякнет стих от горестных забот.
Неволя вольной Музе крылья ранит.
Немудрый ткач две ткани сразу ткет.

Тому, кто ищет славы лирным звоном,
Свобода ради грозных слов нужна
С обильем яств и реками вина.
Недаром Бахус дружит с Аполлоном:
Когда в пирах мечта опьянена,
Стихи бегут потоком оживленным.

Ах, Пирс, певцы поют не для забав:
Не знаешь ты терзаний наших бурных.
О, как сменить позор венцов мишурных
На славный плющ и хмель старинных прав,
Чтоб Муза гордо вышла на котурнах,
Себе Беллону в спутницы избрав!

Увы! Нужда мешает песне звонкой:
Угас, не разгоревшись, пламень мой.
Хоть ты, мой друг, утешь певца зимой
И дай приют его свирели тонкой.

Пирс:

Когда стада придут с пастьбы домой,
Получит Кадди лучшего ягненка.

Девиз Кадди:

Agitante calescimus illo etc.[1].

---

[1] Пылаем, увлекаемые им и т. д. *(лат.)*.

ЦАРИЦА ФЕЙ

Отрывки

*

Она внимала повести скорбей,
Стараясь превозмочь свои печали,
Но те от тщанья делались сильней,
И любящее сердце разрывали,
И угли страсти в пламень подсыпали;
Чем чище и возвышенней мечта,
Тем невозможней расставанье с ней.
В очах померкнет мира красота,
Когда в несчастье рыцарь Алого Креста.

Едва в груди страданье утолилось,
Не в силах оставаться взаперти,
Она в скитанья дальние пустилась
По заданному карликом пути,
Чтоб рыцаря любезного найти
Живым иль мертвым; многие кручины
В дождях и бурях должно ей снести.
Так шла она чрез горы и стремнины,
Блуждала по лесам и мерила равнины.

И вот ей повстречался наконец
Достойный рыцарь с юношей-слугою.
Как Фебов ослепительный венец,
Он лил кругом сиянье неземное,
Смущая взоры блещущей бронею.
Закован в латы с головы до ног,
Он был неуязвим на поле боя;
Алмазный пояс стан его облег,
Сверкая, как в ночи святых небес чертог.

Один алмаз меж прочих выделялся
Как средоточье чародейных сил,
Он дивной девы профилем казался,
Горел, как Геспер средь меньших светил,
И слабый взгляд могуществом дивил;
Он острый меч, оправленный ножнами
Слоновой кости, к поясу крепил;
На рукояти золотое пламя
Лизало перламутр витыми языками.

Надменный шлем лучился, позлащен;
Его убранство ужас порождало;
Вцепился в гребень золотой дракон
Несытыми когтями: на забрало
Спадало ядом дышащее жало;
И мнилось, пасть, пылая, пред собой
Столь яростные искры рассыпала,
Что содрогнулся б тотчас всяк живой;
А скользкая спина лоснилась чешуей.

Над гребнем и чудовищем крылатым
Качался многоцветный конский хвост,
Обрызганный внизу зерненым златом
И перлами увитый вперехлест;
Так дерево с цветами ярче звезд
На высотах зеленой Селинии,
Одно дерзнув подняться в полный рост,
Приемлет ветры добрые и злые
И пляшет круглый год, потворствуя стихии.

Округлый щит был кожами укрыт,
Дабы случайно смертный робким глазом
Не увидал разящий этот щит,
Что был сплошным сверкающим алмазом;
Верней защиты не отыщет разум,
Затем что камень тверже, чем металл,
Он ржу и силу отвергает разом;
Он в жарких битвах копья притуплял
И мог крушить мечи о яростный кристалл.

Сей щит не выставлялся против правых,
Но угрожал злокозненным сердцам
И укрощал чудовищ многоглавых
Иль слал отважный вызов небесам,
Где в зыбких высях солнечным лучам
Не вырваться из облачного плена;
Так златокудрый Феб изведал срам,
Равно как среброликая Селена,
Когда на ней волшба наводит пятна тлена.

Но щит не опасался колдовства
Ужасного в заклятьях чародея
Иль оборотня, чья душа мертва;
Зане при взгляде на него, немея,

Камнями становились лиходеи,
А камни прахом, и от праха след
Мгновенно исчезал; и, цепенея,
Глаза гордыни свой природный цвет
Меняли иль вовек не зрели белый свет.

Сей свод чудес достоин чистой веры,
Затем что чудотворный исполин
Являл их слишком многие примеры:
То был славнейший из волхвов — Мерлин,
Что щит и латы принцу мог один
Содеять для воинственной потехи;
Когда ж скончался дивный властелин,
Царица Фей взяла его доспехи:
Кто хочет правду зреть, да узрит без помехи!

*

Суровый ум, чье гордое призванье
Вершить дела царей и судьбы стран,
Презрит мои свободные писанья,
Зане я с неких пор любовью пьян
И не врачую боль сердечных ран,
Но юность подвергаю искушенью
И, воспевая сладостный обман,
Немудро подношу ей в поученье
Не доблести пример, но тлен стихоплетенья.

Да смолкнут те, кто не умел любить:
Их льдистых душ не растопило пламя;
Не им природный чистый жар судить,
Вотще сравняв с нечистыми делами
Восторги, коих не знавали сами.
Любовь есть подвиг, благодать и честь,
Она венчает доблестных венцами
И шлет векам о верных сердцем весть,
Готовых для любви все муки перенесть.

Кто хочет обозреть седую древность,
Отыщет в ней примеры без числа
Тому, как славную к наукам ревность
И огнь, врагов сжигающий дотла,
В мужах любовь благая разожгла.
Об этом в полдень под зеленой сенью

Сократова не раз беседа шла:
Он славил дивной страсти вдохновенье,
И Стоик не нашел ему опроверженья.

Пою не вам, премудрые вожди,
Но лишь моей Монархине священной:
Она вмещает в девственной груди
Щедроты и красы любви нетленной;
Пою богине, порожденной пеной,
Лишь той пою, что любит больше всех,
И больше всех любима во вселенной,
И не почтет стихи мои за грех;
И сын ее меня подвигнет на успех.

Храни к певцу монаршее участье,
Амур жестокий, нежный голубок:
Да облеченная гневливой властью
С престола не осудит как порок
Приволье дум и прихотливый слог;
Но сделай так, чтоб чистой страсти сила,
Пролив с небес амброзии поток,
Ей царственное сердце умягчила
И к сим словам любви вниманье устремила.

*

Итак, пройдя чрез множество преград,
Я прибыл к неким островным пределам,
И простодушный поразился взгляд:
Досель я мнил, блаженство в мире целом
Земным не почитается уделом.
Но здесь я видел всякий дивный плод,
Какой своим рачением умелым
Природа-мать из персти создает,
И умножает труд число ее красот.

Блистали пущи, порослью богаты
От гордых кедров до убогих мхов,
Цветенье рощ точило ароматы,
Равно как пестрый луговой покров
И стройное изящество садов.
И мыслилось, любое притязанье
Сей чудный остров утолить готов,
Любое прихотливое желанье;
Для каждого бы здесь нашлось очарованье.

Казалось, к смертным возвратился рай:
Столь дивное природы совершенство
Украсило роскошный этот край,
Что праведник, вкушающий блаженство
На небесах, избрал бы отщепенство,
Покинув Елисейские поля,
Затем что много больше благоденства
Сулит ему обильная земля,
И вновь бы жаждал жить, свой дух возвеселя.

Здесь кто хотел — в лесах искал прохлады,
Кто к солнцу устремлялся на простор;
Плескались в речках резвые наяды,
В тиши журчал ручьев созвучный хор;
Издалека виднелись кручи гор,
От взоров долы скромно укрывались;
Влюбленные, оставив сладкий спор,
В зеленых лабиринтах забавлялись;
Искусство с естеством друг другу изумлялись.

Здесь ровными рядами вдоль аллей
Росли дерев различные породы,
Приятно красовались меж ветвей
Отдохновительных беседок своды,
К цветущим берегам манили воды;
И всюду тысячи влюбленных пар
Бродили, божеству слагая оды,
И небо принимало их как дар:
Так непорочен был любви их чистый жар.

Они являли пеньем и игрою
Невинного довольства образец;
От них поодаль виделось иное
Согласье верно любящих сердец,
Иной любви возвышенной венец;
Сих добродетель гордая роднила,
Тщете страстей кладущая конец;
Она их души исполняла пыла
И к доблестным делам их думы возносила.

Средь них Геракл и верный Иолай,
Дамон и Пинтий, общие судьбою;
Давид с Ионафаном, отчий край
Отважно защитившие собою;

Тесей, спаситель чести Пирифоя;
С Британиком негордый добрый Тит,
Пилад, Орест и прочие герои,
Кто столь великой дружбой знаменит,
Что даже смерть и та друзей не разлучит.

* * *

С таким коварством золото волос
На ней покрыла сетка золотая,
Что взору вряд ли разрешить вопрос,
Где мертвая краса и где живая.
Но смельчаки глядят, не понимая,
Что глаз бессильный каждого обрек
На то, что сердце чародейка злая
Уловит тотчас в золотой силок.
А посему я зренью дал зарок
Игрой лукавой не пленяться боле,
Иначе, поздно распознав подлог,
Потом вовек не выйти из неволи.
Безумен тот, кто предпочтет взамен
Свободе — плен, хоть золотой, но плен.

* * *

Окончил путь усталый старый год,
Явился новый в утреннем сиянье
И начал мерных дней круговорот,
Сулящий нам покой и процветанье.
Оставим же за новогодней гранью
С ушедшей прочь ненастною порой
Ненастье душ и грешные деянья
И жизни обновим привычный строй.
Тогда веселье щедрою рукой
Отмерит миру мрачному природа
И после бурь подарит нам покой
Под свежей красотою небосвода.
Так и любовь — мы с нею поспешим
От старых бед к восторгам молодым.

* * *

Лесной кукушки радостный рожок
Трикраты возвестил весны явленье,
Напомнив, что вернулся юный бог
И требует от юности служенья.
В ответ кукушке зазвучало пенье
Всей птичьей пробудившейся семьи,
И лес ей эхом вторил в отдаленье,
Как бы поняв, что значит жар в крови.
Лишь та, что паче всех должна любви
Воздать хвалу, осталась безучастна,
Замкнула губы гордые свои —
Певцы весны взывали к ней напрасно.
Любовь, пока ей чужд их нежный зов,
Причти ее к числу своих врагов.

* * *

Как пламень — я, любимая — как лед;
Так что ж я хлад ее не растоплю
И он в жару моем не изойдет,
Но крепнет лишь, чем больше я молю?
И почему я жар не утолю
На том морозе, что в душе у ней,
А все в поту клокочущем киплю
Средь ширящихся яростно огней?
О, всех явлений на земле странней,
Что огнь твердыню льда лишь укрепил,
А лед, морозом скованный сильней,
Чудесно раздувает жгучий пыл.
Да, страсть в высоких душах такова,
Что рушит все законы естества.

* * *

В безбрежном океане звездный луч
Поможет к гавани корабль вести,
Но развернется полог черных туч,
И мореход сбивается с пути.

Я за твоим лучом привык идти,
Но скрылась ты — потерян я, несмел,
Твой прежний свет я жажду обрести,
Гадая, где опасностям предел.
И жду, хоть лютый ураган вскипел,
Что ты, моя Полярная Звезда,
Вновь озаришь сияньем мой удел
И тучи бед разгонишь навсегда.
Пока ж ношусь по волнам без утех,
Тая задумчивость и скорбь от всех.

* * *

Любимая в театре мировом
На все бесстрастно устремляет взгляд.
Участвую в спектакле я любом,
Меняя облики на разный лад.
Найдя на свете повод для отрад,
Я машкеру комедии беру,
Когда же горести отяготят,
Я делаю трагедией игру.
Но, радостный ли, в страстном ли жару
Явлюсь на сцене я — ей все равно:
Я засмеюсь — от строгих глаз замру,
Заплачу — ей становится смешно.
Она, стенай пред нею иль смеши,
Не женщина, а камень без души.

* * *

Лети, Весна, герольд царя страстей,
На чьем гербе нам пышно предстает
Любой цветок, дитя планеты сей,
Во всеоружии своих красот;
Направь к моей возлюбленной полет,
Что дремлет, в зимний сон погружена,
И ей поведай, что восторг не ждет
И что она поймать его должна;
Так пусть готовится служить она

В той нежной свите, где Любовь царит
И каждой, кто останется одна,
Глаза росой отчаянья кропит.
Лови же радости, моя любовь:
Никто былого не воротит вновь.

* * *

Как часто дух мой распрямит крыла,
Желая взмыть к чистейшим небесам,
Но кладь забот вседневных тяжела
И нудит смертного к земным делам.
Когда же явится краса очам,
Подобная сиянию небес,
То счастья выше не изведать нам,
И, глядь, порыв за облака исчез.
Для хрупкой мысли больших нет чудес,
Блаженств и наслаждений не избыть,
Одно влечет, коль мир в душе воскрес:
Как ревностнее милой послужить,
И сердце грезит только об одном —
О счастье райском в бытии земном.

* * *

Я имя милой вздумал написать
На дюнах, но его смела волна.
Его решил я вывести опять,
И вновь прибоем смыло письмена.
«Бесплодны тщания,— рекла она,—
То́ наделить бессмертьем, что умрет!
Уничтоженью я обречена,
И время без следа меня сотрет».
«Нет! — молвил я.— Пусть низших тварей род
Падет во прах — жить будешь ты в молве:
Мой стих тебя навек превознесет,
Напишет имя в горней синеве;
Коль смерть одержит верх над всем живым,
Мы жизнь любовью вечной возродим».

* * *

Теперь, когда я в бурях изнемог,
Изведав этих волн смертельный бег,
Когда преподан мне такой урок,
Что мой корабль — калека из калек,
Я вижу вдалеке желанный брег,
Незыблемый под бременем благим
Всего того, чем счастлив человек,
Того, что звать привык он дорогим.
Блажен, кто был в пути тоской томим
И очутился вдруг в земном раю.
Когда такая радость перед ним,
Забудет он былую боль свою.
В былых страданьях видит краткий миг
Тот, кто блаженства вечного достиг.

IAMBICUM TRIMETRUM

Унылый стих, свидетель моих горестей,
Из мысли скорой крылья сотвори себе,
Лети к Любви моей, где б ни была она:
Простерлась ли, томясь, на ложе тягостном,
Сидит ли, невеселая, за брашнами
Или игрой на вирджинале тешится.
На ложе? Ей скажи, что нет мне отдыха;
За брашнами? Скажи: вкушать не в силах я;
Играет? Ей скажи: нет в звуках счастья мне.
А спросит — почему? Скажи: бессонна страсть,
Неистовая, яствами гнушается,
Печальная, не радуется музыке.
Скажи: ее лишь ласка усыпит меня,
Скажи: ее лишь очи взор насытят мой,
Скажи: ее лишь речь меня возрадует.
Ночь каждую все чахну я без отдыха,
День каждый сохну я без насыщения,
Всегда я умираю без веселия.
И коль зачахну, кто удел оплачет мой?
И коль иссохну, кто конец опишет мой?
И коль умру, кто скажет: жаль Immerito?

ПЕСНЬ САФО

Любовь, я зло твое кляну,
Затем что я в твоем плену;
И сторожат Посул и Страх
Меня, зачахшую в слезах;
И Полночь бархатной рукой
Очам не даст благой покой;
И делят скорбную юдоль
Со мной подруги, Грусть и Боль;
И, чтобы время извести,
Дано мне лишь стихи плести.
Полынь — мой Хлеб, и Желчь — мой Мед,
И День ослеп, и Сон нейдет;
И обнимаю я досель
Одну пустынную постель;
И шутовская кутерьма
Надежд меня свела с ума,
Как ты, Фаон,— так знай же наперед:
Сафо жила тобой и для тебя умрет.

ПЕСНЬ ВУЛКАНА ПРИ КОВКЕ СТРЕЛ

Сюда, Циклопы, что ж, блеснем
Лемносским древним ремеслом:
Пускай, как птица,
Стрела стремится,
Разя в зеницу
Буяна и тупицу.

Взлетит златая с упоеньем,
Серебряная с вожделеньем,
Зато свинцовой
Удел суровый —
Добить шута,
Чья суета
В красотке вызвала презренье,
И смерть он кличет как спасенье.
Наш труд окончен, что ж, пора
Спешить к тебе, Игра, Игра!

ПЕСНЬ АПОЛЛОНА

У Дафны златом кудри вьются,
В очах две звездочки смеются,
От ручки веет белоснежной
Теплом и нежностью нездешней,
К ее челу летят Хариты,
Румяней роз ее ланиты,
Уста алей и слаще вишен,
А дивный голос так возвышен,
Что движет сферы неба песней:
На свете Дафны нет прелестней.
Я гимны пел, спеша за нею,
Но лавром стала дочь Пенея.

ПЕСНЬ ПАНА

Пленился Пан младой Сирингой,
Но дева сделалась тростинкой;
От той тростинки происходит
Свирель, чьи звуки превосходят
Кифару с лютней, и смущенно
Смолкает лира Аполлона.
Свирелью звонкою разбужен
Народ, лицом круглей жемчужин;
Пастух со скотницей охочи
Известь на пляску дни и ночи.
Коль славен Пан, когда стремится
Дыханьем оживить цевницу!

Затих докучный гуд волынки,
Зане губами Пан к тростинке
Прильнул, напевом мир чаруя,
И с милой слился в поцелуе.

КУПИДОН И КАМПАСПА

Ей на лобзанья Купидон
Проигрывал за коном кон:
Он проиграл колчан и лук,
Венеры голубей и цуг
Своих веселых воробьев,
Но дальше был играть готов;
Поставил уст своих коралл
И цвет ланит — и проиграл.
Засим поставил свет чела —
Его Кампаспа отняла.
Глаза поставил наконец —
И Купидон теперь слепец.
    Любовь! Так поступив с тобой,
    Что сделает она со мной?

ВЛЮБЛЕННЫЙ ПАСТУХ — СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

О, стань возлюбленной моей,
Живи со мной среди полей!
Всем наслаждаться будем мы,
Чем славны долы и холмы.

Увидишь ты со мной тогда,
Как пастухи пасут стада
У мелких речек, возле скал,
Где слышен птичий мадригал.

Постель из роз тебе сложу,
Букетов тысячу свяжу,
Сплету передник из травы
С узором миртовой листвы;

Тончайшей шерсти на наряд
Тебе овечки подарят;
Дам башмачки тебе зимой,
К ним — по застежке золотой;

Еще тебе я приберег
С янтарной пряжкой поясок;
Коль мило то душе твоей,
То стань возлюбленной моей.

Тебе в погожие деньки
Споют и спляшут пастушки;
Коль есть отрада в жизни сей,
То стань возлюбленной моей.

ОТВЕТ НИМФЫ ВЛЮБЛЕННОМУ ПАСТУХУ

Коль юность вечно бы цвела,
Тогда, пожалуй, я б могла
С тобою жить среди полей
И стать возлюбленной твоей.

Но в хлев погонит Хрон стада,
Когда начнутся холода,
И смолкнет Филомелы глас,
И всем настанет жалоб час.

Поля поблекнут и холмы
По приказанию зимы,
В словах весны — сладчайший мед,
А осень сердцу желчь несет.

Наряды, башмачки, цветы,
Что щедро посулил мне ты,
Порвутся, сносятся, сгниют —
В них блажь сильна, а разум худ.

С янтарной пряжкой поясок,
Что для меня ты приберег,
Не убедит меня, ей-ей,
Любезной сделаться твоей.

Не знай любовь забот и зла,
Тогда, пожалуй, я б могла
С тобой делить утехи дней
И стать возлюбленной твоей.

НАПУТСТВИЕ ДУШЕ

Шлю душу, гостью тела,
В неблагодарный путь:
Иди по свету смело,
Всегда правдива будь.
Умру я. Мне служи:
Мир обличи во лжи.

Скажи, что двор сияет —
Свечением гнилым;
Что церковь прославляет
Добро, а служит злым;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что потентаты,
Владетели страны,
Любимы ради платы,
Чужим трудом сильны;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что господа,
Кто правят государством,
Одним берут всегда:
Тщеславьем и коварством;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи разгульным мотам,
Что им не след кичиться:
Хвалы своим щедротам
Хотят они добиться;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи: закон — глумленье,
А послушанье — страх,
А время — лишь движенье,
И плоть — всего лишь прах;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что честь забвенна,
Что дружба быстротечна,
Что красота мгновенна,
Что страсть недолговечна;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что медицине
Уменья не хватило;
Скажи, что мудрость ныне
Совсем перемудрила;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что мзде послушно
Двуличное усердье;
Скажи, что равнодушно
К страданьям милосердье;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что счастье слепо,
Что нет в природе сил,
Что искренность нелепа,
Что ум позорно хил;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи: парадны школы,
Но в них науки ложны;
Скажи: деревни голы,
А города безбожны;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Скажи, что разноречье
Нейдет искусству впрок,
Что сердце человечье
Давно пленил порок;
А крикнут: «Докажи!» —
Их обличи во лжи.

Когда ж в конце концов
Все скажешь без боязни —

Хоть смысл подобных слов
Заслуживает казни,—
Пусть каждый точит нож,
Но душу не убьешь!

ПРОЩАНИЕ С ДВОРОМ

Все радости прошли, как лживый сон,
Веселья дни исчерпаны до дна,
Любовь обманута, ум притуплен:
Все минет, остается скорбь одна.
Один бреду неведомой тропой,
Утехи в море унесла волна,
Дух гаснет, жизнь — в руках судьбы слепой:
Все минет, остается скорбь одна.
Как заблудившийся в чужой стране,
Зову я смерть, чтоб шла скорей она,
Уходит лето, не бывать весне:
Все минет, остается скорбь одна,—

И к цели до прихода зимних дней
Довесть меня велит забота ей.

ЭПИТАФИЯ ГРАФУ ЛЕЙСТЕРУ

Здесь погребен воитель,
Что меч не обнажал;
Здесь погребен придворный,
Что слова не держал;
Здесь погребен граф Лейстер —
В правленье был он плох,
Его боялись люди
И ненавидел бог.

* * *

Анахорет, в глуши, покинув свет,
Я жажду дни сомнений провести
Со скорбью, неподвластной бегу лет,
Где лишь любовь меня могла б найти.

Вкушая брашна тягот и забот,
Упьюсь слезами из моих очей;
В неодолимой мгле мне свет прольет
Огонь сгорающей души моей.
Печали плащ мне тело облачит,
Надежда сгубленная — посох мой,
Влеченье долгое и поздний стыд
Мне образуют жесткий одр ночной.

И пусть Отчаянье стоит у врат
И впустит Смерть, коль Страсть и Рок велят.

* * *

Пусть плоть, в стенах заточена,
Не чует ран, ей нанесенных злом,
Зато душа, свободы лишена,
Прикована к пленявшему в былом,
Лишь бледный лик унынья виден ей.
Был прежде этот каземат
Любого обиталища милей,
Но время и превратности сулят
Иного стража мне и стол иной.
Свет красоты и огнь любви меня
Живили, но сокрытому стеной
Ни пищи нет, ни света, ни огня.

Отчаянье замкнуло мне врата.
Стена́м кричу — в них смерть и пустота.

* * *

Что жизнь? Комедия страстей,
А наши радости — антракты в ней.
Во чреве матери мы, как в гримерной,
Готовимся для пьесы смехотворной.
Нам небо — строгий зритель: с вышины
Ему все наши промахи видны.
В финале от жестокого светила,
Как занавес, укроет нас могила.
Так мы спешим на отдых, а потом
Всерьез, не лицедействуя, умрем.

АЗЕНКУР

Во Францию пора!
Попутные ветра
Подули нам — ура!
  Война в разгаре!
Доплыли мы легко
До устья Сены, в Ко:
Привел нас далеко
  Державный Гарри.

Был каждый вражий форт
Пред нами распростерт —
Кто весел был и горд,
  Остался хмурым!
Ни дня без битвы нет...
Но показал рассвет
Французской рати цвет
  Под Азенкуром.

Их коннетабль-нахал
Герольда к нам прислал:
Чтоб Генрих выкуп дал,
  Он сразу хочет.
Но негодяям тот
Ответа не дает:
Улыбкой тьму невзгод
  Врагу пророчит.

Такую речь тотчас
Завел король для нас:
— Их больше в десять раз,
  Но нам не страшно.
Мы в битву поспешим,
Француза сокрушим,
Победой завершим
  Бой рукопашный.

Что сам я,— молвил он,—
Доставлю им урон
Иль буду тут сражен —
  Любому явно.
Я торжества добьюсь
Иль кровью обольюсь
И наземь повалюсь,
  Убит бесславно.

О боже в небеси,
Ты вспомни о Креси
И так нас вознеси,
  Как предки были,
Когда наш славный дед,
Священный дав обет,
Заставил меркнуть цвет
  Французских лилий».

Передовой отряд
Весть герцог Йорк был рад
Стал Генрих с ними в ряд,
  Овеян славой.
И под началом тыл
У Эксетера был —
Вовсю их разъярил
  Француз лукавый.

Отряд мечи рванул,
Доспехами сверкнул,
А барабанный гул
  Готовил к бою.
При кличе боевом
Все дрогнуло кругом:
Вел речи с громом гром,
  Труба — с трубою.

А Эрпингам-старик
Дал знак засаде вмиг —
Он духом не поник
В годах преклонных!
Чуть рой разящих стрел
Лавиной полетел —
Строй мигом поредел
Французов конных.

И стрел смертельный шквал
Французов поражал,
Как рой змеиных жал,
Теперь уж близких.
Стрелок любой стоит,
Как будто в землю врыт —
Никто не посрамит
Сердец английских!

Бросай, ребята, лук,
Нам целить недосуг,
Теперь и силой рук
Хвалиться можно!
Немало черепов
Пробили до зубов:
У наших молодцов
Рука надежна.

Король, отрада сеч,
Подъемля острый меч,
Заставил многих лечь,
Могуч и статен.
Французов кровь на нем
Вовсю текла ручьем,
Понес его шелом
Немало вмятин.

И Глостер из ножон
Меч разом вырвал вон —
Был равен брату он
Желаньем биться,
А Кларенс был палим
Крещеньем боевым —
Немногие бы с ним
Могли сравниться!

Французов Оксфорд бил,
А Уорик чуть не плыл
В крови, что щедро лил
  В разгаре дела,
А Саффолк топором
Всех поражал кругом,
И Ферререс был при нем,
  И Фэнхоп смелый.

В Криспинов день святой
Был дан сей славный бой,
И взысканы судьбой
  Мы в щедром даре.
О, так же нашу рать
Придется ль воспевать?
Родится ли опять
  Такой же Гарри?

* * *

Прими, о дева, горестный итог
Вседневного любовного томленья,
Слезами окропленный между строк,
Овеянный тоски унылой тенью;
Печальный памятник моих скорбей,
Бессчетных вздохов жалкое жилище,
Укор судьбе и гимн любви моей,
Которой в мире не бывало чище.
Тебе как дань возжег я фимиам
С усердьем, верой, мыслями благими,
С мольбой, с надеждой завещать векам
Твое блаженное святое имя:
  Его как добродетели пример
  Поднимет Муза выше горних сфер.

* * *

Осиленное мраком, солнце дня
Вкусило сон, зардевшись пред закатом,
Но та, что ярче солнца для меня,
Уже в ночи лучилась ярким златом;

Кто жаждал видеть, как ревнует дол,
Когда горе́ неслось ее дыханье;
Кто в мире зримом слышать предпочел
Травы под дивной ножкой колыханье;
А я не смел искать блаженней див,
Чем звезды те, что глянули в зеницы
Ее очей и, солнце отразив,
Скликали херувимов в очевидцы;
Сияла ночь, и воздуха кристалл
В лучах любви восторженно блистал.

* * *

Глухая ночь, кормилица скорбей,
Подруга бед, вместилище томленья,
Зачем, смолы тягучей и черней,
Ты отдаляешь утра наступленье?
Зачем надежды ты спешишь известь
И адским замыслам даешь раздолье;
Зачем ты пробуждаешь в сердце месть
И грех берешь под сень свою соболью?
Ты — смерть сама, в тебе заключена
Могила света, радостей темница.
Да помрачатся звезды и луна,
И благовонье с неба не струится,
Затем что ты тревожишь страсть во мне,
От коей я горю в дневном огне.

* * *

Сколь многих пышных суетных особ,
Взирающих на чернь в окно кареты,
Пожрет забвенье раннее, чем гроб,
Зане в стихах красы их не воспеты.
Прими же в дар бессмертья благодать!
Сей быстрый век века́ лишат обличья,
И королевы станут почитать
За счастье отблеск твоего величья.
Прочтя рассказ о столь благой судьбе,

Скорбеть начнут матроны и девицы,
Что не дано им было при тебе,
Украсившей прекрасный пол, родиться.
    Ты воспаришь, презрев земную ложь,
    И в вечных песнях вечность обретешь.

* * *

Как часто время за года любви
Свой зыбкий облик странно изменяло,
Прямые искривляло колеи
И прихотям Фортуны потакало!
Не доверяя зренью, видел глаз
Несчастье Эссекса, покой Тирона,
Великой королевы смертный час,
Преемника восход к вершинам трона,
С Испанцем лад, с Голландией разрыв,—
Так пляшет колесо слепой Фортуны.
Но я служу любви, пока я жив,
И для служенья силы в сердце юны.
    Пусть изменяют небо и земля —
    Своей святыне вечно верен я.

ГИМН ДИАНЕ

Час царице воссиять!
Феб на отдых отошел,
Так войди в чертог и сядь
На серебряный престол.
Как ты Гесперу мила,
Превосходна и светла!

Гея, зависть отгони,
Тенью твердь не заслоняй:
Чистой Цинтии огни
Озарят небесный край —
Ждем, чтоб свет она лила,
Превосходна и светла.

Лук жемчужный и колчан
Ненадолго позабудь
И оленю средь полян
Дай хоть малость отдохнуть;
День в ночи ты создала,
Превосходна и светла!

ТРИУМФ ХАРИТЫ

Посмотрите! Любимой моей
Несется колесница
С цугом горлинок и лебедей,
А Купидон — возница.

Ей — всех смертных умиленье
И поклоненье,
И, узрев ее облик, любой,
Очарован красой,
Возглашает священный обет:
В вихре бурь, в лязге сеч ей стремиться вослед.

При огне золотистых кудрей
Тусклей Любви светило,
И сиянье прекрасных очей
Мир страсти озарило!
Не найти конца отраде
В едином взгляде,
Слов, достойных воспеть ее, нет!
И чела ее свет
Торжествует, вселенной лия
Всеблагое начало стихий бытия.

Вы видали лилей белизну,
Не тронутых рукою?
Вы видали снегов пелену,
Не смешанных с землею?
Осязали мех соболиный,
Пух лебединый?
Обоняли шиповника цвет по весне
Или нард на огне?
Услаждала вас улья казна?
Столь бела, столь нежна, столь прелестна она!

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Взгляни: в стекле запаян, тонкий прах
Давно остыл.
Влюбленным, что от горестей зачах,
Он раньше был.
Он к милой льнул, что к свечке мотылек,
Но взор ее страдальца сжег.
И в смерти решено судьбой,
Как в жизни злой,
У пылких отнимать покой.

ОДА К САМОМУ СЕБЕ

Ты о трудах, лентяй,
Припоминал давно ль?
Коль спит ученость, знай:
Ей смерти ожидай.
Безделье — злая моль,
Что ум и мастерство пожрет, лишь ей позволь.

Иссяк ли Аонид
Ручей? Иль Кларий сам
Струнами не звенит?
Иль оттого молчит
Хор нимф по всем лесам,
Что оскорбляет их сорок несносный гам?

Коль потому ты нем,
То не без правоты;
Умам великим всем
Почета ждать зачем?
В том силу черпай ты,
Что добродетели цветут без суеты.

Пусть жадная плотва
Кидается к крючкам,
Где громкие слова
Насажены едва —
Они, присягу дам,
Достойны жалости с презреньем пополам.

Вдохни же в лирный строй
Сынов Япета пыл,
Моли, гремя струной,
Чтоб Аполлон благой
Вновь на квадриге взмыл
И пламя новое, как встарь, нам подарил.

И в век жеманный наш,
Что чужд правдивых слов,
Ты ль сцене-шлюхе паж?
Будь, не впадая в раж,
О важном петь готов
Вдали от волчьих морд и от копыт ослов.

ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО МНОЮ МИСТЕРА ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА, СОЧИНИТЕЛЯ; И О ТОМ, ЧТО ОН ОСТАВИЛ НАМ

Ни к этой книге, ни к тебе, Шекспир,
Не мыслю завистью исполнить мир,
Хотя твои писанья, признаюсь,
Достойны всех похвал людей и муз.
То правда. Но по этому пути,
Хваля тебя, я б не хотел идти,
А то пойдет невежество за мной,
Ничтожный отзвук истины живой,
Иль неразумная любовь, чей ход
Лишь наудачу к правде приведет,
Или коварство, чьи стремленья злы,
Начнет язвить под видом похвалы.
В том вред, как если сводня или б...
Решилась бы матрону восхвалять,
Но ты для них навек неуязвим,
Не жертва их и не обязан им.
Начну же: века нашего Душа,
С кем наша сцена стала хороша,
Встань, мой Шекспир! К чему в тиши могил,
Где Чосер, Спенсер, Бомонт опочил,
Теснить их, чтобы кто-то место дал?
Ты памятником без могилы стал.
Ты жив еще, покуда жив твой том
И мы для чтенья снабжены умом.
Тебе искать я место не примусь
Меж славных, но несоразмерных Муз.
Будь нужен ты для наших лишь годов,
Тебе б найти я равных был готов,
Сказав, как Лили с Кидом ты затмил
И Марло, что исполнен буйных сил.
Нет, хоть запас твоей латыни мал,
А греческий еще ты меньше знал,
Тебя равнять с другими мне претит.
Пускай Эсхил, Софокл и Еврипид,
Пакувий, Акций, Сенека придут
И слушают, как сцену сотрясут
Твои котурны; а надень ты сокк —
И кто б тогда с тобой сравниться мог?

Эллада дерзкая и гордый Рим
Померкли пред умением твоим.
Ликуй, моя Британия! Твой сын
Над сценами Европы властелин.
Не сын он века, но для всех времен!
Порой расцвета муз, как Аполлон,
Он к нам пришел наш слух отогревать
Иль, как второй Меркурий, чаровать.
Была горда сама Природа им,
Наряд из строк его был ей любим:
Он так хитро и соткан был и сшит,
Что ей талант иной не угодит.
Шутник Аристофан, задира-грек,
И Плавт с Теренцием ушли навек:
Они в забвение погружены,
Как будто не Природой рождены.
Но здесь одна ль Природа? Нет, права,
Шекспир, есть также и у мастерства.
Пусть сотворен Природою поэт,
Но все ж Искусством выведен он в свет.
Кто стих живой создать желает, тот
Пусть, не жалея, проливает пот
(Как ты), вздувая в горне жар огня,
По наковальне Муз вовсю звеня,
Иль вместо лавров стыд познает он!
Прямой поэт и создан и рожден —
Таков ты был! Живут черты отца
В потомстве — так, не ведая конца,
Шекспира ум и нрав живет в веках
В законченных, отточенных строках,
И каждая в могуществе своем
Грозит невежеству, тряся копьем.
О нежный лебедь Эйвона! Как мил
Твой вид среди потоков наших был,
А твой полет над Темзой, дивно смел,
Элизу с Яковом пленить сумел!
Но вижу я: взойдя на небосвод,
Твое светило нам сиянье льет.
Звезда поэтов, ярче нам сияй
И наш театр зачахший оживляй:
Ушел ты — и ему надежды нет
На луч в ночи, когда бы не твой свет.

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Мне ль в лета юные мои
Судить о Смерти и Любви?
Но я слыхал, что стрелы их
Опасны для сердец людских;
Нас одинаково разят
И жар Любви, и Смерти хлад —
Они, хоть облик их не схож,
Готовят нам одно и то ж.

Губительна любая часть —
Быть взорванным иль в бездну пасть;
Ударит гром, плеснет волна —
А пагуба от них одна;
И так равны Любви огонь
И Смерти хладная ладонь,
Но все ж Любви способен пыл
Мороз прогнать из тьмы могил.

ИРЛАНДИЯ

МАК УОРД ОУЭН

ТЕМНОКУДРАЯ РОЗАЛИН

Холмы и долины
Объяты темнотой,
И ветер в смятенье
Вздыхает о тебе.
Я вычерпал бы море
Яичной скорлупой,
Чтоб горя ты не знала,
Моя Розалин.

Я ночью вчерашней
Весь Эрин пересек,
И бурный Лох-Эрн
Я переплыл во тьме.
Не звезды и не месяц —
Мне, словно огонек,
Светила Темнокудрая
Розалин.

Не плачь, не печалься —
По вздыбленным валам
Прощение Рима
Везет тебе монах.
Испанские вина —
Живительный бальзам —
Излечат Темнокудрую
Розалин.

Я болен любовью
Уже который год.
Любовь без отрады,
Любовь — моя беда.
Ужели в утешенье
Ни слова не найдет
Для преданного сердца
Моя Розалин?

Весь Манстер пройду я
С Заката на Восток,
Чтоб только улыбку
Любимой заслужить.
Цветущая веточка,
Темный цветок,
Раскрывшаяся роза моя —
Розалин.

Окрасятся кровью
Озера и моря,
Холмы содрогнутся,
Долины задрожат,
И на небе вспыхнет
Кровавая заря,
Когда тебя не станет,
Моя Розалин.

ФИАРФЛАТА О' НАЙВ

ПАДЕНИЕ ГЭЛОВ

Жесток наш удел —
Сердце в горькой печали:
Кто знатен и смел,
Тот сегодня в опале.

Ирландцев сыны —
Бесприютны, гонимы —
Скитаться должны,
Как слепцы-пилигримы.

Так бегущие прочь
С полей пораженья
Молят лунную ночь
О спасительной тени.

Так средь яростных волн
Мореплаватель бедный
Ждет, смятения полн,
Встречи с тайнами бездны.

Так велений судьбы
Ждет больной, умирая...
Слезы, стоны, мольбы —
Участь нашего края.

Путь ирландцев — в слезах,
Честь ирландцев — в позоре,
Вместо мужества — страх,
Вместо радости — горе.

Туман над землей,
Впавшей нынче в немилость.
Окруженная мглой,
Наша слава затмилась.

Мы чужим отданы́
И от Бойна до Линна
Из родимой страны
Гонят отпрысков Финна.

Сынам короля —
О, позор! О, паденье! —
Запретны поля
Королевских владений!

В королевских лесах
Не загнать им лисицу,
Сокол их в небесах
Не посмеет кружиться.

Никнет зелень холмов
Под громадами башен.
Звук чужих топоров
Лесу нашему страшен.

Чей он — этот простор,
Край, когда-то счастливый?
Станет замок Ратмор
Грубым саксам поживой.

В озерном краю
Пусты черные дали.
Гэлы землю свою,
Увидав, не узнали.

Ужель сторона,
Породившая гэла,
Дотла сожжена,
Навсегда опустела?

Ирландия-мать
Смотрит в горьком смущенье —
Как сына узнать
В жалкой, сгорбленной тени?

За накрытым столом,
Где и яства и вина,
Мы от голода мрем
И клянем господина.

Гость хозяином стал —
Сакс тупой и надменный.
А хозяин — вассал,
В доме собственном пленный!

Словно горстка досок
В океане бурлящем,
Эрин — утлый челнок...
Где спасенье обрящем?

Нам спасенье одно —
Единенье, сплоченье.
А иначе — на дно
Увлечет нас теченье.

ИСПАНИЯ

СЕРРАНИЛЬЯ

Луга и откосы
Не знали девчушки
Красивей пастушки
Из Финохосы.

Как шел я впервые
Из Калатравеньи
До Санта-Марии,
Почти что в забвенье
Забрел за покосы,
Набрел на опушку
И встретил пастушку
Из Финохосы.

Где зелень — отрада,
Где пахнет цветами,
Пасла она стадо
Меж пастухами.
Пушистые косы,
А с виду — простушка.
Да это ль пастушка
Из Финохосы?

И розам из сада,
Расцветшим весною,
Равняться не надо
С ее красотою.
Слагаю не глоссы
В честь милой резвушки:
Нет лучше пастушки
Из Финохосы.

На личико это
Глядел я лишь малость,
Чтоб сердце поэта
Свободным осталось.
Я задал вопросы,
Как будто подружке:
Далёко ль к пастушке
Из Финохосы?

Она засмеялась,
Сказала: «Простите,
Я уж догадалась,
Чего вы хотите.
Тропинки-то косы,
Любовь не игрушка,
Не ждет вас пастушка
Из Финохосы».

СТАНСЫ НА СМЕРТЬ ОТЦА

(На смерть магистра ордена Сантьяго дона Родриго Манрике, его отца)

Душа, очнись от забвенья,
И встанет воспоминанье
Пред тобою,
Как жизни бегут мгновенья,
Как смерти грядет молчанье
Чередою;
Как счастье летит стрелой,
И давит потом, как бремя,
Мысль о нем,
И кажется день былой
Лучше, чем это время,
Когда живем.

И раз настоящее судим,
Едва мгновенье промчится,
Промелькнувшим,—
То, право, мудрее будем,
Сочтя не смевшее сбыться
Уже минувшим.
Да не впадет в обман
Счётший, что длиться должно
Чего ожидает
Дольше мига, что дан,
Ибо на свете равно
Все исчезает.

Наши жизни — это реки,
Что в море текут,
И смерть оно;
Там все величья навеки
Конец свой найдут,
Истлев равно;
Туда — потоки-стремнины,
Туда — ручьи покрупнее
И ручейки;
Прибывши, станут едины
Вчерашние богатеи
И батраки.

ВОЗЗВАНИЕ

К поэтам не обращаюсь,
К ораторам не взываю
Знаменитым;
Их выдумкой не прельщаюсь,
Как тайных я трав не знаю
С соком скрытым.
Лишь пред одним в ответе,
Одного только я сейчас
Здесь призвал,
Кто жил меж нами на свете
И в ком бога никто из нас
Не узнал.

Мир этот — лишь дорога
К иному, где без страданья
Приют для всех;
И надобно смыслить много,
Чтоб это пройти расстоянье
Без помех.
Вступаем вместе с рожденьем,
Покуда живем — блуждаем,
А приходим
Лишь с вечным успокоеньем;
Так что, когда умираем,
Покой находим.

Мир этот будет хорош,
Коль в нем сумеем прожить,
Как должны мы,

Ибо он, как поймешь,
Дан лишь, чтоб заслужить
Тот, незримый.
Даже ведь Божий Сын,
Чтобы поднять нас к небу,
Снизошел
Родиться средь нас один
И жить на земле, где требу
И смерть нашел.

Дешево стоит мечта,
За коею мы стремимся
И поспешаем:
В мире, где все суета,
Раньше всего лишимся,
Чем умираем.
Одно у нас старость берет,
Другое берется бедою,
Что настигает,
От нее не спасся и тот,
Кто силой самой большою
Обладает.

Скажите мне: красота,
Нежная свежесть щек,
Гладкая кожа
Кем бывает взята,
Как старости придет срок,—
На что похожа?
Юности пыл молодой,
Удаль и стройный вид,
Силы много,
Немощью станет самой,
Коль старость уже стоит
У порога.

Го́тов знатная кровь,
Гордость их и величье,
Что воспеты,
Теряются вновь и вновь
Кто знает в каком обличье
Жизни этой!
В одних — затем, что гнусны,
Что гордость и честь во всем

Унижают,
В других — затем, что бедны
И хлеб нечистым путем
Добывают.

Богатство и положенье —
Проходит все и минует
Так нежданно,
Не будем ждать снисхожденья:
Госпожа, что нам их дарует,
Непостоянна.
Это — Фортуны даянья,
Чье колесо вертится
За часом час,
Не знает оно колебанья,
Не может остановиться
Хотя бы раз.

Но знайте: следом за нею
Путь наш до самой гробницы
Определен;
И нет ничего вернее,
Ибо и жизнь промчится,
Словно сон:
Все наслажденья тут —
То, чем мы насладимся
В миге кратком,
А там нас мученья ждут,
Коим навек предадимся
Своим порядком.

Радости и невзгоды,
Что в жизни этой встречаем,
Уж поверьте:
Что́, как не переходы,
По коим мы попадаем
В яму смерти?
По переходам этим
Без устали мы стремимся,
Не чуя бед;
Когда же обман заметим
И думаем: воротимся,
Пути уж нет.

Если бы мы могли
Править своей красотою
Телесной,
Как силу мы обрели
Править своей душою
Небесной,
Какое бы тогда уменье
Всечасно не уставали
Мы являть,
Творя рабе облаченье,
А госпожу бы стали
Разоблачать!

Про королей великих
Подробно вещают древние
Нам скрижали,
А сколько случаев диких,
Какие дела плачевные
При них бывали!
Так что ничто не прочно:
Император ли, Папа — с дороги
Смерть сметет
И поступит с ним так же точно,
Как с пастухом убогим,
Пасущим скот.

Оставим теперь троянцев,
Мы славы их не видали,
Ни лишений,
Оставим римлян, спартанцев,
Хоть истории их узнали
Из многих чтений.
Не будем тщиться узнать,
Как было то, что давно
Совершилось;
Попробуем лучше понять
То, что вчера свершено
И уж забылось.

Где ныне король Дон Хуан?
Инфанты из Арагона
Куда пропали?
Где рыцарей гордый сан,
Умы, что во время оно
Так блистали?

Шитье, наряды, плюмажи,
Игры, турниры, забавы
Храбрецов —
Иль были только миражи?
Только зеленые травы
Средь лугов?

Где те прекрасные дамы,
Их прически, уборы,
Одеянья?
Где тех рыцарей драмы,
Их горящие взоры,
Их страданья?
Где те певцы-хугляры,
Песни струн позабытых,
Что стонали?
Где те веселые пары
В платьях, кожей расшитых,
Что плясали?

Ну а наследник, другой,
Дон Энрике? Какой же власти
Достигал он!
Нежностью, лестью какой
Тешить себя в сладострастье
Разрешал он!
Но сколько непримиримых
Противников, интриганов
Вдруг открылось
Среди друзей любимых!
Как счастье ушло нежданно,
Как мало длилось!

Невиданные щедроты,
Дворцов королевских залы
По́лны злата,
Вазы чеканной работы,
Казна — дублоны, реалы,—
Что так богата;
Кони в узорной сбруе,
Пышные ткани горою,
Наряд людей —
Иль все погибло всуе?
Иль было только росою
Средь полей?

А брат, кого в малые лета
Преемником при живом
Нарекли?
Гранды высшего света
Признали его королем,
За ним пошли.
Но смертен он был, и тут
Смерть его вдруг бросает
В горн свой!
Таков божественный суд:
Пламя, что ярче пылает,
Зальет водой.

А Коннетабль со званьем
Магистра, что королем
Так прославлен?
Его обойдем молчаньем
И только скажем о нем,
Что обезглавлен.
Селенья его с городами,
Богатство его, раздолье
И влиянье —
Иль были только слезами?
Иль были только лишь болью
Расставанья?

Ну а других два брата,
Магистры, что процветали,
Как на троне,
Что высшую знать когда-то
Властно себе подчиняли
В своем законе;
Пора их былого расцвета,
Бывшая столь громогласно
Возглашена,—
Иль только полоска света,
Что, проявившись ясно,
Затемнена?

Все эти графы, бароны,
Герцоги все сановиты
И вельможи,
Что встарь окружали троны,

Смерть, скажи, куда они скрыты?
Где их ложе?
А славные их дела,
Что на войне вершились
И в мира дни?
Когда ты во гнев вошла,
Рассеялись, обратились
В прах они.

Стяги, хоругви, знамена,
Войско, которому счета
И не знают,
Крепости, бастионы,
Глубокие рвы, ворота,
Чем помогают?
За́мки, что не возьмешь,
Высокой защищены
Стеною,
Когда ты, злая, придешь,
Бывают сокрушены
Твоей стрелою.

Быв для честных радетель,
Делами велик и быстр
И по праву
Чтимый за добродетель,
Родриго Манрике, магистр,
Знал славу.
Мне о нем говорить,
Поступки его хваля,
Не подобает;
Зачем их превозносить.
Коли их вся земля
И так знает?

Какой для друзей друг!
Какой пример для лихих
Храбрецов!
Какой господин для слуг!
Враг какой для своих
Врагов!
Как умен для пытливых!
Как чуток для подопечных,

Их призрев!
Как остер для сметливых!
Для злых же и бессердечных —
Сущий лев!

Удачею Октавиан,
Юлий Цезарь, когда побеждал
На поле брани;
По доброте Траян,
В труде же был Ганнибал
И в знанье;
Мощью был Архидан,
Доблестью как Сципион
Обладал;
Щедротой как Тит воздан;
Истину как Цицерон
Всем являл.

Антонин был мягкосердечием,
Марк Аврелий — осанкою равною
И красотою;
Адриан — своим красноречием;
Теодосий — своей благонравною
Простотою.
Александром Аврелием был,
Строго строй соблюдая
Боевой;
Константином вере служил;
Камиллом любовь стяжая
Земли родной.

По себе не оставил казну,
Не было в нем гордыни
И следа,
Но с маврами вел войну,
Завоевывая твердыни
И города;
И в битвах, где побеждал,
Рыцарей много с конями
Взято в полон;
Так что себе добывал
Подданных с податями
В сраженьях он.

При всей его чести, скоро
С иными он временами
Повстречался;
Оставшися без опоры,
Лишь братьями да слугáми
Продержался.
После ж подвигов, всем известных,
И всего, что им совершалось
В той войне,
Путем договоров честных
Земли уж ему досталось
Почти вдвойне.

Истории эти былые
Начертал он своею десницей
Еще молодым,
А будучи старым, другие
Новых побед страницы
Прибавил к ним.
За ловкость свою и уменье,
За старость, когда примером
Для многих был,
Высокое посвященье
В Орден Меча кавалером
Заслужил.

Земли свои с городами
Потом под тиранской пятою
Он нашел,
Но осадами да боями
И мощной своей рукою
Вновь обрел.
А что исконному дали
Королю дела и усилия,
Что он явил,
Пусть скажет король Португалии
И кто в его стане в Кастилии
В то время был.

После того как стократно
Жизнь он на карту ставил
По закону,
И ревностной службой ратной
Своего короля прославил

Корону;
После стольких на поле брани
Дел, что уж им, признаться,
Счет потерян,
К дому его в Оканье
Смерть пришла постучаться
В двери.

(говорит смерть)

И сказала: «Рыцарь, прошу я,
Оставь этот мир мечтанья
И суеты;
В трудный миг испытанья
Волю свою стальную
Покажешь ты;
И раз для славного дела
Ты жизни своей и счастья
Не жалел,
Хочу я, чтоб дух твой смелый
И эту минуту ненастья
Преодолел.

И пусть не будет горька
Битва, что столь ужасною
Ожидаешь,
Ибо жить на века
Ты славу свою прекрасную
Оставляешь.
И хоть эта жизнь почетная
Тоже не бесконечна,
Не настояща,
Все ж она боле добротная,
Чем та, что недолговечна,
Преходяща.

Жизни искать искупленье
Средь дел мирских и утех
Не надо,
Ни через все наслажденья,
В коих таится грех
Ада;
Монахи его в молитвах,
В слезах своих заслужили,
Не зная лавров;

А рыцари — в жарких битвах,
В трудных делах, что вершили
Против мавров.

Поскольку, доблестный воин,
Ты столько крови неверной
Проливал,
То ждать награды достоин,
Что в мире жизнью примерной
Завоевал;
И так, с надеждой простой,
С крепкою верой, какая
В тебе есть,
Отправься навстречу той,
Третьей жизни, что ожидает
Тебя днесь».

(отвечает магистр)

«Не станем таким путем
В той жизни терять мгновенья,
Что скудна,
Ибо воля моя во всем
Небесному изволенью
Подчинена;
Я смерть свою согласить
С благою волей решил,
Чистой, ясной.
Хотеть человеку жить,
Когда бог ему смерть сулил,—
Бред напрасный».

МОЛИТВА

Ты, что погиб на кресте,
Принявши имя мирское
И облик бренный;
Ты, что в своей чистоте
Не погнушался людскою
Плотью презренной;
Ты, что такие мученья
Принял без содрогания
На пути,
Хоть я недостоин прощенья,
Но только из сострадания
Меня прости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Так выразив мысли свои,
Сохранив как нельзя ясней
Свой дух,
В окружении всей семьи —
Братьев, жены, и детей,
И слуг,
Отдал душу тому, кем дана
(Кто ее поместит со хвалением
В небе своем),
И хоть жизнь его прервана́,
Послужит нам утешением
Память о нем.

ПЕСНЯ КАССАНДРЫ

Выйти замуж? Вот совет!
Мне не надо мужа, нет.

Я живу пока раздольно,
меж холмов брожу привольно,
думать нужно мне не больно,
выйду ль замуж или нет.
Выйти замуж? Вот совет!
Мне не надо мужа, нет.

Да в замужестве мне, грешной,
может, ад сужден кромешный,
где красе моей утешной
не избавиться от бед.
Выйти замуж? Вот совет!
Мне не надо мужа, нет.

А на свет и не родится
тот, кто мне в мужья сгодится,
мать, мне нечего стыдиться:
я красна, как божий цвет.
Выйти замуж? Вот совет!
Мне не надо мужа, нет.

* * *

Как любимая мила,
как красива и бела!

Ты скажи, моряк отважный,
что гуляешь по волне,
так ли бел твой белый парус,
так ли звездочка светла?

Ты скажи, отважный рыцарь,
что сражаешься в броне,
так ли резв твой конь любимый,
так ли битва весела?

Ты скажи мне, пастушонок,
что пасешь в горах овец,
так ли горы горделивы,
так приветны ли луга?

Как любимая мила,
как красива и бела!

* * *

Расцвела во саду роза красная.
Я пойду взгляну,
как поет соловей,
разливается.

Над рекою над быстрою
вырастало лимонно деревце.
Я пойду взгляну,
как поет соловей,
разливается.

По крутому по бережку
обирала лимоны девушка.
Я пойду взгляну,
как поет соловей,
разливается.

Обрывала лимоны девушка,
чтобы их отдать другу верному.
Я пойду взгляну,
как поет соловей,
разливается.

Чтобы их отдать другу верному
да насыпа́ть их полной мерою.
Я пойду взгляну,
как поет соловей,
разливается!

* * *

На весла, гребец, плыви:
это — челнок любви!

Когда сирены песней своей
огласят голубые дали,
разрежут спокойные воды морей
весла твоей печали.
Чтоб вздохи волну качали,
на весла, гребец, плыви:
это — челнок любви!

Ждут тебя новые ночи бурь,
ждут тебя новые грозы,
и возмущенная ими лазурь,
и ураганов угрозы.
Но, сквозь страданья и слезы,
на весла, гребец, плыви:
это — челнок любви!

Стала дрожь твое тело трясти,
руки твои онемели,
ты увидишь, что сбился с пути,
считая, что близок к цели.
И все ж, чтоб мечты кипели,
на весла, гребец, плыви:
это — челнок любви!

* * *

У девчушки чудо-очи,
глянет — как огнем проймет,
глянет — как огнем проймет!
Ах, боже, кто их поймет!
Ах, боже, кто их поймет!

Черны очи соколины,
ровно вешний цвет невинны,
занеможет без причины
тот, кто в них любовь найдет.
Ах, боже, кто их поймет!
Ах, боже, кто их уймет!

Взгляд очей ее таков,
как у горных у орлов;
оживляет мертвецов,
а живых-то долу гнет.
Ах, боже, кто их поймет!
Ах, боже, кто их уймет!

* * *

Мать, любимый мой уходит,
в землях дальних станет жить.
Не могу его забыть.
Как его мне воротить?
Как его мне воротить?

Мне, родная, нынче снилось,
может, вещий сон то был,
что любимый мой на остров
по синю́ морю отплыл.
Не могу его забыть.
Как его мне воротить?
Как его мне воротить?

Мне, родная, снилось нынче,
может, вещий был то сон,
что уехал мой любимый
по дороге в Арагон.
В том краю он станет жить.
Нету сил его забыть.
Как его мне воротить?
Как же, как же воротить?

* * *

Как сладко спать и сознавать одно:
все то, что видишь,— сказка, небылица,
как сладко упиваться тем, что снится,
и ждать, что счастье будет продлено!

Как сладостно беспамятство — оно
моим желаньям позволяет сбыться,
но, как ни сладок сон, душа томится,
что вскоре ей очнуться суждено.

Ах, если б не кончались сновиденья
и сон мой был бы долог и глубок!
Но неизбежна горечь пробужденья.

Лишь в снах я счастлив был на краткий срок:
что ж, пусть в обманах ищет утешенья,
кто наяву счастливым стать не смог.

* * *

Зачем любовь за все нам мстит сполна:
блаженство даст — но слезы лить научит,
удачу принесет — вконец измучит,
покой сулит — лишит надолго сна,

лишь в плен захватит — схлынет, как волна,
лишь сердцем завладеет — вмиг наскучит,
подарит счастье — все назад получит?
Неужто впрямь двулична так она?

О нет! Амур безвинен; вместе с нами
горюет он, когда придет беда,
и плачет, если нас терзают муки.

В своих несчастьях мы повинны сами;
любовь, напротив, служит нам всегда
подмогой — и в печали и в разлуке.

* * *

Я жив еще, хоть жить уже невмочь,
хоть вслед мне — хохот и насмешки злые;
влачу, как цепи, годы прожитые,
сиянью дня предпочитаю ночь,

но даже мрак не в силах мне помочь;
усталый ум рождает сны дурные;
порой зову друзей, как в дни былые,
но чаще, заскучав, гоню их прочь.

Невзгоды, на пути моем маяча,
свой страшный круг сжимают все тесней;
душа о бегстве помышляет, плача,—

я был бы рад последовать за ней,
когда б любовь, привычка и удача
не помогали мне в беде моей.

* * *

Душа моя со мной играет в прятки
и лжет, рисуя все не так, как есть;
я с радостью приемлю фальшь и лесть,
хоть изучил давно ее повадки,

и сторонюсь, храня обман мой сладкий,
того, кто мне несет дурную весть;
я знаю сам — невзгод моих не счесть,
но лучше думать, будто все в порядке.

Таким смятеньем разум мой объят,
что, вмиг забыв о гибельном уроне,
чуть стихнет боль, спокоен я и рад.

Жизнь ускользает между рук; в погоне
за ней, хватаю жадно все подряд —
но только пустота в моей ладони.

* * *

Встревожен шкипер небом грозовым,
но стоит солнцу вспыхнуть на просторе,
он все тревоги забывает вскоре,
как будто почва твердая под ним.

И я плыву по волнам штормовым:
любовь моя бездонна, словно море;
но, лишь на краткий миг утихнет горе,
мне чудится, что я неуязвим.

Когда ж на судно вновь свой гнев обрушит
свирепый вихрь, вздымая гладь валами,
моряк дает обет не плавать впредь

и замолить грехи в господнем храме —
ведь лучше землепашцем быть на суше,
чем властелином в бездне умереть.

* * *

Отраден миг, когда светлеет снова
ненастьем затемненный небосвод,
приятен солнца пламенный восход,
зардевший после сумрака ночного,

и скорбная душа моя готова
в часы отдохновенья от забот,
отторгнув груз страданий и невзгод,
воспрянуть, словно после сна дурного.

Но вновь тревожусь — ведь известно мне:
за временное исцеленье это
платить придется — и платить немало.

Любой, кто путешествовал по свету,
смог убедиться: тяжела вдвойне
дорога после краткого привала.

* * *

Легавая, петляя и кружа,
несется с лаем по следам кровавым,
пока олень, бегущий от облавы,
на землю не повалится, дрожа.

Так вы меня травили, госпожа,
такой желали смерти мне всегда вы;
гонимый гневом яростным, неправым,
до крайнего дошел я рубежа.

И снова вы терзаете и рвете
сплошную рану сердца моего,
где всюду боль кровоточащей плоти.

Верны своей безжалостной охоте,
вы истязать намерены его
и уязвлять, покуда не убьете.

ЭКЛОГА I

Вице-королю Неаполя

САЛИСИО, НЕМОРОСО

Я о любви печальных пастухов,
Салисио и Неморосо скромных
Поведаю, их боль передавая;
Тех, чьи стада, под властью жалоб томных,
Пастись забыли средь своих лугов,
Их песни звукам сладостным внимая.
Ты, кто, вовеки устали не зная,
Завоевал себе повсюду славу,
Делами создал кто свою державу,
Ты, кто порой со тщаньем и терпеньем
Своих владений занят управленьем,
Порой же, забывая о покое,
Ведешь войну, блестя вооруженьем,
Как Марса воплощение земное;

Порою же, освобожден от пеней
И от трудов, в неведенье счастливом
Охоте предан, горы попирая,
И мчишься на коне нетерпеливом,
Преследуя опасливых оленей,
Что длят свои мученья, убегая,—
Увидишь: возмещая
Досуг, что мной утрачен,
Я, рвением охвачен,
Мое перо позднее так направлю,

Что множество бессчетное прославлю
Тех добродетелей, что ты являешь;
Умру, но не убавлю
Хвалы тебе, что многих превышаешь.

Покуда же досуг мне не дарован
И долг исполнить не настало время
Перед твоею славою и силой —
Что должен быть не мной одним, а всеми
Исполнен, кто делами очарован
Достойными, чтоб память их хранила,—
Та ветвь, что послужила
Тебе венцом победным,
Отступит пусть пред бедным
Плющом, что разрастется
В твоей тени и тихо вверх завьется,
Высокой славы приобщась даров.
Покуда слава о тебе поется,
Послушай песню скромных пастухов.

Из ясных вод поднявшись, огневое
Сияло солнце, светом достигая
Вершин, когда под деревом зеленым
Лежал Салисио, в прохладе отдыхая
Там, где чрез луг со свежею травою
Прозрачный ручеек бежал со звоном.
Он пел, и словно стоном
Звучала песнь простая,
Потоку отвечая,
И в жалобе его не слышно было гнева,
Словно ее могла услышать дева,
Такое причинившая мученье,
И скорбного напева
Понять и чувство и предназначенье.

Салисио

Ты, тверже мрамора моим стенаньям
И жаркому огню, где я сгораю,
Ты, холоднее снега, Галатея!
Я жить страшусь, хотя уж умираю,
Я жизнь отныне отдал бы страданьям,
Жить без тебя иначе не умея;
И от стыда не смея
Перед людьми явиться,

Решил я схорониться
И от себя, от собственного взора.
Зачем покинуть хочешь ты так скоро
Ту душу, что была твое владенье,
И алчешь лишь простора?
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Уж солнце шлет свои лучи златые
На горы и поляны, пробуждая
От дремы птиц, животных и людей:
Одни взмывают в воздух, улетая,
По горным кручам разбрелись другие,
Или пасутся мирно средь полей;
Чуть станет посветлей,
Спешат уж третьи на работу,
Обычную явив заботу,
Как им и склонности и долг повелевают.
Мои лишь слезы всё не иссякают,
Покроется ли мир ночною тенью,
Или лучи сверкают.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

А ты, меня забывшая беспечно,
Ты и сочувствием того не одарила,
Кто здесь из-за тебя умрет в печали,
Ты ветру веру и любовь вручила,
Что мне должны принадлежать бы вечно
И мне лишь одному принадлежали!
О господи, нельзя ли
(Тебе с высот возможно
Знать, кто клянется ложно),
Чтоб столь жестокую с печальным другом
Само судило небо по заслугам?
Раз другу за любовь дарят одни мученья,
Врага дарят досугом,—
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Из-за тебя тенистых рощ молчанье,
Из-за тебя вершин уединенных
Безлюдье и покой меня пленили.
Из-за тебя я жаждал трав зеленых,
И сладкого весны благоуханья,
И алых роз, и белоснежных лилий.
О, как отличны были

Те чувства, что до срока
Таила ты глубоко,
О, как я был несчастлив, заблуждаясь!
Недаром грай вороний, повторяясь,
Вещал одни обманы и мученья,
Зловеще раздаваясь.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

О, сколько раз в лесу, объятый дремой
(Порой сродни бывавшею кошмару),
Терзался я и в снах моей судьбою!
Мне снилось, что гоню мою отару
На берег Тахо, издавна знакомый,—
Чтоб отдохнула в полдень,— к водопою.
Иду своей тропою,
И вдруг, необъяснимо,
Поток, бегущий мимо,
Путь новый и нежданный избирает.
И, чувствуя, как зной меня сжигает,
Спешу вдоль незнакомого теченья
Воды, что убегает.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Чьи уши сладкими чаруешь ты речами?
Чью шею нежными руками обвиваешь?
Кем ты меня так скоро заменила?
И на кого ты ласково взираешь
Теперь своими ясными очами?
И верность ложную кому ты подарила?
Из камня сердце б было,
Когда бы, плющ знакомый
Вдоль стен чужого дома
И милую лозу вкруг дерева чужого
Узрев, в слезах растаять в те мгновенья
Уж не было готово.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Каких еще потерь, какого краха,
Какого в чувствах нового разлада,
Скажи, отныне ожидать пристало?
И что теперь считать надежным надо,
Пред чем влюбленный не познает страха,
Раз положила ты всему начало?
Когда ты покидала

Меня с моей тоскою,
Явила ты собою
Дурной пример для всех под небесами,
Ведь даже за надежными замками
Боишься потерять любимое именье;
Струитесь же ручьями,
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Начало ты дала моей надежде
Достичь того, что чуждо, незнакомо,
И сочетать, что несоединимо,
Раз злое сердце отдано другому,
А у моей любви отъято прежде.
То будет вечно каждому вестимо:
Змея вползет незримо
В гнездо невинной птицы
И станет единиться
Голодный волк со смирною овцою;
Между твоим избрáнным и тобою
Я большее увидел расхожденье;
Так я гоним судьбою.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Парное молоко вкушаю летом,
И хладною зимой: моя отара
Дает мне сыр и масло в изобилье;
Ты моего не отвергала дара
И песнь мою встречала ты приветом,
Как будто пред тобою сам Вергилий.
Сдается, не явили
Мои черты уродства,
Не чýжды благородства
Они и самому мне показались,
Когда в ручье прозрачном отражались;
Я с тем не поменял бы отраженья,
С кем счастьем поменялись.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Как понят был столь мало я тобою?
Чем заслужил подобную брезгливость?
Как ненавистен сделался столь скоро?
Не будь в твоей душе такая лживость,
Я был бы век ценим одной ценою,
И между нами не было б раздора.

Ты знаешь, без надзора
Порою летней стадо
Прохладе свежей радо
Гористой Куэнки, а зимой суровой
Эстремадуры ищет лес дубовый.
Но что все блага? Мне одни томленья
Даны судьбою новой.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Моим рыданьям камни сострадают,
Свою теряя твердость и ломаясь,
И древеса склоняются в печали,
И даже птицы, трелью заливаясь,
Меня услышав, голос свой меняют,
Как будто смерть мою предугадали.
И звери, что дремали,
Устав, в лесу прохладном,
Забыв о сне отрадном,
От моего печалуются стона.
Одна лишь ты, доныне непреклонна,
Твоя душа не знает угрызенья
От моего урона.
О, лейтесь, лейтесь, слезы сожаленья!

Но если помощи ты мне не оказала,
Не оставляй места, что так прекрасны,
И верь в мое смиренье: я покину
Места, где я покинут был, несчастный:
Я не хочу, чтоб ты их забывала,
Коли я верно угадал причину.
Ты помнишь ли долину
Со свежею травою,
С прозрачною струею,
Любезною тому, кто плачет одиноко?
Ты здесь найдешь, когда уйду далёко,
Похитившего клад, что мне всего дороже;
Не будет уж жестоко,
Похитив клад, отнять долину тоже.

Окончил песнь Салисио и стенанье
И вздох последний испустил глубокий,
И слезы горькие потоком полились.
Тому, кто здесь томится, одинокий,
Явили даже горы состраданье

И эхом горестным вдали отозвались,
И трели раздались,
Как будто Филомела
Сочувствием хотела
Нежнейшим на его ответить муки.
Как Неморосо начал песнь разлуки,
Скажите вы, Пиериды, я не смею
Поведать эти звуки
Слабеющею лирою моею.

Неморосо

Бегущие струи́, прозрачны, чи́сты,
И древеса, чья в них глядится крона,
И плющ, что кра́дется извилистой тропою,
Пышнозеленое пересекая лоно,
И птицы, в небе сеющие свисты,
И луг тенистый с нежною травою,
Когда с моей бедою
Еще я не спознался,
То вдоволь наслаждался
Чудесным вашим я уединеньем,
Порой охвачен сладким сновиденьем,
Порою погружен в раздумья и мечтанья,
Не мучился сомненьем,
И были радостны мои воспоминанья.

В долине этой, где сейчас тоскую,
Я наслаждался отдыхом беспечно,
Взирая на зеленые просторы.
О счастье, как ты пусто, быстротечно!
Я помню, как в минуту дорогую,
Здесь пробудясь, Элисы встретил взоры.
О рок, зачем так скоро
Такою нежной тканью
Одаривать, как данью,
Смерть с острою ее косою?
Уж лучше бы подобною судьбою
Мои усталые замкнулись годы:
С потерею такою
Живя, я, верно, каменной породы.

Где очи ясные и томные где вежды,
Что за собой повсюду увлекали

Мой дух, куда б они ни обратились?
Где руки белые, что нежно отобрали
Всё у меня — и чувства и надежды?
Где пряди, что пред золотом гордились?
Так ярко золотились,
Что злато с ними рядом
Казалось меньшим кладом?
Где грудь высокая, где стройная колонна,
Что купол золотой так непреклонно,
С такою милой грацией носила?
Теперь, увы! сокрыто все, что мною
Любимо в жизни было,
Пустынной, хладной, жесткою землею.

Элиса, друг, кто б угадал заране,
Когда вдвоем под свежими ветрами
Мы здесь с тобой бродили, отдыхая,
Когда, любуясь пестрыми цветами,
Их собирали вместе на поляне,
Что я останусь сир, о прошлом воздыхая?
Пришла минута злая,
И горестному небу
Свою принес я требу —
Оно мне одиночество сулило.
И тяжелей всего, что я уныло
Тропою жизни осужден влачиться,
Что мне ничто не мило,
Слепцу без света в сумрачной темнице.

Все без тебя вокруг переменилось:
Стада в лугах так вольно уж не бродят,
И в помощь землепашцу над полями
Колосья золотистые не всходят.
И нет добра, что б в зло не обратилось:
Пшеница тучная глушится сорняками
И дикими овсами.
Земля, что взорам нашим
Дала цветы, что краше
И не найдешь, чтоб радовали око,
Один репей сейчас родит жестоко,
И плод его, ненужный и колючий,
Я, плача одиноко,
Сам возрастил моей слезой горючей.

Как при заходе солнца тень ложится,
А под его лучами прочь уходит
Густая тьма, что землю одевает,
Откуда страх на душу к нам нисходит
И формы странные, в какие облачиться
Готово все, что ночь от нас скрывает,
Пока не воссияет
Светила свет лучистый,—
Такой казалась мглистой
Ночь, что тебя взяла, и той порою
Остался мучим страхом я и тьмою,
Покуда не укажет смерть порога
И я, ведом тобою,
Как солнцем, не увижу, где дорога.

Как соловей, чье так печально пенье,
Когда, сокрыт в густой листве, он свищет,
На землепашца жалуяся злого,
Что детушек его лишил жилища,
Пока, летая, был он в отдаленье
От милой ветви и гнезда родного,
И боль свою все снова
И так разноцветисто
Выводит горлом чистым,
Что самый воздух полнится звучаньем,
И ночь суровая, с ее молчаньем,
Не властна над его печальными делами:
В свидетели страданьям
Он небо призывает со звезда́ми;

Вот так и я вещаю бесполезно
Мое страданье, сетуя уныло
На смерти злой жестокость и коварство.
Она мне в сердце руку запустила
И унесла оттуда клад любезный,
Где было для него гнездо и царство.
Смерть! Про мое мытарство
Я небу повествую,
Из-за тебя тоскую
И полню мир стенаньями моими,
И нет моей страды неизлечимей.
И чтоб не сознавать сего страданья,
Мне было бы терпимей
Уже навек лишенным быть сознанья.

Обернутую тонкой тканью белой,
Я прядь твоих волос храню смиренно,
Их от груди моей не отрываю,
Беру их в руки и такой мгновенно
Жестокой болью поражен бываю,
Что предаюсь рыданьям без предела.
День коротаю целый
Над ними, и лишь вздохи,
Пылая, как сполохи,
Их сушат; медлю я, перебирая
По волоску, как будто их считая.
Потом, связав их тонкой бечевою
И тут лишь отдыхая
От мук моих, я предаюсь покою.

Но вслед за тем на память мне приходит
Той ночи сумрачной угрюмое ненастье,
Мне душу отравляя непрестанно
Воспоминаньем про мое несчастье,
И вновь пред взоры образ твой приводит
В час смертный, под эгидою Дианы,
И голос твой избра́нный,
Чьи звуки неземные
Смиряли вихри злые,
И что не прозвучит уже отныне.
Вновь слышу, как у сумрачной богини,
Безжалостной, ты помощи просила,
Уже близка к кончине.
А ты, богиня рощ, зачем не приходила?

Иль так ты рьяно предалась охоте?
Иль так тебя завлек пастух твой спящий?
Того тебе довольно ль, непреклонной,
Дабы не внять мольбе души скорбящей,
Отдавшись состраданью и заботе,
Дабы красы не видеть обреченной
И в землю обращенной?
Не зреть того в печали,
Деянья чьи являли
Тебе служение в охоте дерзновенной,
Когда я нес на твой алтарь священный
Мои дары, плод моего старанья?
За что ж, тобой презренный,
Я гибель зрел любимого созданья?

Элиса дивная, что ныне свод небесный,
Его изменчивость в покое наблюдая,
Своей бессмертной меряешь стопою,
Зачем не просишь, чтобы, поспешая,
Лишило время оболочки тесной
Мой дух, меня соединив с тобою?
И мы, рука с рукою,
В пространстве третьей сферы,
Где льется свет Венеры,
Искали реки новые и горы,
Цветных лугов тенистые просторы,
Где отдохнуть, и чтоб тебя бессменно
Мои видали взоры,
Без страха потерять тебя мгновенно.

Так никогда б уже не прекратились
Те песни, что слыхали только кручи,
Плач пастухов вовек бы не прервался,
Когда б, взглянув, как розовые тучи
Уже в огне заката позлатились,
Не поняли они, что день кончался.
Все шире расстилался
Туман густой по склонам,
И тень в лесу зеленом
Вверх по горе вползала. От печальной
Они очнулись дремы. Луч прощальный
И скудный проводили грустным взглядом
И по дороге дальной
Ушли тихонько вслед за мирным стадом.

ЦВЕТКУ НИДО

Когда бы так звучала
Простая лира, что в одно мгновенье
Чудесно бы смиряла
И ветра дуновенье,
И грозных волн могучее волненье;

И на суровых кручах
Своей бы песней трогала живою
Она зверей могучих
И, зазвенев стрелою,
Деревья увлекала б за собою;

Узнай, что не воспеты,
Цветок прекрасный Нидо, мною б были
Ни Марс, броней одетый,
Во смертоносной силе,
Кого и пыль, и кровь, и пот покрыли;

Ни эти капитаны,
Что боевую мчали колесницу,
За кем германец чванный
В тугой петле влачится,
Пред кем француз был вынужден склониться.

О нет, одна лишь мною
Мощь красоты твоей была б воспета,
А вместе с красотою
(В том не сочти навета)
И хо́лодность — души твоей примета.

И раз в печальной доле,
Терзаемый любовью запрещенной,
Вручил тоску виоле
Твой бедный друг, сраженный
Твоею красотою непреклонной,

Я расскажу, как пленный,
Достойный большей жалости и веры,
В печали неизменной
Плывет, рабом галеры,
За раковиной дальнею Венеры.

Из-за тебя отныне
Он уж конем не правит, усмиряя
Его в лихой гордыне,
Уздою направляя
И шпоры острые в бока ему вонзая.

Из-за тебя он боле
В азарте не выхватывает шпагу,
Не мчится в ратном поле,
Явив свою отвагу,
А лишь змеей крадется по оврагу.

Из-за тебя и Музу
Своей звенящей цитры он лишает,
Своих скорбей союзу
Ее он поручает
И горькой влагой лик свой омывает.

Из-за тебя без веры
Встречает он и друга появленье;
Зачем искать примеры:
Я был в его крушенье
Надежной пристанью, где ждет спасенье;

Ну а теперь столь жгучим
Страданье сделалось для разума больного,
Что зверь в лесу дремучем
Не встречен так сурово,
Как я, и страха не внушал такого.

Уж не земли ль холодной
Тебя зачало чрево вековое?
Ведь тот душой бесплодной
Уж заблудился вдвое,
Кто заблужденье оттолкнул чужое.

Пускай тебя серьезно
Пример Анаксареты устрашает,
Раскаявшейся поздно
В том, что любви не знает,
И чья душа во мраморе сгорает.

Всегда одной отрады
Она в чужом страдании искала.
Но, опустивши взгляды,
Вдруг мертвым увидала
Несчастного, что ране презирала.

Петлей сдавило шею
Тому, кто от цепей тоски сердечной
Был мукою своею
Избавлен быстротечной,
Что обрекла гордыню каре вечной.

И тотчас обратилось
В любовь и нежность прежнее презренье.
Как поздно пробудилось
Раскаянья мученье
И как ужасно было пробужденье!

Глаза ее глядели
На мертвого, уж свет не различая,
И кости в ней твердели,
Длиннее вырастая,
Всю плоть ее собою поглощая.

И все нутро остыло
И постепенно превратилось в камень;
И кровь не находила,
Куда излить свой пламень,
Сухие вены не признав путями.

В безмолвии великом
Свершилось в мертвый мрамор превращенье,
Дивя не хладным ликом
Людей воображенье,
А хблодностью, вызвавшей отмщенье.

А Немезида больно
Стрелою ранит, не забудь об этом!
И славить уж довольно
Восторженным поэтам
Одну красу твою пред целым светом.

И пусть мой стих печальный
Хотя б на миг прервет очарованье,
Напомнив в час прощальный,
Потомкам в назиданье,
Тобою причиненное страданье!

* * *

О, ласковые локоны любимой,
Бесценный талисман прошедших дней,
Вы — в заговоре с памятью моей,
И гибель — мой удел неотвратимый!

Вы вновь воссоздаете образ зримый
Той, что и ныне мне всего милей;
Покой и радость скрылись вместе с ней,
И я мечусь в тоске неутолимой.

Что ж, если вам похитить суждено
Мое блаженство, жалости не зная,
Возьмите же и горе заодно!

Затем ли мне дана любовь былая,
Затем ли счастье некогда дано,
Чтоб умер я, о прошлом вспоминая?

* * *

Пока лишь розы в вешнем их наряде
Тягаться могут с цветом ваших щек,
Пока огонь, что сердце мне зажег,
Пылает в горделивом вашем взгляде,

Пока густых волос витые пряди
Просыпаны, как золотой песок,
На плавность ваших плеч и ветерок
Расплескивает их, любовно гладя,—

Вкушайте сладость спелого плода:
Уйдет весна, и ярость непогоды
На золото вершин обрушит снег,

Цветенье роз иссушат холода,
Изменят всё стремительные годы —
Уж так заведено из века в век.

* * *

О нимфы златокудрые, в ущелье
С хрустальной колоннадой в глубине,
Среди блестящих глыб, на мягком дне,
Что служит вам и домом и постелью,

Живущие в довольстве и веселье,—
Кто крутит пряжу на веретене,
Кто шепчется с подружкой в стороне,
Кто замечтался, сев за рукоделье,—

Когда в слезах я вдоль реки иду,
Дела свои прервите на мгновенье
И оглянитесь на мою беду,

Не то, не в силах выплакать мученье,
Я, превратясь во влагу, здесь найду
Навеки и покой и утешенье.

* * *

О, если есть у слез такая власть,
Что вспененные струи им покорны,
Что с мест сошли дубы в лощинах черных,
Чтоб к плачущему листьями припасть,

И может тронуть истинная страсть
И злых зверей, и камни высей горных,
И тот, чьи просьбы были столь упорны,
Сумел живым в загробный мир попасть,—

То отчего ж, скажи, в такой же мере
Не трогают тебя мои рыданья,
И ты не снизойдешь к моей мольбе?

Ведь большего достоин состраданья
Я, льющий слезы о самом себе,
Чем он, скорбящий о своей потере.

* * *

Моя щека окроплена слезой,
Стенанья рвутся из груди всечасно;
Но тяжелей всего, что я, несчастный,
Сказать не смею: «Вы тому виной!»

Влекусь за вами узкою стезей —
Валюсь без сил. Хочу бежать — напрасно:
Я цепенею, вспомнив, как прекрасно
Виденье, покидаемое мной.

Когда ж дерзну карабкаться к вершине,
Сорвавшихся мерещатся мне тени —
И ужаса в крови не превозмочь,

И в довершенье я лишен отныне
Надежды, освещавшей мне ступени
В глухую, как твое забвенье, ночь.

МАДРИГАЛ

Вы, очи, ярче света дня
И сладостней, чем луч авроры;
И все ж, мои встречая взоры,
Порой, как лед, вы холодны.
Вы всех ласкаете приветом,
Но отчего вы так гневны,
Когда ко мне обращены?
Что ж! Ослепленный вашим светом,
Твержу, свою судьбу кляня:
Хоть так глядите на меня!

* * *

Смертельный яд, который выпит взглядом,
Жестокий плен, желанным ставший вдруг,
Златые цепи, сладостный недуг,
Пустая прихоть с безрассудством рядом,

Чертополох в соседстве с пышным садом,
Богатство, что уплыло между рук,
Бальзам для сердца, не унявший мук,
Вкус горечи, примешанный к усладам,

Сокровища, растаявшие в снах,
Удар свирепый, не повлекший мести,
Надежда, что, блеснув, погасла вновь,

Удача, обращенная во прах,
Ненайденный причал — все это вместе
Одним зовется именем: любовь.

УЕДИНЕННАЯ ЖИЗНЬ

Сколь жизнь отдохновенна
Для тех, кто может от толпы крикливой
Тропою сокровенной
Бежать,— и под оливой
Найти покой отшельника счастливый!

Они глядят без дрожи
На те хоромы с крышей золоченой,
Что на дворцы похожи,
Где пышные колонны
Воздвиг для их владельцев мавр смышленый;

И гонят прочь досаду,
Когда услышат зов нужды суровый
Иль сладкую руладу
Притворщика, чье слово
Любую низость восхвалять готово.

Мне ж — только развлеченье,
Когда высокомерные сеньоры
С гримасою презренья
В меня кидают взоры:
Смешны мне их надменные укоры!

Мне надоели схватки
С капризным морем, бурями, туманом...
И только отдых сладкий
Мне кажется желанным
В общении с природой невозбранном.

Тому, кто избегает
Людей,— равно ученый и невежда
Соседством досаждает:
Он позабыть мечтает
Любовь и страхи, ревность и надежду...

Не по душе мне, право,
В одышке гнаться за корыстью голой!
Тенистая дубрава,
Луга, поля и долы
Дарят мне легкий сон и день веселый!

Здесь ясным утром ранним
Меня с постели поднимают птицы
Нестройным щебетаньем;
Что им до всех традиций?
Ведь правилам им ни к чему учиться!

Вот тут, на склоне горном,
Мой сад. В нем каждый куст посажен мною,
Взращен трудом упорным.
Он, весь в цвету весною,
Дает мне летом тень и хлеб зимою.

И, словно бы стараясь
Прелестный вид собой украсить пуще,
Журчит, с горы спускаясь,
Поток быстробегущий
И прячется в густой зеленой куще.

На мураве синея,
Струя живая меж деревьев вьется,
Цветы стоят над нею,
Кругом прохлада льется,
Жужжанье пчел повсюду раздается;

Эол своим дыханьем
Едва листву деревьев задевает,
И сад благоуханьем
Любовно овевает...
Живущий здесь все беды забывает!

А тех, кто в жажде власти
Гоняется за золотом ничтожным,
Кого сжигают страсти
И кто, в порыве ложном,
Жизнь кораблям вручает ненадежным —

Мне жаль. Ведь в час крушенья,
Когда, кренясь под ветром, мачта стонет
И в громе разрушенья
Корабль в пучине тонет,
Надежды нет, что буря их не тронет!

О, предпочту легко я
Простую пищу в миске деревянной
Средь мира и покоя
Тем яствам, что гурманы
На серебре едят с усмешкой чванной.

Все лезут вон из кожи,
И каждый обскакать других стремится;
От алчности похожи
На маски взбудораженные лица...
А я — я их стараюсь сторониться.

Один, в тиши, небрежно
Чуть трогаю любимой лиры струны,
Гляжу на облик нежный
Природы вечно юной
И думаю: прекрасен мир подлунный!

ЯСНОЙ НОЧЬЮ

Диего Оларте

Когда я созерцаю
Бессчетных звезд мерцанье надо мною
И землю озираю,
Покрытую ночною
Сна и забвенья тяжкой пеленою,—

Любовь и состраданье
Из глаз моих потоки исторгают,
Всю грудь мою рыданья
Нещадно потрясают
И горестно воскликнуть заставляют:

О, храм добра и света,—
Душа! Ты в сфере родилась высокой!
Возможно ль, что за это
Злой рок тебя жестоко
Во мрак темницы заточил без срока?

Безумьем одержима,
От истины и блага, как слепая,
Бежишь ты дальше, мимо,
На страшный путь вступая,
Туда, где все — тщета, где тьма без края!

Живут все так бездумно,
Как будто бродят в мареве дремоты,
А неба свод бесшумно
Свершает обороты;
Часы текут — и сводят с жизнью счеты.

О братья! Пробудиться
Пора! Пусть каждый в будущее глянет!
Ведь, если не стремиться
К добру,— что с нами станет?
А мы погрязли в сварах и обмане!

Так поднимите взоры
Туда, где блещет свод небес прекрасный!
Поймите, что раздоры
С их злобою всечасной
Смешны и мелки, глупы и опасны,

Ибо в межзвездной шири
Земля песчинкой малой утопает
И в бесконечном мире
Она лишь повторяет
Все то, что было, есть и наступает.

И тот, кто, восхищаясь
Божественной гармонией вселенной,
Глядит, не отрываясь,
На ход светил бессменный,—
Постигнет смысл творенья сокровенный!

Луна подобна диску
Из серебра над темным небосклоном;
Меркурий яркий близко
Горит огнем зеленым;
Венера нежный свет дарит влюбленным;

А дальше — Марс кровавый,
Бог ярости, недоброе светило,
И, окруженный славой,
Юпитер величавый,—
Владыка, чья корона всех затмила;

Над ними, в золотистом,
Сверкающем широком ореоле,
Как божий нимб лучистом,
Сатурн алмазом истым
Льет ясный свет на горы, дол и поле...

Любуясь бездной синей
И видя в ней полет созвездий плавный,
Я плачу над рабыней
Убогой и бесправной —
Людской душой, попавшей в плен бесславный.

О, светлые пространства!
Там мир в союзе с истиной нетленной
Без злобы, без тиранства
Хранит покой блаженный,
Оберегая трон любви священный.

Под сладостное пенье
Там вечно свет немеркнущий струится,
Там красоты цветенье,
Не увядая, длится,
Восторг парит там легкокрылой птицей.

Какой простор и воля!
В лугах цветущих — свежесть и отрада,
Полно плодами поле
И дивная услада —
Искрящихся источников прохлада!

ФРАНСИСКО САЛИНАСУ

Салинас, все смолкает,
И яркие лучи рекою льются,
И ветер утихает,
Чуть звуки раздаются,
Когда струны твои персты коснутся.

Под неземное пенье
Мой дух, дремотой тяжкою сраженный,
Очнувшись от забвенья
И, словно оживленный,
Вновь обретает память, просветленный.

И, радуясь прозренью,
Он к истине высокой воспаряет,
Исполненный презренья
К металлу, что сияет
И чернь неверным блеском ослепляет.

Вдаль от юдоли тесной
Та музыка мой легкий дух умчала
Туда, под свод небесный,
Где искони звучало
Божественной гармонии начало.

Звенящие аккорды,
Как музыке небес ответ певучий,
Ты посылаешь гордо,
И сонмы тех созвучий
Сливаются в мелодии могучей.

В ней, как в морской лазури,
Душа плывет, полна такой истомы,
Что все земные бури,
Несчастья, беды, громы
Как будто ей чужды и незнакомы...

О сон, восторга полный!
Ты забытье, какого нет блаженней!
И пусть меня, как волны,
Уносит дивный гений
От грубых чувств и низких побуждений!

Любимцы Аполлона!
Друзья! Ваш хор зовет нас вдохновенно
Внимать ему влюбленно,
Отбросив все, что бренно,
Освободившись от земного плена.

О друг мой юный,
Салинас! Пусть звенят, не умолкая,
Божественные струны,
Мой чуткий слух лаская
И от всего земного отвлекая!

О СДЕРЖАННОСТИ И ПОСТОЯНСТВЕ

Блажен, кто цену знает
Всему, чье проницательное око
Повсюду проникает
И видит мир широко
От запада до самого востока!

Один, гонимый жаждой
Оставить сыну пышное именье,
Грош экономит каждый
И в безрассудном рвенье
Сам терпит холод, голод и лишенья;

Другой пред знатью чванной,
В восторге млея, стелется травою,
Тщеславьем обуянный,
Подачек ждет с мольбою,
Смирившись с жалкой, шутовской судьбою;

Бедняга третий, тая
Пред локонами и лукавым взглядом,
Мгновения считая
Блаженные, когда он с милой рядом,
Потом за них годами платит адом...

И только тот, кто в силах
Себя смирить и отнестись к порывам
Желаний легкокрылых
С презреньем молчаливым,
По праву назовет себя счастливым.

Ведь если день сияет,
То злобный ветер, нагоняя тучи,
Его не вытесняет,
И, пролетая над скалой могучей,
Он пик ее не может сбросить с кручи.

Так дуб тенистый, старый,
Жестоким топором лишенный кроны,
Вновь с силой жизни ярой
Листвой темно-зеленой
Весной укроет ствол свой оголенный,—

Его уничтожают,
Ломают, рубят и калечат грубо,—
А он все расцветает,
И снова корни дуба
Смеются над бессильем лесоруба...

Я восхищаюсь теми,
Кто, перед силой не сгибая стана,
Судьбы нелегкой бремя
Несет, хоть гнев тирана
Над ним висит угрозой постоянно!

Он гордо скажет: пламя
Расплавит и твердейшие металлы;
Что ж, расправляйся с нами,
Коль жертв тебе все мало,
И крови вновь твоя душа взалкала!

Руби, коль надо мною
Твоя слепая ярость разразилась!
Я грудь тебе открою,—
Но знай: в ней сердце билось,
В котором мирозданье уместилось!

Легко пронзишь ты тело
Ножом,— и все же злость твоя напрасно
Меня сломить хотела:
Здесь ты достиг предела —
Моя душа кинжалу неподвластна.

Из пут освободиться
Ты ей помог, мной завладеть желая,
И вот она, как птица,
Летит к воротам рая...
Мне жаль тебя: ничтожна власть земная!

ВЫХОДЯ ИЗ ТЮРЬМЫ

Сраженный завистью и клеветою,
Попал я в эту мрачную темницу.
Как счастлив мудрый: он не соблазнится
Большого света мишурой пустою!
Навек с мирской расставшись суетою,
Живет он в сладостном уединенье;
Неприхотлива жизнь его простая,
Лишь с богом он находится в общенье,
Сам зависти не ведая мученья
И зависти в других не вызывая!

УЖИН

В Хаэне у нас проживает
Некто дон Лопе де Соса.
Мы коснулись такого вопроса,
Что смешней, Инес, не бывает.
У него португалец лакеем
Служил, да и вдруг исчез...
Но поужинаем, Инес,
Поболтать и после успеем.
Хочется есть до зарезу,
И хорошая ты хозяйка.
Уж в чашах вино, давай-ка,
Пора начинать трапезу.
Молодого вина — избыток,
Его я благословлю;
Я набожен и люблю
Крестить благородный напиток.
Приступим-ка чин по чину:
Подай мне бурдюк, сестрица,
Мне красное это сгодится —
За каплю дашь по флорину.
Откуда его приносят?
Ах да... из таверны «Башня»:
По десятке за четверть. Не страшно,
Дешевле у нас не просят.
Богом клянусь, что редко
Приятней таверну найдешь;
А в общем, сладко живешь,
Когда таверна — соседка.

Старо оно или ново,
Не знаю даже примерно,
Но дивное, право слово,
Изобретенье — таверна.
Туда прихожу, алкая:
На выбор — разные вина;
Отмерят, нальют, опрокину,
Плачу́ — и пошел, напевая.
Можно хвалить бы вечно
Блаженство, Инес, такое,
В одном лишь вижу плохое —
Что слишком оно быстротечно.
Что нам теперь подадут?
Салат и закуски съели.
Госпожа колбаса? Неужели?
Приветствую ваш дебют!
В каком же соку и силе!
Как стянута! Как дородна!
Сдается, Инес, ей угодно,
Чтоб тотчас мы к ней приступили.
Входи, кровяная, ну-тка,
Дорожка узка, осторожно...
Воду в вино? Невозможно!
Инес, не обидь желудка!
Налей вина постарее,
Чтоб кушаньям вкусу придать;
Храни тебя бог, не сыскать
Мне ученицы мудрее.
Еще колбасы подай-ка,
Такую бросать не дело.
Во рту прямо все сгорело —
С лучком, с чесночком, негодяйка!
В ней есть и орешки — славно!
Чем только она не набита!
Проперчена тоже сердито.
Готовишь, сестрица, исправно.
Чувства во мне закипают
От такого блаженства. А ты?
Впрочем, твои черты
Удовольствие выражают.
Я рад, хоть шумит в голове,
Но... не думай, что я шучу:
Ты одну ведь зажгла свечу,
Почему ж их сделалось две?

Впрочем, там, где питье и еда,
Вопросов не задают:
Когда так здóрово пьют,
Размножаются свечи всегда.

Попробуем тот кувшин:
Небесный в нем, знаю, ликер;
Лучшим он даст отпор
Из самых отборных вин.

Нежен-то как, прозрачен!
Приятно как горьковат!
Пряный какой аромат!
Ну до чего ж удачен!

Но на сцену выходит сыр
(Колбасу мы съели, бедняжку)
И, кажется, требует чашку,
Чтобы закончить пир.

Сыр овечий, как ты хорош!
Пою тебе гимн хвалебный;
А вкус у маслин — волшебный.
Что, сестрица, их не берешь?

Теперь, Инес, как обычно:
Бурдюк — и глоточков пять.
Ну, пора со стола убирать,
Мы поужинали отлично.

И поскольку с тобой на диво
Мы поели, вернуться сразу
Будет, Инес, справедливо
К прерванному рассказу.

Так слушай: тому лакею
Вздумалось вдруг простудиться...
Бьет одиннадцать, время ложиться;
Досказать и завтра успею.

* * *

В ночи благословенной,
Смятенная, по ходу потайному,—
О, миг столь вожделенный!—
Тая любви истому,
Когда все стихло, вышла я из дому.

В поспешности смятенной
Одна во тьме по ходу винтовому,—
О, миг столь вожделенный! —
По холоду ночному,
Когда все стихло, вышла я из дому.

Полна огня и дрожи,
Чужим глазам невидима я стала.
Мой взор затмился тоже.
Светить мне продолжало
Лишь пламя, что во мне не угасало.

Оно надежней было,
Чем солнце, что юдоль мне освещало.
А я к тому спешила,
Кого давно я знала
И вот в безлюдном месте повстречала.

О, ночь, как утро мая!
О, ночь, моя благая проводница!
О, ночь, когда смогла я
С любимым обручиться,
В любимого смогла преобразиться!

Был цвет любви взлелеян
Лишь для него, за что воздал он щедро,
И на груди моей он
Уснул под сенью кедра,
А нас ласкали нежно крылья ветра.

Там у стены зубчатой
Я волосы его перебирала.
Благоуханье мяты,
Пьянившее сначала,
И мысль мою, и чувства оборвало.

Исчезли все дороги.
Был предо мною только образ милый.
Все кончилось. Тревоги,
Что некогда томили,
Забытыми остались среди лилий.

ОГОНЬ ЛЮБВИ НЕТЛЕННОЙ

Песнь о единении души с
божественной любовью

Огонь любви нетленной!
Владей душой моею,
Томи ее. Отрадны мне страданья.
Не угасая денно
И нощно, поскорее
Сожги препону нашему свиданью!

О сладостные раны!
Для вас открыт я настежь.
О добрая рука! Ты указуешь
Душе эдем желанный.
Мой каждый долг ты платишь,
И даже смерть ты в жизнь преобразуешь.

Светильник мой! Ты недра
Сознанья озаряешь,
И верен путь мой в озаренье этом.
О столп огня! Ты щедро
И чутко одаряешь
Избранника своим огнем и светом.

Небес посланец дивный,
Предвестник благодати!
Лишь ты живешь в груди моей смятенной.
На голос твой призывный
Я в трепете объятий
Ступаю, полн любви неизреченной.

ЛАНЬ

Страдающая лань с открытой раной,
испачканной землею и травой,
ты ищешь воду чистого истока
и дышишь сдавленно, клонясь главой
на грудь, залитую струей багряной;
красу твою унизить — много ль прока!
Стократ рука жестока,
спешащая проткнуть
белеющую грудь,—
рука, которой боль твоя — услада,
когда твой нежный друг, твоя отрада,
вовеки не поднимется с земли —
застывшая громада,
чью грудь ножи охотничьи нашли.

Вернись, вернись в долину, к той поляне,
где друг твой гиб, чтоб ты спаслась в лесу,
не знал он, что и ты — над бездной черной.
Ты принесешь ему свою красу,
чтобы забыться в роковом тумане,
что наслан грубою рукой проворной.
Уже на круче горной
вовек не зазвучит
привольный гул копыт,
вам отказали небеса в защите,
и звезды были глухи к вам в зените,
дозволив, чтобы злой простолюдин
творил кровопролитье,
гоня безвинных средь немых равнин.

Но — право! — не кропи кровавым соком
траву из раненой твоей груди,
страданьем и любовью истомленной.
Ты, бегом изнуренная, приди
к ручью, чтоб сломленный твой дух потоком
омыть, что рассекает дол зеленый.
Олень окровавленный,
чью жизнь затмила мгла,
чтоб ты спастись могла,—
признайся, не был он любим тобою,
и раз он пал, чтоб ты была живою —
живи и тем ему любезной будь,
чтобы тоской слепою
и острой болью не терзало грудь.

Где дни, когда на солнечных полянах,
как нежные в разлуке голубки,
вы порозну в лесной глуши бродили,
пушистым лбом касаясь у реки
фиалок, мирта, сочных трав и лилий!
Увы, навек уплыли
те дни, когда ваш зов
был тяготой лугов,
печаля дол, богатый и счастливый,
где Тахо, ясный и неторопливый,
бежал, призывы трубные ловив,
доколе мглой тоскливой
смерть не затмила благодатных нив.

Уже недвижимо оленя тело,
в нем ужас воплощен, хотя оно
еще вчера чащобу украшало.
И ты, чье сердце ужаса полно,
в агонии смыкаешь взор устало,
затмение настало,
уже вас смерть свела,
и дивные тела —
желанная добыча алчной страсти —
любовью вечной венчаны в несчастье,
ее венец — награда беглецам,
в ее верховной власти
и в смерти дать победу двум сердцам.

Напев, чей замысел словами стал,
о лани, павшей от жестоких жал
ловца, чье сердце не смягчила жалость,
    среди лесов и скал,—
лети, напев, а мне рыдать осталось:
был славы свет, но мрак его застлал!

АРАУКАНА

Отрывок

О, наша жизнь, юдоль скорбей и плача!
О, человек, игралище тревог!
Сколь непрочна житейская удача:
Возвысившийся упадет в свой срок.
Благой удел избраннику назнача,
В конце концов его низвергнет рок.
Печаль венчает все услады наши,
Всегда есть желчь на дне медовой чаши.

Увы, достойнейшие из мужей
Порой самих себя переживали,
Тускнел их блеск от умноженья дней;
Тому пример мы видим в Ганнибале;
И если бы окончил жизнь Помпей
В канун несчастной битвы при Фарсале,
Остался бы он в памяти людской
Как первый полководец и герой.

Вот так же и о Кауполикане
Всегда бы вспоминали и везде,
Как об отважнейшем на поле брани,
Мудрейшем полководце и вожде,
Что был индейцам в годы испытаний
Надежнейшей опорой в их беде,—
Будь не дано ему дожить до срока,
Когда он сломлен был десницей рока.

Испанцы одолели, в плен он взят,
Его дружина в бегство обратилась.
Минувшего уж не вернуть назад,
Звезда его успехов закатилась.
И тут вошел Наместник в круг солдат,—
Что пленнику назначит — казнь иль милость?
Но страха не явил наш гордый враг,
И победителю он молвил так:

«Когда бы волей рока непреложной
В пучину был повергнут я стыда —
Меня противник бы разбил ничтожный,
Ты можешь мне поверить, что тогда
Я тотчас бы нашел исход надежный,
Рука моя достаточно тверда:
Я в грудь себе клинок вонзил бы с силой,
Теченье жизни оборвав постылой.

Но от тебя я не почту за стыд
Принять в подарок жизнь, о вождь могучий!
Быть может, побежденный возвратит
С лихвою долг, когда найдется случай;
Не помышляй, что смерть меня страшит:
Лишь тот боится смерти неминучей,
Кто счастлив, но поверженным во прах
Внушает смерть надежду, а не страх.

Я Кауполикан. Рок своенравный
Судил мне в бездну с высоты упасть.
Я вождь арауканцев полноправный,
Моя над ними безгранична власть.
Решает все один мой взгляд державный:
Мир заключить с врагом или напасть.
Я сила их, я воля их, их разум,
Послушна вся страна моим приказам.

Да, это я, тобою взятый в плен,
Убил Вальдивию при Тукапеле,
Сжег Пенко, стер с лица земли Пурен,
Не раз вы от меня урон терпели.
Чревата жизнь чредою перемен,—
И воинов моих вы одолели,
А сам среди толпы врагов, один,
Я жду — продлит ли жизнь мне властелин.

Коль судишь ты — я воевал неправо,
Все ж будь великодушен, одолев:
Твоя тем ярче воссияет слава.
Пусть мощь твоя твой обуздает гнев,
Мешает он судить и мыслить здраво.
Но если алчет месть, разинув зев,
И моего ей мало униженья,
Будь милостив, казни без промедленья!

Не мни, что обезглавленный народ
Оставлю я, в пучину смерти канув.
Своей победы не вкусить вам плод:
Арауканцы, яростно воспрянув,
Сметут вас,— чтобы их вести вперед,
Найдутся сотни Кауполиканов.
Со мной ты вел нелегкую борьбу,
Не стоит снова искушать судьбу.

Вождь доблестный, к твоей ли будет чести,
Когда порыв твой победит тебя?
Пусть мудрость обуздает жажду мести:
Как ты смирял других, смири себя.
Всеобщий сгубишь мир со мною вместе.
Твой грозный меч, мне голову рубя,—
Мои слова да не оставишь втуне,—
Главу отрубит и твоей фортуне.

Не торопись, глотком не захлебнись,
Величья истинного будь достоин:
Сама судьба тебя поднимет ввысь,—
Не шпорь ее, победоносный воин,
И высоко ты сможешь вознестись.
Раз я в плену, ты можешь быть спокоен.
Моей ты жизни волен кончить срок,
Но вам от мертвеца велик ли прок?

Когда ж главой отрубленной моею
Ты все же усладить желаешь взор,
Я под разящий меч подставлю шею,
Оспорить не пытаясь приговор.
Не о плачевной жизни я жалею,
Боюсь, чтоб ты не углубил раздор,
Чтобы твое поспешное решенье
Нам не закрыло путь для примиренья.

Свободен я или в плену, но мне
Покорны без предела и без меры
Арауканцы в мире и войне,
Ты видел сам не раз тому примеры.
Спрячь в ножны меч, и я по всей стране
Распространю закон Христовой веры,
И королю Филиппу мой народ
За мною вслед на верность присягнет.

Оставь меня заложником в темнице,
Пока я обещанья не сдержу.
Со мной совет старейшин согласится
И сделает все так, как я скажу.
А если нет,— ведь я в твоей деснице:
Ты повелишь — я голову сложу.
Решай, какую мне назначить долю,
Безропотно твою я встречу волю».

На том арауканец кончил речь.
Спокойно ждал ответного он слова:
На жизнь иль смерть решат его обречь?
Его лицо бесстрастно и сурово:
Убийственный тому не страшен меч,
Кто ввергнут в бездну униженья злого.
Свободу потеряв свою и мощь,
Величья не утратил пленный вождь.

Его призыв остался не уважен,
Суд был поспешным, страшным был удел:
Индеец на кол должен быть посажен,
А вслед за тем прикончен тучей стрел.
Вождь слушал приговор спокоен, важен,
Его суровый дух не ослабел.
Увы, судьба с ним обошлась жестоко,
Но избежать нельзя велений рока.

Однако поддержала в этот миг
Его благая божия десница:
Луч веры в душу дикаря проник,
Он пожелал пред смертью окреститься.
Триумф Христовой церкви был велик,
Кастильцам повод был возвеселиться,
Хоть жалость осужденный вызывал.
Зато индейцев ужас обуял.

Потом в сей день, день славы и печали,
Крещенья совершив святой обряд,
Вождя в началах веры наставляли.
Но срок настал, и воинский отряд,
Молитвы заглушив бряцаньем стали,
Его повлек на казнь. Пусть предстоят
Ему теперь телесные мученья —
Снискал душе он вечное спасенье.

С главою непокрытой, бос и наг,
Он шел; гремели тяжкие оковы,
Отсчитывая каждый его шаг,
А шею узел захлестнул пеньковый.
Веревку намотав на свой кулак,
Вел пленника палач, к трудам готовый,
Солдаты с копьями — по сторонам.
Кто это зрел, не верил тот глазам.

Они остановились у помоста,
Что спешно был для казни возведен,—
Чуть ниже человеческого роста,
Он взорам был открыт со всех сторон.
По лесенке уверенно и просто
Поднялся осужденный, будто он
Не страшную готов принять был долю,
А из темницы выходил на волю.

Индейский вождь взошел на эшафот
И дол окрест обвел спокойным взором.
Он оглядел теснящийся народ,
Прислушался к молчанию, в котором
Таился хладный ужас: «Вот он — тот,
Кто обречен жестоким приговором
На муки, не сравнимые ни с чем!»
Был каждый зряч вдвойне, был каждый нем.

Вплотную подойдя к орудью казни,
Ничуть не изменился он в лице,
Хоть нет для смертных мысли неотвязней,
Чем мысль о неминуемом конце.
«Нет,— молвил он,— не пробудить боязни
Ничем в судьбой испытанном бойце.
Навстречу мукам простираю длани:
Ведь в муках сих — конец земных страданий».

Убийственное ждало острие.
Умолк индеец, жребию покорный.
Тут, чтобы дело выполнить свое,
Приблизился к нему палач проворный —
Одетый в непотребное тряпье,
Свирепый обликом невольник черный.
Такой обиды новой не стерпев,
Индеец в сих словах излил свой гнев:

«Вот как? Вы, воины, вы, христиане!
Ужель вам мало вида смертных мук?
Я вашим был врагом на поле брани
И смерть готов принять из ваших рук,
Но отдан я в час тяжких испытаний
На произвол последнего из слуг!
Подвергнув храброго бойца бесчестью,
Вы сделали возмездье подлой местью.

Ужели жалкой жертвой палача
Я, доблестный военачальник, стану?
Ужели не найдется здесь меча,
Чтоб подарить смертельную мне рану?
Иль, воинов моих рубя сплеча,
Вы не мечтали Кауполикану
Нанесть удар? Да не отдаст судьба
Меня во власть презренного раба!»

Тут палача он пнул ногою, даром
Что был в цепях. Издав свирепый вой,
Тот, сваленный неистовым ударом,
С помоста грянулся вниз головой.
Но, гнев излив в порыве этом яром,
Арауканец овладел собой
И не сопротивлялся грубой силе,
Когда палач с подмогой подступили.

В него вонзился заостренный кол
И, постепенно погружаясь в тело,
Утробу всю страдальцу пропорол.
Ужаснее никто не знал удела.
Но вождь индейский бровью не повел,
Суровое чело окаменело:
Не на колу сидел, казалось, он, —
Вкушал на ложе безмятежный сон.

Для завершенья казни всенародной
Шесть лучников, расставленных вокруг,
Тут начали стрелять поочередно.
Но хоть убийство для их сильных рук
Давно работой стало обиходной,
Им не хотел повиноваться лук:
Знать, дело это было не простое —
Прославленного умертвить героя.

Его страданий сократила срок
Судьба, столь беспощадная доселе:
Хоть целил мимо не один стрелок,
Хоть стрелы неуверенно летели,
Спрямлял их путь своей десницей рок,
И ни одна не миновала цели.
Понадобилась все же сотня стрел,
Чтоб этот дух могучий отлетел.

Я знаю, лег как тягостное бремя
На совесть вам правдивый мой рассказ,
Будь даже вы черствы душой. В то время
Я, выполняя данный мне приказ,
Оружьем усмирял другое племя,
Подъявшее мятеж противу нас.
А не отозван будь я этой смутой,
Свершиться казни не дал бы столь лютой.

Не мертвенно — спокойно недвижим,
С открытыми глазами, величавый,
Казался Кауполикан живым,
Как будто смерти восковой, костлявой,
Застывшей в изумленье перед ним,
Претило с гнусной поспешать расправой.
А дикарей объял священный страх:
Для них он все был вождь, не мертвый прах.

Мгновенно на крылах молвы проворной
Помчалась весть во все концы земли
О смерти столь ужасной и позорной.
И все, кто жил вблизи, кто жил вдали,
В смятенье встретив этот слух упорный,
Взволнованным потоком потекли,
Дабы увериться, что нет обмана,—
Узреть останки Кауполикана.

Густел и ширился поток людской,
Ручьи со всей окрестности вбирая,
И, став необозримою рекой,
Заполнил дол от края и до края.
И всяк старался собственной рукой
Потрогать труп, глазам не доверяя;
Но, и касанием не убежден,
Не мог понять — явь это или сон.

ПОСЛАНИЕ К МАТЕО ВАСКЕСУ

Дрожа от холода, во тьме ночной
Досель бродил я, и меня в болото
Привел мой путь пустынною тропой,

Я оглашаю стонами без счета
Тюрьму, куда меня забросил рок,
Захлопнув пред надеждою ворота.

Переполняет слез моих поток
Пучину моря, от моих стенаний
Мутнеют в небе запад и восток.

Сеньор, полна неслыханных страданий
Жизнь эта средь неверных дикарей;
Тут — смерть моих всех юных упований.

Но брошен я сюда судьбой моей
Не потому, что без стыда по свету
Бродяжил я, как вор и лиходей.

Уже десятое минуло лето,
Как я служу на суше и в морях
Великому Филиппу шпагой этой.

И в тот счастливый день, когда во прах
Развеял рок враждебную армаду,
А нашей, трепет сеявшей и страх,

Великую победу дал в награду,
Участье в битве принимал и я,
Хоть слабым был бойцом, признаться надо.

Я видел, как багровая струя
Горячей крови красила пучину,—
Смешалась кровь и вражья и своя.

Я видел, как над водною равниной
Носилась смерть, неистово ярясь,
И тысячам бойцов несла кончину.

Я видел также выраженье глаз
У тех, которые в огне и пене
Встречали с ужасом свой смертный час.

Я слышал стоны, жалобы и пени
Тех, кто, кляня безжалостность судьбы,
Изнемогали от своих ранений.

Уразуметь, каков исход борьбы,
Они могли в последнее мгновенье,
Услышавши победный глас трубы.

То возвещало о конце сраженья
И о разгроме мавританских сил
Великое Христово ополченье.

Мне праздником тот миг счастливый был.
Сжимал я шпагу правою рукою,
Из левой же фонтан кровавый бил.

Я чувствовал: невыносимо ноя,
Рука готова изнемочь от ран,
И грудь от адского пылает зноя.

Но, видя, что разбит неверных стан
И празднуют победу христиане,
Я радостью такой был обуян,

Что, раненный, не обращал вниманья
На то, что кровь из ран лилась рекой,
И то и дело я терял сознанье.

Однако этот тяжкий опыт мой
Не помешал мне через год пуститься
Опять туда, где шел смертельный бой.

Я вновь увидел варварские лица,
Увидел злой, отверженный народ,
Который гибели своей страшится.

Я устремился в край преславный тот,
Где память о любви Дидоны властной
К троянцу-страннику досель живет.

Паденье мавров лицезреть так страстно
Хотелось мне, что я пустился в путь,
Хоть раны были все еще опасны.

Я с радостью — могу в том присягнуть —
Бойцов убитых разделил бы долю,
Там вечным сном уснул бы где-нибудь.

Не такова была судьбины воля,
Столь доблестно окончить не дала
Она мне жизнь со всей ее недолей.

Рука насилия меня взяла;
Был побежден я мнимою отвагой,
Которая лишь похвальбой была.

Я на галере «Солнце» — не во благо
Она с моим связала свой удел —
Погиб со всею нашею ватагой.

Сначала наш отпор был тверд и смел;
Но слишком люты были вражьи силы,
Чтоб он в конце концов не ослабел.

Познать чужого ига бремя было
Мне, видно, суждено. Второй уж год
Я здесь томлюсь, кляня свой плен постылый.

Не потому ль неволи тяжкий гнет
Меня постиг, что сокрушался мало
Я о грехах своих, чей страшен счет?

Когда меня сюда судьбой пригнало,
Когда в гнездовье это прибыл я,
Которое пиратов тьму собрало,

Стеснилась отчего-то грудь моя,
И по лицу, поблекшему от горя,
Вдруг слезы покатились в три ручья.

Увидел берег я и то нагорье,
Где водрузил великий Карл свой стяг,
И яростно бушующее море.

Будил в нем зависть этот гордый знак
Испанского могущества и славы,
И потому оно бурлило так.

Перед картиной этой величавой
Стоял я, горестной объят тоской,
Со взором, застланным слезой кровавой.

Но если в заговор с моей судьбой
Не вступит небо, если не в неволе
Мне суждено окончить путь земной

И я дождусь от неба лучшей доли,
То ниц паду перед Филиппом я
(Коль в том помочь мне будет ваша воля),

И, выстраданной мысли не тая,
Все выскажу ему я откровенно,
Хоть будет неискусной речь моя.

«О государь мой,— молвлю я смиренно,—
Ты строгой власти подчинил своей
Безбожных варваров полувселенной,

Всечасно от заморских дикарей
К тебе идут послы с богатой данью.
Так пусть же в царственной душе твоей

Проснется грозное негодованье
На тот народ, что смеет до сих пор
Тебе оказывать непослушанье.

Он многолюден, но врагу отпор
Дать не способен: нет вооруженья,
Нет крепостей, нет неприступных гор.

Я убежден: одно лишь приближенье
Твоей армады мощной ввергнет в страх
И бросит в бегство всех без исключенья.

О государь, ключи в твоих руках
От страшной и безжалостной темницы,
Где столько лет в железных кандалах

Пятнадцать тысяч христиан томится.
К тебе с надеждою обращены
Их бледные, заплаканные лица.

Молю тебя: к страдальцам без вины
Отеческое прояви участье,—
Их дни и ночи тяжких мук полны.

Теперь, когда раздоры злые, к счастью,
Утихли все и снова наконец
Край под твоею процветает властью,

Ты заверши, что начал твой отец
Так смело, доблестно, и новой славой
Украсишь ты державный свой венец.

Спеши же предпринять поход сей правый.
Верь, государь: один лишь слух о нем
Повергнет в прах разбойничью ораву».

Я так скажу, и нет сомненья в том,
Что государь ответит благосклонно
На стоны страждущих в краю чужом.

Изобличил свой ум непросвещенный,
Быть может, низким слогом речи я,
К особе столь высокой обращенной,

Но оправданьем служит мне моя
Горячая об узниках забота.
Послание кончаю,— ждет меня

Проклятая на варваров работа.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРНАС

Отрывок

Преследуем, гоним за каждый стих
Невежеством и завистью презренной,
Ревнитель твой не знает благ земных.

Давно убор я создал драгоценный,
В котором Галатея расцвела,
Дабы вовек остаться незабвенной.

«Запутанная» сцены обошла.
Была ль она такой уж некрасивой?
Была ль не по заслугам ей хвала?

Комедии то важной, то игривой
Я полюбил своеобразный род,
И недурен был стиль мой прихотливый.

Отрадой стал для многих Дон-Кихот.
Везде, всегда — весной, зимой холодной
Уводит он от грусти и забот.

В «Новеллах» слышен голос мой природный,
Для них собрал я пестрый, милый вздор,
Кастильской речи путь открыв свободный.

Соперников привык я с давних пор
Страшить изобретательности даром
И, возлюбив камен священный хор,

Писал стихи, сердечным полон жаром,
Стараясь им придать хороший слог,
Но никогда, из выгоды иль даром,

Мое перо унизить я не мог
Сатирой, приносящею поэтам
Немилости иль полный кошелек.

Однажды разразился я сонетом:
«Убийственно величие его!» —
И я горжусь им перед целым светом.

В романсах я не создал ничего,
Что мог бы сам не подвергать хуленью.
Лишь «Ревность» принесла мне торжество.

Великого «Персилеса» тисненью
Задумал я предать — да служит он
Моих трудов и славы умноженью.

Вослед Филиде песен легкий звон
Моя Филена в рощах рассыпала,
И ветер уносил под небосклон

Мечтания, которых я немало
Вверял теченью задушевных строк.
Но божья длань меня не покидала,

И был всегда мой помысел высок.
Влача покорно жребий мой смиренный,
Ни лгать, ни строить козни я не мог.

Я шел стезею правды неизменной,
Мне добродетель спутницей была.
Но все ж теперь, представ на суд священный,

Я не могу не вспомнить, сколько зла
Узнал, бродя по жизненным дорогам,
Какой урон судьба мне нанесла.

РЕВНОСТЬ

Едва зима войдет в свои права,
Как вдруг, лишаясь сладкозвучной кроны,
Свой изумруд на траур обнаженный
Спешат сменить кусты и дерева.

Да, времени тугие жернова
Вращаются, тверды и непреклонны;
Но все же ствол, морозом обожженный,
В свой час опять укутает листва.

И прошлое вернется. И страница,
Прочитанная, снова повторится...
Таков закон всеобщий бытия.

И лишь любовь не воскресает снова!
Вовеки счастья не вернуть былого,
Когда ужалит ревности змея.

ГИМН НАДЕЖДЕ

Измученный оратай,
в морозный день чуть жив,
мечтает, иней с бороды сметая,
о всей пшенице, сжатой
средь августовских нив,
и о вине, чья кровь пьянит, густая,
он пашет дол, мечтая
о том, как серп возьмет,
и этим облегчает груз забот.

Тяжелые доспехи
и меч влачит с трудом
юнец, чью ратный труд сгибает спину,
и нет ему утехи,
он милый отчий дом
меняет на враждебную чужбину,
но, строгую судьбину
забыв, идет солдат
на рать, избранник будущих наград.

Кочует в океане,
доверясь двум стволам,
любитель злата из отважной братьи;
здесь меркнет дня сиянье,
и горний неба храм
штурмуют волны в яростном подъятье;

а он, в мечтах о злате,
забыл, что смерть близка,
искатель страстный желтого песка.

Покинув ночью ложе,
где сладко спит жена,
идет охотник за добычей в поле,
где хладный ветр по коже
и снега белизна,
но разве не награда в этой доле —
лишать природной воли
стремительных зверей:
как ни хитры они, а он хитрей.

Труду вослед награда,
своя пора и прок,
одно влечет другое непременно,
и зимняя прохлада
дает плоды в свой срок —
вот так идет времен согласных смена,
и лишь одна нетленна
Надежда среди благ,
живая там, где все похитил мрак.

Надежду отбирая,
что сердцу дашь взамен?
Что может заменить нам это диво?
Надежда, умирая,
все обращает в тлен.
Зачем бежишь ты, Флерида, стыдливо
природного порыва?
Рук любящих страшась,
чем наградишь ты трепетную страсть?

Любовь равно мужчине
и женщине дана;
он — не скрывает вожделенной цели;
и если половине
доверится она,
то сбудутся надежды их на деле.
Умерь вражду — ужели
противиться резон?
Придет пора — и рухнет бастион.

* * *

О смерти отблеск, злой кошмар, не надо
терзать меня, изобразив конец,
пришедший единенью двух сердец,—
любовь последней служит мне отрадой.

Спеши туда, где дремлет за оградой
тиран, замкнувшись в золотой дворец;
где спит, за свой карман держась, скупец,—
чтоб сон для них был мукой — не усладой.

Пусть первому приснится, что народ
стальные двери в гневе пробивает,
что раб продажный в руки нож берет;

Второму — что богатство убывает,
что в дом его проник разбойный сброд;
и пусть любовь в блаженстве пребывает.

* * *

Отнес октябрь в давильни виноград,
и ливни пали с высоты, жестоки,
и топит Ибер берега в потоке,
мосты, поля окрестные и сад.

Опять Монкайо привлекает взгляд
челом высоким в снежной поволоке,
и солнце еле видно на востоке,
когда сошли на землю мгла и хлад.

Вновь аквилон терзает лес и море,
везде — в полях и в гаванях — народ
от ветра двери держит на запоре.

И Фабьо на пороге Таис льет
ручьи стыдливых слез, пеняя в горе,
что столь бесплоден долгих дней черед.

* * *

Во-первых, дон Хуан, поверьте мне:
Эльвира, что одета всем на диво,
не более модна и прихотлива,
чем это соответствует цене.

Затем, поскольку мы наедине,
скажу, что ложь Эльвиры столь красива,
что и краса, которая не лжива,
вовек не будет с нею наравне.

И если правда ложью оказалась,
зачем рыдать, когда и детям ясно,
что все в природе — лицедейство сплошь.

И неба синь, что нас слепит всечасно,
не небо и не синь. Какая жалость,
что вся эта краса — всего лишь ложь.

* * *

Открой же мне, о вседержитель правый,
в чем промысл твой всевышний заключен,
когда невинный в цепи заточен,
а суд творит неправедник лукавый?

Кто мощь деснице даровал кровавой,
твой, божий, попирающей закон?
Чьей волей справедливый взят в полон
и наделен несправедливый славой?

Зачем порок гарцует на коне,
а добродетель стонет из подвала
под ликованье пьяных голосов?

Так мыслил я. Но тут явилась мне
вдруг нимфа и с усмешкою сказала:
«Глупец! Земля ли лучший из миров?»

* * *

О бесценная свобода,
Ты, что золота дороже,—
В мире божьем драгоценного немало:
Под лучами небосвода
На подводном мягком ложе
Много перлов ослепительно сверкало.
Но всегда их затмевает блеск кинжала,
Пот и кровь их заливают,
Жизнь — их страшная оплата,
И свободу, а не злато
Дети мира неустанно воспевают,
Все в ней слито величаво:
Жизнь, добро, богатство, слава.

И когда мне вдруг забрезжил
Средь земного прозябанья
Свет небесный, свет живительный и яркий,—
Ибо я дотоле не жил
И сучили нить страданья
Три загадочных сестры, седые Парки,—
Охватил меня восторг немой и жаркий,
Утоленье вечной жажды:
Я свободою владею,
Упиваюсь жадно ею,
И лишь тот, кто в жизнь мою проник однажды,
Тот оценит беспристрастно,
Как судьба моя прекрасна.

Я, единственный властитель
Сей горы и долов милых,
Наслаждаюсь их привольем бесконечно,
И войти в мою обитель
Честолюбие не в силах,
Ибо скромный жребий выбрал я навечно.
И когда веду я за руку беспечно
Слепенького мальчугана,
Ищущего перехода,
Защитит меня свобода
От стрелы, меча, насилья и обмана.
Я оплачу боль чужую
И спою, о чем горюю.

На заре, уже омытой
Первой розовой росою,
Я из хижины, в предутреннем тумане,
Выхожу к реке, покрытой
Огневою полосою,—
Здесь ищу себе дневное пропитанье.
И когда жары почую нарастанье,
Грудь стеснится, взор смежится,
Ива тенью вырезною
Охранит меня от зноя,
Ветерок над головою закружится,
Щебет и благоуханье
Восстановят мне дыханье.

Сходит ночь в плаще громадном,
Никнет день в ее объятья,
И надолго воцаряется прохлада.
И в тумане непроглядном
Песнь заводят, слов не тратя,
Дети сумрака, веселые цикады.
И тогда моя единая отрада —
Строки деревенской прозы,
Немудреные подсчеты,
Но легки мои заботы:
Ведь подвластны мне лишь овцы или козы,
И мой день не омрачали
Королевские печали.

Груша нежно зеленеет,
Яблоки сгибают ветку,

И, как воск, прозрачно-желт орех мускатный,
Терн поспел, и ярко рдеет,
Лозами заткав беседку,
Виноград — медвяный, сочный, ароматный,
Изобилен урожай мой благодатный!
И пока его сберу я
Терпеливою рукою,
Над спокойною рекою,
Там, где Эстио катит ласковые струи,
Увенчает сбор мой новый
Золотистый плод айвовый.

Не завидую чужому,
Хоть богатому жилищу,
Где разврат и бессердечье душу давят.
В чистом поле я как дома,
Здесь нашел я кров и пищу,
Здесь вовек меня навет не обесславит.
Кто вкусил от сельской неги, не оставит
Шкурой застланного ложа,
Ибо так оно покойно,
Что презрения достойно
Ложе бархатное чванного вельможи.
Бедный ключ, поящий травы,
Не таит в себе отравы.

Во дворце, в толпе придворной,
В жажде роскоши сугубой,
Новой утвари, еды или наряда
Я бы шею гнул покорно
И тянул проворно губы
К той руке, в которой спрятана награда.
Ждал неверного, обманчивого взгляда
Тех, кто краткий миг в фаворе
И возносится над нами,
Кто в погоне за чинами
Видит счастье иль отчаянное горе...
Мир милей в крестьянском платье,
Чем война в парче и злате.

Не боюсь аристократа,
Не робею толстосума,
Не лакействую пред тем, кто на престоле,
Не стремлюсь затмить собрата,

Не ищу пустого шума,
Вечной славы и расфранченной неволи.
Но порадует крестьянское застолье,
Как пастух придет усталый,
Хлебом, и вином, и мясом,—
А вечерним тихим часом
Одинаково великий спит и малый.
Все равны во мраке ночи,
Когда сон смыкает очи.

РОМАНС О СТОЛИЦЕ

Умерь свои громкие стоны,
Моя разбитая лира:
Душе моей многострадальной
В аккорде одном не излиться.
Изломана ты изрядно
Немилостивой судьбою,
И твой несчастный владелец
Тебе, бедняжка, подобен.
Давай же снова расскажем
О бедах, давно не новых,
И в этой печальной песне
Печальный оплачем жребий.
Твои безумные струны —
Единственная отрада
Безумца-поэта, который
Теперь умудрен страданьем.
А если кто не поверит,
Что стал я много мудрее,—
Пусть сам пройдет мою школу,
Познает горечь изгнанья.
Тогда он скажет, наверно,
Что самый благоразумный
Не смог бы такие обиды
Стерпеть, не издав ни звука.
И все же лишь та, в ком причина
Всех мук моих и унижений,
Мне может принесть исцеленье
И сладостный свет надежды;
Когда в кипарис высокий
Ударит молния с неба,

Он падает, опаленный,
И гибнет в огне жестоком,
Но если злобная буря
Над тростником пронесется,—
Тот гнется и стелется низко,
А после встает невредимый...

О ты, Вавилон кишащий!
Так, видно, судьбе угодно,
Что издали я, сквозь слезы,
На пышность твою взираю.
В обители бедной и скромной,
Которая столь дорога мне,
В моем одиночестве тихом
Прозрел я и многое понял.
Я вижу, какие лавины
Позорных и подлых наветов
Катятся с гор твоих черных —
Гор клеветы и обмана...
По улицам многолюдным
Рыщут хищные звери,
На ощупь бродят слепые,
Беспомощно спотыкаясь...
А сколько там душ томится
Под мертвою оболочкой,
Честных душ, обреченных
На медленную погибель;
Сколько самодовольных
Богатых невежд и болванов,
Чьим глупостям с восхищеньем
Прислужники их внимают!
А сколько коварных Веллидо
Под маской друзей бескорыстных
И Александров Великих,
Ничтожных в своем самомненье!
Как много там хитрых Улиссов
И юных сирен сладкогласных,
Как много коней троянских,
В чьем чреве враги с оружьем!
Как много судейских жезлов,
Настолько тонких и гибких,
Что гнутся они послушно
Под тяжестью страха и денег!
Как много людей никчемных,

Что прячутся за спиною
Других, достойных почтенья,
Доверчивых, благородных,—
И их сосут потихоньку;
Так плющ сосет, обвивая
Мощный и стройный тополь,
Его животворные соки.
Как много там лицемеров,
Падких до денег и славы,
Чьи веки опущены скромно,
Чтоб алчность не выдать взглядом...
Сколько там важных сеньоров,
Чье чувство чести и долга
Сравнится величиною,
Пожалуй, лишь с их долгами;
Как много сеньор надменных,
Растративших состоянья
Предков с гербом золоченым
На золото позументов!
Сколько там гордых Лукреций,
Чья нерушимая верность
Рушится даже от звона
Мелкой разменной монеты!
Каждый хватает, что может,
Обманывает, как умеет,
А золота блеск, словно латы,
Любые грехи прикрывает.
И полчища разоренных
Рядятся в шелка и бархат,
Купленные ценою
Подлости и бесчестья;
Толпы юнцов безусых,
Отвагой дам умиляя,
Толкуют о фландрских битвах,
Ни разу боя не видев;
Льстецы вельмож окружают,
Униженно изгибаясь,
И сети интриг плетутся
В надежде на щедрость подачек...
Уроды в пышных нарядах,
Расшитых камзолах и брыжах
Мнят, что они красивы —
Им лгут зеркала кривые,
А пылкие кавалеры

С ухоженными усами,
Хоть машут шпагами грозно,
На деле — жалкие трусы.
Придворные выступают
В плюмажах, огромных, как крылья,
Что их вознесли высоко...
Как больно им будет падать!
О Вавилон, гудящий
Шумом разноязыким!
Ты добрая мать чужеземцам,
Но — мачеха собственным детям!
Когда-то народы мира
Казну отдавали Риму,
А нынче все из Мадрида
Сокровища только увозят!
Но, лира, скорее умолкни!
Зашли мы слишком далеко:
Боюсь, своей головою
За это можно ответить.
О многом, что нам известно,
Болтать мы лучше не станем,
И наши обиды скроем
Под тяжкой плитой молчанья!

ЛОДКА

О злополучная лодка,
Разбившаяся о скалы,
Без парусов, без мачты,
Одна среди волн свирепых!
Куда тебя злобный ветер
От милой земли уносит?
Куда ты плывешь, бедняга,
В какие стремишься дали,
Надеждою безрассудной
Иль дерзкой мечтой влекома?
Подобно судам могучим,
Что знают дальние страны,
Покинув привычный берег,
Ты смело уходишь в море,
К судьбе своей равнодушна,
Величественно-печальна,

В игре стихий беззащитна,
Себя ты волнам вверяешь...
Но знай, что волны коварно
Тебя увлекут к утесам,
Где почести разобьются
О рифы зависти черной.
Пока ты плавала, лодка,
Вблизи берегов знакомых,
Тебе ничем не грозили
Порывы гневные ветра;
Полет твой был беззаботен,
Ибо места родные
Неглубоки, укрыты
И плавать в них безопасно.
Правда, на родине ныне,
Ах, не в чести добродетель:
Там и жемчужину ценят
Лишь в дорогой оправе...
Ты скажешь, что знаешь многих,
Кто в милостивую погоду
Снимался с якоря нищим,
И богачом возвращался.
Не следуй этим примерам:
Из тех, кто умчался далеко,
Сколько несчастных погибло,
Прельстившись чужой удачей!
Ведь для открытого моря
Нет у тебя в запасе
Ни весел лжи хитроумной,
Ни паруса тонкой лести!
Кто обманул тебя, лодка?
Не поддавайся соблазну
И поверни обратно,
Чуя верную гибель!
Разве твоя оснастка
Годна для далеких странствий?
Где в ней цветные флаги,
Вымпелы золотые,
Где высокие реи,
С которых издали виден
Зеленый лесистый берег
Со светлой каймой песчаной?
Где лот на длинном канате,
Чтоб глубину измерить,

Когда ты с пути собьешься
И будешь блуждать во мраке?
Что пользы от громкой славы
Беднягам, на дне погребенным?
Ведь никогда неудачник
Мечты своей въявь не увидит!
Быть может, тебя опояшут
В соленой подводной чаще
Зелено-красные ветви
Густых кудрявых кораллов,
Зато блестящие листья
Пышных венков лавровых
На берегу увенчают
Суда с богатой добычей.
Ужель ты хочешь, чтоб стал я,
Тебя стараясь прославить,
Средь моряков Фаэтоном,
Сгоревшим в пламени неба?
Увы, миновало время,
Когда зефир легкокрылый
Порхал над нежною розой,
Дыша ее ароматом.
Теперь ураган жестокий
Несется с яростным воем
И катит валы крутые,
До солнца вздымая брызги,
Из раскаленного горна
Небесной кузницы жаркой
Льются лучи, опаляя
И замки, и крыши хижин...
Ты помнишь, как мы с тобою
Мирно ловили рыбу
И, выйдя на берег с уловом,
Довольные, обсыхали?
Заря заливала небо
Розовым перламутром,
Борта твои, полные рыбы,
Блестели жемчугом влажным;
С моей возлюбленной вместе
В прибрежной хижине скромной
Мы тихий приют находили
И ложе из свежих листьев;
Она звала меня мужем,
Я звал ее нежно женою;

Пред столь лучезарным счастьем
Бледнели светила в небе...
И вот нежданным ударом
Смерть с милой меня разлучила...
О лодка, до самого края
Тебя затопили слезы!
Ну что ж, валяйтесь без дела
Теперь и весла и сети!
Тому, кто лишился счастья,
Крылатый парус не нужен!
Владелица бедной лодки,
Ты сладостный мир вкушаешь,
А я лишь мечтаю о праве
К тебе с мольбой обратиться:
О, сделай так, чтобы мог я
Судьбу разделить с тобою,
С тобою, прекрасной и чистой,
Встретиться в вышних сферах!
Внемли любви моей пылкой,
Ведь божества милосердны
И не должны оставаться
Глухи к людским стенаньям!
Но нет, ты меня не слышишь!
А впрочем, о чем сокрушаться?
Век человека недолог,
И мы увидимся вскоре!
Живому — всего не хватает,
А мертвому — много ли надо!

ДРОВОСЕК И СМЕРТЬ

Басня

Послушай сказку: дряхлый старец,
годов восьмидесяти, не меньше,
из леса дальнего в Афины
таскал огромные поленья.
Был труд его настолько тяжек,
что жаждал он одной лишь смерти
и лютую молил смиренно:
— Приди, о Смерть! О Смерть, не медли! —
И Смерть услышала однажды,
стуча доспехами скелета,

пред ним явилась и сказала
на костяном своем наречье:
— Ты звал меня, чего ты хочешь? —
И старец, задрожав, ответил:
— Хочу, чтоб ты мне пособила
вязанку дров взвалить на плечи.

НАЗИДАНИЕ ЛЮБИМЦАМ

Басня

Знакомая это картина:
не должен казаться слуга,
коль жизнь ему дорога,
ученее господина.
Король однажды сказал
своему любимцу такое:
— Мне лист не дает покоя,
что так ладно я написал;
я взгляну, как напишешь ты,
лучшее выбрать умея.—
У придворного вышло ладнее,
когда сравнили листы.
Королем расхваленный, к дому
направляется он скорей
и, из трех своих сыновей,
обращается ко старшому:
— Нам здесь оставаться опасно,
большая грозит мне беда.—
О причине спросил тогда
сын, испугавшись ужасно.
— Что в отце твоем больше прока,
чем в нем, наш король нашел.
А того, кто его превзошел,
не терпит тот, кто высоко!

КЛЕВЕР

Иисусе, ах, как сладко
Пахнет клевер, Иисусе,
Алый клевер, весь в цвету!
Клевер женщины прекрасной,

Что так в мужа влюблена,
Клевер девушки,— она
Под охраною всечасной,
Но любовь в ней ложью страстной
Будит первую мечту.
Иисусе, ах, как сладко
Пахнет клевер, Иисусе,
Алый клевер, весь в цвету!
Клевер девушки без мужа,—
Женихам потерян счет,—
И вдовы, что мужа ждет,
Прикрывая неуклюже
Токой белою снаружи
Нижней юбки пестроту.
Иисусе, ах, как сладко
Пахнет клевер, Иисусе,
Алый клевер, весь в цвету!

МАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Пусть себя поздравят
Май счастливый,
Ручьи и реки,
Радостные нивы!
У ольхи зеленой
Ствол пусть станет выше,
Даст миндаль цветущий
Плоды другие!
Расцветут на диво
На заре росистой
На зеленых шпагах
Рукоятки лилий.
Пусть стада уходят
За зеленым тмином
По горе, недавно
Снегами покрытой!

Пошли своим молодоженам
Благословенье, о господь!
Вам поздравлять, лугам зеленым:
Одна теперь в них кровь и плоть.

Вы — льдистые горы,
Вы — гордые пики,
Вы — древние дубы,
Вы — сосны седые,
О, дайте дорогу
Воде, чтобы чистым
Ручьем низвергалась
С утесов в долину!
Соловьи пусть звонким
Щекотом и свистом
Про любовь расскажут
Зеленым миртам,
Чтоб с искусством новым
И новым пылом
Для птенчиков гнезда
Свивали птицы.

Пошли своим молодоженам
Благословенье, о господь!
Вам поздравлять, лугам зеленым:
Одна теперь в них кровь и плоть.

* * *

Верни ягненка мне, пастух чужой,
Ведь у тебя и так большое стадо,
А он — моя последняя отрада,
В разлуке с ним я потерял покой.

Не мил ему ошейник золотой,
Бубенчик медный — лучше нет наряда;
А нужен выкуп — вот тебе награда:
Теленок, будет год ему весной.

Ты доказательств просишь? Вот приметы:
Глазенки с поволокой, как спросонок,
Шерсть темная, сплошные завитки.

Хозяин — я. Чтобы проверить это,
Пусти его — ко мне придет ягненок
И будет соль лизать с моей руки.

* * *

Терять рассудок, делаться больным,
Живым и мертвым стать одновременно,
Хмельным и трезвым, кротким и надменным,
Скупым и щедрым, лживым и прямым;

Все позабыв, жить именем одним,
Быть нежным, грубым, яростным, смиренным,
Веселым, грустным, скрытным, откровенным,
Ревнивым, безучастным, добрым, злым;

В обман поверив, истины страшиться,
Пить горький яд, приняв его за мед,
Несчастья ради счастьем поступиться,

Считать блаженством рая тяжкий гнет,—
Все это значит: в женщину влюбиться;
Кто испытал любовь, меня поймет.

* * *

Ну, Виоланта! Задала урок!
Не сочинил я сроду ни куплета,
А ей — изволь сонет. Сонет же — это
Геенна из четырнадцати строк.

А впрочем, я четыре превозмог,
Хоть и не мыслил о судьбе поэта...
Что ж, если доберусь я до терцета,
Катрены не страшны мне, видит бог.

Вот я трехстишья отворяю дверь...
Вошел. И не споткнулся, право слово!
Один терцет кончаю. А теперь,

С двенадцатым стихом — черед второго...
Считайте строчки! Нет ли где потерь?
Четырнадцать всего? Аминь! Готово.

* * *

Король — легенда есть — был деревом пленен,
А юноша один так с мрамором сдружился,
Что близ своей любви он вечно находился,
И камню страсть свою вверял всечасно он.

Но тот, кто в грубый ствол и в камень был влюблен,
Надеждой большею, бесспорно, тот гордился.
Мог подойти он к ним, когда мечтой томился,
Лобзанием своим был тайно награжден.

Увы, о, горе мне! Я о скале тоскую.
Зеленый плющ, что той скале родня,
Жестокий, дикий плющ разжалобить хочу я.

Надежду скорбную в душе своей храня,
Что ты, крылатый бог, коль от любви умру я,
В такой же камень здесь ты превратишь меня!

* * *

Как дым, что в небе вычертил почти
Живой узор — и все уж улетело;
Как ветер, что везде шныряет смело,
А сеть расставишь — пустота в сети;

Как пыль, что тучей вьется на пути,
Но дождь пошел — и тут же пыль осела;
Как тень, что похищает форму тела,
Но тела нет — и тени не найти,—

Так речи женщин: фальшь в любом ответе;
Прельстятся чем-нибудь,— рассудок вон! —
Стыд потеряв, забудут все на свете.

Непостоянство — имя им. Смешон,
Кто верит женщине: лишь дым и ветер,
Лишь пыль и тлен — то, в чем уверен он.

ПОРТУГАЛИЯ

ЛУЗИАДЫ

Отрывки

ВСТУПЛЕНИЕ

Мужей оружья, славой вознесенных,
Что с Запада, где жили Лузитаны,
Путем морей, дотоле не пройденных,
Прошли далёко мимо Топробаны,
В опасностях и битве непреклонных
Превыше силы, человеку данной,
И Королевство Новое воздвигли
Среди чужан, и мощи сей достигли;

А также память Королей суровых,
Расширивших Империи и Вере
Простор в открытых ими землях новых,
Всю Африку и Азию измеря,
И тех, кто смерти разорвал оковы,
Величьем подвига дела поверя —
Я воспою, прославивши повсюду,
Коль мыслью и уменьем взыскан буду.

Забыты мудрый Грек и гений Трои,
Что в плаваньях великих отличились;
И Александр и Траян, герои,
Что громкими победами гордились;
Я Лузитан усердье боевое,
Пред коим и Нептун и Марс склонились,
Пою, чтоб Муза древняя молчала
И новое величье воссияло.

Вы, Нимфы Тежо, что мое творенье
Исполнили могущества и пыла,
Коль ране стих мой, выказав смиренье,
Пел вашу реку, что меня пленила,—
Мне новое даруйте вдохновенье
И красноречье, в коем страсть и сила.
Пусть правит Феб волною вашей пенной,
Соперничать заставив с Гиппокреной.

Меня даруйте яростью певучей,
Не сельского рожка, простой свирели,—
Трубы военной, гулкой и могучей,
Чтоб грудь трещала и чтоб щеки рдели.
Пусть песнь моя достойна будет лучшей
Победы тех, что Марсу так радели;
Пусть ширится она по всей вселенной,
Коль стоит стих награды столь священной.

ПРАВЛЕНИЕ ДОНА МАНУЭЛА И ЕГО ВЕЩИЙ СОН

Как будто небо ясное хранило
Для Мануэла за его старанья
То дело трудное, что пробудило
В нем смелые и славные дерзанья;
Он от Жоана, как в преемстве было,
Наследовал и власть и упованья,
И, Королевством сим прияв управу,
Над дальным морем он приял державу.

И, будучи высоким помышленьем
О славном долге, что ему достался
Еще от предков (кто приумноженьем
Земли, столь недешевой, занимался),
Захвачен, каждым пользуясь мгновеньем,
Он, когда свет дневной уже скрывался
И звезды, ясно в небе расцветая,
Как будто падали, к покою приглашая,

Однажды, на златом лелеясь ложе,
Где так простор мечтаниям дается,
И в мыслях все вертя одно и то же —
Свой кровный долг, что выполнить придется,—

Вдруг видит сон, и этот сон дороже
Ему всего и в сердце остается.
Ибо пред ним, когда он сном забылся,
Морфей в обличьях разных появился.

И чудится ему, что он высоко
Вдруг поднялся, до самой Первой Сферы,
И чуждые миры он зрит широко
И нации иной судьбы и веры.
Он видит, дале устремляя око,
Туда, где день, рождаясь, чертит меры,
Как среди гор далеких, древних, мрачных,
Бьют два ключа высоких и прозрачных,

Там звери странные, неведомые птицы
В горах и рощах диких обитают;
И тысяча деревьев там ветвится,
И травы встречам и ходьбе мешают.
И горы дикие, где только лес темнится,
Своим немым молчаньем выражают,
Что от греха Адамова до века
Нога там не ступала человека.

И видится ему: из вод поднялись,
К нему шаги широко направляя,
Два старца, что преклонными казались,
Хоть дикий, но почтенный вид являя.
С волос их, что на спину опускались,
Стекали капли, тело омывая;
Смуглы, черны, с огромной бородою,
Всклокоченной, нестриженой, густою.

Чело обоих старцев увенчало
Сплетенье трав неведомых и дрока.
Один из них глядел совсем устало,
Словно бы шел сюда уж издалёка;
Казалось, что в иных местах начало
Берет волна могучего потока.
Так, из Аркадии направясь в Сиракузы,
Искал Алфей объятий Аретузы.

Сей муж, чье столь обличье величаво,
Так издалёка Королю вещает:
«О ты, кого корона и держава
Большою частью мира обладает!

Здесь мы, кого летит широко слава,
Кто выи ни пред кем не преклоняет,
Речем: настало время приказанью
Нас обложить твоей великой данью.

Я славный Ганг, и на земле небесной
Имеет колыбель мое теченье;
А этот — Инд, что на горе отвесной,
Что видишь, первое обрел рожденье.
Войны мы будем стоить, но, известной
Своею силой выиграв сраженье,
Путем побед, одержанных тобою,
Всех, кто предстанет, свяжешь ты уздою».

И боле не сказал Поток Священный,
Но оба вдруг исчезли в то мгновенье.
И Мануэл проснулся, потрясенный,
Во власти весь тревоги и сомненья.
А тут и Феб раскинул плащ нетленный
На Полумира сонные владенья;
И небо утра цветом засияло
Стыдливой розы и гвоздики алой.

ИЗБРАНИЕ ВАСКО ДА ГАМЫ КОМАНДИРОМ ЭСКАДРЫ И ОТПЛЫТИЕ ЕЕ ИЗ БЕЛЕМА

Созвал Король совет, и приближенным
Обрисовал виденья сна былого,
И всем поведал, крайне пораженным,
Святого старца мудростное слово.
И порешили: флотом оснащенным,
Послушавшись сердец отважных зова,
Искать, избороздя валы морские,
Климáты чуждые и берега чужие.

А я, кто не надеялся уж было,
Что скрытое стремленье может сбыться,
Хоть сердце зачастую мне дарило
Предчувствие, что важное свершится,
Увидел вдруг,— что за черта, иль сила,
Иль знак во мне успели проявиться? —
Как наш Король мне ключ вручает чудный,
Чтоб путь открыть великий, многотрудный.

И мне словами, полными смиренья,
Что у монархов тверже приказаний,
Он молвит: «Все великие свершенья
Суть плод труда и тяжких испытаний;
Чьи высоки и гóрды устремленья,
Тем жизнь готовит множество терзаний,
И лишь для жалких, кто всего страшится,
Она не так тяжка и доле длится.

Вы мной средь прочих избраны как главный
На труд, определенный вам судьбою,
На подвиг тяжкий, дерзостный и славный,
Что легок вам, ибо предложен мною».
Я не сдержался: «О Король державный,
Готов с огнем, железом, мерзлотою
Сразиться я за вас, одно мне больно,
Что краткой жизни будет не довольно.

Представьте вы такие приключенья,
На кои Еврисфея нрав тиранский
Толкнул Геракла: Гарпий убиенье,
Немейский Лев и Вепрь Эримапфский.
И с Гидрою стоглавою сраженье.
Спущусь туда, где рой теней гигантский,
Ибо для вас и плотью и душою
Готов с любою встретиться бедою».

Меня он милостями осыпает
И восхваляет мудрыми словами,
Ибо хвала решимость подымает
И управляет доблести делами.
За мной к походу тотчас примыкает,
Из нежной дружбы, что царит меж нами,
Алкая славы, как и я, упрямо,
Мой брат любимый Пауло да Гама.

За ним и Николау Коэльо тоже,
Что не страшится никаких трудов.
И разумом и честью оба схожи,
И каждый яр и к подвигу готов.
И так растет, во мне отвагу множа,
Вокруг меня команда храбрецов.
Бесстрашны все, как быть и подобает
Тем, кто дела подобные свершает.

Награждены все щедро Мануэлом,
Дабы охотнее готовы были
Заняться ждущим их опасным делом,
На что его слова одушевили.
Так Аргонавты, было чьим уделом,—
Когда за золотым руном уплыли
На Корабле судьбы,— узнать впервые,
Сколь грозны Моря Черного стихии.

У Града Одиссеева предела
Во власти юной силы непреклонной
(Где волны и песок приемлет белый
От Тежо пресного Нептун соленый)
Стояли наготове каравеллы;
И не был страх бесстрашию препоной,
Ведь людям Марса и морскому люду
За мной пристало следовать повсюду.

По побережью шествуют солдаты,
Лицом различны и цветно одеты,
Решимостью и храбростью богаты,
Чтоб новые разведать части света.
На крепких мачтах знамена́ крылаты
Колышут ветры тихие рассвета,
Чтоб кораблям, как Арго, за морями
Стать на Олимпе новыми звезда́ми.

Покончив с уготовкою такою
К опасному походу, как ведется,
Мы к смерти уготовились душою,
Товарке неотлучной мореходца.
Небесного Владыку, что одною
Лишь милостью о небесах печется,
Молили на пути нас не покинуть
И в трудных начинаниях подвинуть.

Так в храме мы молились, отбывая,
Что на морском брегу расположился
И носит, для примера, имя края,
Где миру во плоти́ господь явился.
Клянусь тебе, Король, что, созерцая,
Как берег, мне знакомый, отдалился,
Я испытал мучения такие,
Что еле обуздал глаза сухие.

Все люди города в то утро хором
(Одни — друзья, другие домочадцы,
А третьи — лишь взглянуть) с печальным взором
Пришли на берег с нами попрощаться.
А мы, идя́ под благостным призором
Честны́х монахов, стали направляться,
Всевышнему молясь в смиренье кротком,
Процессией торжественною к лодкам.

Перед путем, опасностию грозным,
Потерянными нас уже считали,
И женщины своим стенаньем слезным,
Мужчины ж тяжким вздохом провожали.
Супруги, Матери, чьи в пребыванье розном
Сердца всегда страшатся, выражали
Свое унынье взглядами немыми,
Уж не надеясь видеть нас живыми.

Одна твердит: «О сын, кого считала
Опорой нежною и утешеньем,
Зачем ты в старости моей усталой,
Что будет впредь наполнена мученьем,
Меня бросаешь, жалкою и малой?
Куда спешишь с подобным нетерпеньем?
Или тебе конец ужасный нужен,
Когда ты рыбам попадешь на ужин?»

А та, простоволоса: «Муж мой нежный,
Любовь права: жить без тебя не смею.
Зачем бросаешь в океан безбрежный
Жизнь, что была моей, а не твоею?
Зачем меняешь ты на путь мятежный
Ту нежность, что всегда в душе лелею?
Иль хочешь, чтоб умчалось все, что было,
Как в бурном ветре легкое ветрило?»

Словами провожали нас такими,
Что были по́лны скорби и привета,
И старцы и младенцы вслед за ними,
В ком меньше силы умещают лета.
Гудели горы склонами своими,
Словно печалью каждая задета;
И белые песчинки омывались
Слезами, что обильем им равнялись.

А мы и взора подымать не смели
На Жен и Матерей, чтоб не смущаться
Всей этой скорбью и от твердой цели,
К какой стремимся, вдруг не отказаться;
И я решил: минуты подоспели
Взойти на борт и нужды нет прощаться,
Хоть то любви благое предписанье,
Кто вдаль, кто остается — всем страданье.

СТАРИК ИЗ РЕСТЕЛО

Но тут старик, наружностью почтенный,
Что пребывал на берегу с толпою,
На нас уставив взор свой удрученный
И трижды покачавши головою,
Свой голос подымая дерзновенный,
Чтоб нами быть услышан за волною,
Со знанием из опыта суровым
Напутствовал нас следующим словом:

«О, жажда властвовать, о, суетность пустая
Тщеславия, что называем Славой!
Обманчивая страсть, что, раздувая,
Молва народная равняет с честью правой!
Сердца несчастные, что ждут тебя, алкая,
Какой караешь карою кровавой!
На них испытываешь грозности какие,
Какие смерти, страхи и стихии!

Души и жизни горестное бремя,
Источник тягостей и прелюбодеяний,
Пожрательница, признанная всеми,
Империй, королевств и состояний:
Тебя великою назвало время,
Когда достойна ты лишь проклинаний,
Тебя вотще назвало Славой дивной,
Обманывая тем народ наивный.

Какою новою еще бедою
Сразишь ты сих людей и государства?
Под именем, прославленным молвою,
Какие уготовишь им мытарства?

Почто коварной тешишь их мечтою
Обресть златые россыпи и царства?
Какие обещаешь им событья,
Победы, восхваления, открытья?

А ты, о племя, кое безрассудный,
Грех совершивший неповиновенья,
Не только вертоград оставя чудный,
Познать обрек изгнанье и мученья,
Но и сменить понудил дивнолюдный
(Когда невинно было дней теченье)
Век золотой, спокойный и полезный,
На войнами гремящий век железный;

Уж если, дань воздав высокомерью,
Ты вознеслось фантазией напрасной
И грубой силе, что пристала зверю,
Дало названье доблести прекрасной,
Уж если столь ты предалось безверью,
Что жизнь уже не ценишь, ежечасной
Достойную заботы,— ведь и Тот
Терять ее боялся, кто дает;

То ведь с измаильтянином всегда ты
В сраженье многотрудном пребываешь,
Что Магомета чтит закон проклятый,
Тогда как ты Христов исповедаешь;
Его ль земля и грады не богаты,
Коль кладов и земель еще алкаешь?
Не он ли славится непобедимым,
Коль хочешь за победы быть хвалимым?

Но допускаешь ты врага до двери
И вдаль стремишься, чтоб найти другого,
А королевство древнее потери,
Упадок, нищету терпеть готово!
Затем лишь, чтобы слава, в лицемерье,
За то, что не избрал пути иного,
Тебя властителем назвала для утопий
Аравий, Индий, Персий, Эфиопий!

О, проклят будь, кто в мире сем впервые
Приладил парус к дереву сухому!
Ты обречен на муки вековые,
Коль я закону следую благому!

Ни трезвый ум, ни чувствия живые,
Ни лира звонкая, чужды греху такому,
Тебя за то да не почтят хвалою,
Твое же имя да умрет с тобою!

Огонь похитил с неба сын Япета,
Чтоб духу человека дать горенье,
Огонь, каким была война возгрета,
Вражда и смерть (какое заблужденье!).
Куда как лучше было бы для света,
О Прометей, и меньше ущемленье,
Коль статуя твоя бы не узнала
Огня страстей высокого накала!

Не испытал бы юноша на го́ре
Отцову колесницу; мглу высоку
Великий зодчий с сыном, на́звав море
Один, другой же славу дав потоку.
Ведь нет такого зла, что в тяжком споре
Огню, воде, железу, хладу, пёку
Не поручило б человечье племя.
О, жалкий рок! Неведомое бремя!»

ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА И СМЕРЧ

Рассказывать тебе о всех опасных
Морских делах, что люди и не знают,
О всех штормах, внезапных и ужасных,
О молниях, что небо зажигают,
О черных ливнях, о ночах ненастных,
Громах, что ревом воздух разрывают,—
Тяжелый труд, к тому же бесполезный,
Хоть был бы голос у меня железный.

Я видел случаи, что моряки седые,
Чье только в долгом опыте ученье,
Поведали как истые, былые,
Судя́ событья только чрез виденье;
И кои людям, чьи умы благие
Наукам отдавали предпочтенье,
Кто видел мира спрятанные тайны,—
Предстали ложны и необычайны.

Я близко зрел свечение живое
Во время бурь и ветра завываний,
Что моряками чтится как Святое
Среди ночей кромешных и рыданий.
Не меньше поразило нас такое
Явление иль чудо, всех нежданней:
Воронкой длинной тучи из тумана
Заглатывают волны Океана.

Я видел ясно (не был бы терпимым
Обман очей), как в воздух подымалось
Как будто испаренье с легким дымом
И, уносимо ветром, округлялось;
И, к Полюсам небесным и незримым
Воронкою столь тонкой устремлялось,
Что взглядом мы за ней не поспевали
И дальних туч материей считали.

Воронка утолщалась постепенно
И выше главной мачты вырастала;
То жмется, то растянется мгновенно,
Когда восплески длинных струй глотала;
И волновалась в лад с волною пенной;
Вершину ж туча грозная венчала,
Все становясь обширней, тяжелее
От груза влаги, поглощенной ею.

Как пьявка красная, что вдруг вопьется
В губу животного (ее с водою
Вобравшего, напившись из колодца),
Гасила жажду кровию чужою...
Сося, все вырастает, раздается,
Вдруг поразит безмерной толщиною —
Вот так колонна делала могучей
Себя с носимой ею черной тучей.

Но вот, уже насытившись по горло,
Придаток, в море спущенный, вбирает
И пó небу, дождя, полет простерла,
И высшей влагой низшую питает;
Как будто солью глотку ей натерло,
Волне волну, что взята, возвращает.
Пусть знают книжники любой породы,
Какие есть секреты у Природы!

Коль древние б философы, что дали
Земель прошли, чтоб их предаться тайнам,
Те дива, что я видел, увидали,
Доверив паруса ветрам случайным,
Какие б нам писанья даровали!
О звезд влиянии необычайном,
О разных чудах рассказали б живо,
И было б все не ложно, а правдиво!

ЯВЛЕНИЕ АДАМАСТОРА

Уж пятый раз Светила угасали
С тех пор, что мы отплыли, разрезая
Моря, где прочие не проплывали,
И добрым вéтрам парус подставляя,
Вдруг как-то ночью — на носу стояли
Мы корабельном, море наблюдая,—
Большая туча, все застлав тенями,
Над нашими простерлась головами.

Такой зловещей, грузною предстала,
Что сердце в нас наполнила тоскою;
Чернея, даль морская грохотала,
Как бы внезапно встретясь со скалою.
«О Твердь (я молвил), что ты ниспослала?
Какою тайной иль какой бедою
Грозишь ты нам,— волну морскую хмуря,—
Что кажется ужаснее, чем буря?»

Еще не смолк я, образ беспримерный
Явился в воздухе, могуч, ужасен,
Нездешних форм и ростом непомерный,
Брада всклокочена и лик неясен;
Цвет кожи у него землистый, скверный,
Глаза ввалились, вид его опасен;
И волоса в земле, грязны и грубы,
И черен рот его, и желты зубы.

Так были мощны члены, что вопросом
Я задался, не находя ответа:
Иль был вторым Родосским он Колоссом,
Что признан как седьмое чудо света?
Таким свирепым был, громкоголосым,
Как будто бы вещал из бездны где-то.
И дыбом волосы у нас вставали
Пред тем, что мы видали и слыхали.

И молвил: «Люд отважный, кем вершится
На свете столько дел невероятных,
Ты, что привык в жестоких битвах биться,
Не отдыхая от усилий ратных,
Раз ты прошел запретные границы,
Моих морей коснувшись необъятных,
Что столько лет я стерегу со гневом,
Еще ничьим не вспаханные древом...

Раз ты явился, чтоб разведать тайны
Природы и стихии этой водной,
Что и таким мужам необычайны,
Кто обессмертен славой благородной,
Тогда послушай: земли те бескрайны,
Что завоюешь средь пустыни водной,
Грозят бедой твоей слепой гордыне.
В сражение с тобой вступаю ныне.

Узнай, что, сколько б кораблей на свете
Твой путь ни повторило здесь, дерзая,
Враждебными места им будут эти
И ждет их дикий ветр и буря злая!
И первой же армаде, что наметит
Стезю по волнам девственного края,
Такой удар я нанесу с размаха,
Что будет их потеря больше страха!

Надеюсь здесь, не будет коль обмана,
Меня открывшего подвергнуть высшей мести,
И это не конец еще изъяна,
Что нанесу упрямой вашей чести:
Раз истина уму открылась рано,
То вижу: каждый год на этом месте
Всем вашим кораблям грозит крушенье
И смерть сама вам будет в утешенье!

И первому, кто славою гордиться
Своею может перед небесами,
Я стану вечно новою гробницей,
Как тайно предначертано Богами.
Турецкая армада здесь кичиться
Своих трофеев станет чудесами;
Но и для них дождусь возмездья часа:
Падут во прах Килоа и Момбаса.

Другой прибудет, муж высокой чести,
Приветливый, и щедрый, и влюбленный,
Красавицы, что с ним прибудет вместе,
Любовию и милостью плененный.
Но черное грядущее из мести
Готовит им мой гневный вал смятенный:
Крушение оставит их живыми,
Чтоб мучились страданьями своими.

Они увидят смерть детей прекрасных,
В такой любви рожденных и зачатых,
Увидят кафров, жадных и ужасных,
Одежды с милой рвущих бесновато;
Увидят нежны члены, формы ясны,
Жарою, хладом, вихрями объяты,
После того как маленькой стопою
Пески горячие истоптаны с тоскою.

Еще увидят, как брели, спасаясь
От стольких бед, от бремени такого
Любовники несчастные, скрываясь
Средь чащи леса душного, густого.
И, скорбными слезами заливаясь,
Что даже камни размягчат суровы,
Обнявшись, душам дали распроститься
С прекрасной и жалчайшею темницей».

И дале страшное вещало чудо
О наших судьбах, но, вскочив проворно,
Я крикнул: «Кто ты, вестник, и откуда?
Зачем ты нас пугаешь так упорно?»
И с воплем, что, казалось, слышен всюду,
Скривив свой рот чудовищный и черный,
Он отвечал, сердито, недовольно,
Словно вопрос его ударил больно:

«Я грозный Мыс, сокрытый в сей пустыне,
Что Мысом Бурь вы наименовали,
И никогда Страбон, Помпоний, Плиний
И им подобные меня не знали.
Весь Африканский брег над бездной синей
Мои крутые пики увенчали,
Я к Полюсу далёко простираюсь
И вашею гордыней возмущаюсь!

Я — из Гигантов, что самой Землею,
Как Энкелад, Эгей, Тифон, зачаты;
Звался Адамастор я, и войною
На Громовержца я ходил когда-то;
Не громоздил я гору над горою,
Но властию моей была объята
Стихия, где я плавал капитаном,
Нептунов флот ища по Океанам.

Меня тогда любовь жены Пелея
К исканиям подобным побудила.
Что были б мне Богини Эмпирея,
Когда б Царица Вод меня любила!
Когда однажды с дочерьми Нерея
Она на берег моря выходила,
Ее я тайно видел обнаженной
И не уйму с тех пор души смятенной.

И раз была она недостижима
Из-за уродства моего большого,
Решил я: сила здесь необходима,
И тотчас же Дориде молвил слово.
Но дочь ее была неумолима
И, рассмеяться весело готова,
Сказала: «Бедной нимфе было б странно
Любовью утолить любовь Титана.

Но, честь свою храня, я все же верю,
Что, дабы гладь морей освободилась
От треволнений, искуплю потерю».
С таким ответом вестница явилась.
Я слепоту влюбленных не измерю,
Поведав, как обманом сим пленилась
Моя душа и как ее до края
Надежда переполнила пустая.

И мне, уж отошедшему от боя,
Вдруг ночью, как Дорида обещала,
Прекрасною, далекою, нагою
Фетида в белизне своей предстала.
Безумцем устремился я за тою,
Что жизнь вот этой плоти составляла,
Раскрыл объятья, и власы, и очи,
И, нежный лик целуя среди ночи.

Я думал, что любовь мою целую,—
О! Тяжело рассказывать мне дале! —
Сжимал в объятьях я скалу крутую,
Что дикие побеги оплетали.
И вот гляжу на крутизну немую,
Где очи лик мне ангельский являли,
И чувствую, как гаснет жизни пламень,
И, рядом с камнем, стал я тоже камень!

Прекраснейшая Нимфа Океана,
Коль мой тебе противен лик могучий,
Зачем ты не продолжила обмана,
Будь ты хоть сном, мечтой, скалой иль тучей?
С тех пор брожу, безумец, неустанно
Со гневом и стыдом во тьме дремучей
И мир ищу другой, где не найдется,
Кто над моим бесчестьем посмеется.

В те времена мои титаны-братья
Повержены во прах давно уж были,
И Боги, чтоб скрепить свое проклятье,
Горами побежденных завалили.
Поскольку до небес не мог достать я
И слезы тщетные меня сломили,
Я понял, что враждебною Судьбиной
Уже вершится жребий мой единый.

И стала плоть моя сухой землею,
И стали кости каменною кручей;
И члены, что ты видишь, над водою
Раскинулись, далекой и кипучей.
И в темный Холм Богами и судьбою
Был обращен тогда мой торс могучий;
И, дабы я застыл в моем позоре,
Меня волнами окружило море».

Так он вещал; и вдруг, с глухим рыданьем,
Пропал из виду, словно не бывало.
Растаял черный облак; клокотаньем
И дальним ревом море прозвучало.
И я, поднявши руки супованьем,
У неба, что нас так оберегало,
Молил грядущих не карать позором
Страстей, предсказанных Адамастором.

СЕТОВАНИЯ ПОЭТА, ОБРАЩАЮЩЕГОСЯ К КОРОЛЮ И УКАЗУЮЩЕГО ПУТИ К НОВОЙ СЛАВЕ

Нет, Муза, нет, я Лиру не настрою,
Она уже глуха, и голос сдавлен,
Но не от песен, а затем, что мною
Бесчувственный и грубый люд прославлен.
Огонь, что освещает путь герою,
Нам ныне родиной не предоставлен,
Она погрязла в черствости, стяжанье,
Жестоком, жалком, грустном угасанье.

Не ведаю, каким влияньем Рока
У ней отъята гордость, честь живая,
Что душу подымает так высоко,
К работам и свершеньям обращая.
А Вам, Король, вокруг себя далёко
С престола, богом данного, взирая,
Возможно, по сравнению с другими,
Довольным быть вассалами своими.

Как весело они по всем пределам,
Подобно диким вепрям, львам гербовым,
Идут, тела подставив пулям, стрелам,
Огню и бденью, гладу и оковам,
Пустыням знойным, брегам охладелым,
Язычников ударам столь суровым,
Опасностям, не познанным вселенной,
Акулам, скалам и пучине пенной!

Служить Вам расположены со рвеньем
И, далеко от Вас, всегда покорны
Суровым часто Вашим повеленьям,
Не протестуя, бодры и упорны.
И, Вашим польщены благоволеньем,
Всем демонам, всем адским силам черным
Дадут сраженье, в коем Вы, властитель,
Предстанете всегда как победитель.

Их не лишайте милости, подмоги,
Одушевите добрым, чутким словом;
Оберегите от законов строгих,
И будут чтить Вас всюду как святого.

Тех вознесите, чьи познанья многи,
Кто может, в силу опыта большого,
Вам дать совет полезный, твердо зная
И что к чему, и польза в чем какая.

Вы их благоприятствуйте занятьям
Согласно их наклонностям и нраву:
В монастырях молиться должно Братьям
За Вашу поусерднее державу,
Поститься, приобщать благим понятьям
Заблудших; и забыть пустую славу.
Ибо тому, кто бога чтит неложно,
Алкать богатств и власти невозможно.

И Рыцарей возвысьте благосклонно,
Ибо своей бесстрашной кровью жгучей
Открыли путь не только для Закона
Небес, но для Империи могучей;
И, Вам служа усердно, неуклонно
В чужих краях, когда предстанет случай,
Двоих врагов сражают: человека
И тяжкий труд, неведомый от века.

И сделайте, Сеньор, чтоб, столь хвалимы,
Германцы, италийцы, англичане
О нас сказали, что непокоримы,
А только покоряют Лузитане.
Совет держите с теми, кто учимы
Годами были долгих испытаний,
Ибо хотя наука знанья множит,
Но опыт в каждом случае поможет.

Когда философ стал красноречивый
Распространяться об искусстве боя
Пред Ганнибалом, речью сей красивой
Он вызвал лишь насмешки у героя.
О нет, Сеньор, фантазией ретивой
Не познается дело боевое,
Ни чтеньем, ни мечтой, ни восхищеньем,
Но опытом, уменьем и сраженьем.

Но перед кем я речь веду столь вяло
И низко, будучи не узнан Вами?
Хоть похвала прекрасною бывала
И высказана скромными устами.

Занятий честных в жизни мне достало
И опыта, что обретен годами,
И дарования, скажу по чести,—
Три вещи, что бывают редко вместе.

Чтоб Вам служить, рука с оружьем свычна;
Чтоб петь Вас, Музами душа согрета;
Пускай же милость станет мне привычна
Того, чья доблесть будет мной воспета,
Когда он поведет своеобычно
Дела, достойные стиха поэта,
Как разум то пророческий подскажет
И Небо путь свершению укажет.

Коль устрашится боле, чем Медузы,
Виденья Вашего гора Атланта,
Коль разобьете в далях Ампелузы
Вы камень стен Марокко и Труданта,
Я потревожу сон усталой Музы
И славой уж венчанного таланта,
Чтоб Александра в Вас планета чтила,
Всем лаврам не завидуя Ахилла.

* * *

Колокола сзывали в божий храм,
И люди шли, как реки льются в море,
Чтобы того прославить в общем хоре,
Кто указал пути к спасенью нам.

Но притаился бог незрячий там,
И я в груди стрелу почуял вскоре,
И он сломил мой разум в жарком споре,
Прекрасный лик явив моим глазам.

Язычник одолел меня во храме,
Но я в душе не чувствую укора,
Слепого супостата не кляну.

Я дал ему обвить меня цепями,
Я славил этим вас, моя сеньора.
И жаль, что прежде не был я в плену.

* * *

«Что унесла ты, Смерть?» — «Взошедшее светило».
«Когда?» — «Как только день забрезжил в небесах».
«И что ж теперь оно?» — «Уже остывший прах».
«Кто приказал тебе?» — «Тот, чья безмерна сила».

«Кто телу даст приют?» — «Как всем телам — могила».
«Где юный блеск его?» — «Как всё — погас впотьмах».
«А Португалия?» — «Глядит на гроб в слезах».
«Что говорит она?» — «Как рано ты почила!»

«Кто видел мертвую — не умер?» — «Был убит».
«Что говорит Любовь?» — «В молчании скорбит».
«Кто ей замкнул уста?» — «Я! Чтоб не слышать вздора».

«А королевский двор?» — «С Любовью заодно».
«Что там готовится?» — «Там пусто и темно».
«Кто мог бы свет вернуть?» — «Мария де Тавора».

* * *

Прощальный час, прощальной речи звук —
И жизнь уйдет путем необратимым,
И станет все несбывшимся и мнимым,
Обман мечты замкнет железный круг.

О, смена встреч, свиданий и разлук!
Ты к цели шел усердным пилигримом,
Ты верен был, но все уходит дымом,
Ни жертв не ценит Время, ни заслуг.

Прошедшее не может возвратиться,—
Такая даль разделит нас с тобою,
Что нам едва ли встреча суждена.

Все кончено! К чему еще стремиться?
Мне будет — так начертано судьбою —
Разлукой долгой жизнь сокращена.

* * *

Меняются и время и мечты,
Меняются, как время, представленья.
Изменчивы под солнцем все явленья,
И мир всечасно видишь новым ты.

Во всем и всюду новые черты,
Но для надежды нет осуществленья.
От счастья остаются сожаленья,
От горя — только чувство пустоты.

Уйдет зима, уйдут снега и холод,
И мир весной, как прежде, станет молод,
А я и песню слушаю в слезах.

Иссякнут слезы, вновь придет веселье,
Но страшно роковое новоселье,
И неизменен в мире этот страх.

* * *

За что?! Сижу прикованный к стене.
За днями дни в тюрьме идут, как тени,
Потоком смутным мыслей, чувств, видений,
Бесследным и бесплодным, как во сне.

Лишь прошлое стучится в дверь ко мне
Тоской невыносимых сожалений,
Да колесом, бессменным в общей смене,
Слышней скрипит Фортуна в тишине.

И, в хаосе бегущих дум затерян,
Мой скорбный дух не знает, не уверен,
То говорит со мною ночь и тьма,

Иль, предаваясь тягостному бреду,
С собой я сам веду в ночи беседу,
Здоров ли я или схожу с ума.

* * *

Меня сочли погибшим, наблюдая,
Как тягостно владеет горе мною,
Как меж людей бреду я стороною
И как чужда мне суета людская.

Я погибал. Но, мир пройдя до края,
Не изменил возвышенному строю
Среди сердец, что обросли корою,
Страданий очистительных не зная.

Иной во имя золота и славы
Обрыщет землю, возмутит державы,
Зажмет весь мир в железное кольцо.

А я иду любви тропой неторной.
В моей душе — кумир нерукотворный —
Изваяно прекрасное лицо.

* * *

Дожди с небес, потоки с гор мутят
Речную глубь. В волнах не стало брода,
В лесах не стало лиственного свода,
Лишь ветры оголтелые свистят.

Сменил весну и лето зимний хлад,
Все унеслось в круговращенье года,
И Рок забыл, жива ль еще природа,
Гармония ли в мире иль разлад.

Но Время точно свой блюдет порядок.
А мир... а в мире столько неполадок,
Как будто нас отверг всевышний сам.

Все ясное, обычное, простое,
Все спуталось, и рухнули устои.
А жизни нет. Жизнь только снится нам.

* * *

Туманный очерк синеватых гор,
Зеленых рощ каштановых прохлада,
Ручья журчанье, рокот водопада,
Закатных тучек розовый узор,

Морская ширь, чужой земли простор,
Бредущее в свою деревню стадо,—
Казалось бы, душа должна быть рада,
Все тешит слух, все восхищает взор.

Но нет тебя — и радость невозможна.
Хоть небеса невыразимо сини,
Природа бесконечно хороша,

Мне без тебя и пусто и тревожно,
Сержусь на все, блуждаю, как в пустыне,
И грустью переполнена душа.

* * *

Мучительно за годом год идет.
А дней уже осталось так немного.
Но чем их меньше, тем длинней дорога,
Тем больше в сердце горестных забот.

Мой дар слабеет, и который год
Не знает радость моего порога:
И только опыт, все измерив строго,
Порой обман грозящий узнает.

Гонюсь за счастьем — вот оно! попалось!
Увы! рванулось и опять умчалось.
Я падаю, встаю, пропал и след...

Бегу опять, зову,— оно далеко.
Вперяю в даль отчаянное око...
Оно исчезло, и надежды нет.

* * *

Вы мчитесь, волны, мимо всех преград,
Пускай с трудом, но радуясь заране
Соединенью в вечном океане,
Который вас готов принять, как брат.

Но горе тем, чей путь трудней стократ,
Кто слезы льет, придя к последней грани,
Кто, затеряв мечту свою в тумане,
Ее причислил к тысячам утрат.

Вы мчитесь по извилистым дорогам
К морской груди как бы к земному раю,
Вам тяжело, но радостен ваш бег,

А я иду, как будто проклят богом,
Я торный путь, ведущий к цели, знаю,
Но для меня закрылся он навек.

* * *

Чтó чувствую, смятенье затая,
я в смехе вашем, вашем разговоре?
Чтó мнится мне в молчанье вашем, взоре?
Когда ж уеду в дальние края,

чтó видит в вас тогда душа моя,
смотря на вас сквозь небеса и море...
Печален вздох ваш, но какое горе
скрывает он, увы, не знаю я.

Чтó нас сближает, разделяя нас?
То воздух иль неведомое пламя
стихий, чьей сути разум не постиг?

Чтó вдруг сверкнет порой в глазах у вас?
Но коль мне не понять, чтó между нами,
бессилен это выразить язык.

ПОДРАЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ПЕСЕНКЕ, КОТОРУЮ РАСПЕВАЮТ ДВЕ ПЕВИЦЫ

Первая:

В горы уйду я,
здесь не останусь ни дня:
кто меня любит,
кто меня любит,
там пусть отыщет меня.

В деревне живем мы
все в споре да в ссоре:
для вас — веселье,
а мне — лишь горе.
А с гор я море
смогу увидать,
в тиши там буду мечтать.

Вторая ей отвечает:

Живительны в зной
прохлада и тень,
но кончится день,
станет грустно одной...
Ты дом свой родной
начнешь вспоминать
и будешь о нас тосковать.

Первая:

Не след нам судить
о других по себе.
Угодно судьбе
тебя наградить —
умей сохранить
то, что ею дано:
ведь счастье найти мудрено.

Вторая:

Покуда кусок
мы подносим ко рту,
свою остроту
теряет желанье...
Пустые мечтанья,
какой в них прок?
Радости краток срок.

Первая:

Быть может, в горах
я счастье найду,
а коль, на беду,
все рассыплется в прах,
я стану в слезах
дни свои коротать:
нечего больше мне ждать.

* * *

О матери твоей, дитя,
тебя я нянча, вспоминаю:
в слезах, что катятся из глаз,
я, как в воде, тебя купаю.

Ты родилась в беде... Так будь же
ты счастлива назло судьбе,
коль в час рожденья твой фортуна
прониклась завистью к тебе.

Твою, малютка, колыбель
под пенье скорбное качали;
нет матери твоей в живых,
и мы все в горе и печали.

Что в этой жизни ждет тебя,
рожденную в слезах и горе?
А ты красавицей растешь,
глаза зеленые, как море...

И красоте такой, увы,
родиться довелось в изгнанье...
Ах, сколь проступок ни тяжел,
всегда тяжеле наказанье.

Чтоб ты жила на белом свете,
сошла твоя в могилу мать:
но нет, дитя, нет, в этой смерти
тебя грешно мне обвинять.

Судьба ко всем немилосердна,
ее неправеден закон;
но твоему отцу судьбою
удар безмерный нанесен.

Я крик твой первый услыхала,
ты без меня б и не жила...
Ах, если б знать: к добру иль к худу
тебя для жизни я спасла.

Не верю, что себе на горе
ты родилась в тот скорбный час
с такой счастливою улыбкой
в сиянии зеленых глаз.

Пусть слабое, но утешенье
я в сей надежде обретя,
молю у бога лучшей доли
тебе, несчастное дитя.

Хоть в старых сказках говорится,
что счастье в ссоре с красотой:
а ведь когда-то они были
друзья — не разольешь водой.

Пусть мне твердят, что это сказки,
но знаю я: коль быть беде,
то, как ты от нее ни бегай,
она найдет тебя везде.

Но все же люди в зло не верят,
о счастье грезят об одном,
но их мечты и упованья
приносят им одни страданья,
и жизнь все горше с каждым днем.

* * *

Как день является в очах авроры,
что, словно роза на снегу, нежна,
и тень ночная днем побеждена,
вновь небо сине, зелены просторы,

как, светлым ликом привлекая взоры,
в ночи всплывает бледная луна:
рогами звезд касается она
и усмиряет грозных туч раздоры,

так мне явилась светлая звезда
и в душу пролила мне новый свет,
и мир глаза по-новому познали...

О, будь со мною до скончанья лет,
и тучи, что мне небо закрывали,
отступят пред тобою навсегда!

* * *

Ее улыбка, грация живая,
досель невиданная красота,
величие ума и доброта —
все в ней светилось, мир наш озаряя.

Была для всех нас воплощеньем рая
ее душа — мудра, нежна, чиста...
На небесах, куда она взята,
она царит, смерть смертью попирая.

Кого ж зову я, плачу и молю
над камнем, что к моим стенаньям глух
и равнодушен к неизбывной муке?

Да склонят небеса ко мне свой слух...
Пока же светлый лик со мной в разлуке,
я, как живую, мертвую люблю!

ПРИМЕЧАНИЯ

ИТАЛИЯ

Данте Алигьери (1265—1321).— Данте Алигьери родился во Флоренции, в семье, принадлежавшей к дворянскому роду. Очень рано активно включился в политическую жизнь города-государства, но после поражения своей партии, в 1302 году, был изгнан из Флоренции, куда уже не смог вернуться до конца своих дней. Поэтическую славу Данте составляют не только цикл канцон и сонетов «Новая Жизнь» и поэма «Божественная Комедия»; его перу принадлежит множество лирических стихотворений, написанных в различные периоды его жизни, как во Флоренции, так и в изгнании. В своих произведениях Данте использует тосканский вариант итальянского языка, развитый затем Петраркой и Боккаччо и ставший литературной нормой.

Стр. 29. «*Вовек не искупить своей вины...*» — Стихотворение флорентийского периода.

«*О бог любви, ты видишь, эта дама...*» — Стихотворение относится к циклу «Каменных канцон», написанных в изгнании; названы так потому, что они обращены к даме, сердце которой Данте сравнивает с камнем.

Стр. 31. «*Недолго мне слезами разразиться...*» — Стихотворение, написанное в изгнании.

...*Убийцу справедливости найдет, которому потворствует деспот...*— Здесь Данте клеймит тех, кто, пользуясь поощрением папы, препятствовал объединению Италии. В данном случае имеется в виду, видимо, французский король Филипп Красивый (1268—1314).

...*Вели восстать безвинно убиенной...*— Подразумевается справедливость.

Франческо Петрарка (1304—1374).— Родился в Ареццо, куда в связи с политическими преследованиями бежал из Флоренции его отец, нотариус по профессии. В 1311 году семья переехала в Пизу, затем в Авиньон. Там в 1327 году Петрарка встретил молодую женщину, которую

в течение многих лет воспевал в стихах под именем Лауры. Петрарка — типичный образец ренессансной многогранной личности: ученый-гуманист и поэт, философ-моралист, дипломат и путешественник; пользовался огромным авторитетом у современников, перед ним заискивали правители итальянских городов и княжеств. Литературная слава Петрарки основывается прежде всего на его цикле любовной лирики «Канцоньере», оказавшей решающее влияние на всю европейскую поэзию Возрождения. «Канцоньере» подразделяется на две части: «На жизнь мадонны Лауры» и «На смерть мадонны Лауры», но Петрарка рисует не столько историю своей любви, сколько картину мучительных противоречий, раздирающих его душу — душу человека переходной поры, в котором светлое гуманистическое мировоззрение борется с пережитками средневековых представлений. Характерная черта «Канцоньере» — ярко выраженная индивидуальность поэта.

Петрарка, как и другие итальянские гуманисты, придавал большое значение своим латинским сочинениям. Среди них выделяется эпическая поэма «Африка», где, в духе античной героической поэзии, воспеваются деяния древнеримского полководца Сципиона Африканского. За эту поэму Петрарка в 1341 году был увенчан лаврами в римском Капитолии.

Стр. 32. «*В собранье песен...*» — Стихотворение, открывающее «Канцоньере».

Стр. 33. «*О благородный дух...*» — С точки зрения некоторых исследователей, имеется в виду Кола ди Риенци, возглавивший республиканское восстание в Риме и в 1347 году провозглашенный народным трибуном.

Стр. 34. *Марсовы сыны.*— Так поэт называет римский народ.

Стр. 35. *Ганнибал* (ок. 249—183 гг. до н. э.) — карфагенский полководец, смертельный враг Рима.

...Орлы и змеи, волки и медведи... колонна...— Обозначения на гербах знатных римских фамилий, участвовавших в гражданских раздорах.

...Их матери...— То есть Рима.

...отцу святому, что предпочел чужой родному дому.— В результате длительной борьбы между французским абсолютизмом и папой папский престол был в 1305 году перенесен из Рима в Авиньон («авиньонское пленение пап»). Именно при этом папском дворе и прошла молодость Петрарки.

Стр. 36. *На Капитолии, канцона, встретишь ты рыцаря...*— Речь идет о Кола ди Риенци.

...Некто... просил сказать...— Поэт намекает на самого себя.

Стр. 38. «*Узнав из ваших полных скорби строк...*» — Стихотворение обращено к Антонио де Беккари из Феррары, написавшему сонет, где восхвалялся Петрарка, о котором прошел слух, будто он умер.

Стр. 39. «*Италия моя, твоих страданий...*» — Как полагают исследователи, поэт обращается здесь к итальянским синьорам, ведущим кровопролитные битвы руками наемников.

Стр. 40. *...Которому живот вспорол бесстрашный Марий...*— Гай Марий, римский политический деятель, который в 102 году до н. э. победил тевтонов.

...На хитрого баварца положиться...— Речь идет о немецких наемниках.

Стр. 41. *Пока вы здесь бредете...*— То есть пока вы живы.

Стр. 42. *«Что ж, в том же духе продолжай...»* и *«Источник скорби, бешенства обитель...»*.— В этих стихотворениях Петрарка клеймит папский двор.

...Константин вернется. Не в аду радеть о духе. — Речь идет о римском императоре Константине (274—337), принявшем перед смертью христианство. Согласно церковной легенде, он передал папам светскую власть («дар Константина»), за что мучается в аду.

Стр. 43. *«Нет больше величайшей из колонн, нет лавра...»* — Игра слов. Петрарка имеет в виду своего друга, кардинала Колонну, умершего вскоре после Лауры.

Джованни Боккаччо (1313—1375).— Незаконный сын флорентийского купца и француженки, родился в Париже. По желанию отца обучался сперва торговому делу, затем юридическим наукам в Неаполе. Однако юноша решил посвятить себя литературе и искусству и вошел в кружок гуманистов при дворе неаполитанского короля. Именно там он встретил побочную дочь короля Марию д'Аквино, воспетую им под именем Фьямметты. Любовью к ней дышат его ранние стихи. Любовь — главная тема первых поэм Боккаччо, пронизанных античной образностью, нередко построенных на сюжетах рыцарских романов. Вернувшись во Флоренцию, Боккаччо пишет свои главные произведения в прозе: небольшой любовно-психологический роман «Фьямметта» и «Декамерон». К флорентийскому периоду относится и поэма «Фьезоланские нимфы», написанная в октавах (с тех пор октава прочно вошла в итальянскую поэзию). В поэме рассказывается о трогательной любви пастуха Африко и нимфы Мензолы на фоне гармонической природы. Это одна из первых идиллий в итальянской литературе эпохи Возрождения.

Леонардо Джустиниан (ок. 1388—1446).— Венецианский патриций, государственный деятель, ученый-гуманист. Прославился канцонами на итальянском языке, которые распространялись и имитировались по всей Италии под названием «Джустиниановых»: характерные интонации и образы народных песен сочетаются в них с изысканностью языка.

Буркьелло (1404—1449).— Настоящее имя Доменико ди Джованни. Сын флорентийского плотника, по ремеслу брадобрей; создатель шуточной эксцентрической поэзии, получившей наименование «Буркьелловой». В этой поэзии, представляющей собой комико-фантастическое воссоздание действи-

тельности, сочетаются разнородные компоненты, не имеющие между собой очевидной связи, что создает впечатление игры. «Буркьеллова поэзия», народная по своему духу, пользовалась большим успехом у современников и находила многих подражателей.

Джованни Понтано (1429—1503).— Поэт и неаполитанский политический деятель. Написал большое число астрологических, моральных и литературных трактатов, однако известность получил благодаря своим поэтическим произведениям на латинском языке, для которых характерно ощущение краткости бытия в сочетании с радостным чувством наслаждения земной жизнью и красотой природы.

Стр. 59. *Луций* — сын поэта.
Стр. 60. *Луска* — комнатная собачка.

Луиджи Пульчи (1432—1484).— Флорентийский поэт, принадлежавший к литературному кружку правившего тогда князя Лоренцо Медичи. Пульчи прославился главным образом герои-комической поэмой «Большой Моргант» (1478), где он пародирует рыцарские поэмы, имевшие широкое хождение в Италии его времени. Смешивая в «Большом Морганте» два плана — комический и героический, снижая невероятные рыцарские подвиги до уровня смешного, Пульчи возрождает в новых условиях традицию «Буркьелловой» поэзии и вносит в итальянскую поэзию мощную реалистическую струю. Используя сюжет «Песни о Роланде», он делает главными героями не идеальных рыцарей Роланда или Ринальдо, а добродушного, прожорливого великана Морганта и хитрого наглого полувеликана Маргутта. Антиклерикальные взгляды автора выражает в поэме дьявол Астаротт.

Пистойя.— Поэт Антонио Камелли (ок. 1436—1502), прозванный Пистойей по месту рождения. Писал «шутливые сонеты» широкого тематического диапазона. В своей поэзии выражал враждебность к церкви.

Маттео Боярдо (1441—1494).— Происходил из знатного рода. Переселившись в 1476 году в Феррару, занимал различные административные посты при герцогском дворе. Мечтал стать новым Вергилием и сочинял стихи на латинском языке. «Канцоньере» (1476), написанный по-итальянски, знаменует поворот в его творчестве. Теперь Боярдо берет за образец Петрарку, но интерес поэта сосредоточен не на раскрытии душевной жизни, а на красоте природы, и он дает великолепные ее описания. Эта особенность характерна и для главного произведения Боярдо — «Влюбленный Роланд», шутливой рыцарской поэмы в октавах, где объединены различные сюжетные мотивы, заимствованные из средневековых источников и транспонированные на придворный быт и нравы современной поэту герцогской Феррары. Суровый рыцарь Роланд превратился у Боярдо в ревнивого поклонника ветреной красавицы Анджелики.

Лоренцо Медичи, прозванный Великолепным (1449—1492).— Представитель патрицианской семьи банкиров Медичи, захвативших к концу XV века власть во Флоренции, был правителем этого города; оказывал широкое покровительство искусству и литературе, сам был плодовитым писателем. Его творчество носит, однако, эклектический характер: он подражает Петрарке (ранние стихи), Боккаччо (некоторые новеллы), Пульчи (небольшая поэма «Ненча из Барберино», где Лоренцо вывел самого себя в образе крестьянина Валлера, влюбленного в Ненчу). В произведениях Лоренцо последних лет его жизни появляются мотивы усталости, меланхолии (особенно в поэме «Амбра»); грустя о быстротечности жизни, поэт призывает насладиться коротким мгновением. Широкую известность получили его танцевальные и карнавальные песни, написанные для народа.

Микеле Марулло Тарканиот (1453—1500).— Поэт-гуманист греческого происхождения. В год падения Константинополя и рождения Марулло его семья бежала в Италию. Живя в Неаполе и во Флоренции, Марулло не считал себя ни неаполитанцем, ни флорентийцем: мысль о том, что он изгнанник, проходит через всю его поэзию. Грустные мысли о былом величии Греции характерны для его стихов, написанных на латинском языке. Марулло оставил четыре книги «Эпиграмм» (1497) и четыре книги «Гимнов к природе» (1497).

Стр. 88. *«Лето к нам возвращается...»* — Стихотворение из книги латинских «Эпиграмм». Обращено поэтом к его другу Баттисте Фере. Следующее стихотворение из той же книги обращено к другу Манилию Кабацию Раллу.

Стр. 89. *Календы* — название первых дней месяца у древних римлян.

Палла (лат.) — мантия.

Стр. 90. *«Гимн вечности»*. — Стихотворение из книги «Гимны природе».

Плектр (лат.) — струнный музыкальный инструмент.

Оры (греч. миф.) — нимфы, символизировавшие времена года.

Анджело Полициано (1454—1494).— Родился в Тоскане. Еще мальчиком, рано осиротев, приехал во Флоренцию, где с 1464 года стал посещать университет. Перевод на латынь «Илиады» обеспечил ему покровительство Лоренцо Медичи. Полициано писал на латинском, греческом и итальянском языках, пробовал перо в различных поэтических жанрах. Для его стихов характерно любование природой, легкий налет меланхолии, смесь вымысла и реальности. Это относится и к «Стансам на турнир», посвященным победе на рыцарском турнире брата Лоренцо, Джулиано Медичи (не были завершены из-за смерти последнего). В «Стансах» Полициано воспевает не воинские доблести, а любовь Джулиано — в духе «рыцарских» любовных поэм Боккаччо. В «Сказании об Орфее» поэт обращается к античному мифу и, в соответствии с эстетикой позднего итальянского Возрождения, показывает величие искусства, которое преобразует природу и побеждает самую смерть.

Стр. 91. *Юлий* — то есть Джулиано Медичи.

Стр. 92. *Кентавры так охотятся в лесах Пелийских...*— Согласно античному мифу, полукони-полулюди, кентавры обитали в Пелийских лесах.

Стр. 93. *В стигийских водах так Тантал стоит...*— Согласно античному мифу, Тантал, обреченный богами на муки голода и жажды, стоял в водах Стикса, одной из подземных рек царства мертвых.

Стр. 96. *Симонетта* — возлюбленная Джулиано Медичи.

Стр. 102. «*Нежных фиалок цветы...*» — Из книги «Элегии», написанной на латыни.

Стр. 103. «*Ты прислал мне вина...*» — Из книги «Греческие эпиграммы», написанной по-древнегречески.

Якопо Саннадзаро (1456—1530).— Поэт, живший при неаполитанском дворе. Происходил из знатного рода. Писал стихи на латинском и итальянском языках. Славу ему принес пасторальный роман «Аркадия» (окончательная редакция — 1504 г.), написанный по-итальянски, в духе идиллий эллинистического поэта III века до н. э. Феокрита, и состоящий из двенадцати эклог, каждой из которых предшествует прозаическое повествование. «Аркадия» Саннадзаро сделалась образцом для многочисленных идиллий в итальянской литературе XV века (а позднее и в других странах), авторы которых пытались в бурную, чреватую противоречиями и кризисами эпоху найти гармонию между человеком и миром, создавая далекие от жизни картины идеальной любви, протекающей на фоне изящного меланхолического пейзажа.

Стр. 106. «*К Джованни ди Сангро*». — Из книги латинских «Элегий» (I, 10).

Стр. 107. *Либитина* — римское божество, связанное с обрядом похорон.

Маны (рим. миф.) — души умерших.

Акций. — Под этим именем поэт подразумевает самого себя.

Себет — река в окрестностях Неаполя.

Никколо Макиавелли (1469—1527).— Флорентийский политический деятель, историк, идеолог сильной государственной власти. Значительное место в его творческой жизни занимала литература, прежде всего театр и поэзия. Ему принадлежит интересная в литературном отношении комедия «Мандрагора», а также любовная лирика и сатирические стихотворения в духе Буркьелло, в том числе автобиографические сонеты, эпиграммы, карнавальные песни; в последних особенно проявляется острый, наблюдательный ум Макиавелли, его склонность к едкой сатире, особенно когда речь идет о пороках духовенства.

Стр. 109. ...*Чтоб о себе, обиженном судьбою...*— Макиавелли намекает на удаление его от активной политической деятельности с восстановлением династии Медичи (1512 г.).

Пьетро Бембо (1470—1547).— Венецианский писатель, считавшийся законодателем итальянского литературного языка, защищал его тосканский вариант — язык Петрарки и Боккаччо. В своих стихах Бембо — крупнейший представитель петраркизма, поэтической школы, которая культивировала изощренную форму сонетов и канцон Петрарки, теряя порой глубину его мысли и чувства.

Лудовико Ариосто (1474—1533).— Один из крупнейших поэтов позднего итальянского Возрождения. Происходил из обедневшего дворянского рода; рано осиротел и должен был воспитывать девятерых братьев. Некоторое время состоял на службе у кардинала д'Эсте, а с 1518 года у герцога Феррарского, при дворе которого и провел остальную часть жизни. Ариосто был плодовитым писателем и оставил много произведений различных жанров: лирические стихи, тяготеющие к античной поэзии и к Петрарке, сатиры в манере Горация, пять комедий. Главное произведение Ариосто — рыцарская поэма «Неистовый Роланд» (в окончательном виде вышла в 1532 г.), в которой он подхватил форму и сюжет «Влюбленного Роланда» Боярдо: обезумевший от ревности герой следует по пятам прекрасной язычницы — кокетки Анджелики, которая становится яблоком раздора между христианскими рыцарями, но сама влюбляется в юного сарацинского воина Медора. В поэме содержится множество других эпизодов и насчитывается до двухсот персонажей. С тонким скептицизмом и иронией рисуя фантастический мир чудес, Ариосто вместе с тем выражает в поэме радостную ренессансную концепцию земной жизни и гармонического человека.

Стр. 112. «*Сатира третья*».— Ариосто раскрывает здесь свой жизненный идеал: скромная независимость.

Мессер Аннибале Малагучо — родственник поэта.

Стр. 113. ...*Едва ко мне Меркурий снизойдет.* — Бог Меркурий считался покровителем в делах и торговле, от которого зависит благосостояние.

Стр. 114. *Иные мнят, что стоило податься мне в Рим*...— Ариосто был в дружеских отношениях с папой Львом X (под этим именем сел на папский престол Джованни Медичи, сын Лоренцо Великолепного, восстановивший в 1512 г. во Флоренции власть династии Медичи).

Стр. 115. «*Придворного*» *творец.*— Подразумевается Бальтассар Кастильоне, автор упомянутого сочинения, где нарисован идеальный образ придворного.

Стр. 116. *Нери, Лотти, Баччи, Ванни* — обобщенные флорентийские имена.

Стр. 117. *Содерино* — Пьетро Содерини, видный сановник флорентийского магистрата до восстановления власти Медичи.

Пьетро — Пьетро Медичи, брат Джованни (папы Льва X).

Казентино — область Италии, которую Пьетро Медичи хотел поднять против восставших флорентийцев.

Стр. 117. *Брандино* Доменико — шут и игрок, ссужал деньги Джованни Медичи.

...Я брата целый год кормил...— Имеется в виду другой брат Льва X, Джулиано Медичи.

...недаром с Биббиеной дружен...— Бернардо Довици да Биббиена способствовал избранию папы Льва X, за что тот сделал его кардиналом. По папской булле прощалась часть долга Ариосто; но по инициативе Биббиены была издана другая булла, предписывавшая поэту заплатить остальную часть долга.

...К «Барану» потащился я...— То есть в «Гостиницу Солнца», недалеко от Пантеона, на вывеске которой был изображен баран.

Стр. 118. *...На папских мессах не видал Иона...*— На куполе Сикстинской капеллы Ватикана (роспись Микеланджело) изображен пророк Иона, который как бы смотрел сверху на прелатов во время папской мессы.

Стр. 120. *...Хоть половину головы обрей, хоть всю...*— Величина тонзуры указывала на степень знатности.

...продавший галлу Зевсовы врата...—Во время войны короля Франциска I в Северной Италии (начало XVI в.) некий Бернардино да Корте, которому было поручено охранять Зевсовы врата в городе Милане, соблазнившись деньгами, впустил в город французов.

Стр. 121. *...не хватало лишь митры на его безмозглом лбу.*— Митра была не только кардинальским головным убором; бумажную митру надевали также на осужденных мошенников.

«Неистовый Роланд». — Приведенный отрывок относится к песни XXIII поэмы, где повествуется о встрече Роланда с сарацинским воином Мандрикардом, который давно ищет Роланда, чтобы завладеть его мечом Дюрандалем (Дурандиной). Начинается бой, который неожиданно прерывается: конь уносит Мандрикарда. Роланд пускается на его поиски. Внезапно он оказывается недалеко от хижины, куда Анджелика унесла с поля боя раненого Медора, и узнает об их любви.

Стр. 123. *...где... дочь нагую Галафрона ласкал Медор!* — Анджелика — дочь китайского императора Галафрона.

Стр. 129. *Старайся крылья не испачкать клеем...*— Отрывок из песни XXIV.

Стр. 130. *Сквозь полымем охваченный простор...*— Отрывок из песни XXXIV. Один из паладинов Карла Великого, Астольф, узнает от святого Иоанна, что Роланд наказан безумием за любовь к «язычнице» Анджелике, лишившей таким образом защиты христианское войско. Чтобы вновь обрести рассудок Роланда, рыцарь Астольф летит на Луну, где находится все, что смертные теряют на земле.

Стр. 133. *Турпин* — легендарный летописец, на которого ссылались авторы рыцарских поэм. Выведен в средневековой «Песни о Роланде», где он, несмотря на епископский сан, на коне и с мечом в руках сражается рядом с Роландом против полчищ сарацин.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564).— Поэтическое творчество великого скульптора, зодчего и художника являет собой блистательный пример многосторонности «титанов» Возрождения. Как поэт Микеланджело принадлежит к «трудным петраркистам». Его стихотворения отличают мрачный колорит, напряженная образность; в них появляются религиозные мотивы, особенно усиливающиеся к концу жизни художника. Поэзия Микеланджело, как и его творчество в области пластических искусств, несет на себе печать тех глубоких противоречий, которые характерны для позднего, «высокого» Возрождения в Италии.

Стр. 135. *Я заработал зоб, трудясь, как вол...*—Стихотворение написано при росписи плафона Сикстинской капеллы в Ватикане.

Сарбакан — вид охотничьего оружия, применявшегося индейцами: метательная трубка со стрелой.

Стр. 137. *Госпожа.*— Стихотворение обращено к Виттории Колонна, знатной римлянке, которую любил Микеланджело.

Теофило Фоленго (1491—1544).— Монах-бенедиктинец, уроженец Мантуи. Прославился как представитель «макаронической», то есть пародийной, поэзии на смешанном итало-латинском языке, комический эффект которой достигался тем, что итальянским словам придавались латинские суффиксы и окончания, использовались служебные латинские слова в итальянской фразе и так далее. Главное произведение Фоленго в таком роде — поэма «Бальдус» (1517), в которой описываются приключения Бальдо, будто бы потомка рыцаря Ринальдо (персонажа рыцарских поэм Боярдо и Ариосто), буяна и нахала. Фоленго высмеивал идеализацию рыцарства, начавшуюся в Италии в XV — XVI веках.

Франческо Берни (ок. 1497—1535).— Поэт, известный более всего своими «Капитолами» (сатирическими рассуждениями в терцинах) и переделкой поэмы Боярдо «Влюбленный Роланд». Берни выступил против петраркизма как последователь «Буркьелловой» традиции. Рафинированной поэзии своих противников (в особенности Пьетро Бембо) он противопоставил народный язык и нарочито сниженную образность; в его стихах фигурируют предметы повседневного обихода — ночной горшок, постель и т. п.

Джованни делла Каза (1503—1556).— Епископ Беневенто; был послом в Венеции, государственным секретарем папы Павла IV. Образование получил во Флоренции и Болонье. Известен своим трактатом «Галатео», написанным изящной прозой в духе Боккаччо и тяготеющим к моральной риторике. Занимался также и поэзией. Делла Каза был дружен с Пьетро Бембо и примыкал к петраркистам, однако несколько отличался от последних; тема его стихов главным образом — дисгармония жизни, противоречие между повседневностью и идеалом. Для его поэзии характерны кризисные мотивы горечи, печали, отчаяния.

Гаспара Стампа (1523—1554).— Венецианская поэтесса, принадлежавшая к школе петраркистов. Преподавала музыку, вела свободную светскую жизнь. Любовь к графу Коллальтино Коллальто составила центральный мотив ее поэзии, в которой выражается искреннее чувство, но без психологической усложненности, к какой стремились другие петраркисты.

Джован Баттиста Строцци Старший (1505—1571).— Флорентийский поэт, писавший очень мелодичные мадригалы, используя лексику, которая восходит к «Канцоньере» Петрарки.

Луиджи Тансилло (1510—1568).— Жил при дворе неаполитанского короля. Автор религиозной поэмы «Слезы святого Петра», а также небольших элегических поэм («Сборщик винограда», «Кормилица», «Усадьба»). Лирика Тансилло — сонеты, канцоны, мадригалы — принадлежит к так называемому «неаполитанскому» петраркизму, отличающемуся от «академического» петраркизма, типа поэзии Пьетро Бембо, отсутствием глубины, которая подменяется чувствительностью и повышенной музыкальностью стиха.

Галеаццо ди Тарсиа (1520—1553).— Неаполитанский поэт-петраркист. Принадлежал к знатному роду. В юношеских стихах воспевал свою любовь к Виттории Колонна; лучшие его сонеты, проникнутые искренним чувством, посвящены его рано умершей жене, Камилле Карафа. Галеаццо ди Тарсиа является также автором политических стихотворений, в которых выражается его озабоченность судьбами Неаполя и всей Италии.

Стр. 158. *Дворец, где жен высокородных лица...*— Имеется в виду дворец Капуано, резиденция неаполитанских королей, который стал потом темницей и местом пыток.

Торквато Тассо (1544—1595).— Величайший поэт итальянского Возрождения периода его заката. Родился в Сорренто; рано потеряв мать, кочевал с отцом (тоже поэтом) по Италии; получил блестящее классическое образование в университетах Падуи и Болоньи, сблизился с видными гуманистами. В 1565 году обосновался в Ферраре, служил сперва кардиналу Луиджи д'Эсте (которому посвятил свою юношескую рыцарскую поэму «Ринальдо», в духе Ариосто), затем герцогу Альфонсу II д'Эсте. Для постановки при герцогском дворе написал пасторальную драму «Аминта» (1573), где простота и свежесть поэтической манеры противоречиво сочетаются с искусственностью придворного быта, отраженного под маской античных «пастушеских» образов. Лирик по призванию, Тассо создал множество стихотворений, полных изящной чувствительности и небывало мелодичных. Главный труд жизни Тассо — эпическая поэма «Освобожденный Иерусалим» (1575), тема которой — осада и взятие Иерусалима крестоносцами, во главе с Готфридом Буйонским (в поэме Гоффредо). Подражание гомеровским эпопеям сплетается здесь с воздейст-

вием «Неистового Роланда» Ариосто, католический дух — с ренессансной чувственностью, рыцарские подвиги во имя веры — с множеством романтических эпизодов, христианские чудеса — с языческим волшебством. Противоречивость поэмы отражала настроения итальянского общества периода католической реакции, воспевание героизма крестоносцев было актуально в момент турецкого нашествия, угрожавшего Италии. Сам Тассо метался между гуманистическим и религиозным мировоззрением, добровольно отдал свою поэму на суд инквизиции, а затем переделал ее в богословском духе («Завоеванный Иерусалим», 1593); наконец, впав в тяжелое психическое расстройство, поэт семь лет провел в больнице. Тассо скончался в Риме, в монастыре св. Онуфрия.

Стр. 164. *«Освобожденный Иерусалим».*— В приведенном отрывке из песни XII поэмы изображены события одного из главных эпизодов; сподвижник вождя крестоносцев, Готфрида Буйонского, христианский рыцарь Танкред, влюблен в сарацинскую воительницу Клоринду, пришедшую на помощь засевшему в Иерусалиме Аладину. Клоринда поджигает осадную башню христиан, но попадает во вражеское окружение. Танкред, не подозревая, кто перед ним, преследует ее.

В. Глезер

ДАЛМАЦИЯ[1]

Марко Марулич (1450—1524).— Родился в древнем и богатом аристократическом семействе в городе Сплит. Получил прекрасное гуманистическое образование, и всю свою долгую и спокойную жизнь посвятил занятиям науками и поэзией, став едва ли не самой крупной фигурой в кружке сплитских гуманистов, и приобрел европейскую известность. Уже при жизни Марулича стали складываться легенды о его учености и добродетелях. Творчество Марулича пронизано христианскими идеалами добра и любви к ближнему. В латинских стихах, восходивших к классической поэтике гуманизма, он выступал строгим аскетом и моралистом. В свое время популярны были моралистические латинские трактаты Марулича и написанные на библейские сюжеты поэмы на хорватском языке («История Сусанны» и особенно «Юдифь»), которые отличали патриотические и тираноборческие мотивы. Марулич неустанно призывал славян к объединению ввиду растущей турецкой угрозы, о чем свидетельствует и публикуемый отрывок из поэмы «Молитва против

---

[1] При подготовке текстов и составлении комментариев были использованы, в частности, монография И. Н. Голенищева-Кутузова «Итальянское Возрождение и славянские литературы XV—XVI веков», М., 1963, и составленная И. Н. Голенищевым-Кутузовым антология «Поэты Далмации эпохи Возрождения XV—XVI веков», М., 1959.

турок». Хорватская поэзия Марулича менее «возвышенна», нежели латинская, но в такой же мере энергичнее, человечнее и свежее.

Поэтические произведения Марулича на хорватском и латинском языках неоднократно издавались при его жизни в Венеции.

Илия Л. Цриевич (Элий Лампридий Цервин; 1463—1520).— Родился в Дубровнике. Учился в Ферраре и в Риме. В 1484 году за свою любовную лирику, посвященную некоей Флавии, а также за латинский «Лексикон» был увенчан лавровым венком. Был известен как обновитель по античному образцу комедий Плавта. По возвращении в Дубровник, где жил до самой смерти, занимал различные должности на службе республики, позже стал священником, почти расставшись с поэзией. Подобно многим тогдашним гуманистам, считал, что народный язык не подходит для сочинения научных трудов и высокой поэзии, и потому сам писал только по-латыни. Это не мешало ему быть большим патриотом (о чем свидетельствует, в частности, публикуемая «Ода Рагузе») и сторонником славянского единства. В эпиграммах Цриевич выступал обличителем пороков римской курии. В свое время поэт был широко известен в Европе, но потом о нем забыли. Многие его стихотворения до сих пор остались неопубликованными.

Стр. 184. ...*Дважды Рима наследье.*— Поэт имеет в виду Рим античный и Рим христианский. Цриевич считал своих соплеменников — дубровчан потомками римлян.

...*Начальнику той зачумленной крепости...*— Городок Стон близ Дубровника, где служил Цриевич, был известен как малярийное место.

...*как Вакх в бедре Юпитера...*— После смерти Семелы, матери Вакха, Юпитер скрывал его в своем бедре, пока не пришел срок его появления на свет (рим. миф.).

...*фессалийка чистая...*— Возлюбленная Геркулеса Иола.

Тезеид — сын Тезея Ипполит, воскрешенный, согласно мифу, Эскулапом.

Шишко Менчетич (1457—1527). — Родился в одной из самых богатых и знатных семей дубровницкой аристократии. Обладая живым и веселым характером и притом будучи весьма вспыльчивым, часто вступал в конфликты с законами Дубровницкой республики. Одним из первых стал писать на родном языке, следуя канонам петраркизма, легкие, остроумные и красивые стихи, пользовавшиеся широкой известностью. Занимал самые высокие должности в республике, в том числе дважды был ее князем. В немногочисленных поздних стихотворениях Менчетича наметился поворот к философско-моралистической и религиозной лирике. Умер от чумы во время эпидемии 1527 года.

Стр. 185. «*Посвящение*».— Первые буквы нечетных строк образуют акростих «Катя»; акростихи довольно часто встречаются у Менчетича и других дубровницких поэтов.

Джоре Држич (1461—1501).— Родом из обширного семейства дубровницких горожан, одним из отпрысков которого был впоследствии комедиограф Марин Држич. Рано лишился отца и как младший сын вынужден был принять духовный сан. Окончил университет в Италии, став ученым-теологом и впоследствии доктором права; в Дубровнике занимал высокие церковные должности. Известность Држичу принесла не только его написанная по-хорватски любовная лирика, в которой, наряду с ярко выраженными элементами петраркизма, заметен интерес к славянской народной поэзии, но и умение вести ловкую и остроумную полемику в теологических дискуссиях. До недавних пор Држичу приписывалось множество широко известных в Дубровнике лирических стихотворений, однако после открытия в конце 50-х годов нашего века в Дублине (Ирландия) неизвестного сборника его поэзии творчество Држича предстает несколько в ином свете.

Марин Кристичевич (умер в 1531 г.).— О жизни поэта известно немного. Он родился в Дубровнике, в купеческой семье Криста Радосавлева, по прозвищу Градич. Кристичевичу не удалось поступить на государственную службу, и он целиком посвятил себя торговым делам. Поэзией занимался мимоходом и в дальнейшем забросил ее, «как увлеченье юных дней». До недавнего времени стихи М. Кристичевича приписывались другим дубровницким поэтам (в частности, Джоре Држичу) или считались анонимными. Из немногих его стихотворений с полной уверенностью современные исследователи отдают Кристичевичу лишь одно — публикуемое нами «Письмо любимому в Стон».

Антун Вранчич (Антон Веранций; 1504—1573).— Родился в Далмации, в городе Шибеник, но большую часть жизни провел в странах Западной Европы. Учился в Падуе, а затем, приняв священнический сан, поступил на дипломатическую службу к Габсбургам. Умный, талантливый и образованный, Вранчич в конце жизни стал королевским наместником и примасом Венгрии. Круг литературных интересов Вранчича был очень широк — он писал латинские трактаты и стихотворения, сочинения по истории и географии; сохранилось множество дневников, писем, речей, отчетов, диалогов, связанных с его дипломатической деятельностью в Англии, Турции, Польше. Сборник латинской поэзии Вранчича был издан в Кракове в 1542 году. Постоянно помня о своем происхождении и гордясь им, Вранчич тем не менее написал по-хорватски лишь одно стихотворение. Политическая деятельность А. Вранчича и его литературное творчество сыграли большую роль в развитии гуманистической культуры стран Юго-Восточной Европы.

Стр. 189. *Паннонцы*.— Паннония — римская провинция в бассейне среднего Дуная, соответствует Среднедунайской низменности, на которой лежат Венгрия и Воеводина (СФР Югославия). Паннонцы — народ, близкий иллирам, здесь — венгры.

Стр. 189. *Таврун* — ныне город Земун, расположенный в устье реки Савы, напротив Белграда. Османы заняли его в 1521 году.

Славония — область в Хорватии, между реками Дравой и Дунаем с одной стороны и Боснией с другой.

Истр — фракийское название Дуная (у римлян — Данубий).

Буда — город на правом берегу Дуная, с 1242 года — столица Венгрии, ныне одна из главных частей Будапешта.

Меланхтон Филипп (1497—1560) — выдающийся немецкий гуманист, один из провозвестников реформации.

Мавро Ветранович (1482—1576).— Родился в Дубровнике, в семье простолюдина, и при рождении был назван Николой. После одной из любовных неудач принял постриг под именем Мавро и до конца своей жизни вел уединенную жизнь аскета и отшельника в бенедиктинских монастырях. В первый период своего творчества Ветранович создал множество лирических любовных стихотворений в подражание античности. После пострижения поэзия Ветрановича почти мгновенно приняла религиозно-моралистический и покаянный характер, в целом став многословной и риторической. Его перу принадлежат несколько религиозных драм, обширная незавершенная лиро-эпическая поэма «Отшельник», которые при всей их сухости и дидактизме знаменуют собой наметившийся в далматинской литературе переход к мотивам Возрождения. Это особенно заметно в сатирах М. Ветрановича на клириков и обскурантов, на лицемерных государей, на распущенность нравов и повсеместное ханжество и т. п. Творчество Ветрановича, многогранное и богатое в жанровом отношении, оказало сильное влияние на дальнейшее развитие далматинской литературы, а сама его личность — на литературные нравы города.

Стр. 190. *Галион* — большой военный корабль. Поэт имеет в виду здесь дубровницкий флот.

Святой Влах (Власий) — византийский святой и врачеватель начала IV века; считался патроном Дубровника.

Ганнибал Луцич (ок. 1485—1553).— Родился в богатой патрицианской семье на острове Хвар, где и прошла бо́льшая часть его жизни. Получил гуманистическое образование, но придерживался крайне консервативных взглядов. В 1510 году, когда на Хваре началось народное восстание, был вынужден бежать с острова. После кровавой расправы с восставшими вернулся в свое имение, став еще более непримиримым, считая, что «множество и капли разума не имеет». Немалую роль в поэтическом развитии Луцича сыграло его пребывание в Падуе, где он, видимо, вплотную и близко познакомился с поэзией Пьетро Бембо и его школы. Луцич создал первую национальную драму — драматическую поэму «Рабыня», считающуюся одной из вершин ренессансной далматинской поэзии. Переводил Овидия. Большую часть своих стихотворений поэт уничтожил.

Петр Гекторович (1487—1572).— Родился в семье патриция на острове Хвар; большую часть жизни провел в своем имении. Получил гуманистическое образование. В молодости был свидетелем народного восстания, охватившего Хвар (1510—1514 гг.); в 1539 году, спасаясь от турецкого нашествия, бежал в Италию. Был известен как ученый — латинист и схоластик, а также собиратель народных песен и мелодий. В молодости Гекторович писал любовные стихи, до нас не дошедшие. Самое значительное его произведение — лиро-эпическая поэма «Рыбная ловля и рыбацкие присказки» (1556) — о трехдневном путешествии автора по морю с двумя рыбаками.

Особый интерес представляют включенные в нее четыре народные песни: две эпические и две лирические.

Стр. 194. *Персов победитель...*—Имеется в виду Александр Македонский, при встрече с Диогеном якобы позавидовавший его спокойствию и мудрости.

Марин Кабога (1505—1582).— О биографии этого почти забытого дубровницкого поэта, писавшего преимущественно по-итальянски, известно очень немного. Он принадлежал к древнему аристократическому роду Дубровника. Большую часть жизни, видимо, провел в Италии и умер в Риме. Кабога был доктором гражданского и церковного права, занимал ряд видных должностей при папском дворе. В 1575 году им был издан латинский трактат о капитуле дубровницкого собора; пользовались известностью два его сатирических памфлета, распространявшихся под псевдонимом. Из немногих дошедших до нас стихотворных сатир М. Кабоги примечательна острая и язвительная «Против знати Рагузы» (в октавах), найденная и впервые опубликованная русским историком В. В. Макушевым в 1867 году.

Наряду с М. Држичем, М. Кабога принадлежит к числу тех немногих далматинских поэтов, творчество которых определялось в основном социальными моментами.

Стр. 196. *Муцием будь... Гаем...*— Поэт имеет в виду одного из трех знаменитых римских правоведов, бывших плебеями по происхождению: Публия Муция Сцеволу, Квинта Муция Сцеволу (или другого Квинта Муция Сцеволу, автора трактата «Гражданское право»). Гай — римский юрист, плебейского происхождения.

Стр. 198. *...бежит простолюдин, тебя завидев, Лютер и Кальвин...*— Для католиков Лютер и Кальвин были синонимами «еретика» и «богохульника».

Стр. 200. *Крестьянином был Цицерон ученый, был знатен Катилины римский род...*— Цицерон по рождению принадлежал к сословию всадников, Катилина, организатор заговора против Римской республики (63 г. до н. э.), был патрицием.

Марин Држич (ок. 1508—1567).— Принадлежал к известному в Дубровнике роду Држичей (был племянником поэта Джоре Држича). Жизнь его была полна превратностей. Был священником, органистом, пытал-

ся заняться торговлей, изучал право в Сьене; в качестве камердинера австрийского вельможи он совершил путешествие в Вену и Константинополь, сотрудничал как драматург, а возможно, и как актер, в нескольких театральных труппах Дубровника. В начале 60-х годов М. Држич бежал в Италию; служил капелланом в Венеции, а в 1566 году пытался найти у флорентийцев, а затем и у венецианцев, финансовую поддержку для организации революции в Дубровнике и создания народного правительства. Любовная лирика М. Држича в общем не выходила за рамки традиционных канонов этого жанра, однако в театре он выступил подлинным новатором и первооткрывателем. Используя античные сюжеты и сюжеты итальянской комедии, М. Држич придал им национальный далматинский колорит, создав живые образы своих современников — простолюдинов. Впервые в дубровницкой литературе Држич обратил внимание на проблему социального неравенства. Реалистические комедии Држича на оригинальные сюжеты («Помет», 1548, «Дядюшка Марое», 1551, и др.) свидетельствуют о высоком развитии этого жанра в странах Южной Европы уже в XVI веке. Немаловажное место в творчестве Држича занимали также стихотворные фарсы, мифологические эклоги и пасторали.

Стр. 201. *«Пусть блещут мгновенья...»* — Тройной акростих: нечетные строки дважды образуют имя девушки «Пера», четные — имя автора «Марова» (то есть любимая Марином).

Никола Димитрович (ок. 1510—1554).— Принадлежал к кругу поэтов острова Хвар. Происходя из известной купеческой фамилии, получил гуманистическое образование, много путешествовал по своим торговым делам и умер на острове Крит. Н. Димитрович писал традиционную любовную лирику, духовные стихи в подражание псалмам Давида. Однако наиболее интересны — и своими поэтическими достоинствами, и философским восприятием мира — его послания.

Стр. 202. *Никола Нале* — Никола Налешкович (ок. 1500—1587), дубровницкий поэт и драматург, друг автора.

Кантар — старинное приспособление для взвешивания, позже мера веса у египтян (ок. 45 кг.) и турок (ок. 56 кг.).

...святыми считают безумных...— Имеются в виду дервиши.

Стр. 203. *Майдин* — разменная монета.

...от мору страна пострадала...— Далмацию в эту пору опустошила чумная эпидемия. Не исключено, что сам Н. Димитрович умер от чумы.

Матко (и дальше Матьело).— Вероятно, имеется в виду поэт Савко Бобалевич (1529—1585).

Стр. 204. *...пел Арион их, плывя на дельфине.* — Бобалевич, в частности, был автором стихотворения «Арион».

Стр. 205. *Сей Александров град основан Македонцем...* — Послание было написано в Александрии, заложенной, как известно, Александром Македонским.

Динко Ранина (1536—1607). — Родился в Дубровнике, в патрицианской семье; семь раз избирался князем республики. Много путешествовал. По торговым делам часто и подолгу бывал в Италии, где (в Мессине) и было написано большинство его стихотворений, в основном следующих канонам неаполитанских неопетраркистов. Вместе с тем для Ранины характерен интерес к народной далматинской лирике, особенно заметный в его «Хороводных песнях». Несомненно, однако, что народная поэзия привлекала Ранину больше с формальной стороны. В 1563 году сам выпустил во Флоренции два сборника своих стихотворений: в первом собраны стихи на родном языке; во втором —итальянские сонеты. В целом скромное по объему творчество Ранины знаменует собой поворот дубровницкой поэзии к маньеризму со всеми его достоинствами и недостатками.

Стр. 207. *«О розочка моя, бесценное колечко...»* — Здесь пародируется стиль эпигонов петраркизма.

Юрий Баракович (1548—1628).— Родился в Далмации, недалеко от города Задар, умер в Риме. Будучи католическим священником, оставался пламенным патриотом и поборником литературы на родном, хорватском языке. Без устали призывал к борьбе за поддержание и развитие славянской культуры, что наиболее полно отразилось в обширной эпической поэме «Славянская вила» (1613). В поэму вошла ставшая впоследствии хрестоматийной народная песня «Мать Маргарита», записанная поэтом в Задаре.

Стр. 208. *...Родимого града...*— То есть Задара.

Стр. 209. *...в нашей отчизне была знаменита...*— Поэт выступает против засилья иностранцев во всех областях жизни Далмации и, в частности, против увлечения литературой на латинском и итальянском языках.

Доминко (Динко) Златарич (1558—1613).— Принадлежал к богатому семейству дубровницких горожан с обширным генеалогическим древом. Получил отличное домашнее образование, изучал медицину в Падуанском университете, но не кончил курса. Был хорошо знаком с итальянской литературой и современными ее создателями; в частности, известно о его близости с Торквато Тассо, чью пастораль «Аминта» он переводил белым стихом на родной язык с рукописи. В 1598 году напечатал в Венеции две свои книги; в первой собраны переводы (Софокл, Овидий и др.), в другой — собственные стихотворения. Это — тонкая, филигранная поэзия, сохраняющая особенности поэтики Пьетро Бембо, но порою отмеченная некоторой нарочитостью и изысканностью, предвещающей маньеризм. Д. Златарич интересовался и народной поэзией, оставившей след в его собственном творчестве.

А. Романенко

ГЕРМАНИЯ

Себастиан Брант (1458—1521).— Поэт и ученый-юрист, был городским секретарем Страсбурга. Занимает промежуточную позицию между средневековым «просветительством», которое нашло свое выражение в общем дидактическом звучании его поэзии, и ренессансным гуманизмом. Брант — фактический родоначальник популярной в то время «литературы о дураках». Его главное произведение — «Корабль дураков» — оказало колоссальное влияние на целое поколение писателей немецкого Возрождения, в первую очередь на Томаса Мурнера, Ганса Сакса, Иоганна Фишарта, Эразма Роттердамского и других.

Помимо «Корабля дураков», Брант написал множество стихотворений политического, религиозного, исторического и дидактического характера. В поэзии Бранта сильно ощущается тяга к народному языку, стремление к использованию народного стиха.

Конрад Цельтис (настоящее имя Бикель или Пикель; 1459—1508). — Гуманист, один из так называемых новолатинских писателей, ученый-филолог. Писал только по-латыни. В 1487 году при дворе Фридриха III первый из немцев удостоился титула «коронованного поэта». Его поэзия представляет собой своеобразное подражание Овидию и Горацию (например, «Четыре книги стихов о любви»). Основные мотивы в поэзии Цельтиса: любовь, воспитание патриотизма в соотечественниках, прославление Германии.

Альбрехт Дюрер (1471—1528).— Величайший художник немецкого и европейского Возрождения, отличался в то же время и замечательной литературной одаренностью. Его перу принадлежит очерковая проза («Семейная хроника» «Нидерландский дневник»), трактаты, стихи: рифмованные подписи под собственными гравюрами (на религиозные темы), а также стихи сатирического и дидактического содержания, выдержанные в традициях и в манере нюрнбергских мейстерзингеров.

Стр. 218. *«О плохих и хороших друзьях».*— Написано в 1510 году.

Томас Мурнер (1475—1537).— Монах-францисканец, профессор теологии и крупный поэт-гуманист. Один из самых талантливых сатириков XVI века; в 1505 году был коронован как «лучший поэт». Находясь под прямым влиянием Себастиана Бранта, продолжал брантовскую тему «дураков». В книгах «Заклятие дураков», «Цех плутов» сатирически издевается над людскими пороками, высмеивая всех, от крестьянина до римского папы. Особенно беспощаден был по отношению к духовенству. Тем не менее реформацию не принял, более того, стал вдохновителем протестантских погромов.

Для Мурнера характерны агрессивность юмора и сатиры, активное использование фантастики. Он писал народным стихом — «книттельферзом», что делало его поэзию весьма доступной для широкой публики.

Мартин Лютер (1483—1546).— Вождь и вдохновитель немецкой реформации, автор перевода (при участии Меланхтона) Библии на немецкий язык. Этот перевод сыграл выдающуюся роль в развитии и становлении немецкого литературного языка. Кроме того, Лютер создал много евангельских песен, безукоризненных с точки зрения поэзии и оказавших огромное воздействие на ход реформации. Перу Лютера принадлежит и «гимн» реформации — хорал «Твердыня наша — наш Господь...», песнь, которую Энгельс назвал марсельезой шестнадцатого столетия. Лютер писал басни, представляющие собой по большей части обработку эзоповских сюжетов. Издал цикл «Застольных бесед» — сборник дидактических изречений, сентенций, шванков и т. п. И в поэзии и в прозе Лютер — выдающийся мастер языка. Он стремился к тому, чтобы его произведения были поняты народом, поэтому им менее всего свойственны вычурность, псевдоученая сухость и высокомерное назидание.

Ульрих фон Гуттен (1488—1523).— Ученый-рыцарь, писатель-гуманист. Участвовал в рыцарском восстании 1522 года, поднятом Францем фон Зикингеном. Гуттен — автор многих стихотворений, эпиграмм, речей и политических памфлетов, в которых он громил папство, католические догматы, феодальную знать и прославлял гуманистов, поддерживал реформацию и Лютера, выражая свою политическую программу: централизованная Германия под началом кайзера при главенствующей роли рыцарства. Наиболее значительные произведения Гуттена — латинские «Письма темных людей» и диалоги в стиле Лукиана: «Вадиск, или Римская троица», «Фортуна» и другие. Как писатель Гуттен демонстрирует подлинную власть над словом, умение выбирать разящие эпитеты, страстно и красноречиво говорить о насущном.

Бурхард Вальдис (1490—1556).— Поэт-гуманист, активный поборник реформации и учения Лютера. Прожил весьма деятельную жизнь: был монахом-францисканцем, литейщиком олова, студентом и священником; за свои вольнодумные речи был заключен в замок Немецкого ордена. Поэзия Вальдиса, насквозь полемическая и сатирическая, представляет собой в основном пропаганду лютеранства (например, написанное на нижненемецком диалекте «масленичное действо» — фастнахтшпиль «О блудном сыне», посвященный идее очищения через веру). Среди многочисленных стихотворных памфлетов Вальдиса особое место занимает сборник басен «Обновленный Эзоп, переложенный на стихи», который считается классическим образцом морализаторской и дидактической литературы того времени. Все, что писал Вальдис, находится в прямом соотношении со временем, насыщено жизненными реалиями и немецким колоритом.

Ганс Сакс (1494—1576).— Законодатель немецкого майстерзанга, виднейший представитель бюргерской «неученой» литературы XVI века. Сакс был исключительно продуктивным поэтом и драматургом: он писал песни, шпрухи, рассказы, пьесы, шванки, фастнахтшпили. Сразу примкнул к реформации и часто использовал библейские и классические средневековые мотивы, которым придавал современное звучание, обличая моральные пороки своих соотечественников. Стихотворения Сакса, написанные книттельфервом, почти всегда носят морализаторский характер, что объясняется самим жанром этих стихотворений, которые зачастую относятся к «литературе о дураках».

Эразм Альбер (1500—1553).— Теолог и видный поэт-гуманист. Был учеником и другом Лютера, одним из его сподвижников. В качестве активного пропагандиста реформации и лютеранства написал много листовок — «летучих листков» с короткими стихами на актуальные темы. Блестящий памфлетист и талантливый поэт, Альбер умел сочетать глубину мысли с подлинным простодушием, ученость с фольклорной, «земной» основой.

Главное произведение Альбера — сборник стихотворных басен — «Книга о добродетели и мудрости», представляющая собой своеобразную обработку Эзопа на немецкий лад.

Георг Ролленхаген (1542—1609).— Поэт, драматург, ученый. Известен главным образом как автор «школьных драм», то есть драматизированных морализаторско-дидактических сочинений как на латинском, так и на немецком языке, которые ставились на сцене в школах и университетах самими студентами, с учебной целью. Ролленхаген создал драму «О богатом человеке и бедном Лазаре»; гротескную пьесу по мотивам древнегреческого комического эпоса — «Война между лягушками и мышами», в которой война осуждается как нечто несуразное и аморальное и прославляются труд, доброта, знания. Кроме пьес, перу Ролленхагена принадлежит ряд стихотворений.

Иоганн Фишарт (1545—1589).— Протестантский публицист и поэт-сатирик. Автор прозаического памфлета «Улей святой римской церкви», стихотворного памфлета — «Легенда о происхождении четырехрогой иезуитской шапочки», представляющего собой мощную антииезуитскую сатиру. Наибольшей известностью пользуется комическая поэма Фишарта «Травля блох», содержащая смелую критику нравов, исполненная антифеодального пафоса. Фишарт также автор стихотворной обработки немецкой народной книги о Тиле Эйленшпигеле и вольного переложения на немецкий язык первой книги романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Бартоломеас Рингвальд (1532—1599).— Поэт-гуманист, убежденный сторонник реформации. Обличал в своих стихах противников лютеранства. Лютеранство Рингвальда — это не только религиозная позиция, но и повод к критическому осмыслению социальных и моральных проблем. Без обиняков Рингвальд говорил о порочности феодальных порядков и феодальной идеологии, пытался придать религии конкретное значение (таковы его церковные песни). Автор многих дидактических стихотворений, идеологической основой которых было «очищенное» и «обновленное» Лютером христианство (например, «Христианское предостережение верного Эккарта»). Стремление называть вещи своими именами чередуется у Рингвальда с богатой аллегоричностью его поэзии.

Песни Крестьянской войны.— Поэзия Великой крестьянской войны нашла свое выражение главным образом в рифмованных листовках и народных песнях. Число их возрастает по мере развития событий и достигает кульминации в период так называемой Мюнстерской коммуны. Время не сохранило все эти памятники народной революционной мысли, до нас дошли только некоторые из них, но они являются своего рода летописью Крестьянской войны. Бесхитростные по форме, с незатейливыми рифмами, крестьянские стихи насыщены реалиями эпохи, именами и описаниями важнейших событий. В них воспевается «славный Мюнцер», Флориан Гайер, Генрих Пфейфер и другие вожаки повстанцев; они шлют проклятия врагам восставших крестьян — герцогу Георгу, Генриху Баумгарду, Филиппу Гессенскому и другим. Наиболее богата событиями «Песня об усмирении Мюльгаузена», в которой безымянный автор передает всю трагедию расправы феодальных карателей над мюнцеровскими повстанцами.

Стр. 254. *Настали золотые для Коршуна деньки...*— «Гайер» по-немецки буквально значит «коршун». Это значение имени вождя повстанцев, так же как и черный цвет знамен его отряда, неоднократно обыгрывалось в героических крестьянских песнях.

Народная лирика. — Среди поэтических произведений XV и XVI веков народные баллады и песни занимают наиболее выдающееся место. Именно в этих творениях ренессансного фольклора, в песнях, рожденных в самой гуще жизни, с особой силой выразилось новое мироощущение, когда человек труда поверил в свои неограниченные возможности, в самого себя, почувствовал свое человеческое достоинство. Его перестали страшить и могущественные феодалы, и отцы церкви, и зловещие силы потустороннего мира. Недаром Генрих Гейне писал: «Тому, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, я советую прочитать их народные песни». Немецкая народная лирика образует несколько основных циклов. Это любовные, крестьянские, солдатские, цеховые, застольные и прочие песни. По жанру почти все они представляют собой баллады, так как они построены на описании какого-нибудь происшествия или события и носят отчасти дидактический характер.

Стр. 277. **Гробианус** — книга сатирических и шутливых наставлений, написанная по-латыни школьным учителем Каспаром Шейтом (1520—1565) и вышедшая в Германии в 1551 году. Шейт использовал опыт Фридриха Дедекинда, издавшего в 1549 году аналогичное по содержанию и одноименное произведение. Название этих книг происходит от имени «новоявленного святого Гробиана» — покровителя наглецов и простаков, персонажа «Корабля дураков» Себастиана Бранта. Стихи «Гробиануса» представляли собой весьма едкую и острую сатирическую критику общественных нравов. «Гробианизм» являлся целым направлением в немецкой дидактической литературе XV и XVI веков, на смену которому впоследствии пришла «антигробианская» литература, критиковавшая гробианизм за вульгарность и нарочитую сниженность.

Ю. Гинзбург

ФРАНЦИЯ

Франсуа Вийон (1431 — после 1463).— По отцу — Франсуа Монкорбье, принял фамилию своего воспитателя, парижского священника Гийома Вийона. Жизнь поэта была бурной и беспорядочной. Он слушал лекции в Сорбонне и получил в 1452 году степень магистра искусств. Будучи замешанным в пьяной драке, он вынужден был скрываться и познал сполна удел изгоя. В 1456 году, скитаясь по Франции, Вийон написал шутливое «Малое завещание». Через год он принял участие в поэтическом состязании в замке Блуа, при дворе герцога-поэта Карла Орлеанского. За мелкие кражи и разгульный образ жизни поэт попадал затем еще несколько раз в заключение; в 1461 году его спасла от казни амнистия в связи с коронованием Людовика XI. Во время одного из таких арестов Вийон пишет «Большое завещание». В январе 1463 года он был осужден парижским судом на десятилетнее изгнание «из города Парижа, а также оного превотства и виконтства». С тех пор его следы теряются. Произведения Вийона были впервые изданы в 1489 году.

Стр. 281. *Таис* — греческая куртизанка, жившая в Египте в первой половине IV века. Обращенная в христианство, она уничтожила все свои украшения и кончила жизнь в монастыре.

Алкида.— У Вийона Архипиада (то есть Алкивиад). Кузен Перикла, Алкивиад, живший в V веке до н. э., славился своей красотой; упомянутый в одной средневековой латинской книге, он был принят за красивую женщину.

Флора — римская куртизанка, завещавшая родному городу свои богатства.

Эхо — нимфа, любившая Нарцисса; не преодолев его равнодушия, она превратилась в утес и оглашала окрестности своими стонами (**рим. миф.**).

Элоиза (1101—1162) — возлюбленная поэта и философа Петра Абеляра (1079—1142). Сохранилась их переписка.

...королева... — В средние века существовала легенда, что философ-схоласт Жан Буридан (умер в 1358 г.) имел любовную связь с Маргаритой Бургундской, женой французского короля Людовика X.

Бланка Кастильская (1188—1252) — французская королева, жена Людовика VIII; славилась умом и красотой.

Алиса.— Под этим именем в поэзии средневековья обычно изображали красивую легкомысленную девушку.

Берта — возможно, Берта Большеногая (умерла в 783 г.), жена французского короля Пипина Короткого, мать Карла Великого. Но возможно, и просто имя девушки, часто встречающееся в народной лирике.

Арамбур — дочь графа Эли Майенского, жена Фулька Анжуйского. Их сын Жоффруа был основателем английской династии Плантагенетов (первая половина XII в.). В XV веке об Арамбур ходили легенды, где она изображалась как забывшая бога развратная красавица, по приказу которой, в частности, был оскоплен видный церковный деятель эпохи, епископ Жерар Ангулемский.

Жанна — Жанна д'Арк, народная героиня Франции; она была сожжена в Руане по обвинению в колдовстве в год рождения Вийона.

Стр. 282. *Прекрасная Оружейница.*— По-видимому, парижанка с таким прозвищем действительно существовала во времена Вийона.

Стр. 285. *...Фома не ведает сомнений...*— Как рассказывается в Библии, апостол Фома не поверил в воскресение Иисуса; он стал олицетворением человека всегда сомневающегося.

От жажды умираю над ручьем...— Эта баллада написана в 1457 году на тему, заданную поэтом Карлом Орлеанским (1394—1465).

Стр. 286. «*Четверостишие*».— Это стихотворение Вийон написал в начале 1463 года, в тюрьме Шатле, в ожидании приговора парижского суда. Он думал, что будет приговорен «быть повешенным и задушенным» за участие в уличной стычке. Однако по каким-то причинам казнь не состоялась и была заменена изгнанием.

Стр. 288. «*Баллада-восхваление парижского суда*».— По-видимому, это последнее из сохранившихся стихотворений поэта.

Меллен де Сен-Желе (1487—1558).— Был для своего времени хорошо образованным человеком, знал языки и явился во Франции проводником итальянских вкусов. Он был любимым поэтом короля Франциска I и с 1544 года заведовал его библиотекой в Фонтенбло. При жизни поэта его стихи, да и то далеко не все, были изданы один раз (1547 г.). С приходом «Плеяды» его слава вскоре угасла.

Маргарита Наваррская (1492—1549).— Была родной сестрой короля Франциска I; она получила прекрасное образование, всю жизнь

не расставалась с книгами, но была подвержена религиозным сомнениям и душевным метаниям. Не примкнув открыто к реформации, она поддерживала постоянные отношения с ее видными представителями. Она писала озорные новеллы (составившие сборник «Гептамерон») и аллегорические поэмы, веселые фарсы и проникнутые простодушной религиозностью стихи. В 1509 году Маргарита вышла замуж за герцога Карла Алансонского. Овдовев в 1525 году, через два года она сочеталась браком с королем Наварры Генрихом д'Альбре. Маргарита помогала брату в управлении государством; в конце жизни она часто бывала в своих южных владениях, окружив себя учеными и писателями, занималась литературой, давала приют преследуемым за религиозные сомнения (Б. Деперье, К. Маро и др.).

Стр. 291. *Утратив брата...* — Маргарита имеет в виду смерть своего брата Франциска (1547 г.), тяжело ее поразившую.

Клеман Маро (1497—1544).— Был сыном поэта-риторика Жана Маро (ок. 1463 — ок. 1523) и первые поэтические уроки получил от отца. Затем он учился в Париже, а с 1513 года стал пажом Маргариты Наваррской. Маро входил в придворный штат короля, совершил поход в Италию и был ранен в битве под Павией. Склонившись к протестантизму, он вынужден был покинуть Париж и нашел убежище в Нераке у Маргариты. Затем ему пришлось бежать в Италию. Порвав с кальвинизмом, Маро вернулся в 1536 году в Париж и стал любимым поэтом короля. Но в 1543 году он подвергся нападкам Сорбонны из-за своего перевода Псалмов и бежал сначала в Женеву (где был враждебно встречен кальвинистами), а затем в Турин, где и умер.

Стр. 292. *«Послание королю»*.— Написано в октябре 1527 года. Причины этого второго тюремного заключения Маро не ясны. По распоряжению короля Франциска в ноябре поэт был освобожден.

Стр. 294. *«Против той, кто была подругой поэта»*.— Эта баллада написана в 1526 году, когда Маро по обвинению своей возлюбленной, некоей Изабо, был заключен в тюрьму Шатле.

Стр. 296. *Сен-При* — на жаргоне парижских школяров одно из наименований тюрьмы Шатле.

Самблансе.— Жак де Бон, сеньор Самблансе, был королевским казначеем; обвиненный в злоупотреблениях, он был осужден и повешен 12 августа 1527 года. Маро написал это стихотворение вскоре после казни.

Стр. 297. *Монфокон* — площадь в Париже, где совершались казни.

Бонавантюр Деперье (ок. 1510—1544(?).— Был уроженцем Бургундии. Сведений о его жизни сохранилось немного. Он получил хорошее гуманистическое образование. В 1535 году стал секретарем Маргариты Наваррской. Очевидно, на службе у Маргариты он написал цикл новелл «Новые забавы и веселые разговоры» и смелое философское сочинение (в форме диа-

логов) «Кимвал мира», осужденное церковью. Деперье поддерживал дружеские отношения с К. Маро и как поэт испытал его влияние. Преследования церковных властей заставили Деперье бежать из Франции. Предполагают, что в припадке отчаяния он покончил с собой.

Морис Сэв (ок. 1501 — ок. 1564).— Был главой поэтического объединения, называемого обычно «лионской школой» (куда также входили Антуан Эроэ, Луиза Лабе, Пернетта Дю Гийе, Понтюс де Тиар). Сэв был уроженцем Лиона. Он учился праву в Авиньоне и похвалялся тем, что отыскал там могилу Лауры, возлюбленной Петрарки. Главное произведение Сэва — это цикл десятистиший «Делия, предмет высшей добродетели» (Делия — анаграмма слова Идея), изданный в 1544 году.

Стр. 303. *Анадиомена* (греч. «выходящая из вод») — то есть Венера.

...Над Клитией гордой, оставившей Море... — Одна из дочерей Океана, Клития, брошенная Аполлоном, превратилась в цветок гелиотропа (греч. миф.).

...От Мавра... — То есть от арабских земель Северо-Западной Африки.

Луиза Лабе (ок. 1525—1565).— Уроженка Лиона, большую часть жизни провела в родном городе. Ее отец был состоятельным местным буржуа. Дом Лабе стал своеобразным литературным салоном, где постоянно бывали видные поэты эпохи, посвящавшие хозяйке свои стихи. Творческое наследие Лабе невелико — это три элегии и двадцать четыре сонета; все они изданы в 1555 году. Большинство ее стихов посвящено любовной теме.

Стр. 305. *«Еще целуй меня...»* — Возможно, этот сонет, как и многие другие любовные стихи Лабе, обращен к поэту Оливье де Маньи (см. ниже).

Оливье де Маньи (ок. 1529—1561).— Происходил из небогатой дворянской семьи, издавна жившей в старинной французской провинции Керси. Он учился в Париже, там же состоял в секретарях у ряда высокопоставленных особ. Со своим патроном, кардиналом Жаном д'Авансоном, он провел несколько лет в Риме (с 1555 г.), где подружился с Ж. Дю Белле. На пути в Италию он остановился в Лионе, был принят в доме Луизы Лабе и влюбился в поэтессу. Впрочем, их связь длилась недолго. Маньи писал сонеты и оды в духе «Плеяды»; его стихи составили четыре сборника: «Любовные стихотворения» (1553), «Радости» (1554), «Вздохи» (1557) и «Оды» (1559).

Стр. 308. *Горд* — Жан-Антуан де Симион, сеньор де Горд (1525—1562), французский дипломат, друг Дю Белле и Маньи.

Когда ж конец войне? — Речь идет о войне, которую вела Франция на территории Италии в 50-е годы XVI века. Этот сонет написан в Риме и входит в цикл «Вздохи».

П о н т ю с д е Т и а р (1521—1605).— Был уроженцем Бургундии. Он учился в Париже, где около 1543 года начал работать над своим стихотворным циклом «Любовные заблуждения». Тиар поддержал литературные начинания Ронсара и был включен в «Плеяду». Кроме поэзии, которой Тиар занимался в свободное от своих служебных дел время (он был крупным церковным деятелем эпохи, епископом Шалона и исповедником короля), он увлекался также астрономией и филологией.

Стр. 310. *...о моей владычице прекрасной.*— Тиар воспевал в стихах свою даму сердца, которую он называл обычно Пазифаей. Ею была хозяйка модного литературного салона и поэтесса-любительница Клод-Катрин де Клермон, маршальша де Рец (1545—1603), славившаяся умом и красотой. Их отношения, конечно, были платоническими.

Альбер — Альберто Рипано, знаменитый в свое время лютнист.

П ь е р Р о н с а р (1524—1585).— Принадлежал к старинному дворянскому роду, дальние предки которого были, очевидно, выходцами из Венгрии. Он получил прекрасное гуманистическое образование — сначала в своей семье, затем в одном из парижских коллежей. На школьной скамье он сблизился с Ж. Дю Белле и А. де Баифом. Первоначально он готовил себя к придворной карьере, был пажом и совершил несколько путешествий по Европе в свите высокопоставленных особ. Ранняя болезнь, повлекшая за собой частичную глухоту, решила судьбу Ронсара, избравшего путь поэта. Если ранние стихи Ронсара (оды и сонетный цикл «Любовь к Кассандре») были встречены холодно, то затем пришло признание и двора, и литературных кругов. Ронсар, прозванный «принцем поэтов», жил то в Париже, то в своих имениях, занимаясь исключительно поэзией. Он тщательно готовил свои новые книги (циклы «Од», сонетный цикл «Любовь к Марии», «Гимны», «Книжку шалостей», «Рощу», поэму «Франсиада», цикл «Сонеты к Елене» и др.) и переиздания старых. Несколько раз он напечатал свое собрание сочинений.

Стр. 313. *Коридон.*— Этим именем, заимствованным из «Буколик» Вергилия, Ронсар называет своего слугу.

Кассандра — Кассандра Сальвиати (род. в 1532(?)г.), первая возлюбленная поэта, дочь итальянского банкира. Ронсар познакомился с ней в 1545 году в Блуа. Кассандра стала героиней его первого сонетного цикла (1552—1553).

Мари — Мария Дюпен, по-видимому, простая крестьянская девушка, героиня второго сонетного цикла поэта (1555—1556).

Белло — поэт, соратник Ронсара (см. ниже).

Стр. 315. *Вандом* — точнее, Вандомуа, местность в долине реки Луара (приток Луары), родина Ронсара.

Бургейль — местность во Франции, недалеко от Шинона; здесь находилось одно из имений Ронсара.

Стр. 318. *Цитерея* (или Киферея) — одно из именований Венеры.

Стр. 321. *«Оставь страну рабов...»* — Этот сонет, как и следующий, посвящен Елене де Сюржер, фрейлине королевы Екатерины Медичи. Ей Ронсар посвятил свой последний любовный сонетный цикл — «Сонеты к Елене» (1578).

Жоакен Дю Белле (1522—1560).— Родился в старой французской провинции Анжу. Он принадлежал к аристократической семье, давшей стране немало политических деятелей. Приехав юношей в Париж, Дю Белле подружился с Ронсаром и Баифом и задумал с ними реформу поэзии. Дю Белле написал и манифест молодой школы — трактат «Защита и прославление французского языка» (1549). Одновременно появились лирические стихи Дю Белле — сонетный цикл «Олива» и сборник од. С 1553 до 1557 года поэт находился в штате французского посольства в Риме, где в основном создал лучшие свои книги — сборники сонетов «Древности Рима» и «Сожаления» (оба изданы в 1558 г.).

Стр. 324. *...шестью годами жизни.*— То есть от момента отъезда поэта в Италию до его возвращения на родину и завершения работы над сборником «Сожаления».

Панжас Жан — французский поэт, живший в Риме одновременно с Дю Белле и Маньи.

...Пока при дяде я...— Дю Белле состоял в штате французского посланника при папском дворе кардинала Жана Дю Белле (1482—1560).

Панжас — у кардинала.— Панжас был в то время секретарем кардинала Жоржа д'Арманьяка.

Авансон.— Жан де Сен-Марсель, сеньор д'Авансон, был специальным королевским послом в Риме, куда он прибыл в конце марта 1555 года. Поэт Оливье де Маньи, друг Дю Белле, был его секретарем. Авансону посвящен весь цикл «Сожалений».

...И славу Генриха умножил ты немало...— Дю Белле имеет в виду оды Ронсара, посвященные королю Генриху II.

Стр. 325. *Лагэ* Робер — советник парижского парламента, близкий друг Ронсара и Дю Белле.

...В Колхиду парус вел...— Имеется в виду Язон, глава похода аргонавтов.

Стр. 326. *Палатин* — один из холмов, на которых построен Рим.

Лире — небольшое местечко на Луаре, родина Дю Белле.

Морель — Жан Морель д'Амбрён (1511—1581), один из ближайших друзей Дю Белле.

Стр. 327. *Пьер* — популярный римский брадобрей.

Стр. 328. *Дилье* — близкий друг Дю Белле и Маньи.

Стр. 329. *Жодель* — поэт, член «Плеяды» (см. ниже).

...тревожишь Музу...— В оригинале названа Каллиопа, муза эпической поэзии, старшая из девяти муз.

Стр. 329. *«Как в море вздыбленном...»* — Этот сонет, описывающий в аллегорической форме путь Рима от республики к империи и ее гибель, входит в цикл «Древности Рима»; остальные сонеты из цикла «Сожаления».

Жан Дора (ок. 1508—1588).— Был прежде всего латинским поэтом. Но и латинских стихов он написал немного. Французские стихи в его наследии совсем немногочисленны. Значительно старше остальных членов «Плеяды», он был их учителем. Стихи Дора несут на себе печать его широкой гуманистической образованности. Были собраны и напечатаны только в XIX веке.

Стр. 331. *...если гром бомбард доныне не утих...*— Дора имеет в виду так называемые «итальянские войны», которые вела Франция на протяжении почти всей первой половины XVI века.

Жан-Антуан де Баиф (1532—1589).— Родился в Венеции, был сыном видного гуманиста, поэта и дипломата Лазара де Баифа и получил прекрасное образование в доме отца, а затем в одном из парижских коллежей, где подружился с Ронсаром. Первой книгой Баифа стал сонетный цикл «Любовь к Мелине» (1552), подражательный и условный. Более оригинален и искренен поэт в сборнике «Любовь к Франсине» (1555), описывающем его увлечение одной молодой пуатевинкой. Активный член «Плеяды», Баиф стремился реформировать французскую поэзию на новой ритмической основе, создал своеобразную академию поэзии и музыки, но его опыты в этом направлении оказались неудачными.

Стр. 333. *«Эпитафия писателю Франсуа Рабле»*.— Написано в 1533 году.

Реми Белло (ок. 1528—1577).— Учился вместе с Жоделем в одном из парижских коллежей. Он примкнул к «Плеяде», но занял в ней особое место — тонкого пейзажного лирика и поэта природы (воспевая времена года, растения, камни и т. д.). Как кавалерийский офицер он принял участие в одном из итальянских походов (1557 г.). Военная служба, а затем придворные должности не мешали ему писать. В 1556 году он напечатал переводы из Анакреонта, в 1565-м — «Пастушескую поэму», в 1574 году — поэму «Превращения драгоценных камней», а в год смерти — комедию «Узнанная».

Этьен Жодель (1532—1573).— Родился в Париже, учился вместе с Белло, вошел в «Плеяду» и начал свой творческий путь как драматург, создав в 1552 году трагедию «Клеопатра» и комедию «Евгений». Поэт был обласкан двором и прославлен своими товарищами (в частности, в оде Ронсара). После 1558 года Жодель впал в немилость; умер он в бедности. Его лирические стихи были собраны и напечатаны лишь через год после его смерти.

Стр. 339. *Вы первая...*— Любовные стихи Жоделя посвящены Клод-Катрин де Рец (см. прим. к с. 310), которой также увлекались стареющий Понтюс де Тиар, Амадис Жамен, Филипп Депорт, Дю Бартас и другие поэты эпохи.

Клод де Бютте (ок. 1524—ок. 1587).— Испытал влияние «Плеяды» и писал циклы сонетов и од в духе этой школы. Первые его стихи были напечатаны в 1554 году. После 1559 года Бютте жил в Савойе, при дворе своей покровительницы Маргариты Французской, жены герцога Савойского.

Стр. 341. *Скончался Дю Белле...*— Поэт умер в ночь на 1 января 1560 года.

Этьен де Ла Боэси (1530—1563).— Был уроженцем Дордони (провинция на юго-западе Франции). Блестяще образованный, он рано испытал свои силы в литературе и на общественном поприще. Смелый политический мыслитель, он высказал свои идеи в трактате «О добровольном рабстве» (издан в 1577 г.). Любовная лирика Ла Боэси, небольшая по объему, развивалась под влиянием «Плеяды». Его сонеты, впервые опубликованные его другом Монтенем, вдохновлены увлечением Маргаритой де Карль, которая стала затем его женой.

Стр. 343. *Маргерит* — то есть Маргарита де Карль.

Медок — местность на юге Франции, в долине Жиронды.

Амадис Жамен (ок. 1538—1593).— В своих первых литературных опытах был поддержан Ронсаром и включен им в «Плеяду». Поэтическое творчество Жамен сочетал с занятиями философией и математикой и своими обязанностями придворного. Его любовная лирика была впервые издана в 1575 году и встретила одобрение современников.

Стр. 345. *...Ваш лучезарный взор.*— Свою возлюбленную, жившую в одном из замков на Луаре, Жамен воспел под именем Орианы.

Жак Таюро (1527—1555).— Принял участие в одной из последних войн Франциска I и побывал в Италии. Конец своей недолгой жизни он целиком посвятил поэзии. Таюро поддерживал дружеские отношения с членами «Плеяды»,— в частности, с Жоделем. Сонеты и оды поэта, посвященные его возлюбленной, были изданы в 1554 году.

Стр. 347. *...ты шествуешь незримо...*— Таюро воспевал в стихах некую мадемуазель де Женн, которую он называет Адмирэ (то есть «Восхищающая»).

Жан Пассера (1534—1602).— Принадлежал к провинциальной буржуазии. С детства приобщился к гуманистическим штудиям (он учился в Труа и Париже) и одно время преподавал древние языки (короткое время его слушателями были Баиф и Ронсар). Филолог и правовед, Пассера обращался к поэзии лишь в часы досуга, культивируя старые, «доплеядовские» жанры и формы. Большинство стихов поэта было издано лишь после его смерти.

Стр. 348. «*Нету горлинки моей...*» — Вилланель; так называлось в старофранцузской поэзии лирическое стихотворение особой формы: оно писалось на две рифмы, состояло из шести трехстиший и заключительного стиха и имело, таким образом, девятнадцать строк. Внутренняя композиция стихотворения довольно сложна. По своему происхождению вилланель восходит к народной песне.

Стр. 349. ...*вражды междоусобной.*— Поэт имеет в виду так называемые «религиозные войны» между католиками и гугенотами, длившиеся с перерывами с 1562 по 1594 год.

Жан Воклен де Ла Френе (ок. 1535—1606).— Принадлежал к старинному дворянскому роду. Будущий поэт изучал право в Пуатье, где сложился кружок молодых литераторов. Воклен писал стихи в духе «Плеяды» и воспевал (под именем Филиды) свою невесту, а потом жену Анну де Бургвиль. Большая часть жизни поэта прошла в Кане, где он занимал крупные посты в местном парламенте.

Марк Папийон де Лафриз (1555—1599).— С ранней юности поэт принял участие в «религиозных войнах» на стороне католической партии. Он возглавил отряд смельчаков, прославившийся не столько ратными подвигами, сколько прямым разбоем, наводя ужас на мирное население. В двадцать лет Папийон полюбил молодую монахиню Рене Ле Пулькр из монастыря бенедиктинок в Мансе. Он рассказал об этой любви в смелых и откровенных стихах. Увлекшись своей кузиной Ноэми Ла Туранжель, он посвятил ей сонетный цикл. Беспорядочная жизнь, полная то чрезмерных излишеств, то лишений, подорвала здоровье поэта, и он умер в уединении своего родового имения.

Гийом де Саллюст Дю Бартас (1544 — ок. 1590).— Был уроженцем Гаскони. Смолоду примкнул к кальвинистской партии и принимал участие в «религиозных войнах» на стороне Генриха Наваррского. Первый поэтический сборник Дю Бартаса, «Христианская муза», вышел в 1574 году. Долгие годы поэт работал над поэмой «Неделя, или Сотворение мира» (издана в 1578 г.). Работа над следующей поэмой, «Вторая неделя» (частично печаталась начиная с 1584 г.), не была доведена до конца. Дю Бартас написал также несколько провансальских стихов.

Стр. 356. *Давид, что победил хвастливого соседа...*— Речь идет о единоборстве юноши Давида с филистимлянским воином Голиафом; об этом рассказывается в Библии (Первая книга Царств, XVII).

Теодор-Агриппа д'Обинье (1552—1630).— Родился в протестантской семье. Получив прекрасное образование и уже в семь лет свободно переводя с греческого, д'Обинье вынужден был заниматься поэзией лишь урывками, так как он принял деятельное участие в «религиозных войнах», сражаясь на стороне Генриха Наваррского. В 70-е годы поэт написал свой сборник од и сонетов «Весна» (издан лишь в 1874 г.), с 1575 года работал над циклом «Трагическая поэма» («Беды», «Государи», «Золотая палата», «Огни», «Лезвия», «Отмщения», «Страшный суд»), который был издан в 1616 году. После перехода французского трона к Генриху Наваррскому (Генрих IV) д'Обинье отошел от активной деятельности, а потом и вообще рассорился с королем и поселился в Женеве, оставшись верен протестантизму. Поэт написал также интересные «Мемуары», роман «Приключения барона Фенеста», ряд памфлетов и трехтомную «Всемирную историю».

Стр. 357. *...сам государь...*— Король Карл IX.

Стр. 358. *...торгует век растленный...*— Поэт имеет в виду располагавшиеся на набережной Сены лавки, торговавшие предметами роскоши.

Мост, по которому зерно переправляли...— Речь идет о Мельничном мосте, располагавшемся рядом с ныне существующим Мостом менял (Понт-о-Шанж); этот мост вел к мельницам, находившимся недалеко от берега реки.

Четыре палача...— На Мельничном мосту с особой жестокостью расправлялись с гугенотами некие Таншу, Пезу, Круазе и Перье; о них пишет д'Обинье и в своей «Всемирной истории».

...погубит ночь одна...— Поэт имеет в виду трагическое событие в ночь на 22 декабря 1596 года, когда Мельничный мост внезапно рухнул, разрушив и окрестные дома; в результате этой катастрофы погибло большое число жителей. Гугеноты считали это возмездием за жестокости Варфоломеевской ночи.

Иверни — Мадлена Брисонне, племянница видного деятеля реформации, кардинала Гийома Брисонне (1470—1534). Она пыталась спастись, одевшись монахиней, но была узнана и жестоко убита.

Стр. 359. *Рамо.*— Д'Обинье имеет в виду Пьера де Ла Раме (1515—1572), философа, математика и филолога, одного из наиболее значительных и смелых мыслителей своего времени. Он был убит во время Варфоломеевской ночи фанатичной толпой.

Шапп — Анн (или Антуан) де Феррьер, сеньор де Шапп (1492—1572), один из известных парижских адвокатов.

Брион — Антуан де Фуко, сьёр де Брион, воспитатель принца Конти.

Сарданапал.— Так поэт называет Карла IX.

Стр. 360. *Из аркебузы он бегущих валит с ног...*— Об этом писали мно-

гие гугеноты, а из католиков—Брантом. Однако этот факт не вполне достоверен.

Стр. 360. *...Гнатон, Таис или Тразон* — сатирические персонажи комедии Теренция «Евнух», паразит, куртизанка и хвастливый воин.

Королева-мать — Екатерина Медичи.

Одна из дам...— Это некая Руайан, отправившаяся верхом в мужском платье за солдатами и выдавшая им двух спрятавшихся в ее доме гугенотов (один из них был ее родственником).

...иль в Блуа...— Д'Обинье перечисляет пышные придворные празднества в королевских резиденциях и замках — в Бар-ле-Дюк по случаю заключения мира с Англией (1564 г.); в Байоне в связи со встречей французского и испанского дворов (1565 г.); в Тюильри в честь польских послов, возвестивших об избрании на польский трон герцога Анжуйского, будущего Генриха III (1573 г.); в Блуа по случаю созыва там Генеральных штатов (1576 г.).

Стр. 361. *«О, сжальтесь, небеса...»* —Этот и следующие шесть сонетов вошли в цикл «Жертвоприношение Диане», который возник под влиянием увлечения поэта Дианой Сальвиати, племянницей Кассандры Сальвиати, воспетой Ронсаром. Их короткий роман протекал в замке Тальси, где поэт, раненный в одной из схваток между гугенотами и католиками, медленно выздоравливал, опекаемый молодой девушкой.

Стр. 365. *...вспомните того...*— Быть может, намек на одного из вождей католической партии — Франсуа де Гиза, герцога Лотарингского, убитого гугенотом Польтро де Мере в 1563 году.

Стр. 366. *...мой король...*— То есть Генрих III; сонет написан в 1574 году, в период временного прекращения военных действий между католиками и гугенотами.

Когда Жодель пришел...— Поэт и драматург Жодель скончался в начале июля 1573 года. В 1574 году д'Обинье издал маленькой книжкой оду и четыре сонета, посвященные памяти Жоделя.

Филипп Депорт (1546—1605).— Происходил из зажиточной буржуазной семьи. В молодости совершил путешествие в Италию, в 1570 году был принят ко двору. Еще до этого Депорт испробовал свои силы в поэзии и был одобрен Ронсаром, который одно время считал его своим самым опасным соперником. Депорт написал пользовавшиеся популярностью сонетные циклы: «Любовь к Диане», «Любовь к Ипполите», «Любовь к Клеонисе». Он переводил Псалмы, писал мадригалы, стихотворные надписи и т. д. Депорт был любимым поэтом Генриха III, сопровождал его в Польшу, когда тот, в 1573 году, был избран польским королем. Поэтические опыты Депорта впервые были напечатаны в 1573 году и затем неоднократно переиздавались с существенными дополнениями.

Стр. 370. *Здесь пал Икар...*— Образ Икара, как олицетворение всего быстротечного и нестойкого в жизни, был излюбленным символом Депорта.

Жан де Сponд (1557—1595).— Родился в Стране Басков. Его предки, по-видимому, были выходцами из Испании. Отец поэта, суровый протестант и сподвижник королевы Наваррской — Жанны д'Альбре, был, однако, не чужд литературы и привил сыну любовь к поэзии. В двадцать лет Спонд принялся за латинский перевод Гомера. Желая углубить свои знания в области эллинистики, он посетил Швейцарию, где увлекся алхимией. Вернувшись в Беарн, Спонд вошел в окружение Генриха Наваррского. Еще в Базеле он принялся за сочинение «Стансов и сонетов о смерти», своего наиболее значительного цикла. В конце жизни поэт принимал активное участие в «религиозных войнах», будучи видным деятелем протестантского лагеря. В сентябре 1593 года, вслед за королем Генрихом, он принял католичество. Умер Спонд в Бордо в крайней нищете.

А. Михайлов

ВЕНГРИЯ

Петер Борнемисса (1535—1584).— Происходил из состоятельной бюргерской семьи; в 1541 году, после того как турки заняли его родные Пешт и Буду, вынужден был их покинуть, и дальнейшая его жизнь прошла в скитаниях (с 1556 г. до середины 60-х годов — вне пределов Венгрии). Стихотворение «Как грустно, что с тобой расстаться должен я...» — одна из первых жемчужин светской лирики на венгерском языке — как раз и написано перед отъездом. Поэт в нем прощается не с домом, не со знатным патроном, не с возлюбленной, а — не менее нежными словами — с родиной: венгерская лирика Возрождения глубоко патриотична, это ее неотъемлемая своеобразная черта. Борнемисса побывал в Падуе, Венеции, Виттенберге, в Вене; там в 1558 году он перевел на венгерский язык «Электру» Софокла,— вольный этот перевод замечателен явными антифеодальными мотивами. В зрелые годы Борнемисса сделался лютеранским проповедником, страстно обличал феодальный произвол и социальные пороки, за что подвергался всяческим преследованиям вплоть до тюрьмы. Изданные им самим сборники проповедей (1573—1579), изобилующие жанровыми сценками, критически заостренными, порой психологически меткими описаниями быта и нравов, одновременно — первые памятники венгерской художественной прозы.

Балинт Балашши (1554—1594).— Выдающийся лирик венгерского Возрождения, один из создателей венгерского литературного языка. Недолгая, но бурная жизнь его прошла в скитаниях, приключениях и в седле — в непрерывных сражениях против турок. Он погиб от тяжких огнестрельных ран, отбивая у турок город Эстергом. Сын вельможи, Балашши получил гуманистическое образование; домашним его наставником был поэт и проповедник Петер Борнемисса, с одиннадцати лет он учился в Нюрнберге; был знаком с итальянской поэзией и культурой, в юности побывал и в Польше, куда его взял с собой эрдейский (трансильванский) князь Иштван Батори,

ставший польским королем под именем Стефана Батория. Мелодически изящная, одушевленная искренним чувством лирика Балашши — это любовная, патриотическая и философическая медитация, часто элегически окрашенная, в которой словно отозвалась полная превратностей судьба человека в притесняемой турками и Габсбургами Венгрии. Б. Балашши был также автором первой венгерской пасторальной драмы («Прекрасная венгерская комедия», 1589). Стихи Балашши на протяжении двух следующих веков печатались сорок три раза, некоторые из них послужили основой для народных любовных песен.

Янош Римаи (1570—1631).— Был в молодости другом и учеником Балинта Балашши, чьи оппозиционные, антигабсбургские настроения и литературные идеалы он разделял. Много лет Римаи служил секретарем венгерских князей — противников Вены; в 1620—1621 годах был послом в Константинополе. Оплакивая в своих стихах бедствия и разорение родной страны Габсбургами и их владетельными венгерскими приспешниками, развивая в лирике и любовный жанр, Римаи вместе с тем сильнее, чем его предшественники, связан литературными образцами (Гораций, Балашши и более ранняя, отвлеченно-аллегорическая венгерская поэзия). Стиль его — сложный синтаксис, риторические фигуры, изощренная рифмовка — порой несет уже отпечаток маньеризма.

О. Россиянов

ПОЛЬША

Миколай Рей (1505—1569).— Полнее и ярче других запечатлел в своем творчестве стремления, образ жизни и культурный облик польской шляхты эпохи Возрождения, как раз тогда проявившей наибольшую политическую активность и добившейся существенного расширения своих прав. Писал исключительно на польском языке и был назван «отцом польской литературы» (до Рея многие видные поэты пользовались латынью). В сочинениях Рея отразились социальные противоречия эпохи; он активно участвовал в религиозной борьбе, был ярым кальвинистом, что сказалось и в его творчестве. Ощутима связь Рея со средневековой традицией (использование характерных для нее жанров, дидактизм и аллегоричность, смешение собственно художественных задач с практическими наставлениями читателю); вместе с тем жизнерадостный дух и яркий национальный колорит его творчества делают Рея зачинателем новой, ренессансной эпохи. Качества эти во всей полноте проявились в основных стихотворных сборниках Рея — «Зверинец» и «Забавные истории» (1562, переизданы в 1574 г. под общим названием «Фиглики», то есть «шутки»), выделяющихся сочностью и живостью языка. Восьмистишия сборников либо являлись переработкой уже известных литературных сюжетов, популярных анекдотов, либо создавались на оригинальном материале (портреты соотечественников, характеристики сословий, профессий, должностей, политических учреждений и общественных явлений, отклики на события и т. д.).

Стр. 387. *...что в сейме хваленом творится...*— Польский сейм с конца XV века состоял из сената и посольской избы, был во времена Рея ареной ожесточенной политической борьбы, в ходе которой сословные, групповые и частные интересы неоднократно ставились выше государственных соображений.

Ян Кохановский (1530—1584).— Поэзия Кохановского — вершина развития не только ренессансной, но и всей старопольской литературы (с начала письменности до середины XVIII в.). Он соединил в своем творчестве высокий уровень гуманистической учености, прекрасное знание античности и современной поэзии с национальной выразительностью содержания и формы. Кохановский писал и по-латыни, но основные произведения создал на польском языке. Он первым из польских авторов рассматривал поэзию как высшее проявление человеческой индивидуальности, а свое творчество — как основное дело жизни, как патриотическую заслугу. Он разработал ряд поэтических жанров, утвердил в польской поэзии разнообразие стихотворных размеров, усовершенствовал поэтическую образность (в этом плане большую роль сыграло переложение на польский язык «Псалмов Давида», 1578). Некоторое время Кохановский служил при дворе и создал тогда ряд произведений актуального политического содержания. В драме «Отказ греческим послам» (1578) античный сюжет используется для постановки польских проблем, критики тогдашних политических нравов. Картины шляхетского и придворного быта запечатлены в цикле «Фрашек» (изданы в 1584 г. в трех книгах). Эти короткие стихотворения («фрашка» значит «безделка», «шутка») были весьма разнообразны по содержанию: иногда носили шутливый, даже фривольный характер, а иногда философско-морализаторский. С 1570 года Кохановский поселяется в своем имении Чарноляс (Чернолесье). С этим периодом связан цикл «Песен» (изданы в двух книгах посмертно, 1586), замечательных светлым лиризмом, простотой и искренностью, любовью к родной природе, умением находить поэтическое в житейской повседневности. На смерть своей малолетней дочери Уршулы Кохановский написал цикл «Тренов» (1580) — надгробных плачей. В них с необыкновенной проникновенностью и психологической правдивостью передана безмерность родительского горя и вместе с тем содержатся драматические размышления о трагизме человеческого существования, преодолеваются мучительные сомнения философско-этического плана. Творчество Кохановского оказало огромное влияние на последующее развитие польской поэзии.

Стр. 390. *«О докторе-испанце».*— Герой фрашки, Петр Ройзиус, испанец по происхождению, был поэтом, гуманистом, профессором университета в Кракове и придворным короля Зыгмунта-Августа.

Миколай Сэмп Шажинский (1550—1581).— Остался автором единственной книги — «Польские ритмы, или Стихи» (издана посмертно, 1601). Был поэтом широкой литературной эрудиции, по характеру твор-

чества — лириком. Поэзия Шажинского носит переходный характер, отмечена приверженностью к сложным стихотворным формам, кризисными меланхолически-рефлективными мотивами, преобладанием религиозного содержания, сознанием остроты противоречий человеческого бытия, непрочности земных радостей (при этом, однако, поэт не впадает в мрачно-аскетическое жизнеотрицание). Шажинский обогатил польскую лирику новыми тонами и образами.

Себастьян Фабиан Клёновиц (или Клёнович; ок. 1545—1602).— По своему положению принадлежал к городским верхам, патрициату, избирался бургомистром Люблина. Писал и по-латыни и по-польски. «Сетования на смерть Яна Кохановского» (1585) — свидетельство уважения образованных современников к автору «Тренов» — остались единственным обращением Клёновица к лирическому жанру. В дальнейшем Клёновиц пошел по пути создания описательно-географических (латинская «Роксолания», 1584, «Флис», 1595,— на польском языке) и сатирическо-дидактических поэм («Победа богов»— по-латыни, и «Мошна Иуды», 1600, по-польски). Произведения эти ценны зарисовками многих сторон хозяйственного быта, нравов, социальных отношений, содержат страницы, проникнутые сочувствием к угнетенным народным низам.

Шимон Шимоновиц (или Шимонович; 1558—1629).— Был сыном львовского мещанина, получил основательное гуманитарное образование, со временем приобрел шляхетское звание. Писал на латинском и польском языках. Наибольшую роль в польской поэзии сыграл цикл его идиллий в античном духе — «Селянок» (изданы в 1614, 1626 гг.), который свидетельствовал о живости ренессансной традиции в польской литературе начала XVII века. Опираясь на гуманистическую ученость, Шимоновиц лучшие из своих идиллий наполнил национальным содержанием, рисуя выразительные картины шляхетского и простонародного быта; говорил не только о красотах природы и прелестях сельского досуга, но и о тяжести подневольного мужицкого труда, создавал не только условно книжные идиллические персонажи, но и типы достоверные, взятые непосредственно из жизни. Такова лучшая из идиллий — «Жницы», которую Адам Мицкевич назвал «самой народной и самой правдивой» во всем цикле.

Анонимная мещанская поэзия.— Со второй половины XVI века в Польше получает богатое развитие литература, создававшаяся представителями плебейско-мещанских кругов (ее называют также «совизжальской» или «рыбалтовской» литературой). Тексты ее сохранились в виде нескольких брошюр и сборников, а также в рукописях, которые были опубликованы в наше время. О создателях ее мы знаем мало: это были, по-видимому, деревенские учителя, низшие клирики, школяры, небогатые мещане, издававшие свои произведения анонимно или скрывавшиеся под псевдонимами

(Ян из Киян, Ян Дзвоновский, Ян из Выхилювки, Совизжал и др.). Для них характерны оценка тогдашней действительности с позиций «низов», протест против социального неравенства, неприязнь к богатым и знатным, связь с фольклором. Жанры плебейской литературы были разнообразны: прозаические сочинения пародийно-сатирического характера, драматические диалоги, интермедии, фарсы («рыбалтовская комедия»), стихотворная сатира (фрашки, памфлеты, пародии и т. д.), любовные песни. Последние довольно тщательно отделаны с точки зрения стихотворной формы, свидетельствуя о влиянии на их авторов не только фольклора, но и высоких образцов ренессансной поэзии.

Стр. 407. *«На алчных».*— Вошло в стихотворный сборник «Новый Совизжал», возникший в конце XVI века.

«Танец».— Так именовались в сборниках тексты песен, распевавшихся во время танцев. Данный текст — из сборника «Песни и танцы для честной забавы» (1614).

Стр. 408. *«Песня».*— Из сборника «Колокольчик сердечный...».

Стр. 409. *«Жалоба крестьян на худые годы».*— Впервые напечатано в анонимном сборнике «Колокольчик сердечный, на звон которого сбегаются дружно как юноши, так и девицы» (1620). Известны и другие тексты аналогичного содержания: «Жалоба крестьян на господ» (между 1618 и 1624 гг.), «Жалоба крестьян» (ок. 1629).

Б. Стахеев

ГОЛЛАНДИЯ

Йонкер Ян ван дер Нот (1540—1595).— Нидерландский поэт. Родился в дворянской семье; принял участие в восстании гёзов, вспыхнувшем в городе Антверпене. После подавления восстания, в 1567 году, был вынужден эмигрировать за границу. Жил в Англии, Германии, Франции, встречался с Пьером Ронсаром. В 1578 году вернулся в Антверпен. Нот был первым представителем литературы Возрождения в Нидерландах и ввел в поэзию на голландском языке такие виды, как ода и сонет, а также александрийский стих, который до него нидерландскими поэтами не применялся.

Стр. 414. *«Когда в апреле раскрывает Флора...»* — Эта ода написана под влиянием семнадцатой оды «К Кассандре» Ронсара.

Питер Корнелисон Хофт (1581—1647).— Голландский писатель и историк, юрист по образованию. Один из крупнейших лирических поэтов своей страны. Сын бургомистра города Амстердама, в юности путешествовал по Франции и Италии. Там он познакомился с литературой Возрождения, оказавшей решающее влияние на его собственное творчество: Хофт был виднейшим представителем петраркизма в голландской поэзии. В 1609 году

Хофт получил назначение на должность верховного прокурора округа Мойден. В местном замке собирался знаменитый в то время «Мойденский кружок», который посещали известные голландские писатели и ученые. Будучи великолепным стилистом, Хофт в немалой степени способствовал дальнейшему развитию голландского литературного языка.

Стр. 418. *Электра.*— Этим именем поэт называл в стихах сестру своей рано умершей возлюбленной Анну Спигел, которая искренним участием помогла Хофту пережить тяжелую утрату.

Стр. 419. *«По поводу осквернения могилы Петрарки».*— Сонет представляет собой аллегорию. Очевидно, Хофт написал его в связи с выступлениями в начале XVII века некоторых итальянских поэтов против литературных канонов, выработанных петраркистами.

Стр. 421. *Христина Хофт*—первая жена поэта, умершая в 1624 году.

Гербранд Адриансон Бредеро (1585—1618).— Голландский поэт и драматург. Сын ремесленника, обучался живописи в Амстердаме, с 1608 года целиком посвятил себя литературе. В его творчестве, больше чем в творчестве других голландских поэтов XVII века, отразилась жизнь простого народа Голландии. Однако и Бредеро не избежал влияния античной литературы и литературы итальянского Возрождения. Очень многое сделал Бредеро для развития голландского литературного языка, безбоязненно используя в своем творчестве просторечные слова и выражения.

Йост ван ден Вондел (1587—1679).— Классик голландской литературы, крупнейший поэт и драматург Голландии. Сын баптистов, эмигрировавших сначала в Германию, где родился поэт, а затем в Нидерланды, в город Амстердам, в котором отец Вондела основал магазин по продаже изделий из шелка. Унаследовав магазин отца, Вондел благодаря доходам от торговли мог посвящать большую часть времени самообразованию и литературному творчеству. Однако из-за банкротства сына, долги которого Вондел вынужден был уплатить, ему пришлось в преклонном возрасте стать банковским служащим. Лишь с 1678 года он стал получать пенсию от городских властей Амстердама. Хотя Вондел познакомился с классическими языками и с античной литературой сравнительно поздно, произведения античных авторов оказали немалое влияние на его творчество, в первую очередь на его трагедии. Значительной частью творческого наследия Вондела являются его оды, в том числе ода, посвященная Рейну, на берегах которого родился поэт.

Стр. 426. *Иоганн Волфард де Бредероде* (Бредеро; умер в 1655 г.) — однофамилец голландского поэта и драматурга, с 1641 года маршал вооруженных сил Голландии.

Герцинский лес — название, данное римлянами сплошному лесу, покрывавшему, по их представлению, Германию.

Стр. 427. Нерон Клавдий *Друз*—римский полководец, пасынок Августа.

Стр. 428. *Земли батавов — остров гордый.*— Имеется в виду остров, образуемый одним из рукавов Рейна и реками Ваал и Маас. Когда-то этот остров был населен племенем батавов.

Лек — один из рукавов Рейна.

Эйсел — канал, ответвляющийся от Рейна возле города Гента.

Стр. 429. *Река мерцающих светил.*— Вондел сравнивает Рейн с Млечным Путем.

...Ты многих рыцарей сманила...— Имеются в виду немецкие дворянские титулы, например, «рейнграф», «пфальцграф ан ден Рейн» и т. п.

Стр. 429. *...Где навсегда обрел покой Эразм, расставшийся с землей.*— Нидерландский ученый-гуманист Эразм Роттердамский умер в Базеле (1536 г.).

Стр. 430. *...Церковной злобе и вражде, кровавой распре государей...*— Вондел имеет в виду Тридцатилетнюю войну в Германии (1618—1648 гг.) между князьями и городами, с одной стороны, и императором и крупными прелатами — с другой.

...Вождю Нассауских знамен — то есть начальнику голландских вооруженных сил.

«Вильгельм». — Песня, ставшая с 1932 года государственным гимном Нидерландов. Была создана около 1568 года и посвящена Вильгельму Оранскому — одному из вождей нидерландских патриотов в освободительной войне против Испании, происходившему из немецкого княжеского рода Нассау. Долгое время ее вероятным автором считался Филипп Марникс ван Синт-Альдегонде (1540—1598); в настоящее время его авторство отрицается. Песня была написана как акростих, где из первых букв каждой строфы слагались слова «Вильгельм ван Нассау». Но современная орфография голландского языка разрушила акростих. В основу мелодии положена французская солдатская песня. Впоследствии мелодия была обработана голландским нотариусом Адрианом Валериусом (умер в 1625 г.), составителем сборника «Нидерландская песня».

Песни гёзов.— Гёзами (от франц. gueux — нищие) называли во второй половине XVI века всех, боровшихся против войск испанского короля, за свободу и независимость Нидерландов. Песни гёзов создавались как боевые песни повстанцев. Авторы большинства из них неизвестны, однако многие песни принадлежали перу профессиональных поэтов. Первоначально песни гёзов печатались на отдельных листах, но потом их объединяли в специальных сборниках (например, в сборнике 1581 г.). В период гитлеровской оккупации Голландии по аналогии с песнями гёзов XVI века создавались «Новые песни гёзов».

Стр. 434. *Испанцы Вешателя шлют...*— Имеется в виду герцог Альба, посланный королем Филиппом II на подавление Нидерландского освободительного восстания.

А. Орлов

ДАНИЯ

Датские **народные баллады**, запечатлевшие богатые настроением и полные поэзии картины рыцарской и народной жизни, возникли в конце XII века. По форме это двух- или четырехстрофные лиро-эпические произведения, часто с рефреном, исполнявшиеся как песни во время танцев. Первые записи народных баллад относятся к XVI веку.

По своему содержанию датские народные баллады делятся на рыцарские, изображающие жизнь датского дворянства; исторические, правильнее псевдоисторические, так как авторы, повествуя о событиях, свободно обращаются с историческим материалом; волшебные, а также баллады-легенды, вводящие читателя в мир разнообразных средневековых представлений; богатырские, в которых перерабатываются сюжеты древних героических саг; наконец, возникшие в конце средних веков романтические любовные баллады.

В XIV веке датская народная баллада переживает свой расцвет. В это время создается наибольшее количество песен, отличающихся особым национальным своеобразием и художественным совершенством. Датские народные баллады проникают в Швецию, а позднее оказывают воздействие на англо-шотландскую народную поэзию. Как вид устного народного творчества баллады сохраняются вплоть до нового времени.

Стр. 439. «*Рыцарь Карл в гробу*».— Одна из наиболее популярных датских народных баллад. Создана в конце XIV века, сохранилась в нескольких записях. Из Дании перешла в Швецию; имеется также ее норвежский вариант. Сюжет баллады (влюбленный притворяется мертвым, чтобы заполучить избранницу) широко распространен в средневековой народной поэзии.

Стр. 441. «*Король Эрик и насмешница*».— Баллада возникла в Швеции в XIV веке, известно несколько ее вариантов. Баллада возникла в буржуазной среде, на это указывает враждебное отношение автора к дворянству. Эрик VII (1382—1439) — король Норвегии, Дании, Швеции.

Стр. 443. «*Эсберн Снаре*».— Баллада создана в конце XIV века. На связь ее с исторической эпохой указывает имя героя. Мотив превращения силой любви неумелой девушки в искусную мастерицу характерен для романтических баллад.

Медельфаре — город на западном побережье острова Фюн.

Эсберн Снаре (умер в 1204 г.) — один из ближайших сподвижников датского короля Вальдемара Великого (1131—1182).

Рибе — город в Западной Ютландии.

Ал. Сергеев

АНГЛИЯ

Английские народные баллады.— Английские народные баллады представляют собой лиро-эпический или лиро-драматический рассказ, предназначенный для пения, часто в сопровождении музыкальных инструментов; они складывались на протяжении нескольких веков и передавались в устной традиции из поколения в поколение. Расцвет балладной формы в Англии — XV век. Среди лиро-эпических баллад огромной популярностью пользовались баллады об исторических событиях и легендарных героях минувших дней; излюбленной фигурой стал в них добрый лесной разбойник, помогающий бедным и несправедливо обиженным. До нас дошло около сорока баллад, повествующих о приключениях Робина Гуда и его друзей. Ранние попытки организовать эти баллады в единое сюжетное целое представлены сводами «Малая жеста о Робине Гуде» (ок. 1510 г.) и «Жеста о Робине Гуде» (начало XVI в.). Очевидно, во второй половине XVI века начался так и не завершившийся процесс превращения цикла в единое эпическое произведение. Отрывки из песен о Робине Гуде к этому времени проникли уже в высокую литературу (Сидни, Шекспир, Бен Джонсон).

Стр. 457. *«Королева Элинор»*.— Эта баллада относится к разряду лиро-драматических, главной темой которых была обычно страстная любовь или ненависть. Действие не выходило за рамки семейных или родовых отношений, и бóльшая часть таких баллад имела трагический, роковой исход.

Джон Скелтон (ок. 1460—1529).— Единственный английский поэт-гуманист при дворе Генриха VII; по отзыву Эразма Роттердамского — «единственный светоч и слава английской литературы». Окончил в 1484 году университет Кембриджа, славился своей ученостью; был воспитателем будущего короля Генриха VIII. Переводил Цицерона и Диодора Сицилийского. В 1498 году принял духовный сан, с 1504 года — священник в Норфолке. Скелтон — поэт реформации, автор ряда сатирических поэм о жизни двора и духовенства («Колин Клаут», 1519—1524; «Почему вы не являетесь ко двору», 1522—1523). В своем творчестве опирался на традицию Чосера и народной поэзии. Типичный скелтоновский стих — «доггерель» — короткая обрывистая рифмованная строка, напоминающая русский раешник.

Стр. 460. *«К Марджери Уэнтворт»*.— Лирическое стихотворение, включенное в поэму «Лавровый венок» (1523).

Томас Уайет (ок. 1503—1542).— Первый английский поэт-петраркист; разрабатывал в английской поэзии формы итальянской лирики, первым в Англии начал писать сонеты. Изменил форму итальянского сонета (два катрена и два терцета) и создал сонет из трех катренов и заключительного двустишия — форма, ставшая традиционной в елизаветинской лирике. Система

рифм в сонете Уайета: abba abba cddc ee. Уайет происходил из старинного аристократического рода, окончил Кембриджский университет. Был близок ко двору, исполнял дипломатические поручения Генриха VIII в Италии, Испании и Франции; в 1541 году был назначен вице-адмиралом английского флота. Стихи Уайета при жизни поэта почти не печатались. Впервые собраны в «Тоттелевском сборнике» (1557).

Стр. 463. «*Охотники, я знаю лань в лесах...*» — Этот сонет представляет собой переделку сонета Петрарки («На жизнь мадонны Лауры», CXC). Считается, что сонет адресован Анне Болейн. Последние две строки указывают на то, что либо Анна уже была тогда замужем за королем, либо считалась его исключительной собственностью. Заключение Уайета в Тауэр в 1536 году, в результате ссоры с герцогом Саффолком, совпало с раскрытием измен Анны и ее казнью, что дало новую пищу слухам о том, будто Уайет был арестован из-за его прежних отношений с королевой.

«*Нет мира мне, хоть кончена война...*» — Перевод сонета Петрарки («На жизнь мадонны Лауры», CXXXIV).

Стр. 467. «*Посеяв службу верную мою...*» — Эта эпиграмма, как и следующая («О, соколы мои! Любой хорош...»), была написана после падения и казни в 1540 году могущественного государственного деятеля Англии, покровителя и друга Уайета, Томаса Кромвеля. Старые враги воспользовались моментом и обвинили Уайета в государственной измене и безнравственности. В 1541 году поэт был арестован. Один из современников так пишет в 1541 году об Уайете: «И хотя о нем сожалели более, чем о ком бы то ни было в Англии... ни у кого не хватило смелости вступиться за него, и при таких славных наших законах должен был он предстать перед судом, сам не ведая за что». Блистательная защита Уайета перед судом отвела грозу. Он был оправдан и вновь обласкан при дворе.

«*Я вздохами питаюсь, слезы пью...*» — Эпиграмма написана в тюрьме и адресована старому другу Уайета, поэту и придворному Френсису Брайяну, кузену Анны Болейн.

Генри Говард, граф Сарри (ок. 1518—1547).— Один из зачинателей английской ренессансной лирики, блестящий царедворец и воин. Вырос и воспитывался при дворе в окружении принцев, славился храбростью, участвовал в нескольких сражениях, возглавлял морскую кампанию против Франции (1544 г.). Присоединив к своему гербу геральдические знаки своего предка, английского короля Эдуарда Исповедника, был заподозрен в претензиях на королевский престол, обвинен в государственной измене и казнен. Как и Уайет, Сарри принадлежал к школе поэтов-петраркистов, вводил в английскую литературу и разрабатывал методы и формы итальянской поэзии. Используя форму сонета Уайета, ввел расположение рифмы abab cdcd efef dd — создав тот вид сонета, который позднее был канонизирован в английской поэзии под названием «шекспировского сонета». Сарри обогатил английскую

лирику, первым обратившись к белому стиху: перевел пятистопным ямбом две главы из «Энеиды» Вергилия. Стихи Сарри при жизни поэта не печатались. Впервые опубликованы в «Тоттелевском сборнике» в 1557 году.

Стр. 470. «*Описание весны*».— Вариация на тему весьма популярного в то время на континенте и в Англии сонета Петрарки («На смерть мадонны Лауры», СССХ).

«*Сарданапал*».— В этом сонете усматривали сатиру на английского короля Генриха VIII.

Филип Сидни (1554—1586).— Поэт-гуманист, одна из крупнейших фигур английского Возрождения. Принадлежал к аристократическому роду, получил блестящее образование; окончив Оксфорд, учился в Европе, прожил яркую жизнь придворного, дипломата, государственного деятеля, ученого, воина. Погиб от раны, полученной в бою. Был тесно связан с европейскими гуманистами, как поэт испытывал влияние Петрарки и французских поэтов «Плеяды». Сидни ввел в Англии моду на циклы сонетов, объединенных образом одной возлюбленной (как «Аморетти» Спенсера, «Сонеты» Шекспира, «Идея» Дрейтона). Произведения Сидни при его жизни не печатались; первое полное собрание его сочинений было выпущено сестрой поэта, графиней Пемброк, в 1589 году.

Стр. 473. «*Астрофил и Стелла*» (1577—1584).— Цикл из ста восьми сонетов, посвящен возлюбленной поэта, Пенелопе Деверё. Название «Астрофил и Стелла» (то есть «Звездолюб и звезда») раскрывало любовную аллегорию цикла, а в последнем слоге слова «астрофил» скрывались начальные буквы имени поэта: «фил» (Филип).

Стр. 476. «*Аркадия*» (1581).— Пасторальный роман, в котором проза перемежается со стихами (песнями).

Стр. 482. «*Филомела*».— Песня из сборника «Некоторые песни и сонеты» (1577—1581). По греческому мифу, Филомела стала жертвой насилия со стороны царя Терея. Чтобы скрыть свое преступление, Терей вырезал ей язык, но Филомела сумела рассказать о преступлении Терея, выткав на одежде рассказ о том, что с нею произошло. Зевс превратил Филомелу в соловья.

Эдмунд Спенсер (ок. 1552—1599).— «Поэт поэтов» английского Возрождения, лирик и эпик, непревзойденный мастер во всех жанрах. Сын торговца сукном, получил степень магистра в Кембридже. В 1579 году поступил на службу в дом графа Лейстера, фаворита Елизаветы, где сблизился с его племянником, поэтом Филипом Сидни, которому посвящена поэма «Пастушеский календарь» (1579) из двенадцати эклог (по числу месяцев в году), созданная в традиции античной, итальянской и французской пасторали. В качестве секретаря английского губернатора Спенсер с 1580 года жил в Ирландии. Там написаны шесть книг аллегорической поэмы на рыцарский

сюжет — «Царица фей» с посвящением королеве Елизавете, которая принесла Спенсеру славу и пенсион. В Ирландии же написан цикл из восьмидесяти восьми сонетов — «Аморетти» (1591—1595), посвященных невесте, а впоследствии жене поэта — Элизабет Бойл. Во время одного из ирландских восстаний (1598 г.) дом Спенсера сгорел, сам он чудом спасся и приехал в Лондон, где вскоре умер в нищете. Спенсер обогатил английскую поэтику «спенсеровской строфой» (ею написана «Царица фей»). Созданные им метрические формы стиха, строфика и каноны рифмовки служили образцом для многих поколений английских поэтов вплоть до романтиков.

Стр. 483. *Будь лес глухой...*— Сестина из восьмой эклоги (август) «Пастушеского календаря».

Стр. 484. *Не стыдно ль, Кадди...*— Эклога X (октябрь).

Стр. 485. *Так Аргусовы очи дети славят...*— После гибели многоокого великана Аргуса богиня Гера поместила его глаза на хвосте павлина (греч. миф.).

...Иль пел медведя...— Имеется в виду фаворит Елизаветы («Элизы») Роберт Дадли, граф Лейстер, на гербе которого был изображен медведь.

Стр. 486. *Вот Колин...*— Колин — персонаж первой эклоги «Пастушеского календаря» (январь), влюбленный пастух; он олицетворяет поэта; считается, что в этом образе Спенсер изобразил самого себя.

Стр. 487. *Девиз Кадди.*— Этот девиз представляет собой полустишие («Бог в нас; пылаем, увлекаемые им...») из неоконченной поэмы римского поэта Овидия «Календарь» («Fasti»), VI, 5.

Стр. 488. *Она внимала повести скорбей...*— Отрывок из первой книги «Царицы фей» (песнь VII). Здесь повествуется о том, как Уна (аллегория Правды и поисков Истины) узнает, что рыцарь Алого Креста (символ Благочестия) попал в беду. В поисках его она встречает юного рыцаря-принца, будущего короля Артура (олицетворение Величия и Благородства), чей волшебный щит наделен свойством обличать ложь.

Стр. 489. *Так дерево с цветами ярче звезд на высотах зеленой Селинии...*— Вероятно, имеется в виду Селин, или Селинунт, город на побережье Сицилии, которая славилась своим миндалем. В связи с этой строкой Спенсера английские комментаторы цитируют строку Вергилия («Энеида», книга III, стих 705).

Стр. 490. *Суровый ум...*— Вступление к книге IV, повествующей о возвышенной любви и благородной дружбе.

Стр. 491. *Итак, пройдя через множество преград...*— Отрывок из книги IV (песнь X).

Стр. 497. *Унылый стих...*— Стихотворение под названием «Iambicum Trimetrum» было послано Спенсером в письме от 16 октября 1579 года кембриджскому ученому-гуманисту Габриелю Гарвею в ответ на стихи последнего. Оно написано как упражнение и являет собой опыт применения к английской поэзии античного «квантитативного» стихосложения.

Джон Лили (1533 или 1534—1606).— Романист и драматург, один из предшественников Шекспира. Сын нотариуса, окончил Оксфордский университет; в 1589 году избран в парламент. Лили — создатель изысканной придворно-аристократической, «высокой» комедии и особого, изощренного стиля в прозе, названного эвфуэстическим (по имени героя двух романов Лили, Эвфуэса). Для исполнения при дворе написал ряд пьес, в которых античные герои и сюжеты использованы для изображения лиц и событий придворной хроники. Песни к этим пьесам были опубликованы только в 1632 году, в связи с чем принадлежность их перу Лили ставилась под сомнение.

Стр. 498. *«Песнь Сафо».*— Это стихотворение (как и следующее, «Песнь Вулкана при ковке стрел») включено в пьесу «Сафо и Фаон» (1584).

Стр. 499. *«Песнь Аполлона»* (и следующая, *«Песнь Пана»*).— Из комедии «Мидас» (1589—1590) — сцена музыкального состязания Аполлона и Пана. Согласно греческому мифу, влюбленный бог Аполлон долго преследовал нимфу Дафну, дочь лесного бога Пенея. Дафна стала молить богов о помощи и была превращена в лавр.

...Что движет сферы неба песней...— Пифагорейцы учили, что каждая планета в своем движении по орбите издает музыкальный звук. Совокупное движение планет и образует «музыку сфер».

...Пленился Пан младой Сирингой...— По греческому мифу, бог Пан воспылал любовью к наяде Сиринге. Спасая ее от преследований, боги Олимпа превратили Сирингу в тростник, из которого Пан вырезал себе пастушескую свирель.

Стр. 500. *«Купидон и Кампаспа».*— Из пьесы «Александр и Кампаспа» (1584).

Кристофер Марло (1564—1593).— Поэт и драматург, один из создателей английской трагедии, самый значительный предшественник Шекспира. Сын сапожника, учился в Кембриджском университете, получил степень магистра, но от духовной карьеры отказался и в 1587 году уехал в Лондон. Был связан с кружком Уолтера Рэли, в который входили люди, известные своим вольнодумством. Последние годы жизни находился под надзором полиции. Убит в спровоцированной, как полагают, трактирной ссоре.

Стр. 501. *«Влюбленный пастух — своей возлюбленной».*— Одно из немногих сохранившихся лирических стихотворений Марло. Пользовалось огромной популярностью у современников, вызвало ряд подражаний и «ответов», наилучшим из которых считается иронический «ответ» Уолтера Рэли.

Уолтер Рэли (ок. 1552—1618).— Личность, ярко воплотившая дух Возрождения: поэт, царедворец, воин, мореплаватель, открыватель новых земель, пират, государственный деятель. Сын бедного дворянина, учился

в Оксфорде. Яростный протестант, юношей отправился во Францию воевать на стороне гугенотов, потом дрался в Нидерландах против испанцев. Прожил жизнь, полную приключений. Сделал головокружительную карьеру при дворе Елизаветы. В попытках открыть страну золота — «Эльдорадо» — организовал несколько экспедиций в Южную Америку. Одну из экспедиций он возглавил сам, описав ее в книге «Открытие Гвианы» (1596). С вступлением на престол Иакова I был заключен на тринадцать лет в Тауэр по абсурдному обвинению в католицизме, безбожии и государственной измене в пользу Испании. В 1616 году был освобожден и вновь послан на Ориноко за золотом. Экспедиция, в которой погиб сын поэта, закончилась неудачей; ему снова предъявили прежнее обвинение, и Рэли был обезглавлен. Стихи Рэли никогда не печатались самим поэтом и не были собраны после его смерти. Все они восстановлены и атрибутированы по рукописям последней четверти XVI — первой половины XVII века.

Стр. 502. «*Ответ нимфы влюбленному пастуху*».— Шуточный ответ на стихотворение Марло «Влюбленный пастух — своей возлюбленной».

Стр. 503. «*Напутствие душе*».— В различных сборниках это стихотворение имеет различные названия, самое раннее из которых — «Ложь». Стихотворение приписывается Рэли; считается, что оно выражает разочарование опального поэта после 1592 года.

Стр. 505. «*Эпитафия графу Лейстеру*».— Приписывалось Рэли и сохранилось во множестве вариантов. В переводе использован вариант этого стихотворения из приложения к роману В. Скотта «Кенилворт». Граф Лейстер, всесильный фаворит Елизаветы, некоторое время был покровителем молодого Рэли при дворе.

«*Анахорет, в глуши, покинув свет...*» — Перевод сонета французского поэта Депорта. Создан около 1592 года после того, как Рэли потерял расположение королевы из-за женитьбы на ее фрейлине, был посажен в Тауэр и на некоторое время удален от двора. Сонеты «Пусть плоть, в стенах заточена...» и «Прощание со двором» написаны в то же время и выражают те же чувства.

Майкл Дрейтон (1563—1631).— Поэт зрелого Возрождения; автор ряда стихотворений и эпических поэм о героических событиях и лицах исторического прошлого. Основной труд — ученая поэма «Полиальбион» (1612—1622) — содержит описание природных красот Англии с использованием местных преданий. Лирика Дрейтона, традиционная, даже для его времени несколько устаревшая по форме, отличается эмоциональностью, на фоне классически-условного выражения чувств у других поэтов, что впоследствии высоко оценили английские романтики. О жизни Дрейтона практически ничего не известно. Считается, что он долгое время жил в доме сэра Генри Гудера, младшая дочь которого Энн и была «Идеей», вдохновившей циклы сонетов Дрейтона «Зеркало Идеи» (1594) и «Идея» (1594—1619).

Стр. 507. *«Азенкур».*— Баллада из сборника «Поэмы, лирические стихи и пасторали» (1606). Азенкур — деревня в Северной Франции, где 25 октября 1415 года произошла одна из завершающих битв Столетней войны (1337—1453 гг.): немногочисленное войско англичан одержало решительную победу над превосходящими силами французского рыцарства. Материалом для баллады Дрейтона, как и для хроники Шекспира «Король Генрих V», послужили «Хроники» Холиншеда (умер ок. 1580 г.).

Стр. 508. *...Ты вспомни о Креси...*— В сражении при французском городе Креси в 1346 году англичане наголову разбили французов.

...Когда наш славный дед...— При Креси английские войска вел в бой король Эдуард III, прадед Генриха V.

Герцог Йорк — двоюродный брат Генриха V.

Эксетер — герцог, дядя Генриха V.

Стр. 509. *Эрпингам* Томас — военачальник армии Генриха V.

Глостер — так же как упомянутый ниже Кларенс — братья Генриха V.

Стр. 510. *В Криспинов день святой...*— День св. Криспина празднуется 25 октября — в день битвы при Азенкуре.

Стр. 512. *Несчастье Эссекса.*— Фаворит Елизаветы граф Роберт Эссекс был казнен в 1601 году, после неудачной попытки заговора против королевы.

...покой Тирона...— В 1597 году граф Эссекс был послан подавить восстание в Ирландии. Не сумев одолеть повстанцев, он заключил в 1599 году перемирие с одним из их предводителей, графом Тиронским. Тогда вместо Эссекса в Ирландию был послан лорд Маунтджой, который подавил восстание и взял Тирона в плен (1602 г.).

...Великой королевы смертный час... с Голландией разрыв...— Елизавета умерла в 1603 году, назначив своим преемником Иакова I (шотландского короля Иакова VI, сына Марии Стюарт). Иаков I круто изменил внешнюю политику Англии, заключив с католической Испанией мирный договор (1604 г.), по которому Англия прекращала оказывать поддержку протестантским Нидерландам в их борьбе с испанской короной.

Бен Джонсон (Бенджамин Джонсон; 1573—1637).— Крупнейший драматург, поэт и теоретик драмы конца английского Возрождения. Сын протестантского священника и пасынок каменщика, который обучил его своему ремеслу. Учился в Вестминстерской школе, добровольцем сражался на стороне Нидерландов против католической Испании, затем стал актером и начал писать пьесы для театра. До последних дней жизни боролся за создание национального английского театра, положил начало новому для драматургии Возрождения жанру — бытовой нравоучительной сатирической комедии. Бен Джонсон первым в Англии разрабатывал принципы классицизма, изложенные в теоретическом сочинении «Бруски, или Открытие материи и человека» (1641). При жизни издал сборник лирических стихов

«Лес» (1616) и частично подготовил вышедший после его смерти сборник «Подлески» (1640). Был классически образованным человеком, блестящим полемистом, обладал огромным влиянием на современных ему поэтов.

Стр. 513. «*Гимн Диане*». — Песня из комедии «Празднество Цинтии» (1600). Комедия была написана Джонсоном в ответ на нападки других драматургов в ходе театральной полемики, известной под названием «войны театров». Гимн прославляет «королеву-девственницу» Елизавету, которую поэты той эпохи часто изображали в образе девственной богини-охотницы Дианы.

Геспер — у древних греков — одно из наименований планеты Венеры как вечерней звезды.

Цинтия — одно из наименований Дианы, которая считалась также богиней луны.

«*Триумф Хариты*».— Одна из десяти песен, написанных в разное время и составивших цикл «Прославление Хариты». Напечатано в сборнике «Подлесок» (1640).

Стр. 514. «*Песочные часы*».— Напечатано в сборнике «Подлесок».

Стр. 515. «*Ода к самому себе*».— Написана по случаю дурного приема, оказанного публикой пародийной комедии Б. Джонсона «Новая гостиница» (1629).

Иссяк ли Аонид ручей? — Аониды (греч. миф.) — одно из прозвищ муз, по местности Аонии близ горы Геликон, где протекал источник поэтического вдохновения.

Иль Кларий сам струнами не звенит? — Кларий — Аполлон (Кларос — один из центров культа Аполлона в Греции).

Стр. 516. «*Памяти любимого мною мистера Вильяма Шекспира*».— Впервые напечатано в первом собрании сочинений Шекспира (1623).

...*Где Чосер, Спенсер, Бомонт опочил*...— Джеффри Чосер (1340—1400), Эдмунд Спенсер и Френсис Бомонт (1584—1616) — английские поэты, похороненные в Вестминстерском аббатстве, усыпальнице королей и знаменитых людей Англии. Там же был похоронен и Бен Джонсон. Могила Шекспира находится в Стратфорде-на-Эйвоне.

...*как Лили с Кидом ты затмил и Марло*...— Лили — см. прим. к с. 498. Томас Кид (1558—1594), как и Кристофер Марло,— елизаветинский драматург-трагик.

...*хоть запас твоей латыни мал, а греческий еще ты меньше знал*...— Известно, что при жизни Шекспира современники (в том числе и Бен Джонсон) упрекали поэта в незнании древних языков и смеялись над его «необразованностью».

Пакувий, Акций, Сенека — римские трагики, из которых последний, Сенека, особенно сильно повлиял на елизаветинских драматургов.

...*как сцену сотрясут*...— Игра на корневых значениях фамилии Шекспира (to shake speare — потрясать копьем). Прозвище «потрясатель сцены»,

данное в насмешку Шекспиру драматургом Робертом Грином, хорошо было известно Бену Джонсону. Здесь оно используется без всякой иронии.

...а надень ты сокк...— Сокк — сандалии актера в античной комедии.

Стр. 517. *...Иль, как второй Меркурий, чаровать...*— Греческий бог Гермес (у римлян — Меркурий) обладал с рождения божественным даром игры на кифаре и своей игрой заворожил самого Аполлона.

Шутник Аристофан... и Плавт с Теренцием...— Прославленные комедиографы античности.

О нежный лебедь Эйвона!— Шекспир назван лебедем Эйвона по реке, на которой стоит Стратфорд, город, где родился и умер поэт.

Твое светило нам сиянье льет.— Имеется в виду созвездие Лебедя.

Стр. 518. *«Любовь и Смерть».*— Песня из неоконченной пасторали «Печальный пастух, или Повесть о Робине Гуде».

И. Одаховская

ИРЛАНДИЯ

Патриотические баллады.— Получили широкое распространение в XV — XVI веках. Развитие этого характерного жанра было связано с борьбой, которую вела католическая Ирландия против английской колонизации и сопровождавшей ее религиозной реформации.

Стр. 521. *«Темнокудрая Розалин».*— Одна из любимых песен в Ирландии. Поется на мотив старинной народной песни, носившей название «Прекрасная темная роза». Ирландские народные поэты — барды часто брали популярную песню и сочиняли на ее мотив патриотические стихи; образ возлюбленной из песни становился символом родины. Баллада возникла, очевидно, во время одного из ирландских восстаний во второй половине XVI века.

Эрин — ирландское название Ирландии.

Лох-Эрн — озеро на северо-западе Ирландии, в провинции Ольстер.

Испанские вина.— В борьбе с Англией Ирландия уповала на денежную и военную помощь Испании и Италии.

Стр. 522. *Манстер* — южная провинция Ирландии.

Фиарфлата О'Найв — придворный поэт клана О'Нилов. В 1562 году сопровождал вождя клана Шона О'Нила во время его визита ко двору Елизаветы. Считается, что баллада «Падение гэлов» сыграла огромную роль в подготовке ольстерского восстания 1565—1567 годов, побудив вождей многочисленных кланов объединиться и оказать решительное сопротивление колонизаторам, отнимавшим у них землю.

Стр. 523. *Отпрыски Финна* — то есть ирландцы. Финн — легендарный бард и военачальник XIII века, отец поэта Оссиана.

И. Одаховская

ИСПАНИЯ

Иньиго Лопес де Мендоса, маркиз де Сантильяна (1398—1458).— Поэт, воин и государственный деятель из знатного кастильского рода, предшественник испанских гуманистов. Сантильяна всячески поощрял перевод на испанский язык греческих и латинских текстов, собирал в своем дворце литературных деятелей и обладал обширной библиотекой. Его творчество отмечено отчетливым итальянским влиянием. Он первым ввел в испанскую литературу сонет, написав сорок два стихотворения в этой форме. Ему принадлежат также дидактические сочинения, политическая сатира и группа поэтических произведений в духе Данте («Триумф Любви», «Ад влюбленных»). Сантильяна первым стал собирать народные пословицы — в 1508 году был издан его сборник «Пословицы, которые говорят старухи у огня». Он является автором первой поэтики на испанском языке — «Предисловие и послание коннетаблю дону Педро Португальскому» (1449). Наиболее талантливые его стихотворения написаны в духе народной испанской поэзии.

Стр. 527. *«Серранилья»* — пастушеская песня. *Финохоса* — скорее всего местечко Инохоса де Калатрава в провинции Сьюдад-Реаль.

...Слагаю не глоссы...— Глоссы — жанр лирики, введенный в испанскую поэзию самим Сантильяной, в котором какая-либо строка из первой строфы повторялась во всех остальных строфах.

Хорхе Манрике (1440—1478).— Великий поэт, происходил из аристократического рода. Родился в Валенсии. Ему принадлежат аллегорическая поэма «Замок любви» и комическая поэма «Приглашение моей мачехе». Своей славой Хорхе Манрике обязан «Стансам на смерть отца», магистра Родриго Манрике (1476, напечатаны в 1492 г.). Это произведение имело огромный успех. В XVI веке слова «Стансов» были положены на музыку, несколько ранее их перевели на латинский язык.

Для этого произведения X. Манрике выбрал жанр «стансов с неравной строкой», впервые использованный в испанской литературе Хуаном Руисом (умер ок. 1353 г.) в «Книге благой любви» и отличавшийся от обычных стансов тем, что третья, шестая, девятая и двенадцатая строки давались с меньшим количеством слогов, нежели все остальные.

Стр. 533. *Где ныне король Дон Хуан? Инфанты из Арагона куда пропали?..*— Хуан II Кастильский (1405—1454) — король, покровитель изящной словесности. Инфанты Арагонские — дон Педро и дон Энрике, кузены Хуана II, возглавившие борьбу против всесильного фаворита короля, дона Альваро де Луна.

Стр. 534. *Ну а наследник, другой, Дон Энрике?* — Имеется в виду Энрике IV Бессильный (1425—1474), наследовавший Хуану II. Вторая половина его царствования отмечена анархией и мятежами придворной знати.

Стр. 535. *А брат, кого в малые лета...*— Инфант Альфонсо, брат Энрике IV, которого провозгласили королем мятежные феодалы; он не царствовал, умерев в шестнадцать лет (возможно, был отравлен).

А Коннетабль со званьем...— Коннетабль — дон Альваро де Луна, фаворит Хуана II, фактически управлявший королевством единовластно, был казнен в 1453 году под давлением придворной партии во главе с женой Хуана II.

Стр. 535. *Ну а других два брата, магистры, что процветали...*— Манрике снова упоминает двоюродных братьев Хуана II, Энрике и Хуана. См. выше — *Инфанты Арагонские.*

Стр. 537. *Удачею Октавиан, Юлий Цезарь, когда побеждал...*— В этой и следующей строфах приводятся имена, ставшие нарицательными в эпоху средневековья, римских императоров, государственных деятелей и мыслителей.

...В труде же был Ганнибал...— Ганнибал — карфагенский полководец. (см. прим. к с. 35).

...Мощью был Архидан.— Архидан, спартанский царь, правивший с 469 по 426 год до н. э.

Стр. 538. *...Высокое посвященье в Орден Меча...*— Имеется в виду духовнорыцарский орден меченосцев в Ливонии, чрезвычайно влиятельный союз, существовавший с 1202 по 1561 год.

...Пусть скажет король Португалии...— Португальский король Альфонсо V, женатый на дочери Энрике IV, кастильского короля, претендовал на кастильский трон и сражался за него против Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, на чьей стороне выступал дон Родриго Манрике.

Стр. 539. *...К дому его в Оканье...*— Замок Оканья — родовое владение Манрике, где впоследствии умер и сам Хорхе Манрике.

Хиль (Жиль) Висенте (ок. 1465—1540).— Испано-португальский драматург, поэт, получивший прозвище «португальского Плавта». Дворянин по происхождению, он рано начал литературную деятельность, выступая главным образом как драматург, создавший сорок две пьесы на обоих языках в самых разных жанрах. По существу, Висенте заложил основы стихотворной драмы на испанском и португальском. По традиции, законченные стихотворные фрагменты из пьес Висенте дают в поэтических антологиях. Его искусство в создании коротких стихотворений для пьес, несомненно, оказало влияние на всю последующую традицию испанской драмы — вплоть до Лопе де Вега и Кальдерона.

Стр. 542. «*Песня Кассандры*».— Отрывок из пьесы «Ауто о пророчице Кассандре».

«*Как любимая мила...*» —Так называемая кантига, старинная форма поэтического произведения в галисийско-португальской, а затем и в испанской поэзии.

Хуан Боскан (Боска) Альмогавер (между 1490 и 1500—1542).— Поэт, гуманист, воин. Участвовал в итальянских походах, был воспитателем герцога Альбы. При жизни опубликовал лишь вольный перевод итальянского трактата Бальтасара Кастильоне «Придворный» (1540) (см. прим. к с. 115). Значение Х. Боскана в истории испанской поэзии определяется прежде всего тем, что он ввел в кастильскую традицию одиннадцатисложный размер, заимствованный из итальянской поэзии Возрождения, и начал реформу испанского стиха, внедрив канцону, рифмованную октаву и свободный стих. Поэтические произведения Х. Боскана — аллегорическая поэма «Рифмованная октава», поэма «Геро и Леандр» и сонеты — были опубликованы в 1543 году, после его смерти, вдовой поэта вместе со стихами его друга Гарсиласо де ла Вега.

Гарсиласо де ла Вега (1503—1536).— Происходил из очень знатной семьи, был воином и дипломатом при Карле I. Участвовал во многих военных экспедициях и сражениях. Впал в немилость и по приказу короля был сослан на Дунай, но затем прощен по ходатайству герцога Альбы. Погиб от ран, полученных при сражении с французами. Поэтическое наследие Гарсиласо де ла Вега опубликовано посмертно, в 1543 году. Он оставил тридцать восемь сонетов в духе Петрарки, эклоги, канцоны, поэмы, элегии, а также стихи на латыни. Вместе со своим другом Х. Босканом он начинал реформу испанского стиха. Поэтические опыты Гарсиласо де ла Вега были ответом на сложную задачу того времени: как приобщить испанский стих к богатствам итальянской поэзии, не потеряв при этом национального характера поэзии.

Стр. 550. «*Эклога I*».— Одна из трех эклог, написанных Гарсиласо де ла Вега. Современники считали, что поэт изобразил самого себя под именем Салисио, а своего друга Боскана — под именем Неморосо. Произведение было посвящено дону Педро де Толедо, маркизу де Вильяфранка, вице-королю Неаполя.

Стр. 551. ...*Ты холоднее снега, Галатея!* — Имеется в виду героиня одной из эклог Вергилия, чье имя стало нарицательным для обозначения женской холодности и кокетства.

Стр. 556. *Скажите вы, Пиериды*...—Пиеридами иногда называли муз.

Стр. 559. *В час смертный под эгидою Дианы*...— Диана (Артемида) считалась, как богиня-кормилица, одновременно покровительницей деторождения, и ей приносили дары беременные женщины.

Иль так тебя завлек пастух твой спящий? — Здесь намек на греческий миф о пастухе Эндимионе, усыпленном навеки Артемидой, которая навещала спящего юношу в пещере и целовала его в течение тридцати лет.

Стр. 560. ...*В пространство третьей сферы, где льется свет Венеры*...— Реминисценция из Данте, который в третьей сфере Рая, сфере Венеры, поместил души любящих.

«*Цветку Нидо*».— Пятая песнь Гарсиласо де ла Вега, написанная от имени неаполитанского рыцаря Фабьо Галеота, который был безнадежно

влюблен в донью Виоланту Сансеверино из знатного рода Нидо. Ее называли цветком Нидо. Первые две строфы этой песни содержат описание того, как действует на природу пение Орфея.

Стр. 561. *...В печали неизменной плывет, рабом галеры...*— Намек на фамилию Галеота, что означает по-итальянски «галера».

Стр. 562. *Пускай тебя серьезно пример Анаксареты устрашает...*— Анаксарета — кипрская девушка, столь презиравшая своего возлюбленного, что он повесился на ее двери. За это Анаксарета была наказана Афродитой, которая обратила ее в каменную статую (греч. миф.).

Стр. 563. *А Немезида больно стрелою ранит...*— Немезида — богиня возмездия у греков.

Гутьерре де Сетина (1518—1560).— Поэт «севильской школы». Участвовал в итальянской и фландрской кампаниях; сопровождая своего родственника, видного сановника, Гонсало Лопеса, отправился в Америку и там был убит в уличной стычке. Большинство стихотворений Сетины были написаны в возрасте двадцати — двадцати шести лет, главным образом сонеты и мадригалы. Часть из них была посвящена графине Лауре де Гонсага, в которую поэт был влюблен. Мотивы его поэзии — осуждение суетной придворной жизни и воспевание любви.

Луис де Леон (1527—1591).— Поэт и ученый, глава «саламанкской поэтической школы». Выходец из еврейской семьи, он четырнадцати лет поступил в университет Саламанки; окончив его, стал монахом-августинцем; в 1561 году получил степень доктора теологии, преподавал в том же университете. Мистик по мировоззрению, он был судим в 1572 году инквизицией по обвинению в ереси и за перевод библейской «Песни Песней» на испанский язык. Более четырех лет провел в тюрьме. Известны его переводы из Вергилия, Горация, Пиндара, библейских Псалмов и «Книги Иова», а также религиозные трактаты. Из поэтического наследия Луиса де Леон сохранилось всего около сорока стихотворений, которые входят в золотой фонд испанской лирики. Его поэзию пронизывают неоплатонические мотивы слияния с природой и уединения от мирской суеты. Одна из самых излюбленных форм его лирики — старинная «кинтилья» (стихотворение, состоящее из пятистрочных строф).

Стр. 570. *«Ясной ночью»*.— Стихотворение было написано в 70-х годах XVI века и посвящено Диего Оларте (или Лоарте), архидьякону из Ледесмы и другу поэта.

Стр. 573. *«Франсиско Салинасу»*.— Стихи адресованы знаменитому органисту и теоретику музыки Франсиско Салинасу (1522—1590), слепому с десяти лет, который был профессором музыки в университете Саламанки. Поэт познакомился с Салинасом в 1567 году, а стихи написал в 1577 году, в связи с публикацией трактата Салинаса «О музыке» (на латыни). Как и Салинас, Леон исповедовал неоплатонические идеи, выраженные в стихотворении.

Стр. 576. «*Выходя из тюрьмы*».— Стихи написаны в 1576 году. Поэт избрал краткую форму народной поэзии — дециму для философского осмысления своей судьбы после освобождения из тюрьмы.

Бальтасар де Алькасар (1530—1606).— Поэт, военный и государственный деятель. Служил во флоте и был взят в плен французами; позднее занимал государственные должности и служил у герцогов Алькала́. Близкий друг Гутьерре де Сетина, он входил в «севильскую школу» поэтов и прославился произведениями в стихах и прозе. Переводил оды Горация и эпиграммы Марциала. Самые известные стихи в его наследии — поэма «Веселый ужин».

Сан Хуан де ла Крус (1542—1591).— Подлинное имя — Хуан де Йепес-и-Альварес. Учился в университетах Медина-дель-Кампо и Саламанки. Вступил в орден кармелитов, занимал высокие посты в иерархии ордена, принимал участие в религиозных спорах эпохи. Считал себя учеником святой Тересы. Сан Хуан де ла Крус прославился своими мистическими трактатами «Восхождение на гору Кармел», «Темная ночь» и другими. Его лирические стихотворения, полные страстной экзальтации, считаются подлинными сокровищами испанской поэзии.

Франсиско де ла Торре (1534(?) — 1594(?)).— О его жизни известно лишь немногое. Поэт учился в университете Алькала́ (1554—1556 гг.), принимал участие в итальянской кампании и, вероятно, стал в последние годы жизни священником. По некоторым предположениям, был родом из Торрелагуна, близ Мадрида. Франсиско де ла Торре входил в «саламанкскую школу» поэтов. Его лирические стихотворения — канцоны, восемь эклог, оды и сонеты — проникнуты элегическим духом. Считается, что в его сонетах можно ощутить влияние Петрарки.

Алонсо де Эрсилья-и-Суньига (1533—1594).— Родился в Мадриде, был пажом Филиппа II. В 1554 году отправился вместе с военной экспедицией в Чили, где сражался против индейцев араукан. Еще в походе он начал писать поэму в октавах «Араукана», посвященную войне с индейцами, описанию их жизни и обычаев. В 1562 году поэт вернулся в Европу с начальными пятнадцатью песнями поэмы и опубликовал ее по частям: I — 1569; II — 1578; III — 1590. Полный текст поэмы составляет тридцать семь песен. После возвращения в Испанию Эрсилья выполнял важные поручения королевской семьи, давал деньги в рост аристократическим домам Испании. Его поэма — один из самых интересных образцов эпической поэзии Возрождения; ею восхищался Вольтер. Восторженными описаниями природы Южной Америки, идеализацией индейских вождей Эрсилья отличался от своих соотечественников. Чилийцы считают его одним из зачинателей собственной литературы.

Стр. 586. *О, наша жизнь, юдоль скорбей и плача!* — В приведенном эпизоде из XXXIV песни «Арауканы» рассказывается о том, как героически вел себя индейский вождь Кауполикан, плененный испанцами.

...Тому пример мы видим в Ганнибале; и если бы окончил жизнь Помпей... — Эрсилья впервые в истории сравнивает индейского вождя с прославленными героями античности.

Стр. 587. *...Убил Вальдивию при Тукапеле, сжег Пенко, стер с лица земли Пурен...* — Педро де Вальдивия (1510—1553) — глава конкистадоров, завоевавших Чили, был захвачен индейцами и убит. Тукапеле, Пенко, Пурен — места важнейших побед восставших араукан над конкистадорами.

Стр. 592. *В то время я, выполняя данный мне приказ...* — Эрсилья действительно не был свидетелем казни Кауполикана, поскольку сражался в других районах Чили.

Мигель де Сервантес Сааведра (1547—1616).— Величайший прозаик Возрождения, сын бедного дворянина, лекаря по профессии. Учился в коллегии иезуитов в Вальядолиде, а затем в Мадриде. Участник битвы при Лепанто, где он потерял левую руку. Попал в плен в Алжир. После возвращения в Испанию (в 1580 г.) начал пробовать свои силы в литературе. Сервантес начал свою деятельность стихотворной драмой «Нуманспя» (опубликована в 1784 г.). Затем он написал пасторальный роман «Галатея» (1585). К этому же времени относится большинство лирических стихотворений Сервантеса. Позднее, когда первый том «Дон-Кихота» принес ему широкую известность, Сервантес не раз обращался к поэзии. Поэтический талант его уступал дару Сервантеса-прозаика, однако в истории поэзии испанского Возрождения стихотворения Сервантеса занимают свое почетное место.

Стр. 594. *«Послание к Матео Васкесу».* — Написано, очевидно, в 1577 году в алжирском плену и адресовано Матео Васкесу, министру Филиппа II. Это сочинение в терцинах было обнаружено лишь в XIX веке.

Уже десятое минуло лето... — Сервантес ведет счет с 1569 года, когда он отправился в Рим, поступив на службу к послу папы Пия V, кардиналу Аквавиве; в начале 1570 года стал служить в армии.

...Развеял рок враждебную армаду... — Имеется в виду сражение при Лепанто с турецким флотом, в котором участвовал сам Сервантес. Поражение турок в этом морском сражении определило весь ход дальнейших сражений.

Стр. 596. *...край преславный тот, где память о любви Дидоны...* — Намек на «Энеиду» Вергилия, где основательница Карфагена Дидона покончила с собой из-за любви к Энею.

Я на галере «Солнце»... погиб со всею нашею ватагой. — «Солнце» — название галеры, на которой плыл Сервантес с братом Родриго; они подверглись нападению пиратов и попали в плен. «Послание к Матео Васкесу» было отправлено в Испанию с Родриго Сервантесом, за которого родители внесли выкуп.

Стр. 599. «*Путешествие на Парнас*».— Поэма была опубликована в 1614 году. Составлена из восьми глав (около трех тысяч строк), в которых дается картина литературной жизни той эпохи. В настоящем издании печатается отрывок из IV главы «Путешествия на Парнас», где Сервантес в шутливой форме рассказывает о собственном творчестве.

Галатея расцвела, дабы вовек остаться незабвенной...— Роман «Галатея»— первое опубликованное произведение Сервантеса (1585).

«*Запутанная*» *сцены обошла...*— Речь идет о комедии Сервантеса, до нас не дошедшей.

«*Убийственно величие его!..*» — Так начинался сонет, написанный Сервантесом по случаю внесения в севильский собор катафалка Филиппа II.

«*Ревность*» *принесла мне торжество...*— Имеется в виду пьеса Сервантеса «Обитель ревности».

Стр. 600. *Вослед Филиде песен легкий звон моя Филена в рощах рассыпала...*—Филида— героиня пасторального романа испанского писателя Луиса Гальвеса де Монтальво «Пастух Филиды». «Филена» — вероятно, название пасторальной поэмы или романа, не дошедшего до нас из наследия Сервантеса.

Луперсио Леонардо де Архенсола (1559—1613).— Поэт, историк и драматург. Окончил университет в Саламанке, с 1592 года служил секретарем у Марии Габсбургской и занимал с 1599 года должность королевского хрониста провинции Арагон. В молодости писал трагедии в духе римского поэта Сенеки — «Филида» (1581), «Александр» и «Изабелла» (поставлена в 1585 г.), которые удостоились похвалы Сервантеса. Принимал участие в работе мадридской «Поэтической академии», позднее служил в Неаполе, где также участвовал в работе неаполитанской академии «Праздных». В связи с пристрастием к формам и стилистике античной поэзии был прозван «испанским Горацием». Большая часть лирических сочинений была им уничтожена в конце жизни. Часть наследия была опубликована после смерти поэта его сыном в сборнике «Рифмы» (1643), куда вошли также стихи его брата Барталоме Леонардо де Архенсола.

Стр. 603. *...и топит Ибер берега...*— Ибер — старинное название реки Эбро.

Опять Монкайо привлекает взгляд...— Монкайо — горная цепь в Испании на границе провинций Сория и Сарагоса.

И Фабьо на пороге Таис льет ручьи стыдливых слез...— Таис — легендарная греческая куртизанка, сопровождавшая в походах Александра Македонского.

Бартоломе Леонардо де Архенсола (1562—1631).— Поэт и историк, учился в университете Уэски, где получил степень доктора философии и права. В 1588 году принял священнический сан. Как и его брат, носил прозвище «испанского Горация», под влиянием которого написаны его собственные сатиры и послания. Основные мотивы его поэзии — мирная уединенная жизнь на лоне природы и суровое порицание придворной жизни.

Лопе де Вега Карпьо (1562—1635).— Крупнейший драматург и поэт испанского Возрождения. Сын ремесленника, он учился в университете, но не закончил курса. Вступил добровольцем в «Непобедимую армаду», позднее жил в Валенсии, Толедо и Мадриде. Драматические сочинения Лопе де Вега пользовались необыкновенным успехом у зрителей, их было написано около двух с лишним тысяч (сохранилось около пятисот). Кроме того, Лопе де Вега был очень известен как лирический поэт. Ему принадлежит около двадцати поэм, разнообразных по содержанию, множество песен, сонетов и других лирических стихотворений. По традиции, он вводил в пьесы лирические стихи, которые позднее бытовали самостоятельно.

Стр. 606. *«О бесценная свобода...»* — Фрагмент из пасторального романа «Аркадия» (1598).

Стр. 609. *«Романс о столице».*— Один из первых примеров в испанской литературе сатирической панорамы в стихах. Лопе де Вега выбрал для описания Мадрида старинную форму романса.

Стр. 610. *А сколько коварных Веллидо...* — Веллидо — легендарный персонаж испанской истории, предательски убивший короля Санчо II при осаде Саморы в 1072 году.

Стр. 611. *Сколько там гордых Лукреций...*— Намек на историю Тарквиния и Лукреции.

...Толпы юнцов безусых... толкуют о фландрских битвах...— Имеются в виду кампании испанской армии против Нидерландов в конце XVI века.

Стр. 612. *«Лодка».*— Фрагмент из диалогического романа «Доротея», акт III (1632).

Стр. 615. *«Дровосек и Смерть».*— Басня из пьесы «Кто больше не может» (акт II).

Стр. 616. *«Назидание любимцам».*— Из пьесы «Собака на сене», акт I (ок. 1618).

«Клевер».— Песня жнецов и косарей из пьесы «Периваньес и командор Оканьи», акт III (ок. 1614).

Стр. 617. *«Майская песня».*— Фрагмент из пьесы «Периваньес и командор Оканьи» (акт I).

Стр. 620. *«Король — легенда есть — был деревом пленен...»*— Из пьесы «Периваньес и командор Оканьи» (акт II).

А. Грибанов

ПОРТУГАЛИЯ

Луис Вас де Камоэнс (1524 или 1525—1580).— Родился в небогатой дворянской семье, связанной родством с Васко да Гамой. Образование получил в Коимбрском университете; вел жизнь малообеспеченного фидальго, много воевал, менял покровителей, торговал, богател, тонул при

кораблекрушениях, страдал от тоски по родине и от неудовлетворенного честолюбия, нищенствовал, писал стихи. Он видел весь новооткрытый Восток, от побережья Африки до Китая. Незадолго до смерти Камоэнс узнал о разгроме португальцев в крестовом походе против мусульман и о гибели в этом сражении самого короля (1579 г.). Поэт национальной гордости, воспевший величие и силу своей страны, умер в год, когда Португалия была присоединена к Испании. Поэтическое наследие Камоэнса сравнительно невелико по объему, но весьма разнообразно: он был блистательным лириком, интересным драматургом; португальский язык, развивавшийся несколько столетий до Камоэнса, только в его произведениях обрел классическую норму. Шедевр Камоэнса, национальная эпопея «Лузиады» (1572) — это героическая поэма в десяти песнях, повествующая о плаванье португальского флота под командованием Васко да Гамы, впервые морским путем прошедшего из Европы в Индию.

Стр. 623. *Топробана.*— В античности и в средние века так называли остров Цейлон.

Стр. 624. *Тежо* — португальское наименование реки Тахо.

Как будто небо ясное хранило...— Отрывок из песни IV: Васко да Гама на восточном берегу Африки дружелюбно встречен правителем Мелинды, по просьбе которого рассказывает ему о Европе, о Португалии, ее истории, о своем плаванье.

Мануэл Счастливый — король португальский (1495—1521); при нем состоялась экспедиция Васко да Гамы. В пророческом сне, о котором говорится в поэме, силы природы возвещают Мануэлу великую миссию португальцев.

Жоан — португальский король (1481—1495) Жоан II. Проводил деятельную политику расширения морского господства своей державы.

Стр. 625. *...до самой Первой Сферы...*— Первая сфера, по птолемеевской космографии,— ближайшая к Земле сфера Луны.

Два ключа — то есть Инд и Ганг, ниже олицетворенные в фигурах старцев. По распространенным в древности и средневековье представлениям, Ганг истекал из Земного рая.

...Искал Алфей объятий Аретузы.— Согласно мифу, нимфа Аретуза превратилась в источник, спасаясь от преследований речного бога Алфея, но он сам стал рекою, и воды их слились. (Река Алфей протекает в Греции — в Аркадии, но источник Аретузы есть и в Сицилии, подле Сиракуз.)

Стр. 627. *Еврисфей* — тиран, по требованию которого Геракл совершил свои двенадцать подвигов (греч. миф.).

Пауло да Гама — брат Васко, участвовал в его первом плавании, командуя кораблем «Святой Рафаэл»; умер от чахотки на обратном пути. Глубокая любовь Васко к брату удостоверена историей.

Николау Коэльо — командир корабля «Беррну» в первом походе Васко да Гамы, один из лучших капитанов эпохи.

Стр. 628. ...*Стать на Олимпе новыми звезда́ми...*— Согласно легенде, Минерва поместила корабль аргонавтов среди созвездий.

...*и носит для примера имя края, где миру... господь явился.*— Гавань Лиссабона, откуда отплывал Васко да Гама, называлась Белем, то есть Вифлеем — в португальском произношении,— как место, где, по Евангелию, родился Иисус Христос; там расположена была церковь Марии Вифлеемской.

Стр. 631. ...*безрассудный, грех совершивший неповиновенья...*— То есть Адам, из-за ослушания которого племя человеческое было изгнано из Земного рая и лишено царствия небесного.

...*Тот терять ее боялся, кто дает...*— Иисус Христос перед распятием молился о избавлении от страданий и смерти.

Измаильтянин.— Подразумеваются мавры —мусульмане, борьба с которыми считалась священным долгом христианской Европы. Именно в рамках этой борьбы осмысливались задачи и результаты первых морских походов португальцев; только к концу XVI века стала вырисовываться колониалистская сущность этих предприятий.

Стр. 632. *Сын Япета* — то есть Прометей, сын титана Япета; по некоторым мифам, он слепил первого человека из глины («твоя статуя») и оживил свое создание.

Не испытал бы юноша на го́ре отцову колесницу...— Имеется в виду античный миф о Фаэтоне: управляя солнечной колесницей, он слишком приблизился к земле, угрожая ее зажечь; за это Зевс поразил его молнией, и он низвергнулся в реку По.

Великий зодчий с сыном — то есть Дедал и Икар. Икар упал в море, которое с тех пор стало называться Икарийским (греч. миф.).

Рассказывать тебе о всех опасных морских делах...— Эпизод из песни V: Васко да Гама, продолжая свой рассказ, описывает опасности моря и его таинственные диковины, в том числе огни святого Эльма (свечение оснастки судна) и морской смерч.

Стр. 634. *Уж пятый раз Светила угасали...*— Еще один эпизод из песни V: встреча с мифическим чудовищем — гигантом Адамастором, который олицетворяет мыс Доброй Надежды и вообще противостоящую человеку стихию.

...*был вторым Родосским он Колоссом...*— Громадная статуя Аполлона у входа в гавань Родоса, между ног которой проплывали корабли, считалась в древности одним из семи чудес света.

Стр. 635. ...*первой же армаде... такой удар я нанесу...*— Адамастор предрекает несчастья армаде Педро Алвареса Кабрала (ок. 1460—1526), которому поручили закрепить позиции португальцев в Индии после возвращения оттуда Васко да Гамы. Действительно, в 1500 году флот Кабрала потерял в буре у мыса Доброй Надежды несколько кораблей, однако остальные суда благополучно прошли на Восток.

Меня открывшего подвергнуть высшей мести...— В буре, потрепавшей армаду Кабрала, погиб Бартоломео Диас (ок. 1450—1500), который в 1487 году впервые обогнул мыс Доброй Надежды и назвал его тогда мысом Бурь.

Стр. 635. *И первому, кто славою гордиться своею может...* — Имеется в виду Франсиско де Алмейда (1450—1510), первый вице-король Ост-Индии, погибший близ мыса Доброй Надежды.

Килоа и Момбаса — мусульманские владения на восточном побережье Африки, враждовавшие с христианами-португальцами.

Стр. 636. *Другой прибудет...* — Далее рассказывается трагическая история кораблекрушения у мыса Доброй Надежды (1552 г.), в котором погиб Мануэл де Соуза Сепулведа, возвращавшийся с семьей из Индии.

Страбон, Помпоний, Плиний Старший — крупнейшие авторитеты древней географической литературы.

Стр. 637. *Жена Пелея* — морская богиня Фетида, дочь Нерея и Дориды (греч. миф.).

Стр. 639. *Нет, Муза, нет, я Лиру не настрою...* — Заключительные октавы поэмы.

А Вам, Король... — Поэт обращается к Себастиану, королю португальскому, который занимал престол, когда Камоэнс кончал работу над «Лузиадами».

Стр. 640. *Когда философ стал красноречивый...* — По преданию, греческий философ Формион взялся рассуждать о военном искусстве перед Ганнибалом, великим полководцем древности. Этот эпизод приведен у Цицерона («Об ораторе», II, 18).

Стр. 641. *Гора Атланта* — то есть Атлас, горная система в Северо-Западной Африке; как и другие географические имена в этой октаве, означает земли мавров-мусульман, к походу на которых призывает Камоэнс своего короля.

Ампелуза — древнее название мыса Спартель, на восток от Танжера, в Марокко.

Трудант (или Тарудант) — город в одной из областей Марокко.

Франсиско Са де Миранда (1481 или 1485—1558).— Первый поэт и законодатель португальского Возрождения, реформатор португальской лирики. Долго прожил в Италии, где сошелся с видными поэтами и перенял каноны новой поэтики. Вернувшись на родину, отказался от придворной карьеры и, в провинциальном уединении, предался стихотворству. Часть своих произведений, как и большинство португальских поэтов его времени, писал по-испански. Поборник новых ренессансных принципов в искусстве, Миранда вместе с тем моралист, суровый судия нравственной распущенности и светского лицемерия, защитник национального предания, противник заморских авантюр, погони за золотом и личной славой.

Стр. 647. «*Подражание уличной песенке*». — Образец лирики «на старинный лад», где в поэтическом прении развивается первая фольклорная строфа; характернейший жанр португальской поэзии.

Бернардин Рибейро (род. в последние десятилетия XV в.— умер до 1554 г.).— Историки не располагают документальными данными для составления его биографии. Хотя формально Рибейро придерживался средневековой традиции, на деле он был сподвижником Са де Миранды в обновлении португальской поэзии. Первый ввел в нее жанр эклоги в античном духе. Славу Рибейре принес неоконченный роман «Девочкой-отроковицею...» (назван по первой строке) — один из ранних шедевров психологической прозы. Приведенный в данном томе романс взят из главы XXI романа. Песня служанки подражает средневековой фольклорной песне.

Антонио Феррейра (1528—1569).— Выдающийся сподвижник и последователь Са де Миранды. В сборнике «Лузитанские стихотворения» (вышел в свет посмертно, в 1598 г.) решительно порвал со средневековой традицией и следовал итальянским ренессансным образцам. В отличие от других современных поэтов, никогда не пользовался в своих произведениях испанским языком, разрабатывая национальную, португальскую, лирику. Феррейра — автор «Посланий» на моральные и эстетические темы, где выказывает себя сторонником мирной, созерцательной жизни и осуждает придворную безнравственность; в эстетике непререкаемый авторитет для него — Гораций. Широко известны были две комедии Феррейры и трагедия «Кастро».

Н. Котрелев

СОДЕРЖАНИЕ

[1] Здесь и далее звездочкой отмечены переводы с латинского.—*Ред.*

[1] С древнегреческого.— *Ред.*

ДАЛМАЦИЯ

[1] С итальянского.— *Ред.*

Г Е Р М А Н И Я

ДАНИЯ

АНГЛИЯ

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

На суперобложке:

Маркантонио Раймонди (ок. 1480—1534). Амадеус Беррутус с Суровостью, Дружбой и Любовью. Резец, офорт.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 32

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЭТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Редактор С. Брахман
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор
Г. Асланянц

Сдано в набор 5/III 1974 г. Подписано к печати 27/VI 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 46 печ. л. 42,92 усл. печ. л. 34,96 + 6 накид. = 35,596 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ № 1134. Цена 1 р. 81 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Граверные работы
Ю. Стольцера

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28

NVMI͠E
AFLATV
R

Io son fortuna buona, ho meco Amore,
Se mi conosci, ti farò ſignore.

TEODORO
GM

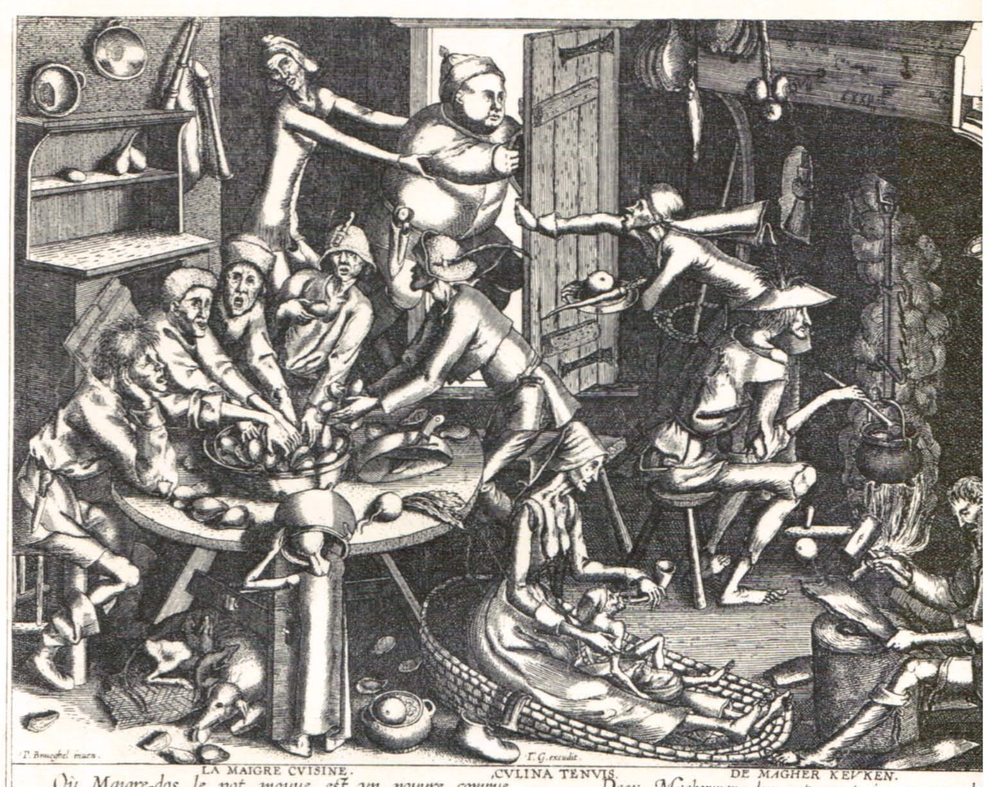
IL PALADIN ASTOLFO

7

1514

La Royne
HENRI · R · II ·
LORGE

HÆC FVRIA AD SVPEROS NIGRO PROCESSIT AB ORCO


P. Brueghel inuen.
T. G. excudit.
LA MAIGRE CVISINE.
CVLINA TENVIS.
DE MAGHER KEVKEN.
Où Maigre-dos le pot mouue, est vn pouure conuiue,
Pource à Grasse cuisine iray, tant que je viue.
Daer Magherman den pot roert is een arm gha
Dus loop ick naer de Vette keuken met herten

La Royne.
HENRI · R · II ·
LORGE